

ЕВГЕНИЙ РУБИН



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Пан или пропал!

ЕВГЕНИЙ РУБИН

«Я родился в Москве, в 1947-м окончил школу,
в 1951-м — Юридический институт.
По распределению меня направили
в адвокатуру города Северодвинска.
Возвратившись в 1955-м в Москву,
заялся журналистикой.

В 1958-м сбылась детская мечта:
меня приняли в газету «Советский спорт».
Там я работал до 1977-го, до эмиграции.
В Нью-Йорке меня вскоре после приезда
пригласили в качестве спортивного
комментатора на «Радио Свобода».

Там же, в Нью-Йорке, я пытался
издавать собственную газету.

Служба в «Советском спорте» свела меня
с такими гигантами, как Фетисов и Ларионов,
Иванов и Яшин, Харламов и братья Майоровы...

Всех не перечислишь...

А еще Довлатов...

А что скажет людям мое имя,
описание моей жизни, и не только в спорте?..»

ЕВГЕНИЙ
РУБИН

Пан или пропал!

жизнеописание

ЗАХАРОВ
Москва
2000

УДК 882-94
ББК 84Р
Р 82

ISBN 5-8159-0043-5

© Евгений Рубин, автор, 1999
© Игорь Захаров, издатель, 1999

ГАМЛЕТОВСКИЙ ВОПРОС

Журналисту, чтобы его имя задержалось в памяти, надо умереть не своей смертью. Как в довоенные времена Михаил Кольцов, как в наше — Холодов и Листьев. Или хотя бы стать основоположником жанра, как Вадим Синявский в спортивном радиовещании и Николай Озеров на спортивном телевидении.

Газетный журналист и вовсе поденщик. Газета — не книга. Книгу, прочитав, ставят на полку, газета к вечеру летит в мусорный ящик. Газетная статья может вызвать минутный интерес, но на строчке с фамилией автора взгляд читателей чаще всего не задерживается...

Так что предложение Захарова написать автобиографическую книгу надолго лишило меня сна и покоя. О книге, посвященной хоккею, с которым я связан сорок лет, я подумывал и сам, хотел взяться за нее, не ожидая предложений, «да все бывало недосуг», как сказал поэт, — откладывал, отвлекался, находил поводы подождать.

Другое дело — рассказ о собственной жизни. Что скрывать, такое предложение льстит: раз оно есть, значит, есть на свете люди, которых может заинтересовать жизнеописание Евгения Рубина. А с другой стороны, мемуары, считается, удел тех, кто знаменит сам или постоянно общается со знаменитостями, будь то любимец публики певец Киркоров или именуемый «вором в законе» Иваньков (он же — Япончик).

А что скажет людям мое имя? Способен ли Евгений Рубин послужить любителю мемуарной литературы прищипкой?

Но, как видите, я взялся за перо. Хочу думать, что не тайный голос тщеславия, а здравомыслие положило конец моим колебаниям. Вот ход моих рассуждений.

Вообразим себе некий высший суд, долженствующий вынести приговор веку, который мы доживаем. Опреде-

ляется круг свидетелей. Гожусь ли в этот список я? При-
сягнув, что буду говорить правду и только правду, сооб-
щаю необходимые сведения:

- На моей памяти, пусть детской, предвоенные годы и война. Когда она окончилась, я уже был в возрасте, который предполагает умение думать, сопоставлять, давать оценки;
- Потом были Московский юридический институт, адвокатская практика в глубинке Архангельской области, районные газеты в Подмоскowie, газета «Советский спорт»;
- По долгу службы мне пришлось общаться с заглядывавшими в редакцию Евгением Евтушенко и Юрием Трифоновым, Михаилом Талем и Тиграном Петросяном;
- На протяжении многих лет я постоянно встречался с Анатолием Тарасовым, Виктором Тихоновым и Александром Гомельским, Всеволодом Бобровым и Эдуардом Стрельцовым, Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым. С кем-то из них меня связывала дружба, с кем-то разделяла вражда. Со Львом Яшиным, Борисом Майоровым и Валентином Ивановым нас сблизила совместная работа над их книгами;
- Я побывал в комсомоле и в партии. Ездил за границу, как корреспондент и как турист, наблюдал за тем, как ведут себя там и чем занимаются мои коллеги, спортсмены, спортивное начальство, прикрепленные к командам люди со стороны, именовавшиеся официально «замами руководителя делегации», а в просторечии Василь Василичами;
- В 78-м я эмигрировал в США. Здесь живу 20 лет, работаю на «Радио Свобода», которое в первое мое американское десятилетие называли в СССР «вражеским голосом», а теперь в России, в самом центре Москвы, открыт его филиал. Другая моя служба — московская газета «Спорт-экспресс». В ней — сотрудничество с людьми, многие из которых десять лет назад не рискнули бы на людях кивнуть мне при встрече;
- В Америке я успел открыть три русскоязычные газеты. Все они умерли, задавленные бедностью, но прежде

чем погибнуть, успели свести меня со ставшими позже кумирами читающей России Сергеем Довлатовым и Юзом Алешковским, да и еще многими любопытными личностями.

Выслушав меня, кто-то из членов суда, возможно, заметил бы скептически:

— Не оригинально. Пережили войну и эвакуацию, занимались юриспруденцией и журналистикой, уехали в эмиграцию миллионы. И у каждого среди знакомых отыщется обладатель звучного имени.

— Так-то оно так, — пришлось бы согласиться мне. — Но куда меньше тех, на чью долю выпало все это вместе взятое. А я, по характеру профессии, должен уметь к тому же более или менее складно переносить свои свидетельские показания на бумагу.

Не знаю, насколько убедительным прозвучал бы этот довод для придуманного мною жюри. Но себя я убедил.

Теперь остается сущий пустяк — убедить Вас, дорогой читатель.

Глава I

МАЛЬЧИК ИЗ ПРИЛИЧНОЙ СЕМЬИ

Детская болезнь на всю жизнь

В Америке мне не приходилось видеть таких мальчиков. А в России они попадаются и теперь. Обычно это дети из так называемых приличных семей, чаще — не берусь объяснить почему — еврейских, в которых, как пишут при заполнении «личных листков по учету кадров», «отец — служащий, мать — домохозяйка». Мама с малых лет читает им книжки, водят на детские спектакли, нанимают учителей английского. Но роднит этих мальчиков прежде всего то, что они с малых лет болевают спортом. Хотя не обладают даже намеком на спортивную одаренность. В оптимальном случае из них получаются неплохие шахматисты, чего нельзя сказать обо мне, не дотянувшем и во взрослом возрасте до третьего разряда в этой умной игре. Зато по части спортивной эрудиции им нет равных.

Не знаю, как с другими, но у меня это — следствие допущенного отцом педагогического просчета. Он взял меня, семилетнего, на стадион «Динамо», на матч футбольных сборных Москвы и Киева. Через неделю он свою ошибку усугубил. Мы с ним снова пошли на футбол. Теперь играли московские «Динамо» и «Металлург». Я до сих пор помню результаты обоих матчей. Первый выиграла Москва 6:2, второй — «Динамо» 3:2.

Побывав на стадионе «Динамо», я стал другим человеком. Я просыпался по утрам и ложился спать по вечерам с единственной мечтой снова увидеть моих идолов в бело-голубой динамовской форме — длинноногого и нескладного Михаила Якушина, маленького крепыша Сергея Ильина, рыжеголового Федора Селина, лысого Николая Смирнова.

Я уговорил отца выписать газету «Красный спорт» и, прочитывая ее от корки до корки, расширил и углубил свой спортивный кругозор до масштабов беспредельности. Отныне мне были ведомы не только фамилия, место в команде и достижения каждого футболиста. Я готов был в любой миг назвать наизусть, как таблицу умножения, рекорды штангистов и стрелков, состав распашной двойки чемпионов по гребле, имена сильнейших городошников. Застать меня врасплох, попросив перечислить одну за одной фигуры городошной партии, от «бабушки в окошке» и «колодца» до «змеи» и «заказного письма», не удавалось никому.

Теперь, прозанимавшись спортивной журналистикой сорок лет, я не обладаю и десятой долей того запаса цифр — метров, килограммов, секунд, — какой крепко сидел в мозгу у меня и у таких же, как я, сумасшедших — сраженных наповал любовью к спорту младшеклассников, лишенных мускулов и не подававших никаких надежд на собственное спортивное будущее.

Если бы мои родители могли предвидеть, во что выльется легкомысленный шаг отца, не бывать бы мне на тех футбольных матчах. И, вполне допускаю, совсем по-иному сложилась бы моя жизнь. Другой вопрос, хуже или лучше, но — не так.

Пройдут десятилетия, я получу высшее образование, обзаведусь семьей, поступлю в «Советский спорт». Но родители (точно как в анекдоте, где жена говорит мужу: «Пойди посмотри, что делает Сема, и скажи ему, чтобы немедленно прекратил») не перестанут ежедневно предостерегать меня от поступков, казавшихся им легкомысленными. А у меня в ответ будет один, на все случаи жизни неопровержимый, аргумент:

— Когда-то вы жаловались на то, что сын, вместо того чтобы строить дома из конструкторов и решать задачки из «Занимательной арифметики», разбазаривает время попусту на чтение «Красного спорта» и болтовню о футболе. Но теперь те потери возвращаются мне в виде любимой профессии, интересной жизни и возможности помогать вам.

Однако вообразить, что из страсти их чада-болезньщика получится что-нибудь путное, они, конечно, не могли.

Свой второй школьный год я начал в новой школе, рядом с домом, в который мы переехали. Моей одноклассницей оказалась девочка образцово-показательная во всех отношениях, круглая отличница, на уроках тянувшая руку столько раз, сколько задавала учительница вопросов классу, — дочь директора школы Нина Рогова. Ее отец по каким-то признакам увидел во мне достойного партнера Нины по тихим играм, познакомился с моей мамой, пригласил нас домой. Мама была крайне польщена и, чтобы укрепить отношения со школьным начальством, наняла мне ту же частную преподавательницу французского языка, что занималась с директорской дочкой.

Первый наш урок прошел благополучно, ко второму я даже приготовил домашнее задание. А в день третьего на «Динамо» был футбольный матч. Француженка, понапрасну взобравшаяся пешком к нам на пятый этаж, обиделась и предупредила, что, если такое повторится, больше не придет. На ее и родителей беду футбол был и в следующий раз. Я снова сбежал с урока. На том мое франкоязычное образование завершилось. Вот и судите, были ли у моих родителей основания радоваться увлечению сына?

Впрочем, одно обстоятельство частично оправдывало в их глазах мою бессмысленную страсть. Они спокойно отпускали меня гулять одного, не боясь, что сын придет домой с синяками, кровоподтеками и прочими увечьями, приводящими в ужас всех мам-домохозяек.

Наш дом № 7 по 5-й Тверской-Ямской состоял из двух длинных пятиэтажных зданий, разделенных садиком с песочницами и лавочками для нянь, прогуливающих своих питомцев. Позади второго здания был двор, который назывался «задним». Там, прислоненные к оставшейся от какого-то давно рухнувшего сооружения кирпичной стене, лежали бревна, которые дворники распиливали, раскалывали и, превращенные в дрова, таскали в домовую котельную.

На этих бревнах, или, на местном наречии, «на дровах», ежедневно сходилась дворовая аристократия — парни 15—16 лет, шпана, будущее население тюрем и лагерей. Один, по прозвищу Плющ, приносил гитару и напевал в ее сопровождении блатные песни. (Более полувек спустя мой друг Алексей Козлов подарил мне кассету с этими песнями, их поют он и Андрей Макаревич.) Остальные слушали, играли в «расшибалку», или «пристенок», на деньги, беседовали о рыночных ценах на голубей, словом, коротали время в ожидании, пока наберется достаточно народу, чтобы разделиться на две команды, сложить одежду в четыре стопки, обозначившие штанги двух ворот, и ввести мяч в игру.

Отправляя своих детишек на прогулку, с нянями или без, мамы строго наказывали на задний двор носа не совать — там и драки, и мат, и отнять что-нибудь из вещей и даже ножиком полоснуть могут; и вообще, задний двор — вместилище самых ужасных пороков.

Из моих сверстников и ребят немного постарше вход туда не был воспрещен только мне. Не воспрещен ни домашними, ни атаманами двора. Они, атаманы, меня уважали. Газет никто из них, понятно, не читал, и я служил им источником информации о результатах матчей, о забивших голы, о том, кто играет завтра. Приступая к футболу, кто-нибудь из их главарей — Жирок, Аркан или Микада (в конце слова не *о*, а *а*, и оно склонялось: «Микаду не видел?») — командовал:

— Становись на защиту.

Ради этой команды я и ходил туда с не меньшей аккуратностью, чем в школу. И даже покуривал с ними, спрятав папиросу в кулаке. И бывал горд, когда слышал: «Женька, оставь покурить». Я отрывал зубами конец длинного бумажного мундштука «Беломора» или «Прибоя», сплевывал его на землю, а чинарик протягивал просителю.

Однажды зимой я вот так покуривал, сидя на дровах в обществе моих друзей и покровителей, и вдруг увидел пересекающую двор учительницу из нашей школы. От испуга я спрятал горящий окурочек в карман зимнего пальто. Учительница ничего не заметила, а я об окурке и не вспомнил бы, если бы не ощутил, что бедру моему ста-

ло горячо. Я опустил руку в карман. Папиросы там не было. Зато пальцем я нащупал маленькую дырочку. Расстегнув пальто, я с ужасом увидел другую дыру, огромную — в дымящихся подкладке и ватине. Дома я изложил наскоро придуманную версию: какие-то хулиганы из соседнего дома кинули мне в карман горящую спичку. Приехавший на побывку из Ленинграда старший брат, курсант военно-морского училища, сказал маме:

— Да он просто курит.

В ответ она зло отрезала:

— Замолчи! Наш Женечка никогда не обманывает.

Уважение ко мне великовозрастных друзей зашло так далеко, что они стали здороваться с моими родителями, а один, Микада, даже изредка к нам заходил. Это бывало в дождливые дни, когда дворовый футбол отменялся, и я, призвав соседских мальчиков из интеллигентных семей — Леву Лапидуса и Сашу Герштейна, играл с ними в настольные игры — шахматы, «подкидного», маленький бильярд, фантики — или вырезал из «Пионерской правды» очередную главу научно-фантастического романа Беляева «Пылающий остров», который печатался там из номера в номер с продолжением.

Но едва распогоживалось, я по властному зову сердца мчался во двор. По дороге я мечтал: сейчас меня поставят центром нападения, я забью гол, и с этого часа начнется мое восхождение, которое когда-нибудь завершится приглашением в московское «Динамо». Но явившись к месту футбольной битвы, я рад был услышать: «Становись на защиту», — лишь бы довелось хоть разок ударить по скверно накачанному и кривобокому дерматиновому мячу.

С моими компаньонами по дворовому футболу, которые так вежливо раскланивались с ними, а их сына дружелюбно поздравляли с победой «Динамо», родители безбоязненно отпускали меня на футбол настоящий.

В назначенный час мы собирались «на дровах», шли на трамвайную остановку и, дождавшись своего — 23, устраивались на подножке одного, обычно заднего, из его переполненных вагонов. У стадиона человеческие гроздьи с подножек осыпались, и дальше трамвай двигался по Ленинградскому проспекту пустой.

Дома я получал рубль на билет, но никогда его по назначению не тратил. Не из соображений экономии. У моих спутников не было и рубля. А бросить их у ворот мне было, сами понимаете, неудобно. И мы отправлялись на поиски удачи всей компанией. Тропинка к счастью была нам известна. Она вела к тому месту между Северными и Восточными воротами, где два толстых стальных прута ограды чуть-чуть раздвинул какой-то безымянный богатырь. Образовавшегося пространства хватало для того, чтобы между прутьями мог пролезть не только ребенок моего возраста, но и не слишком щуплый подросток. Иногда, правда, мы заставляли у своей лазейки конного милиционера, и тогда приходилось ожидать поодаль, когда он тронет лошадь шпорами и отправится осматривать другие участки вверенного ему отрезка ограды.

Проникнув на территорию стадиона, мы разбредались. Дальше каждому предстояло самостоятельно пробираться на трибуну — у всех входов дежурил второй контроль, снова проверявший билеты.

Мои подельники обычно шли на таран. Объединившись с дюжиной себе подобных, они устраивали давку у турникета, задние напирали на передних, контролеры под натиском превосходящих сил противника временно отступали, и трое-четверо успевали просочиться до прихода милицейского подкрепления. Неудачившие переходили ко входам на другие трибуны.

Для меня эта дорога была заказана: меня, малолетку, просто-напросто раздавили бы. Я шел своим путем. В толпе обладателей билетов я выбирал приглянувшуюся мне супружескую пару и вежливо просил: «Проведите, пожалуйста». Если не с первого, то со второго раза прием срабатывал. Мои благодетели брали меня за руку и вводили на трибуну. Там я их благодарил и шел искать свободное место или, в крайнем случае, присаживался на лестничную ступеньку. Изредка нас, безбилетников, оттуда сгоняли, но со стадиона не выдворяли. Осечка вышла у меня один-единственный раз. Мы уже миновали контролера, когда милиционер, видно, заметивший нас в тот момент, когда я кланчил у незнакомых людей со-

гласия сыграть роль моих папы и мамы, отделил меня от них и молча отвел в отделение.

Это было на четвертьфинальном матче Кубка СССР между московским «Спартаком» и ленинградским «Сталинцем». Сперва меня посадили на стул в коридоре и велели не отлучаться. Потом вызвали, спросили имя, фамилию и адрес, велели идти домой, сообщить о своем поведении домашним и отпустили. Выйдя, я увидел, что нахожусь на Южной трибуне, и успел еще посмотреть второй тайм.

Нельзя сказать, что дворовая жизнь и походы на «Динамо» совсем отвлекли меня от учения. До пятого класса в моем школьном дневнике были только «пятерки». А в пятый класс я пошел, оказавшись далеко от дома на 5-й Тверской-Ямской, от Москвы, от футбола.

Почти заграничная поездка

В первых числах июня 41-го года мы с мамой поехали в гости к брату. Он, окончив военно-морское училище, стал лейтенантом и получил назначение на подводную лодку, которая базировалась в латвийском порту Лиепая. Только год назад Латвия стала советской республикой, и для въезда туда лицам, не прописанным на ее территории, требовались пропуска. Брат прислал нам вызов, мама заполнила нужные анкеты, и через некоторое время разрешение было получено.

Перед пересадкой на другой поезд мы несколько часов провели в Риге. Мне уже исполнилось 12 лет, я кое-что понимал и был, как и мама, поражен внешним видом латвийской столицы и ее населения. Мама не могла оторваться от сверкающих магазинных витрин, с которых на нас глядели невиданной красоты и разнообразия платья, обувь, пальто, костюмы, шляпы, цветы, столовая посуда. Ничего подобного она за 46 своих прожитых к той поре лет не видывала.

По центральным улицам бродили нарядные мужчины и женщины. В ресторанах, полных среди бела дня народу, царило веселье. Из-за дверей неслась музыка. При-

близительно так выглядела заграница в описании начальника моего отца, знаменитого директора Краматорского завода Кирилкина, который часто ездил в Германию, а позже был посажен и, по слухам, расстрелян за вредительство.

Мы успели завернуть на рынок, раскинувшийся у вокзала. Он был на одну половину открытый, на другую — укрыт огромным стеклянным куполом. Мне больше всего запомнились возы и над ними — горы: над одними — цветов, над другими — копченой салаки. Она издавала запах, от которого кружилась голова. Мы купили полкило для пробы и потом, уже в Лиепе, не могли отказать себе в удовольствии по утрам лакомиться на завтрак этой прежде неизвестной нам рыбкой.

Таких утр было шестнадцать...

Небольшая провинциальная Лиепая была лишена рижского шика. Зато имела бесконечный, покрытый мелким белым песком пляж, вдоль которого росли высокие, стройные, распространявшие аромат хвои сосны. Балтийское море уже достаточно нагрелось, чтобы купаться. С пляжа мы шли обедать в прибрежный ресторан, где готовили не хуже, чем дома. Вечером гуляли. Маму притягивал к себе каждый промтоварный магазин. Я, пока она что-то примеряла, поджидал ее на улице.

Кому война, кому мать родна

На семнадцатое утро я проснулся часов в девять и был огорошен вопросом:

— Неужели ты ничего не слышал? На рассвете город бомбили.

От этого сообщения я расплакался в голос.

— Почему ты меня не разбудила? — ныл я, размазывая по щекам слезы. — Я проспал всю войну!

— Квартирная хозяйка говорит, что это, наверно, маневры, — пыталась утешить меня мама. Но я продолжал реветь: маневры, конечно, не война, но тоже неплохо.

— Ну а если война, — заключила мама, — ты еще все услышишь и увидишь.

Она как в воду глядела.

О том, что пролетевшие над Лиепайей бомбардировщики были немецкими и что бомбы, разрывы которых разбудили маму, были настоящими, мы узнали не сразу. Попытки дозвониться до воинской части, где служил брат, не увенчались успехом. В Лиепаве тогда не было автоматических телефонных станций. Подняв трубку, вы слышали голос телефонистки, называли нужный вам номер, и она отвечала, свободен он или занят. С утра 22 июня местные телефонистки перестали реагировать на просьбы, произнесенные по-русски. Они молча отключались.

Оставалось ехать в гарнизон, и мы вышли на улицу. Она выглядела, как московские улицы по праздникам: народ высыпал из домов. Те, кто почему-либо не мог выйти, стояли у окон и на балконах своих квартир и радостно приветствовали толпу. Мама хотела спросить у милиционера, что происходит, но и он притворился, что не понимает по-русски.

Впопыхах мы забыли позавтракать, и мама, для которой не было на свете причин, по которым ее ребенок остался бы некормленным, повела меня в ресторан у пляжа, где мы обычно обедали. Свободных столиков не было. Да и самих столиков тоже. Их место заняли банкетные столы, заставленные закусками и фруктами. Над ними возвышались черные с серебряными куполами бутылки шампанского.

— Ресторан закрыт, — сказал швейцар, с которым мы успели за полмесяца познакомиться. — Банкет.

— По какому случаю?

— Видите ту женщину? — и он показал пальцем на немолодую нарядную даму, в которой мы узнали вчерашнюю официантку. — До прихода ваших войск она была хозяйкой ресторана. Теперь, когда придут немцы, снова станет.

Хрупкая надежда мамы на то, что утренняя бомбардировка — какое-то недоразумение, рассеялась окончательно.

Трамваем мы добрались до гарнизонной проходной. Брат тоже — и по той же причине: говорящим по-русски не отвечали — не мог до нас дозвониться. Он велел нам

сбирать пожитки — поздно вечером за нами, как и за другими семьями военнослужащих, приедет автобус и отвезет нас к поезду. Мы простились.

То был последний раз, когда я видел брата — сына матери от первого брака. Два или три его письма нам переслали в один из пунктов нашей эвакуации — нынешнюю Вятку, которая тогда называлась Киров. Потом почтальон принес казенную открытку: «пропал без вести»...

Но это было несколькими месяцами позже. А тогда, придя домой после свидания с братом, мы услышали по радио окончание речи Молотова — той, в которой говорилось о «вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз» и о бомбежке нескольких советских городов. Лиенаи в этом перечне не было. Да она и не подверглась бомбардировке. Минуя ее, немецкие самолеты, видно, сбросили часть своего груза за пределами города.

Автобус приехал глубокой ночью и отвез нас на пустырь за городом, где уже скопились сотни, а может быть, тысячи людей — женщин и детей — со своим скарбом. По траве были разбросаны столы, стулья, кровати, шкафы, комоды, тумбочки. К каждой вещи был прибит жестяной кружочек с выдавленным инвентарным номером. Это жены военнослужащих, которым было строго-на-строго приказано взять в дорогу только самое необходимое, прихватили выданную в части казенную мебель.

Подали состав — товарные теплушки без нар, с открытыми битым кирпичом полами, и толпа ринулась на штурм. Мы со своими четырьмя чемоданчиками оказались в бедственном положении: среди мебельных гор нам негде было даже присесть. Правда, когда предотъездная суета улеглась, мы кое-как примостились на полу у вагонной стенки.

Наконец поезд наш тронулся. Дети, которых было в вагонах больше, чем взрослых, понемногу перестали реветь, кормящие матери упрятали груди под кофты, гул сменился храпом.

Под утро всех разбудили громкие гудки паровоза. Они были отрывистыми, как телефонный сигнал «занято», и пронзительными, как рыдания младенца. Они не умолкали так долго, что, казалось, сирену включили навечно.

Со сна обитатели поезда не сразу смекнули, в чем дело. А поняв, что это воздушная тревога, кинулись из вагонов врассыпную. Все тащили за собой детишек — кого на руках, кого за руку. Некоторые умудрились прихватить кое-что из вещичек: вдруг не удастся вернуться. Встретились все в маленькой рощице неподалеку от железнодорожного полотна, и когда новый гудок паровоза, теперь уже непрерывный и означавший сигнал отбоя, позвал нас обратно, продрогшие и промокшие от росы, мы разбрелись по вагонам и расселись по своим местам. Путешествие продолжалось.

С такими паузами, возникавшими каждые несколько часов, мы дотащились до границы между Латвией и Россией — если память мне не изменяет, до города Даугавпилса, который тогда был Двинском. Там паровоз отцепили от переднего вагона, прицепили к заднему, и он потянул нас в обратном направлении. Выяснилось, что дороги дальше, в глубь страны, нет: рельсы разрушены бомбардировкой, и нашему эшелону остается попытаться счастья, двигаясь окружным путем.

Ехали мы, минуя станции и делая остановки в чистом поле. Запасы продуктов истощились даже у самых предусмотрительных пассажиров. Выручали крестьянки из деревень, которые мы проезжали. Как они угадывали места наших привалов, не знаю, но являлись к поезду с круглыми буханками серого хлеба и большими бидонами молока, которое отмеривали литровыми алюминиевыми кружками. Это решало наши продовольственные проблемы.

Денег на пропитание, у нас с мамой во всяком случае, хватало. Каждый из пришедших на Белорусский вокзал проводить нас вручал маме конверт с деньгами и списком вещей, которых в Москве не достанешь и которые она должна поэтому им привезти из еще почти заграницы. Поручения не были выполнены и на треть — мы ведь собирались провести на Балтийском взморье все лето. Родители потом еще года два выплачивали долги своим родным и знакомым, прельстившимся латвийским дефицитом.

В Россию мы прорвались на исходе первой недели путешествия и уже предвкушали, как встретимся с, должно

быть, изверившимся увидеть нас живыми отцом, как прием душ и ляжем спать на мягкие матрасы, покрытые белыми простынями, под одеяла с пододеяльниками.

Но не тут-то было. От Клина, разделенного с Москвой полутора часами езды, наш состав повернул на Калинин (нынешнюю Тверь), затем на Рязань. И потом делал остановки, как пишут в расписаниях поездов, «далее везде», все отдаляя и отдаляя нас от родного города. Выяснилось, что Москва закрыта для въезда, и, чтобы попасть в нее, нужен специальный пропуск.

Пока мы колесили по городам и весям, расширяя круг, центром которого была Москва, эшелон пустел. Москвичами в нем были только мы. Жители других мест сходили на станциях, откуда могли добраться уже нормальными пассажирскими поездами до своих городов, если те не заняты немцами. А что было делать нам? Мама на каждом вокзале разыскивала какого-нибудь начальника и размахивала перед его носом паспортом с московской пропиской. Одни отвечали сухо, другие сочувственно, но смысл всех ответов сводился к тому, что они выполняют приказ сверху. Мы возвращались в свою теплушку, поезд трогался и вез нас дальше в неизвестность.

Когда мы остановились в Рязске, мама сунула мне в руку два чемодана, сама взяла два других, и мы спустились с подножки на перрон. Дождавшись, когда товарняк, ставший нам почти домом, отправился дальше, мы отнесли свой багаж в здание вокзала. И провели в нем двое суток, ночуя на вокзальных скамейках. Дни коротали в каких-то приемных. Одному начальнику — капитану железнодорожной милиции — мы, видно, так осточертели, что на третий день он лично выписал нам пропуска и помог отнести вещи к бесплацкартному вагону следовавшего на Москву пассажирского поезда.

Было это почти 60 лет назад, но я поныне помню фамилию нашего благодетеля — Депутатов. Помню, может быть, еще и потому, что очень уж она редкая. Мне, во всяком случае, его однофамильцев встречать не приходилось.

После нашего отъезда из Москвы прошел месяц. Мама и раньше увозила меня летом из города, в котором я

родился и вырос, на дачу, на Черное море. Всегда он оставался таким же, каким был месяц или два назад. Теперь я его узнавал и не узнавал.

Так выглядит пораженный тяжелой болезнью давний знакомый. Те же цвет и разрез глаз, только сами они потухли. Те же черты лица, только оно стало серым и морщинистым. Та же фигура, только плечи поникли и голова дрожит.

Мы ехали домой по Садовому кольцу. Залитые июльским солнцем улицы и площади лишь подчеркивали сумрачность на лицах и в походках людей. Толпа поредела. Исчезли праздношатающиеся. По тротуарам двигались торопливые прохожие, таща тяжелые сумки и авоськи. Продуктовые карточки еще не ввели, и из дверей магазинов вываливались на улицу длинные хвосты очередей.

По мостовым маршировали колонны. В одних шли солдаты, одетые в грязно-зеленые хлопчатобумажные, перетянутые брезентовыми поясами гимнастерки и нелепые, того же цвета, не по росту галифе, с пилотками на головах, обутые вместо сапог в бесформенные черные ботинки, а над ними до колена — черные матерчатые обмотки. В других ополченцы — в штатском, с винтовками за плечами. Те и другие пели строевые песни: «Броня крепка и танки наши быстры», «Эх, махорочка, махорочка», «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет».

Запевала начинал:

*Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Море света над толпой.
Эй, товарищ, эй, прохожий,
С нами вместе песню пой!*

Остальные громко, но нестройно, лишенными бодрости голосами подхватывали:

*Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,
Страна моя, Москва моя,
Ты самая любимая!*

Пели все. Шествовавший чуть в стороне командир внимательно следил за тем, чтобы никто не отлынивал.

Окна домов изуродовали перекрестившие их белые бумажные ленты, которым надлежало оберегать стекла от взрывной волны при бомбежках. У подъездов и на лестничных площадках стояли большие бочки с песком для тушения зажигательных бомб.

По вечерам город становился пустым и черным. Были введены комендантский час, запрещающий выходить на улицу после, кажется, десяти вечера без пропусков, и затемнение. За соблюдением обоих правил следили военные патрули. Они останавливали на улицах каждого, проверяли пропуска, и тех, у кого не было или показавшихся подозрительными, доставляли в комендатуру. Если из небрежно задрапированного окна пробивалась полоска света, владелец комнаты подлежал административному наказанию.

Никого из своих дворовых приятелей я не встретил. Узнать, куда они девались, было не у кого. Да и сам дом изрядно опустел. Кто уехал от бомбежек к своим деревенским родственникам, кто эвакуировался с отцовскими предприятиями.

Недолго пробыли в Москве и мы. Отца направили из московского главка в стройтрест города Молотовска, переименованного позже в Северодвинск. Вскоре стройка была завершена, и трест перебазировался в поселок Турьинские Рудники Свердловской области, позже ставший Краснотурьинском. А мы, пока там сооружали жилища для рабочих и служащих, остановились в Кирове, теперешней Вятке, у тетки, инспектора Наркомпроса, который, как и все крупные учреждения, покинул Москву.

В Молотовске я пошел в 5-й класс, в Вятке его окончил. В Турьинске проучился еще полтора года. Оттуда зимой 44-го мы возвратились в Москву.

Эвакуация не оставила у меня добрых воспоминаний. Взрослая часть местного населения недолюбливала нахлынувших с запада пришельцев, которые вынудили аборигенов потесниться в своих домах и квартирах (по-тогдашнему — уплотниться). Незваных гостей винили в том, что магазинные очереди удлинились, рыночные цены

подскачили, карточки стали вместо масла отоваривать лярдом, вместо мяса — мороженой рыбой, вместо яиц — яичным порошком, вместо сахара — черным и густым, как солярка, повидлом.

Наши сверстники, по-своему выражая общее отношение к приезжим, нещадно били нас при любой возможности. Нас, приезжих, было в каждом классе понемногу. Мы тянулись друг к другу и после уроков собирались для решения общей задачи: как улизнуть от поджидавшей нас у школьных дверей расправы. Иногда удавалось выйти на улицу с подвернувшимся, на счастье, учителем или через запасной выход. Чаще — нет. В эвакуации судьба с лихвой рассчиталась со мной за синяки, недополученные на московском дворе.

Осенью 43 года на уроке в турьинской школе классная руководительница объявила, что по решению ЦК ВЛКСМ в комсомол теперь будут принимать не с 15, а с 14 лет, и попросила желающих подавать заявления. После перемены ей вручили их четверо — именно столько было в классе нас, эвакуированных. Комсомольское собрание проголосовало за всю четверку, и в положенный день мы совершили пеший поход в находившийся в 12 км от нашего поселка Карпинск — там располагался горком.

Зимой 44-го отец, бывший уже в Москве, прислал нам вызов. На том наша эвакуация закончилась.

Отец встретил нас скверными вестями: пока мы отсутствовали, квартиру на 5-й Тверской-Ямской занял человек с большими связями, и отец проиграл судебную битву за нее. Министерство цветной металлургии, где он служил, предоставило нам комнату на Большой Калужской улице (нынешний Ленинский проспект), в двухэтажном разваливающемся доме рядом с Калужской (теперь — Октябрьской) площадью, напротив входа сразу в три института — Стали, Горный и Нефтяной. Этот дом и все вокруг него давным-давно сломали. Там, где они стояли, в 60-е годы построили длинное блочное здание с магазином для новобранцев на первом этаже.

Считалось, что нам предоставили не одну комнату, а две. Вторая, без окон, напоминала формой гроб. В ней помещалась моя кровать, занимавшая все пространство

комнаты, и, отправляясь спать, я должен был перелезть через спинку кровати.

В квартире, кроме нас, жила женщина по имени Тоня с двумя маленькими детьми, ее муж недавно погиб на войне. Тоня не скрывала раздражения, вызванного нашим вселением. Едва кто-нибудь из нас открывал дверь, чтобы выйти в коридор, где было не разминуться двоим, она демонстративно захлопывала свою и принималась шумно бранить детей, срывая на них злость, вызванную появлением нежеланных гостей.

Мы ее не осуждали. В крошечную кухню пришлось втиснуть второй стол, на котором появились примус и керосинка, а в коридоре, рядом с ее, наши чурки для комнатной «буржуйки» с черной трубой, протянувшейся под потолком через всю комнату и выходявшей в форточку. Над чурками прибили гвоздь и повесили напротив Тониного наше корыто, которое все, не исключая Тони, обязательно задевали головой.

Ванной комнаты, разумеется, не было. Водосток в уборной давно вышел из строя, и шедшему туда приходилось захватывать с собой ведро воды. Ее набирали из единственного крана, который находился в кухне над проржавевшей раковиной.

Женщины в конце концов поладили, мирно готовили на своих коптящих приборах обеды, одалживали друг другу постное масло, соль, макароны. Иногда, правда, происходили ссоры, и дипломатические отношения прекращались на день-другой. Их вызывали пустяковые поводы. На самом же деле для обеих эти вспышки служили нервной разрядкой от свежих душевных ран, нанесенных потерями близких на войне, тяготами жизни — хроническим недостатком дров, денег, продуктов, элементарных удобств, изредка пробегавшими по кухне обнаглевшими от безнаказанности крысами, которых обе смертельно боялись.

После таких стычек мама, придя в нашу комнату, обзывала Тоню «дрянью» и «стервой». Я в ответ молчал, но тайно принимал сторону соседки. Подозреваю, что отец тоже. Не из чувства справедливости. Просто Тоня была молода и хороша собой, ей шли даже оставшиеся после мужа темно-серые трикотажные кальсоны, кото-

рые она носила вместо чулок. Словом, Тоня обладала качествами, многое извиняющими в глазах мужчины любого возраста.

Отцу, единственному в семье работнику, полагалась так называемая литерная карточка, маме — иждивенческая, мне — детская. Тогдашних продуктовых норм я не помню. Помню только, что нам постоянно не хватало хлеба.

Два раза в месяц отцу выдавали в Министерстве литровую бутылку 90-градусного спирта. И два раза в месяц, упрятав ее в большую с молнией сумку, мама ехала на Ярославский вокзал, а оттуда — электричкой в подмосковный город Пушкино. Ей уже было за 50, известие о гибели брата вызвало у нее кровоизлияние в один глаз, который перестал видеть, и я обычно сопровождал ее в этих поездках.

Рынок официально именовался колхозным. Торговать разрешалось лицам, предъявившим справки о том, что они занимаются сельским хозяйством — если не в колхозах, то на приусадебных участках. Продавать можно было только продукты животноводства и земледелия со своего приусадебного участка или полученные за работу в колхозе, а промтовары — ни в коем случае. Шнырявшие по рынку милиционеры должны были вылавливать нарушителей.

Впрочем, из этих самых нарушителей состояла добрая половина толпы. Тысячи людей месили покрывшую территорию рынка горчичного цвета грязь, густую, как сметана. Инвалиды войны легко узнавались по солдатским шинелям и бушлатам, культям, костылям, по ассортименту предлагаемого ими товара: белые полотняные солдатские подштанники, которые снизу завязывались тесемками, а сверху застегивались черными металлическими пуговицами, стоптанные кирзовые сапоги, заплатанные гимнастерки без погон. Свое барахло они не прятали — милиция не трогала защитников родины. Каждую сделку они шли обмывать к пивному ларьку. Там, кроме бочкового пива, продавали водку в разлив. Запив, как поется в песне тех лет, свои боевые сто грамм кружкой пива, многие выбирали тут же, на рынке, место посуше, подкладывали под голову непроданные вещи и сразу засыпали, о чем свидетельствовал их могучий храп.

Другая категория — мужчины в телогрейках с потертыми чемоданчиками в руках. Все знали, что в чемоданчиках — инструмент. Они отводили клиентов за ворота и там показывали свое добро. Они тоже перед уходом с базара заворачивали к ларьку, но пили умеренно, видно, помня, что дома их ждут с деньгами.

Основную массу продающих составляли женщины. Из их хозяйственных сумок, вроде маминой, торчали кончики разрисованных платков, ковриков, скатертей. Продав привезенное, представительницы прекрасного пола шли к рыночным прилавкам, где заполняли опустевшие сумки овощами.

Уличив торгующего, милиционеры гнали его с рынка, но от более суровых санкций воздерживались. Серьезными неприятностями грозил лишь мамин промысел, поскольку это было нарушение государственной монополии на торговлю спиртным. Но она ни разу не попала. Должно быть, потому, что сбывала бутылку быстро. Хлеб — две-три буханки — мы покупали в Москве на улице. Бойкая торговля им из-под полы шла у каждой булочной.

Зарплаты отца было недостаточно, чтобы сводить концы с концами. Источником пополнения семейного бюджета служили сохранившиеся с довоенных лет серебряные ложки и подстаканники, хрустальные вазы, мамыны золотые безделушки с драгоценными и полудрагоценными камнями. Все это мама относила в комиссионный магазин.

Мы считали, что живем не хуже и не лучше других. Я, наверное, так и не избавился бы от заблуждения, что война поставила в равное положение всех, если бы попал не в 12-ю, а в какую-нибудь другую школу.

Дом правительства

В 12-й я оказался по стечению обстоятельств. Седьмые классы всех окрестных были переполнены. А над этой, которая и теперь находится там, где была, в начале Толмачевского переулка, и до которой от нашего тогдашне-

го дома и теперь четыре троллейбусных остановки, или двадцать минут ходьбы, шефствовало министерство отца. Отказать служащему учреждения, которое летом будет ремонтировать школьное здание, директор не мог.

Учителя математики, физики и литературы со мной побеседовали и вынесли решение: хотя я и изрядно отстаю по их предметам, но не настолько, чтобы отправлять меня обратно в шестой класс.

Толмачевский переулок находится рядом с Большой Полянкой. А у ее истоков, по другую сторону Малого Каменного моста, — кинотеатр «Ударник» и протянувшиеся до набережной Серафимовича серые и мрачные многоэтажные корпуса-близнецы, объединенные общим названием: Дом правительства. Четверть века спустя он станет местом действия романа Юрия Трифонова «Дом на набережной». Все мальчишки школьного возраста из этого дома учились у нас, в 12-й.

Среди 32 моих одноклассников были Валька Любимов — сын министра торговли СССР, Валерка Пекшев — сын зама председателя Совета министров РСФСР, Олег Лысенко — сын академика и любимца Сталина, Генка Щаденко — сын генерал-полковника и героя Гражданской войны, Ленюк Карпинский — сын члена РСДРП с 1898 года и автора книги «Как управляется наша страна», по которой мы изучали предмет «Конституция СССР», Стефик Карпов — сын председателя Государственного комитета по делам русской православной церкви. О сыновьях чинов пониже, но достаточно важных, чтобы жить в Доме правительства, я уже не говорю. (Не удивляйтесь, что я не упоминаю дочерей — в мое время было раздельное обучение.)

На большой перемене все мы доставали свертки с домашними завтраками, и по классу разносились давно забытые мною запахи ветчины, буженины, сырокопченой колбасы. Эти деликатесы из закрытого распределителя, который находился тут же, на набережной Серафимовича, приносили на завтрак ребята из Дома правительства.

По вечерам мы часто собирались друг у друга — поболтать, поиграть в карты, обсудить достоинства и недо-

статки девочек из соседней школы № 19. Мои новые соученики жили в многокомнатных отдельных квартирах, делали уроки в своих детских, за большими письменными столами. В пятикомнатной квартире любимовского папаши-министра была даже специальная бильярдная, с настоящим столом, покрытым зеленым сукном, с костяными шарами и удобным для игры освещением.

Большинство учившихся со мной жителей дома на набережной были хорошими парнями. Они не чванились, не кичились положением своих пап. Были среди них отличники и двоечники, гуляки и домоседы, горлопаны и тихони. Мы, дети рядовых родителей, покуривали самокрутки, отсыпая себе щепоти из пачек с табаком, который отцам причитался по карточкам. Жившие в Доме правительства добывали свое курево тем же способом, только это был не табак, а толстые ароматные папиросы «Казбек» и «Северная Пальмира». Никто из них не прятал папиросных коробок и всегда угощал все курящее общество.

В день моего поступления в школу первым уроком была математика. Учительница вошла в класс, раскрыла журнал и, как положено, приступила к переключке. Дойдя до фамилии новичка, она на секунду умолкла, с удивлением произнесла: «Рубин», в ответ на мое «здесь» подняла глаза от журнала и вымолвила нараспев: «Женечка...» Я-то узнал ее сразу. Это была Татьяна Михайловна, мать моего друга и одноклассника по вятской эмиграции. Раздался дружный, в 32 глотки хохот, и с того часа я ходил в «Женечках» до выпускного вечера.

Я вспоминаю об этой неожиданной встрече в Москве в связи с историей, тогда меня потрясшей, но, как стало ясно позже, совсем не исключительной для того времени.

Сын Татьяны Михайловны Игорь Гармонов учился не у нас, в 12-й, а на Большой Якиманке, в 7-й. Я проходил мимо нее, если возвращался домой пешком. Игорь частенько поджидал меня, и дальше мы шли вместе. Гармоновы и жили около нас — на пересечении Калужской площади и Шаболовки.

Однажды я, как мы условились, забежал за Игорем — вместе ехать в баню на Мытной. У двери в их комму-

нальную квартиру стоял человек в черном кожаном пальто. Он уже нажал на дверной звонок. Игорь вышел, держа в руке чемоданчик с банными принадлежностями. На мужчину он и не взглянул. А тот обратился к нему, как к знакомому:

— Мне надо поговорить с тобой наедине.

— О чем?

— По дороге узнаешь.

— Тогда я явлюсь через полчаса, — пообещал я Игорю.

— Не спеши, он так быстро не освободится, — предупредил меня мужчина.

Поздним вечером к нам прибежала бледная и заплаканная Татьяна Михайловна: Игорь исчез. Я рассказал ей о сцене, при которой присутствовал. Она ушла, встревоженная еще больше.

Наутро ее не было в школе. После уроков я ее навестил. По выражению лица и разговору учительницы я понял: она уже что-то знает, но новости у нее скверные. Отведя от меня глаза и явно сочиняя свой рассказ экспромтом, она говорила, что Игорю пришлось срочно уехать с отцом, но он вот-вот вернется.

Он действительно вернулся через неделю, еще неделю просидел дома, а потом пришел в школу, но не в свою, а в нашу и в наш класс, 8-й «Б». И, предупредив, что его сообщение — страшная тайна, за разглашение которой нам обоим не поздоровится, поведал мне обо всем, что с ним после того, как мы расстались, произошло.

В их классе был странноватый ученик по фамилии Кулаков, мнивший себя то атаманом шайки, то предводителем повстанцев и вербовавший избранных себе в сподвижники. Последний пост, на который он себя назначил, — властелин мира. Игоря он произвел в маршалы. Для своей свиты он написал текст присяги, нарушение которой грозило смертной казнью, и издал приказ, требующий держать деятельность организации в секрете. Посвященные и вовлеченные в его дела и проекты одноклассники за глаза издевались над своим вожаком, видя во всем этом довольно дурацкую, но смешную игру, однако в глаза никаких возражений против участия в ней не высказывали.

В один прекрасный день группа сотрудников МГБ явилась на урок и увела Кулакова. А через несколько суток, уже дома, взяли его «маршала». За тем и приходил мужчина в кожанке. Он вывел Игоря на Шаболовку, посадил в легковую машину и отвез на Лубянку. Там у Игоря отобрали пояс и шнурки от ботинок и заперли в одиночной камере, где не было никакой мебели, даже койки. Сама камера была чистой, с аккуратно подметенным полом, на котором Игорь спал.

Три раза в день его кормили и один раз водили на допрос. На допросе спрашивали о Кулакове, об организации, все протоколировали, но не били, не кричали, не обижали.

Отец Игоря, ответственный работник Министерства просвещения, умолил тогдашнего министра Потемкина попытаться выяснить в МГБ (все знали: искать людей следует только там), куда девался его сын, а когда тот выполнил первую просьбу, обратился с другой — включив свои связи члена ЦК, похлопотать о прощении «по младости, по глупости» и вызволении.

Игоря отпустили с миром. Кулаков был осужден, как гласил, по словам Гармонова-старшего, переданным мне младшим, приговор, «за создание террористической организации с целью свержения советской власти и убийства товарища Сталина». При определении ему меры наказания учли возраст преступника и приговорили его не к расстрелу, а к лишению свободы на 15 лет. Ровно столько прожил к тому моменту Кулаков на свете.

Игоря было приказано перевести в другую школу. Татьяна Михайловна добилась, чтобы его направили в нашу, под ее крылышко.

Этот эпизод биографии Игоря Гармонова не отразился на его будущем. Вскоре после окончания войны его отец стал крупным начальником в Госплане РСФСР, получил трехкомнатную квартиру на Народной улице с окнами на Москву-реку и доступ в кремлевский распределитель. Игоря приняли в Институт международных отношений, над входными дверями которого был бы уместен плакат: «Посторонним вход воспрещен».

Мы, близкие приятели Игоря, изредка навещали его и нашу школьную учительницу. Материальный достаток,

просторное жилище, возвращение мужа, которому пришлось ради занятия своего поста оставить очередную пассиву и просить прощения у жены, — все это вместе взятое повлияло на мировоззрение Татьяны Михайловны. Во время одного из наших визитов она тоном, каким преподавала нам на уроках математические аксиомы, сказала: «СССР приближается к коммунизму. Его зримые черты уже ощущаются».

Это был 1947 год, и большинство людей жили впроголодь.

Так получилось, что ближайших школьных друзей Игоря роднил один изъян в анкетных данных — все они были евреями. И после первого же семестра его обучения в МГИМО мы ощутили явное охлаждение к нам семейства Гармоновых и посещали их все реже и реже, пока совсем не перестали.

Знаю, что, окончив институт, Игорь получил направление в посольство какой-то африканской страны. Где-то он теперь?

Благополучный финал этой истории — для тех лет скорей не правило, а исключение. Куда более типична судьба другого моего одноклассника, носившего красивую и редкую фамилию Вепринцев.

Живи и здравствуй в пору, когда мы познакомились, его отец, жить бы и Боре Вепринцеву в Доме правительства. Его отец, ученый-энергетик, участвовал в создании так называемого «Плана электрификации всей страны», или ГОЭЛРО. Но в 30-е годы причастные к этому грандиозному предприятию деятели превратились из соавторов в соучастников — их обвинили во вредительстве и приговорили к долгим срокам заключения. Там Борин отец и умер, а его жену и маленького сына с формулировкой «член семьи изменника родины», или ЧСИР, выслали в Сибирь.

В 44-м им разрешили возвратиться в Москву, дали комнатуху в подвале деревянного дома в переулке между Полянкой и Якиманкой, и Боря поступил в нашу школу. Был он самым малорослым, малокровным и худосочным в классе, зимой носил огромного размера валенки с калошами и голенищами до бедер.

Большинство из нас не сомневались, что после школы пойдут в высшие учебные заведения, но не отягощали себя заботой об их выборе. Одни знали, что попадут в привилегированные — МГИМО, МВТУ или Институт внешней торговли, другие — в какой удастся пройти по конкурсу. Боря, один из немногих, еще в 8-м классе твердо решил, что станет биологом. Он хорошо учился, хорошо сдал вступительные экзамены, и его приняли на биологический факультет МГУ.

Он был второкурсником, когда университет потрясло громкое дело о тайной террористической организации на биофаке. О существовании этой организации Боря мне рассказывал и раньше. Только никакого отношения к политике она не имела. Ребята собирались, чтобы поговорить о своей любимой науке, иногда критиковали постановку обучения в МГУ, делились идеями о том, как ее усовершенствовать.

Словом, это было что-то вроде НСО — научно-студенческого общества, обязательного в каждом вузе. Но те функционировали под наблюдением дирекции и деканата, профсоюза и парторганизации. А главное, были официально зарегистрированы. Та же, что учредили Боря Вепринцев и его единомышленники, где каждый говорил, что думал и что хотел, где докладам не предшествовало обязательное вступление о марксистско-ленинском учении как научной базе биологии, подрывала устои нашего могучего государства.

Всех подпольщиков — кроме тех, кто донес о деятельности организации, — посадили. Боре дали 15 лет. Узнав об этом, я с ним мысленно распрошчался: казалось невероятным, чтобы он, при его хлипком здоровье, выдержал такой срок. Но года через два после смерти Сталина он вернулся, завершил учебу в МГУ и защитил кандидатскую диссертацию. Незадолго до отъезда в эмиграцию я встретил его в подмосковной электричке. Он увлекся коллекционированием птичьих голосов и в пред рассветные часы ездил по окрестным лесам записывать их на магнитофон.

Из ребят, живших в правительственном доме, самым беспутным был Генка Щаденко. Красный комдив после

смерти жены обзавелся молодой супругой. Мачеха целый день отсутствовала, забывала накормить пасынка или дать ему денег на еду, он являлся в школу нарядный, в синем френче и высоких хромовых сапогах, но вечно голодный и не выучивший уроки. Я иногда заходил к нему домой; он проникал в отцовский кабинет, доставал из письменного стола длинноствольный пистолет «парабеллум», и мы палили из него в потолок. Говорят, папаша, узнав от педагогов о многочисленных двойках сына, стегал Генку сохранившейся у него, конармейского командира, со времен Гражданской войны нагайкой. Школу Генка не окончил. Генерал устроил его в военное училище.

Ближе всех из начальственных детей я сошелся с Леном Карпинским, чей отец, как он рассказывал, имел билет члена РСДРП №1. Сообщал Лен об этом шепотом: было принято считать и казалось само собой разумеющимся, что партбилет №1 не мог иметь никто, кроме Владимира Ильича.

Вопрос, как случилось, что Вячеслав Карпинский не пострадал даже в 37-м году, мы, понятно, не обсуждали, но у этого согбенного старичка с седенькой бородкой, какие, судя по кинофильмам, носили меньшевики, было на лице написано, что он испуган раз и навсегда.

А Лен (этим именем его нарекли в честь Ленина, а в классе звали Ленок) вырос умным, ироничным, интеллигентным парнем, тяготевающим к гуманитарным наукам. Он любил погулять и пользовался успехом у девочек, приходивших к нам на школьные вечера.

Мы с Леном сдружились настолько, что, получив свою первую студенческую стипендию на философском факультете МГУ, он пригласил меня в коктейль-холл на улице Горького, и мы там его деньги пропили до последней копейки. В представлении моем, его да и всех наших сверстников посещение этого заведения было признаком принадлежности к золотой молодежи. С приятелями мы делились впечатлениями о коктейль-холле шепотом, а те слушали нас с завистью. Если бы о нашем походе узнало его или мое комсомольское начальство, не миновать бы нам вызова на бюро.

Метаморфозы, которые претерпела жизнь Лена Карпинского, привели в конце концов этого глубоко советского по образу мыслей молодого человека в ряды чуть ли не диссидентов и дали ему известность в кругах интеллигенции 60 — 80-х годов.

Хотя поначалу все обещало: быть ему на самом верху партийно-государственной пирамиды.

То ли на втором, то ли на третьем году учебы в МГУ он стал секретарем курсовой комсомольской организации и женился на аспирантке филфака Регине. Получив диплом, был направлен в Горький, где родилась Регина, вузовским преподавателем философии и вскоре занял пост секретаря обкома ВЛКСМ по пропаганде. Еще через короткое время, уже сменив Регину на известную киноактрису Хитяеву, тоже горьковчанку, он приехал с новой женой обратно в Москву: его избрали (а если называть вещи своими именами, назначили) одним из секретарей ЦК комсомола. Так, легко и без задержек, взбежал он по крутой лестнице карьеры.

Существовал неписанный закон: нельзя возглавлять молодежную организацию до старости. Своих крупных функционеров, достигших определенного возраста, комсомол выдвигал на руководящую работу в органы власти. Из них формировались отделы и секторы ЦК и обкомов КПСС, ВЦСПС, их ставили у руля разных комитетов, даже таких, как КГБ. Карпинского, возможно, учтя, что он серьезно образован, начитан, хорошо владеет русской речью, сделали членом редколлегии газеты «Правда». Скорей всего это было назначение с дальним прицелом — подготовить его к занятию редакторского поста если не в «Правде», то в «Комсомолке», «Труде», «Советской России».

И вдруг — падение, стремительное и на самое дно.

Посылая Лена на одну руководящую должность за другой, те, кто это делал, не учитывали одного существенного обстоятельства. Ум и интеллигентность мешают их обладателю слепо выполнять приказы сверху. Он хочет знать, зачем и почему этот приказ дан, и склонен предлагать усовершенствования и поправки.

Нет, Лен не искал, подобно лермонтовскому парусу, бури. Он искренне желал процветания строю, за который боролся его отец и в справедливость которого верил он сам. Все, чего он хотел, — сделать этот строй более совершенным, избавить его, как тогда говорили, «от отдельных недостатков». А власть видела опасность в проявлении любой инициативы. Она требовала от солдат и командиров своей многомиллионной армии действовать по принципу: «Если партия сказала, комсомол ответил: «Есть!» Я никогда не был близок к советским придворным кругам. Но в том, что отклонение от этого принципа запрещено и наказуемо, мне пришлось через много лет убедиться на собственном опыте. Карпинский испытал это на своей шкуре значительно раньше.

Руководствуясь самыми лучшими побуждениями, два правдиста, одним из которых был Лен, написали статью о том, что газетно-журнальная цензура не только не нужна, но вредит советской печати, подрывая в глазах мира ее репутацию свободной, и что идейность статей не страдает, если этот институт упразднить — редакторы лучше цензоров разбираются в том, что можно печатать, а чего нельзя. Статью, как всякую на острую тему, прежде чем публиковать, дали на рецензию членам редколлегии. Те сочли ее вредной и постановили — от публикации воздержаться.

На том бы соавторам и успокоиться, но они, опять-таки по-интеллигентски, раздосадованные тем, что работа, которую они считали важной и нужной для пользы дела, забракована, легкомысленно отнесли свое произведение на другой этаж правдинского здания и вручили его редактору «Комсомольской правды» Панкину. А тот, ничтоже сумняшеся, поставил на рукописи резолюцию: «В печать». И статья увидела свет.

Карпинского с напарником исключили из партии и уволили со службы. Панкин, который не был предупрежден, что статью читали и отвергли в «Правде», отделался взысканием.

После возвращения Лена из Горького мы встречались редко и случайно — в ресторане Дома журналиста или в поезде Серова, где был ЦК ВЛКСМ и рядом — «Со-

ветский спорт». Еще реже перезванивались: до него было не добраться в обход секретарши. Но как раз в дни обрушившихся на него бед мы столкнулись на улице Горького. Он был рассеян и грустен, в руке держал выглядывавшие из промасленного бумажного пакета два пятикопеечных пирожка с мясом.

— Вот, купил на завтрак, — печально усмехнулся Лен.

Епитимья, наложенная на Карпинского партией, продолжалась довольно долго. В конце концов наказание смягчили и бросили его — тоже советский сленг — «на низовку», рядовым редактором в издательстве «Молодая гвардия». А когда решили, что у него наступило, по Высоцкому, «осознание и просветление», в середине 70-х годов поставили во главе крупного издательства «Прогресс».

Но к тому времени Карпинский уже был другим человеком, у него на многое открылись глаза, и в последние годы жизни он был главным редактором еженедельника «Московские новости», газеты, которая едва ли не первой в эпоху перестройки и гласности, заняла откровенно либеральную позицию.

Лена, уверен, и сегодня помнят тысячи людей, не знавшие его лично. Но подлинно всенародную известность получил другой выходец из нашего класса.

К серым корпусам Дома на набережной 12-я школа стояла лицом. А другой стороной она смотрела на Лаврушинский переулок. Там, напротив Третьяковской галереи, есть высокий жилой дом, тоже в мои юношеские годы имевший название, правда неофициальное, «писательский». Квартирами в нем распоряжался Союз писателей, и там жили многие литераторы, в том числе известные. Отпрыски некоторых учились в нашей школе. И среди них — будущий народный артист Алексей Баталов, пасынок писателя-юмориста Виктора Ардова, сын от первого брака его жены, актрисы Центрального театра Советской Армии.

Фамилия эта была известна всем. Даже в школе многие были уверены, что Лешка (так его тогда звали соученики) — сын Николая Баталова, артиста МХАТа, который прославился, сыграв главную роль в картине «Путевка в жизнь». На самом деле отец Алексея — младший

брат того, главного, Баталова, тоже работавший в Художественном. У него было звание «заслуженный артист республики», но, подозреваю, обязан он был этим семейным связям — в родне Баталовых такие столпы советской сцены, как Андровская и Станицын. Будучи школьником, я — спасибо маме — посмотрел во МХАТе едва ли не все спектакли. Лешкин родитель был занят в единственном — горьковском «На дне» — и исполнял второстепенную роль подмастерья сапожника Алешки, который мог запомниться лишь тем, что под собственный аккомпанемент на бала-лайке пел частушку: «Кабы мое рыло некрасиво было, то меня б моя кума вовсе не любила».

Лешка был старожилом 12-й — учился в ней до и после эвакуации. Когда я поступил туда в 7-й класс, Баталов учился в 8-м. Никаких шансов перейти в 9-й у него, закоренелого двоечника и прогульщика, не было. И перед окончанием учебного года он исчез, решив попытаться счастья в другой школе. Долго о нем не было ни слуху ни духу. Возник он неожиданно, причем уже в нашем классе, проучился почти до выпуска и снова пропал.

Был Баталов и у педагогов, и у ребят на особом положении. Все к нему относились как к молодому человеку, который значительно старше своих одноклассников. Не по возрасту старше, а более зрелый, духовно сформировавшийся, опытный, понимающий, что почем в этой жизни. Так оно и было. Эвакуировался он вместе с театром, где служила мать, подрабатывал там, расставляя декорации, и общался в основном не просто со взрослыми людьми, а с особой их категорией — артистами.

В том, что театр — единственное будущее Баталова, была уверена вся школа. Причем считалось, что он при-рожденный комик.

...Долгий звонок возвещал о большой перемене, с грохотом откидывали крышки парт и гуськом направлялись к двери с черной табличкой «00». Младшеклассники, создававшие в уборной тесноту и вообще мешавшие нам своим присутствием, изгонялись в коридор. Богатеи раскрывали коробки с «Казбеком», курящие делали первые затяжки, а Лешка приступал к работе — пел Вертинского.

Александр Вертинский, только что возвратившийся из эмиграции, был предметом такого же всеобщего поклонения в 40-е годы, как Высоцкий в 70-е и 80-е. Как и тот, он первое время выступал только в закрытых концертах на окраинах Москвы. Афиш не было, но весь город как-то узнавал о времени и адресе очередного концерта, и за два-три часа до начала у зала собирались несметные толпы. Песни на собственные слова и музыку, которые он пел в сопровождении превосходного пианиста Михаила Брехеса, стали тут же известны всем, хотя пластинки Вертинского не продавались.

На Высоцкого он походил только популярностью, которая возникла и достигла высших пределов вопреки желанию властей. Во всем прочем они антиподы. Можете вы представить себе Высоцкого во фраке, поющим, облокотившись на концертный рояль и под его аккомпанемент, жестикулирующим холеными руками с длинными пальцами, на одном из которых перстень с крупным, отбрасывающим в зал сияние бриллиантом? В такой же мере немислим брэнчащий на гитаре Вертинский в джинсах и в свитере.

Весь антураж, окружавший Вертинского, и его фальцет были в полной гармонии с мелодиями и текстами его песен. Попробуйте вложить в уста Высоцкому, с его хриплым баритоном, такое, например:

*Мадам, уже падают листья
И осень в смертельном бреду,
Уже виноградные кисти
Желтеют в забытом саду.
Я жду вас, как сна голубого,
Я гибну в любовном огне.
Когда же вы скажете слово?
Когда вы придете ко мне?*

Или в уста Вертинскому — о Нинке, которая «жила со всей Ордынкою»:

*— Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета, как уборщица.
— Плевать на это, очень хочется.*

*Все говорят, что не красавица,
А мне такие больше нравятся.
Ну что ж такого, что наводчица?
А мне еще сильнее хочется.*

Но песни и того и другого пережили их авторов. Потому что оба гении. И каждый выражал затаенную тоску своего поколения. Старший — тоску по безвозвратно ушедшей человеческой жизни, младший — тоску по свободе самовыражения.

Чем сразу покориł Вертинский нас, 16-летних мальчишек, знавших лишь понаслышке о «влюбленно-бледных нарциссах», «лиловых неграх» и «бананово-лимонном Сингапуре», я и теперь не понимаю. Но мы ждали его песен в исполнении Баталова как праздника, хотя повторялся он, этот праздник, ежедневно, с перерывами лишь на выходные и те дни, когда Лешка прогуливал школу.

Каждый из нас и сам мог напеть любую песню Вертинского — мы знали все наизусть от первой до последней строчки. Но мы хотели слушать поющего их Баталова. Он делал это виртуозно, чуть-чуть, как Вертинский, грассируя и жестикулируя. Он даже немного бледнел, как тот. Однако это была не копия, а, скорее, шарж: в каждом звуке и жесте угадывался едва заметный гротеск.

Во время малых перемен мы тоже не скучали. Баталов развлекал нас, то пародируя знаменитых артистов, то превращая уборную в скотный двор с кудахтающими курами, блеющими овцами, мычущими коровами, хлопающими крыльями петухами. Все, что он творил на переменах, выдавало в нем несомненный комедийный дар. Он и в «Горе от ума», подготовленном нашим классом к какому-то праздничному вечеру, играл не Чацкого, а Фамусова, и появлялся на сцене в халате с кистями и ночном колпаке. Кто бы мог тогда подумать, что будущие персонажи Баталова — герои «Дела Румянцев», «Девяти дней одного года», «Дамы с собачкой»?

В классе Баталова не жаловали. На школьных вечерах он без зазрения совести атаковал самую эффектную девочку, не им приглашенную, и норовил назначить ей свидание. Ее ухажер кипел от негодования, остальные

были с ним солидарны. С другой стороны, Алексей более чем сдержанно относился к хорошо одетым, сытым, не считающим денег соученикам, уверенный, что больше, чем они, заслуживает достатка.

У него же никогда не было гроша за душой. Носил он сапоги из грубой кожи, старые пиджаки и мятые брюки. Когда я однажды явился на урок в первом моем приличном костюме, который родители купили у приехавшего из Германии знакомого, Баталов сделал мне замечание:

— Так носить хорошие вещи нельзя. К такому костюму должны быть соответствующие обувь и рубаха. И нужен галстук. По мне — или так, или никак.

Из одноклассников самым близким его приятелем стал я. Видно, на его выборе сказалось то, что я по младости, по глупости не умел скрыть телячий восторг перед его талантливостью. К тому же у нас с ним была общая подруга, ставшая через несколько лет его первой женой, Ира Ротова, дочь художника-карикатуриста из журнала «Крокодил». До войны Ротов прославился как иллюстратор к произведениям Ильфа и Петрова, а в годы моей дружбы с его будущим зятем отбывал срок по статье, карающей за контрреволюционную деятельность.

Случалось, мы с Баталовым забалтывались, выходя из школы, и я, чтобы не прерывать беседу, шел провожать его до дому. Как-то он предложил: «Зайдем?» Я согласился и не пожалел.

Ардовы жили в просторной трехкомнатной квартире. Одна комната служила столовой, другая — спальней, третья — детской: у Ардовых было два общих сына, Боря и Миша, младшеклассники нашей школы. Баталов помещался в четвертой, которая не считалась «полезной жилплощадью», т.е. с нее не взималась квартплата. Она не отапливалась, была, если память мне не изменяет, без окон. Такие служат либо кладовкой, либо жилищем домработницы.

Вешей почти не было: маленький письменный стол, узкая койка и шкаф. Словом, ничего заметного, если бы не стены. На одной висел натюрморт, написанный Баталовым, который хорошо рисовал. На другой — фрачная пара, котелок и трость с набалдашником. Рядом — фото

Лешки, облаченного во все это великолепие и с тростью в руке: ни дать ни взять — опереточный герой. В углу висела икона и под ней теплилась лампадка.

Теперь такое убранство комнаты молодого человека никого бы не удивило: его сочли бы данью моде. Тогда это выглядело театральной декорацией. А такое украшение, как икона, во всяком случае в городской квартире, грозило ее владельцу, тем более молодому, крупными неприятностями в виде выговоров, общественных порицаний, изгнания из комсомола. Впрочем, Лешка, чуть ли не единственный из класса, в комсомоле не состоял.

Незадолго до выпускных экзаменов Баталов снова ушел из школы. Не знаю — спрашивать было неловко, — получил ли он аттестат зрелости и сдавал ли вступительные экзамены в вуз, но, как и все мы, осенью 47-го года стал студентом. Его приняли в училище МХАТа. Отличалось оно от остальных вузов тем, что не имело военной кафедры. Это значило, что окончивший не получал звания офицера запаса и подлежал призыву в армию. Так что пришлось Баталову облачиться в солдатское обмундирование и постричься наголо.

Службу он проходил в Центральном театре Советской Армии. Ездил туда, на площадь Коммуны, из казармы. Уже тогда начал сниматься в кино и играть в театре. Первые его актерские работы я видел. В учебном фильме для военнослужащих он показывал, как собирать и разбирать станковый пулемет. В спектакле «Закон Ликурга» исполнил бессловесную роль американского полицейского.

С Баталовым — известным актером я уже не встречался, а лишь однажды говорил по телефону. Это было, когда я работал в «Советском спорте». По случаю какого-то события — то ли открытия футбольного чемпионата, то ли отъезда сборной не первенство мира — мы печатали напутствия видных деятелей: ударников, ученых, артистов. Я раздобыл номер телефона Баталова и позвонил. Он сам взял трубку, и вот такой примерно разговор у нас получился:

— Это Алексей? Добрый день. Меня зовут Евгений Рубин. Помнишь такого? Мы вместе учились в 12-й школе.

После некоторого молчания он ответил неуверенным голосом:

— Фамилию твою вспоминаю. Но как ты выглядел, не могу припомнить. А по какому ты делу?

Я изложил свою просьбу.

— Да я ведь спортом не интересуюсь и никаким боксом с ним не связан. Так что извини.

На том мы с ним и распрощались.

Что к спорту он равнодушен, было мне известно еще со школьных времен. Но знал я и то, что это редко останавливало и более известных, чем он, людей, от соблазна лишний раз увидеть свое имя в газете с миллионным тиражом в компании других знаменитостей. Баталов оказался редким исключением.

Был он в нашем классе чуть ли не единственным, не болевшим ни за какую футбольную команду и равнодушно молчавшим, когда разговор заходил о спорте. А говорили мы о нем — главным образом о футболе — целые дни. И почти ежедневно играли в футбол.

Как ни странно, возможность играть в футбол сделала самым любимым предметом всего класса военное дело. Его преподавал демобилизованный после ранения на фронте капитан — мужчина глуповатый, но добродушный. В дождливую погоду он обучал нас обращению со стрелковым оружием, растолковывал параграфы воинских уставов, писал на доске условия тактических задач. Никто его не слушал, все занимались своими делами — играли в «крестики и нолики», в «морской бой», учили уроки. Оценка по этому предмету в аттестат зрелости не шла, за неуспеваемость на второй год не оставляли, да и двоек наш военрук не ставил.

Зато если дождя не было, мы вооружались в военном кабинете учебными винтовками «образца 1891-го дробь 30-го года», строились в колонну по четыре и маршировали на Болотную площадь, которая находится напротив «Ударника». В сквер ее превратили значительно позже, а тогда, в 40-е, над ней, выглядевшей скорее не площадью, а пустырем, с рассвета до заката летали футбольные мячи. Мы добирались до не занятого другими футболистами участка, складывали винтовки, скидывали теплую одежду, делились на две команды и вводили мяч в игру.

В остальные дни мы шли на Болотную площадь после занятий. Тут, правда, наши ряды редели: отличники и ударники (так величали не имеющих троек) отправлялись по домам. Мы с моим ближайшим другом Юрой Фишкиным куда серьезней относились к своим успехам на футбольных полях, чем к учебе, и прогулов на Болотную площадь не допускали.

Собственно, мой успех состоял в том, что — пока впервые в жизни — меня терпели и обращались со мной как с равноправным участником матча: в классе были футболисты еще бездарней, чем я.

Фишкин же был без всякого преувеличения талантлив и мог вырасти в классного мастера. Увидав однажды, как он играет, тренер юношеских команд клуба «Трехгорка» пригласил Юру в лучшую из них, первую. Десятиклассником он чуть не стал игроком московского «Торпедо». Но мама — юрисконсульт на хлебозаводе и диктатор в семье — заявила:

— Только через мой труп. Сперва институт окончи, потом делай, что хочешь.

Выбор института она тоже сделала для сына сама: Фишкин поступил в Московский юридический.

Кроме Фишкина, в «Трехгорку» приняли еще пять ребят из нашего класса — одного во вторую команду, четырех в третью. Когда предложил свои услуги я, тренер только рукой махнул.

Из эвакуации я возвратился одновременно с большим футболом. Война откатилась далеко, воздушные бомбардировки уже не угрожали Москве, и весной начался чемпионат города. Участвовали в нем те же команды, что в довоенном первенстве Союза — «Динамо», «Спартак», ЦДКА, «Локомотив». Мы с Фишкиным и еще два фанатика из нашего класса ездили на все матчи, до середины мая на стадион «Сталинец» в Измайлово, а потом — на «Динамо».

А в следующем, 45-м, возобновилось первенство СССР. Клубы, которые в нем участвовали, сохранили не только свои довоенные названия, но и составы. Благодаря этому свидания с игрой, по которой стосковались болельщики, были еще более желанными и волнующими.

Газеты той поры много писали о героизме советских спортсменов на войне. Однако из игроков команд мастеров класса «А» воевал только спартаковский вратарь Владимир Жмельков. Все его коллеги получили отсрочку от фронта и всю войну занимались своим делом — играли в футбол далеко от Москвы, там, куда немецкие самолеты не долетали. Не коснулись их опасности и лишения, принесенные войной; даже игроков тех клубов, что принадлежали военным ведомствам — армейскому и МВД, хотя каждый из них имел офицерское звание. Команда ЦДКА, кстати, получила прозвище «команда лейтенантов».

Но нас, сотни тысяч оголтелых, преданных футболу энтузиастов, эти проблемы не заботили. Как и многие другие проблемы — и возникшие еще до войны и все явственнее дававшие о себе знать после ее окончания, и новые, рождавшиеся на наших глазах. Мы, 16—17-летние юнцы, верили, что все у нас в стране, руководимой гением всех времен и народов товарищем Сталиным, устроено наилучшим образом и что нам выпало счастье родиться в ней, а не в какой-нибудь там Америке, где простые люди задавлены нищетой и беспорядком.

Происшедшее с Борей Вепринцевым или соучеником Игоря Гармонова Кулаковым меня и моих сверстников ничему не учило. Мы знали назубок, что, во-первых, лес рубят — щепки летят, а во-вторых, классовая борьба по мере приближения к коммунизму обостряется и для защиты родины от внешних и внутренних врагов необходима повышенная бдительность.

Весной 47-го года я окончил школу. На выпускном вечере мне вручили серебряную медаль. Такие же получили еще пятеро. А трех круглых отличников наградили золотыми.

Медали ввели за год до нашего выпуска, и достижение нашей школы — девять медалистов — было рекордом.

Стоя на сцене актового зала среди других обладателей наград, я чувствовал себя неуютно. Снизу, из зрительских рядов, на меня глядел прекрасный ученик Лен Карпинский, оставленный без медали за то, что на письменном экзамене по литературе сделал в сочинении

ошибку — написал не «рукава», а «рукова» — и получил четверку. Меня же, закоренелого троечника, возвели в герои.

Подняло меня на этот высокий пьедестал шедшее по всей стране — на заводах, фабриках, в колхозах, учреждениях — всенародное социалистическое соревнование. Школы соревновались за лучшую успеваемость. Ее мерилom считалось количество медалистов.

И тут на меня сработало одно правило. Учитывались только полученные на выпускных экзаменах оценки, годовые в расчет не принимались. Чтобы получить золотую медаль, надо было сдать все предметы на «пять», серебряную давали и при трех четверках, но при соблюдении одного условия: первый экзамен, сочинение, он обязан сдать на «пять». Эти сочинения у нас прямо на экзамене отбирали специально направленные в школу лица и увозили их в ГОРОНО. Оттуда их возвращали уже с оценками. Их обнаруживали накануне очередного экзамена. Тогда-то и выяснилось, что высшая оценка у нас в классе выставлена девятерым, в том числе мне. Мою работу даже отметили как особо содержательную. Думаю, объяснялось это не моей литературной одаренностью, а удачным эпиграфом. Я выбрал тему «Герои нашего времени» и предпослал своему творению сентенцию: «Рабочие и крестьяне, без шума и треска строящие новую жизнь, — вот подлинные герои и творцы нашего времени (И. Сталин)».

Пятерка за сочинение автоматически включала меня в круг соискателей медали. Остальное, как говорят в спорте, было делом техники. Поставь кто-то из педагогов мне тройку на другом экзамене, школа могла отстать в соцсоревновании. И учителя дружно тянули меня в отличники. Ноша, однако, была настолько тяжела, что преподавателям геометрии и физики пришлось ограничиться четверками.

К лету 47-го продовольственные карточки еще не отменили. Для тех, кто мог позволить себе платить за продукты втридорога, открылись коммерческие магазины. Там можно было купить любые продукты и в любом количестве. У нас же на выпускном балу, на который каждый из 33 ребят мог привести родителей и девушку, столы

ломились от яств, которые в течение шести минувших лет рядовой советский человек видел только на картинках. Всем этим добром — копченостями, заливными языками, пирожными, шоколадными наборами, клубникой, молодыми огурцами, тепличными помидорами, полусухими грузинскими винами — снабдили школу два благодарных папаша — министр торговли Любимов и академик Лысенко, про которого у нас в классе сочинили песню:

*Трофим Денисович Лысенко,
Не бог, не царь и не герой,
Яровизировал пшеницу
Своею собственной рукой.*

После бала мы отправили родителей домой, а сами, всем классом, бродили до утра по Москве, сообщая провозжали девушку каждого, горланили хором дурацкие песни вроде этой, про Трофима Денисовича.

Я чувствовал себя в ту ночь полностью, абсолютно счастливым. Нет, я не хотел бы, подобно доктору Фаусту, остановить мгновенье. Напротив, я торопил время. Медаль, думал я, открывает мне двери всех учебных заведений, а значит, двери к моей детской мечте о спортивной журналистике.

Жизнь быстро дала мне достаточно поводов убедить себя в собственном легкомыслии.

Глава 2

ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Попытка с негодными средствами

— Евгений Рубин? — доброжелательно взглянув на меня, произнес мужчина средних лет, сидевший за большим письменным столом в кабинете, на двери которого висела табличка «Деканат философского факультета». Меня направили к нему на собеседование, которое было обязательной для поступающего процедурой. — Садитесь, пожалуйста. Я замдекана и секретарь парторганизации факультета.

Он назвал свою фамилию и продолжал:

— Мне не хотелось бы, чтобы наш разговор стал достоянием гласности. Но и кривить душой не стану. Если откровенно, то шансы попасть на наш факультет у вас невелики. Препятствие — ваша национальность. Только не подумайте, что это антисемитизм. Но вы должны войти в наше положение. Мы готовим кадры лекторов, пропагандистов, в общем, работников идеологического фронта, главным образом для провинции. Нашим выпускникам предстоит нести партийное слово в массы, прежде всего крестьянские. Люди должны им верить. А в народе еще не изжито недоверие к лицам еврейской национальности. Были бы вы один, ладно. Пусть даже пять, десять. Но у нас 40 процентов заявлений от евреев. Мы просто обязаны как-то этот поток регулировать. Поймите, я вам не отказываю, но и обнадеживать не хочу.

Он протянул мне руку и добавил:

— За ответом приходите послезавтра.

За ответом я не пошел. До этой я сделал еще две попытки стать студентом МГУ — факультетов журналистики и экономического. В обеих я потерпел неудачу. Отказа-

ли мне с одинаковой формулировкой: перебор серебряных медалистов. К человеку, беседовавшему со мной на философском факультете, я даже проникся некоторой симпатией: он, по крайней мере, честно объяснил мне что к чему.

Наш с ним разговор произошел 29 июня. Через день прием заявлений в вузы заканчивался. Выйдя из МГУ на Манежную площадь, я свернул за угол, на улицу Герцена, прошел два квартала, до дома №9, где помещался МЮИ — Московский юридический институт, — и вручил свои бумаги секретарше приемной комиссии.

Я покривил бы душой, сказав, что увлекался экономикой или философией. Строго говоря, я имел более чем приблизительное представление об этих науках. Твердо о них я знал одно: они далеки от математики и физики, а значит, я смогу их осилить. Не испытывал я священного трепета и перед этой аббревиатурой — МГУ. Но как всякий, удостоенный школьной медали, я считал себя лицом, достойным привилегии обучаться в колыбели русской науки. Так что сам по себе тройной афронт при попытке проникнуть в этот храм не был для меня трагедией. Убило меня то, что мне открылась настоящая причина отказов.

О существовании в СССР такого явления, как антисемитизм на государственном уровне, я слышал и раньше. Обязательной частью наших семейных сборищ по случаю праздников и дней рождения были рассказы о том, как кому-то не присвоили ученую степень, кого-то не утвердили в должности, кого-то не взяли на работу — и все из-за их еврейства. Но я слабо верил этой болтовне.

В классе у нас я дружил с детьми высоких начальников и был желанным гостем в их домах. Всемогущего директора нашей школы звали Лазарь Ефимович, завуча Елизавета Израилевна. Каганович был членом Политбюро ЦК, Мехлис министром госконтроля, Эренбург — ведущим публицистом, Заславский — главным фельетономистом «Правды». Спортивную рубрику в «Известиях» вел Ефим Рубин, в «Вечерней Москве» — Герман Колодный.

Это — факты, а они, как учит товарищ Сталин, упрямая вещь. Верно, дыму без огня тоже не бывает. Но

перегибы на местах у нас случались и раньше — о них говорилось в учебнике по истории СССР. Дойдут вести об этих безобразиях до руководства, и оно накажет виновных.

При первом же личном столкновении со взрослой жизнью выяснилось, что все не так просто и однолинейно, как кажется со стороны. Но и верить, что провозглашенное Конституцией СССР равноправие народов нашей страны имеет какие-то изъяны, пусть и вызванные сиюминутной ситуацией, не хотелось. И я возвращался мысленно к объяснению, которое дал мне парторг философского факультета, и задавал себе вопрос: а справедливо ли положение, когда нация, которая составляет ничтожный процент населения, должна поставлять 40 процентов будущих философов?

Пройдет еще немало лет, прежде чем я перестану отыскивать удовлетворительные объяснения тому, что бросало тень на нашу советскую действительность.

В Юридический меня приняли безропотно. Выбор мой пал на этот институт по единственной причине: туда поступали два моих школьных друга. У тех были мотивы по-серьезней. Отец и мать Юры Фишкина оккупировали юрисконсульские должности в хлебной промышленности Москвы. Отец Лени Новикова Моисей Самойлович, старый большевик и персональный пенсионер, сохранил какие-то связи в верхах. И мои друзья положились на обещание родителей, что те помогут им после окончания МЮИ остаться в Москве и устроиться по специальности.

И тот, и другой набрали на приемных экзаменах максимальное количество очков и были зачислены в институт. Правда, Новикову пришлось пережить несколько неприятных минут при собеседовании. Тогдашний директор института Федыкин задал ему единственный вопрос: «Откуда у вас такая фамилия — Новиков?» — «От отца», — простодушно ответил Леня. За длинным овальным столом, у которого разместились члены приемной комиссии, воцарилось долгое молчание. Наконец его прервал директор: «Подождите в коридоре, мы вас вызовем». Посовещавшись, члены комиссии пригласили Новикова обратно в директорский кабинет и сообщили, что он принят.

Мы все учились понемногу...

Пятилетие после войны было особенным в жизни советской высшей школы. Шла массовая демобилизация из армии. Уволенным достаточно было сдать вступительные экзамены без неудов, и они автоматически становились студентами. Вузовские аудитории наводнили взрослые люди в кителях и гимнастерках с невыгоревшими прямоугольниками на тех местах, где еще недавно были погоны, и орденскими планками на груди; многие на костылях, с пустыми рукавами, с протезами.

В учебной группе, куда попал я, нас, 18-летних, оказалось втрое меньше, чем бывших фронтовиков. Некоторые годились нам по возрасту в отцы. Из них на курсах и в группах создавались студенческие партийные организации. Раньше такого в высшей школе не бывало.

Наши поколения разделила глухая стена. Они на своей шкуре в полной мере испытали, что такое война, и смотрели на мир с недоступной нам высоты этого знания. Они не ходили на танцевальные вечера, которые еженедельно устраивались в институте и на которые стекалась вся шпана с улицы Горького. Они не замечали хорошеньких девушек. Им было безразлично положение команд в футбольном чемпионате. После занятий они не уходили домой, а посещали консультации, которые давали руководители семинаров, до позднего вечера сидели в институтской библиотеке, читая не только учебники, но и всю рекомендованную в них дополнительную литературу.

Нам, натренированным школой, учение давалось легче. Да и озабочены мы были не столько необходимостью получить знания в области юриспруденции, сколько тем, чтобы — по школьной привычке — при минимальных затратах труда не завалить зачет или экзамен.

В то время, кроме высших учебных заведений для будущих юристов, существовали средние — юридические школы. И учебники были написаны разные: толстые для вузов, тоненькие для школы. Наши старшие однокашники пользовались толстыми, по 300—400 страниц в каж-

дом, мы — тонкими, больше напоминавшими брошюры. Была у нас даже шутка такая: «Хочу перечитать «Войну и мир», да никак не найду для юршкол». В нашем отношении к старшим однокурсникам, как в школе к зубрилам, сквозили высокомерие и снисходительность.

Брешь в этой стене появилась к концу второго семестра и по мере продолжения совместной учебы все расширялась. Так бывает всегда с людьми, лучше узнающими друг друга. К тому же мы, младшие, становились взрослей и серьезней, а они, старшие, понемногу оттаивали после перехода от фронтовой армейской к мирной гражданской жизни. Разница в возрасте перестала быть помехой возникновению дружеских отношений.

Так Леня Новиков и я, попавшие в одну группу, сошлись с самым старшим и серьезным студентом — 35-летним Николаем Рыбаковым, который на войне носил капитанские погоны. Был он всегда в одном и том же наряде: отутюженная гимнастерка с белоснежным подворотничком, туго перетянувший ее в талии офицерский ремень с начищенной до блеска звездой на пряжке, синие галифе и сверкающие хромовые сапоги. Он был немногословен, дисциплинирован и к концу первого курса пробился в отличники. Преподаватели относились к нему с подчеркнутым уважением.

Однако и на старуху бывает проруха. 1 сентября 1948 года были похороны какого-то члена Политбюро, если память мне не изменяет, Жданова, со всеми положенными по его рангу ритуалами: с длинной очередью у Колонного зала Дома союзов, где выставляли тела таких, как он, покойников, с панихидой на Красной площади у Кремлевской стены, с артиллерийским салютом. Ни пройти, ни проехать по центру Москвы было невозможно: все подходы к Манежной площади блокировали военные грузовики и солдатские цепи.

1 сентября начинался учебный год в вузах. Однако мало кому из студентов МЮИ удалось добраться до институтского здания. Новиков и я, с малолетства знавший все проходные дворы этого района, все же добрались. Занятий не было. По фойе и коридорам бродили несколько десятков энтузиастов вроде нас. Заглянув в аудиторию, в которой был назначен утренний семинар по уголовному

процессу, мы обнаружили там одинокого Колю Рыбакова, неизвестно как миновавшего оцепления и проникшего в институт, поболтали с ним и уже собирались идти на поиски других знакомых, когда он предложил:

— Хотите, поучу вас играть в преферанс?

Оказывается, от Ногинска, где он жил, до Москвы он всегда ехал на одном и том же месте одного и того же вагона с одними и теми же соседями — тремя любителями преферанса, за которым они и коротали время в пути. Потертая колода всегда была у Рыбакова при себе.

Мы охотно согласились. Коля достал из портфеля инструменты: колоду, лист бумаги, который, расчертив, превратил в пульту, сдал карты и принялся объяснять нам правила этой мудреной для новичка игры. Нас не насторожило появление в аудитории преподавателя уголовного процесса доцента Нейштадта. Он поздоровался и быстро захлопнул за собой дверь с другой стороны. Коля еще продолжал свой урок, когда дверь открылась вновь. Теперь на пороге стоял декан курса Макаров. Он попросил нас следовать за ним, привел в деканат и оставил там в полном замешательстве. Вскоре он вернулся и вручил по экземпляру приказа директора. В нем было сказано, что мы, все трое, исключены из института. Формулировка гласила: «за игру в карты на деньги в стенах института в траурный день похорон тов. Жданова».

Удар был тем более страшен, что неожидан. Мы, приступая к преферансу, не задумывались, хорошо это или плохо — карточная игра в стенах своей alma mater. Нам просто не могло прийти в голову, что такой человек, как Николай Рыбаков, с его жизненным опытом, рассудительностью, осторожностью, продуманностью каждого шага, мог втянуть нас в предосудительное занятие. Да мы ведь и не играли в карты, а слушали объяснение правил игры. Но никто ни о чем нас не спрашивал. Декан молча вручил нам приказ и велел сдать секретарше студенческие билеты, служившие пропуском в институтское здание.

Нас пугала перспектива не столько остаться без высшего юридического образования, сколько угодить осенью в армию. Для нас и наших сверстников-горожан это был страшный жупел. Сельских ребят, которые переби-

вались в колхозах с хлеба на квас и которым отъезд из деревни грозил неприятностями как беспаспортным бродягам, призыв в армию не страшил. Напротив, там им были обеспечены трехразовое сытное питание, возможность получить при демобилизации паспорт и без конкурса поступить в вуз. Зато для выпускников городских школ армия означала минимум два вычеркнутых из жизни года.

Мы с Новиковым, не желая огорчать близких, скрыли от них свои беды. По утрам уезжали из дому якобы в институт, встречались по соседству с ним, во дворике перед консерваторией, и либо слонялись по Тверскому бульвару, либо сидели в баре на Пушкинской площади за кружкой бочкового пива. После занятий нас в этом баре навещали сочувствующие — не только сверстники, но и старшее поколение, не только ребята, но и девочки нашей группы. Туда доставил нам кто-то из приятелей устное приглашение немедленно явиться в деканат.

«Я тебя породил, я тебя и убью», — пригрозил сыну Тарас Бульба. Рыбаков мог бы использовать эти слова, только переставив глаголы местами. Все дни, что мы бездельничали, он обивал пороги институтского начальства. Поближе с ним познакомившись, директор и декан поняли, что могут иметь от министерского руководства неприятности за отчисление человека с Колиной анкетой: фронтовик, капитан, член партии, отличник — и приказ был отменен. Автоматически простили и нас. Простили полностью, не дав даже выговора.

Из разговора со знакомой лаборанткой, близкой к директорским кругам, я выяснил причину этой мягкости. С одной стороны, Рыбаков — личность, с которой лучше не связываться. А с другой, что ни говори, могут счесть в верхах кощунством игру в карты едва ли не у гроба выдающегося деятеля партии. Вот и решили сделать вид, что ничего не было вообще, в том числе и приказа.

Теперь, когда все эти перипетии завершились благополучно, я мог поведать о них родителям. Вопреки моим ожиданиям история их не позабавила. Оба долго не могли скрыть ужаса от мысли о том, чем могло все это кончиться, не окажись третьим в нашей компании Рыбаков.

В том же, если не ошибаюсь, учебном году меня подстерегла еще одна крупная неприятность. Комсорга нашей группы Ивана Бушуева, бывшего разведчика (после окончания института его, видимо, учтя военную специальность, направили на работу в КГБ), ввели в институтский комитет ВЛКСМ, а на его место выбрали меня.

Примерно через месяц после этого произошло на курсе ЧП. Доцент кафедры марксизма-ленинизма Егорова, явившаяся читать очередную лекцию, увидела почти пустой зал. Ее лекции студенты вообще не жаловали. Но когда из 400 человек отсутствует треть, это не очень заметно. Когда же всего треть присутствует, это выглядит бойкотом. Егорова вызвала декана. Тот приказал старостам групп составить списки отсутствующих, в числе которых был и я.

На другой день всех групповых комсоргов вызвали на заседание комитета комсомола и потребовали объяснения причин массового прогула. И поскольку наша группа имела первый на курсе порядковый номер, начали с меня. Если бы меня тогда прямо спросили, почему я не был на лекции, я попытался бы сочинить что-нибудь о неожиданной головной боли, сломавшемся троллейбусе или нездоровье мамы. Но я по наивности решил, что с нами хотя бы обсудить причины низкой посещаемости лекций Егоровой. И произнес речь примерно такого содержания.

— Егорова слишком буквально понимает выражение «читать лекцию». Она поднимается на кафедру, раскрывает на нужной странице «Краткий курс истории ВКП(б)», кладет его перед собой на пульт и читает нам вслух. Но нам приходилось его читать на уроках истории в школе, на первом курсе в институте, мы можем, если надо, прочитать его еще раз снова. Вот народ и сбегает с марксизма.

Дискуссия на затронутую мною тему была короткой.

— Какие будут предложения? — спросил председательствующий.

— Есть предложение за нежелание изучать «Краткий курс» исключить товарища Рубина из рядов ВЛКСМ, — сказал член комитета Марк Окунь, длинноносый кучерявый парень в очках.

— Других предложений нет? — председатель обвел глазами аудиторию. — Тогда попрошу голосовать. Принято единогласно.

Затем потребовали объяснений от других комсorghов. Но те, обогащенные моим опытом, ссылались на разного рода недуги и препятствия, помешавшие им быть на лекции доцента Егоровой. Взыскания получили все, но высшую меру — один я. Так плачевно завершилось мое пребывание на руководящем комсомольском посту.

В ряды несоюзной молодежи я вернулся ненадолго, на неделю. В следующую среду нужно было явиться на бюро райкома — столь серьезные взыскания утверждал этот высокий орган. На заседание бюро я ехал в легковом автомобиле, поданном институтскому комсомольскому вождю Валентину Бубенцову — он должен был докладывать на бюро мое дело. Это был человек, лет, наверное, тридцати, с лицом, изрезанным оставленными войной шрамами. (После окончания МЮИ его направили по распределению секретарем Краснопресненского райкома ВЛКСМ. Человеку, выросшему в нормальном обществе, трудно объяснить, как можно направить на выборную должность, но тогда это никого не удивляло.) Бубенцов был футбольным болельщиком, и на этой почве у нас возникли довольно хорошие отношения. По дороге в райком он похлопал меня по плечу и дружеским тоном сказал:

— Все будет в порядке, старик, я буду ходатайствовать, чтобы тебе заменили исключение строгачом. Я уже переговорил с кем надо.

На бюро меня продержали минут пять. Бубенцов изложил суть дела и добавил, что беседовал со мной и пришел к выводу, что причина моего проступка — не злой умысел, а недомыслие.

— Что предлагаешь? — спросил секретарь райкома.

— Строгий выговор с занесением в личное дело.

— Других предложений нет? Принято единогласно.

Всенародное соревнование снова меня выручило. Наш институт находился в плотном кольце других вузов — МГУ, консерватории, Первого медицинского. Их комсомольские организации соревновались за лучшую постановку работы, за достижения в коммунистическом вос-

питании студентов. Исключение из ВЛКСМ считалось серьезным минусом в деятельности организации, ей в этом случае вменяли в вину отсутствие бдительности: просмотрела, дескать, как морально опустился, как дошел до жизни такой комсомолец. Да и райкому лишний исключенный был ни к чему.

Почему же обо всем этом не подумали сразу, при исключении? — спросите вы. Да потому, что и тут игра велась по установленным раз и навсегда правилам. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» помещик приказывает своей челяди: «А бабу дерзкую примерно наказать!». Важно здесь слово «примерно» — чтобы другим неповадно было.

С такого рода устрашающими мерами я встречался чуть ли не ежедневно, когда начал работать по специальности. Получив указание местного обкома, что надо усилить борьбу, например с хулиганством, суд давал мальчишке, разбившему камнем стекло, 5 лет лишения свободы, высший по этой статье срок. А потом, в личной беседе, судья мне говорил: «Надеюсь, областной суд смягчит парнишке наказание».

На вопрос: «А сам-то ты что ж?» — следовал ответ: «Я должен такой приговор вынести, чтобы народ боялся хулиганить. А пока до области дойдет, все об этом деле забудут». — «А если он оставит парню пять лет?» — «Это уже не моя забота».

Так и в моем случае — все шло в соответствии с написанными, но раз навсегда принятыми к исполнению правилами того времени.

Лишние люди

Среди этих правил существовало и такое: студент должен быть загружен общественной работой. У нас в МЮИ училось одновременно полторы тысячи человек. Где на всех выборных должностей найти? Их — от членов разных бюро и комсоргов до культторгов и уполномоченных Красного Креста — не набиралось и на треть учащихся.

Но нашелся, видно, некий современный Вольтер из партийных идеологов союзного значения, который пе-

рефразировал изречение своего великого предшественника о Боге и провозгласил: «Если общественной работы нет, надо ее придумать». И во исполнение этого наказа всех, кто не загружен по общественной линии, назначили пропагандистами и агитаторами. Мне привелось побывать в обоих амплуа никому не нужных, всем только мешающих, лишних людей, амплуа одинаково бессмысленных и унижительных и для тех, на кого они возложены, и для тех, кому пропаганда и агитация адресуются.

Я помню самые первые в стране выборы в Верховный Совет СССР. В положенный день родители взяли меня, первоклассника, на избирательный участок. Я и опускал в урну их бюллетени. Мама была в восторге от нашего кандидата в Совет национальностей — певицы Большого театра Валерии Барсовой. Папе, по-моему, больше пришлось по душе молодая и эффектная метростроевка Татьяна Федорова, баллотировавшаяся в Совет Союза. В кабину для тайного голосования родители не заходили, продемонстрировав таким образом свою лояльность, а моими руками единодушно выбрали обеих дам. (Редактор сказал, что тут надо сразу дописать — в расчете на молодых читателей — само собой разумеющуюся для нас вещь: в бюллетене была только одна фамилия, т.е. выборы были без выбора.)

С тех пор и до моей эмиграции избирательная кампания в СССР носила перманентный характер. Если в какие-то месяцы страна не избирала — в Верховный Совет СССР или РСФСР, в местные советы или в народные суды, то готовилась к выборам.

В ходе этой подготовки нас, где бы я ни жил, периодически навещали агитаторы. Среди них были мужчины и женщины, служащие и студенты, молодые и пожилые. Делало их похожими друг на друга и даже роднило одно: входя в квартиру, они смотрели на ее обитателей жалкими глазами просителей. Им было неловко отрываться у нас время разговорами о международном положении, о демократичности нашей избирательной системы, о заслугах кандидатов в депутаты перед народом. Но самое главное — их судьба была в наших руках. В день выборов они не могли покинуть свои посты до тех пор, пока остался хоть один непроголосовавший.

Студентом прошел через это и я, а потом, работая в «Советском спорте», — снова. И мой вид при посещении вверенных моим заботам граждан был жалким. Я смотрел на них, и передо мной маячило жуткое воскресенье, на которое назначены выборы.

Согласно устной инструкции я начну обход в десять утра. Одни в этот час еще не позавтракали, другие уже ушли из дому. Когда вернутся? Соседи неопределенно пожимают плечами. Они мне сочувствуют, но ничем помочь не могут. Потом второй обход, третий, пятый... К вечеру выясняется: кто-то успел напиться так, что будить его бесполезно, другой уехал на дачу, третий ушел к девушке и, скорей всего, у нее заночует. И хотя ясно, что они голосовать не придут, мне все равно дежурить здесь до полуночи.

Наутро мы узнаем: на опекаемом нами пункте проголосовало 100 процентов избирателей и в связи с этим члены нашего агитколлектива вскоре будут отмечены Почетными грамотами. Каким образом попали в урны бюллетени пьяного, дачника и любителя девушек, так и останется вечной загадкой, которая повторялась из кампании в кампанию.

По преданию, Бог подвел Еву к Адаму и сказал: «А теперь выбирай себе жену». Вот так и кандидат в депутаты был всегда один. А значит, и то, кто станет победителем, и то, что в урны попадут 99,9 процента бюллетеней, было известно заранее. Так для чего же агитаторы? Не для того ли, чтобы все работающее и учащееся население страны было охвачено общественными нагрузками?

Не заставший ту эпоху скажет недоуменно: но работа потому и называется общественной, что за нее не платят, вот бы и отказывались. Человек, чем бы ни занимался, связывает со своей деятельностью какие-то надежды. Работяга — на квартальную премию, служащий — на повышение, на заграничную командировку, на то хотя бы, что не уволят при сокращении штатов, студент — на распределение получше. И у начальства всегда спрятан этот камень за пазухой: напишут тебе в производственной характеристике, что манкировал общественной работой — и прощай, надежда.

Понятия «агитатор» и «пропагандист» — не синонимы. Во второй шкуре мне тоже пришлось походить. Меня направили на швейную фабрику имени 8 Марта вести кружок политического просвещения. Раз в неделю я приходил перед обеденным перерывом в красный уголок фабрики и беседовал с группой 16—17-летних девушек, выпускниц ФЗУ. Мне вручили журнал посещаемости и программу, утвержденную то ли Институтом Маркса-Энгельса, то ли отделом пропаганды ЦК. Что за темы в ней предлагались, я, естественно, забыл, твердо помню только, что для эпиграфа к программе в целом сгодилась бы пионерская песня «Эх, хорошо в стране советской жить!».

Мои питомицы, ходившие в штопаных чулках и туфлях со стоптанными подметками, теоретически были подкованы слабо, но жизнь знали не хуже меня. В светлом будущем одним маячило выйти замуж за таких же, как они, фэзэушников, другим — участь матерей-одиночек.

Они глядели на меня сочувственно: ему бы погулять в свободное от занятий время, а он бубнит нам то, чего мы уже в училище наслушались.

Единственным, пусть и слабым, утешением служила близость Красной Пресни, где находилась фабрика, к стадиону «Динамо», до которого я, выйдя с фабрики, добирался трамваем за четверть часа. Весной и осенью я ездил туда на футбол, зимой на хоккей.

50 лет прошло с тех пор, как мне и еще миллионам советских людей пришлось растрачивать годы жизни на это лишнее смысла, унижительное занятие, называемое общественной работой, но и теперь я зримо помню эти молодежные общежития, эти красные уголки, эти коммунальные квартиры, приходя в которые я испытывал стыд за все, что делаю. И больше всего угнетают меня не сами эти картины, а то, как мы воспринимали свою тогдашнюю деятельность — так воспринимают люди хроническую болезнь или засуху, словом, некое неудобство, которое существует независимо от нас, заложено в нашу жизнь, а потому нам остается лишь одно — с ним смириться.

Награда за труд, как сказал бы Маяковский, «агитатора, горлана, главаря» выпала мне в середине третьего курса.

Редактором институтской стенгазеты «Советский юрист» стал Миша Шенкар, мой партнер по преферансу, в который я все же научился играть. Шенкар был почти вдвое старше нас, прошел войну и в институте стал лицом влиятельным. Он и выхлопотал мне место в редколлегии.

В общем-то выпуск раз в месяц газеты, занимавшей полстены в вестибюле, был делом столь же нелепым, как мои прежние нагрузки. Никакой информации газета не давала, а подбором, содержанием и формой статей копировала «Правду». Перед тем как газета вывешивалась, ее просматривал член парткома на предмет проверки идейного содержания.

Секрет привлекательности моей новой общественной работы состоял в том, что она освобождала от обязательного посещения лекций. В этом отношении нас приравнивали к институтской аристократии — игрокам футбольной, баскетбольной и волейбольной команд, членам художественной самодеятельности. В исправительных колониях такого рода привилегированную публику называют придурками.

Редакции отвели чулан под лестницей. Там мы и коротали лекционные часы. Иногда приносили из столовой винегрет с селедкой, из соседнего магазина — бутылку водки. Иногда болели за Шенкара — шахматиста-первокурсника, который приглашал в чулан своих коллег по институтской сборной, и играли «блиц». У меня было искушение собирать там партнеров по преферансу, но на этот шаг я не решился. Я уже второй год изучал уголовное право и знал: рецидив — отягчающее обстоятельство, требующее более сурового наказания, чем преступление, совершенное впервые.

Зал Вышинского

Ученье было самой бесконфликтной, а потому и самой унылой частью моей студенческой жизни. И не только моей, но всех, кто не рвался начать делать карьеру прямо сейчас, на институтской скамье. Да и они суетились не столько на семинарах, сколько на собраниях.

У юридического института была устойчивая репутация учебного заведения для бездельников. Судя по перечню дисциплин, могло показаться, что из его стен выходят широко образованные люди. Кроме дисциплин, которые являются для юриста прикладными — уголовного и гражданского права и процесса, государственного, финансового, колхозного, земельного, семейного права, мы сдавали экзамены по марксизму, политэкономии, теории государства и права, истории политических учений, латыни, римскому праву, логике, иностранному языку, судебной статистике. И это далеко не весь перечень наук, которые мы осилили за четыре года.

Однако едва ли не треть лекций и семинаров по каждой из них, исключая разве что латынь, была посвящена обоснованию важности материалистического подхода и диалектического метода познания, которым противопоставлялись принятый в буржуазных странах идеалистический подход и метафизический метод. Отправной точкой на пути к этим выводам служили одни и те же цитаты из главы 4-й «Краткого курса», принимавшиеся за аксиому.

Заманчиво звучали названия двух предметов — история политических учений и теория государства и права. И на лекции по ним сначала набивалось столько народу, что иной раз в зале мест не хватало. Но свободных стульев становилось все больше по мере того, как прояснялась главная идея обоих курсов — критика буржуазных теорий и учений всех времен и народов «от Ромула до наших дней», критика, которая излагалась куда подробнее, чем сущность самих теорий. А доступ к трудам их авторов был закрыт. В институтской библиотеке они отсутствовали, в Ленинской и Исторической хранились в специальных залах для научных работников, куда попадали по особым пропускам.

Еще в римском праве, которое мы тоже проходили, был сформулирован обязательный принцип процесса установления истины в суде: «*Auditor et altera pars*» — «Да будет выслушана другая сторона». Однако студентам-юристам выслушивать другую сторону строго воспрещалось. И правильно: убедительность опровержения чужих концепций может только пострадать от присутствия опровергаемого.

По всем предметам, которые мы изучали, были написаны толстые учебники, рекомендованные авторитетными учреждениями вроде Академии наук и Министерства высшего образования. Но каждый преподаватель на первом же своем занятии предупреждал: «Об учебнике забудьте, единственный источник, свободный от идеологических ошибок, — стенограмма моих лекций».

Мы же, как я уже рассказывал, обычно не прибегали ни к тому, ни к другому. У нас шли нарасхват пособия для юридических школ — они были втрое короче. Находились, однако, любопытные, которые из чисто спортивного интереса сравнивали труды непримиримых по отношению друг к другу ученых и не находили между ними никакой разницы.

В связи с этим мне на всю жизнь запомнилось событие, случившееся в один прекрасный весенний день 1949 года.

В институте проходило Всесоюзное совещание работников юридической науки. Никого из нас оно не волновало до тех пор, пока не пронесся слух: завтра приедет и будет выступать сам Андрей Януарьевич Вышинский, академик, бывший Генеральный прокурор СССР, прославившийся речами на предвоенных политических процессах, а после войны упрочивший свою репутацию великого оратора выступлениями на Генеральной Ассамблее ООН. В центральных газетах они занимали по полторы-две страницы.

В назначенный час студенты, хотя пускать их было не велено, наводнили зал, заняли все свободные места, расселись на полу, подоконниках, прорвались даже на много лет запертую в связи с аварийным состоянием галерку. Для выдворения такой оравы пришлось бы вызывать милицейский наряд. Делать этого не стали. Дирекция махнула рукой и на срыв занятий, и на присутствие в зале посторонних.

Встреченный овацией маленький седенький лысеющий человек в сером кителе дипломата с блестящими пуговицами и генеральскими звездами на погонах поднялся на сцену, разложил на пюпитре какие-то бумажки, спокойно дождался, пока смолкнут аплодисменты, и тихим голосом, медленно, поглядывая в записи, произ-

нес первые слова доклада, который назывался «О положении в советской юридической науке».

Мы, незаконно проникшие в зал и далекие от кипящих в научной среде страстей, все же подозревали, что на этом совещании, как и на всех остальных той поры — от философов и агрономов до музыкантов и писателей, — будут разбираться с космополитами. Неужели мы не угадали? Вышинский вдруг поднял глаза от конспекта, оглядел зал, и его голос, только что звучавший сухо и безразлично, обрел теплоту и доверительность.

Он заговорил о том, что несказанно рад возможности выступить перед соотечественниками, что устал от атмосферы, в которой находился, отстаивая интересы Советского Союза на заседаниях Генеральной Ассамблеи, где его окружали враги, и теперь его греет сознание: здесь — друзья, ему сочувствующие и его понимающие.

Не могу сказать, какое впечатление производили эти слова Вышинского на его ученых коллег, но нас, галерочников, они трогали до глубины души. Мы не могли усомниться в искренности великого советского дипломата. Тем более, что слова эти перекликались со сказанными другим идиологом современников, поэтом Константином Симоновым, чьи стихи «Жди меня, и я вернусь» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» навсегда завоевали ему полное доверие тех, кто жил в войну. Симонов говорил то же, что и Вышинский, только двухстопным ямбом и в рифму:

*Я вышел на трибуну в зал.
Мне зал напоминал войну,
А тишина — ту тишину,
Что прерывает первый зал...*

Это было стихотворение из цикла, который так и назывался — «Друзья и враги».

Мне показалось, что и партер как-то расслабила эта интимность тона Вышинского. И тогда он, не меняя интонации, перешел к тому, зачем явился. Голос его быстро креп. В нем все явственнее звучали металлические ноты. Вышинский-прокурор сменил на кафедре Вышинского-дипломата. Сверху, с балкона, казалось, что участники совещания съежились и втянули головы в плечи, как делают это люди и животные, ожидающие удара.

А его голос хлестал по сидящим в зале, словно кнут погонщика или дрессировщика, ощущающего свою власть и свою безнаказанность, сознающего, что бьет лежачего. Так бил папаша моего одноклассника Трофим Денисович Лысенко менделистов-морганистов. Так били писателей на заседании, посвященном ленинградским журналам «Звезда» и «Ленинград», и музыкантов на съезде, обсуждавшем оперу Мурадели «Великая дружба», философов и языковедов.

Тем, кого били, не было дозволено даже огрызнуться — они могли подать голос исключительно для признания своих ошибок и раскаяния. Только это могло смягчить их вину, хотя тоже не гарантировало от суровой кары.

Наиболее крупными фигурами из тех, на кого обрушился гнев Вышинского, были член-корреспондент Академии наук Строгович, профессор Стальгевич, один из авторов Конституции СССР 1924 года профессор Гурвич. Они учили у нас в институте, на юридическом факультете МГУ, в Военно-юридической академии. Через их руки прошло несколько поколений советских юристов. И вот, как выяснилось из доклада, они учили неправильно, вбивали в головы своих питомцев ложные истины и вредные, идущие вразрез с интересами нашего государства идеи.

В чем суть ошибок наших профессоров, нам, толпившимся на галерке, было не понять. Но одно обвинение врезалось мне в память.

В «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса есть такое обращение к буржуазии: «Ваше право — это возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями существования вашего класса». Этот пассаж Вышинский и его сподвижники чуть препарировали, придав ему вид универсальной, на все случаи жизни формулы: «Право — это возведенная в закон воля господствующего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями существования данного класса».

Профессор Стальгевич решил еще усовершенствовать определение и написал: «Право — это совокупность норм, выражающих волю господствующего класса, волю, содержание которой определяется...» и т.д.

Читатель, думаю, не сразу и уловит, чем одна формулировка отличается от другой, и уж тем более какой яд скрыт в этом довеске — «совокупность норм». Но академик Вышинский разглядел в этих словах покушение на основы марксизма. «Стальгевич и его приспешники, — говорил он, — ставят совокупность норм выше воли, т.е. форму выше содержания, оболочку считают главным, а ядро второстепенным. Они пытаются ревизовать, поставить с ног на голову учение Маркса, проповедуют идеализм».

Окончивший доклад Вышинский, не ожидая вопросов и прений, покинул зал, покинул, как и вошел, с гордо поднятой головой и в сопровождении новой волны оваций. В тот же день совещание окончилось. Через те же двери сначала входили в зал, потом выходили герои его доклада. Но входили они уважаемыми научными деятелями, а выходили — ничем. Не пройдет и недели, как от них откажутся их ассистенты, а аспиранты, которых они холили и лелеяли, примутся поспешно переписывать свои диссертации.

Зал, где состоялось то совещание, всегда выглядел эффектно. На стене против входных дверей висела огромная копия с картины «Утро Родины», на которой изображен во весь рост улыбающийся Сталин. На боковых стенах пространство между высокими окнами занимали небольшие поясные портреты всех живущих и здравствующих членов Политбюро, а под ними — высказывание каждого о великом вожде и учителе народов. Был в институте другой зал — невзрачный, менее вместительный, темноватый. В учебном расписании первый назывался «Большим», второй — «Малым».

Сразу после совещания первый переименовали, присвоив ему название «Зал Вышинского».

Институт я окончил в 1951 году. Тройки по трем из тридцати пяти пройденных наук помешали мне получить диплом с отличием. Тем не менее по общим показателям я вошел среди четырехсот выпускников нашего курса в первые полсотни. Однако и это обстоятельство не внушало мне надежд на приличное распределение: ни мне, ни моим сотоварищам по пятому пункту в анкете, в том

числе и бывшим фронтовикам, на работу в столице или ее окрестностях рассчитывать не приходилось.

Подавляющее большинство тех, кому грозило оказаться далеко от Москвы, приняли предупредительные меры. Юра Фишкин достал запрос из Московского треста хлебопечения, где его якобы ждала должность юрисконсульта, Ленья Новиков — бумагу, подписанную чуть ли не самим министром химического машиностроения, в которой утверждалось, что он необходим юридическому отделу министерства. В ходу были врачебные справки о состоянии здоровья родителей, которое требовало постоянного присмотра со стороны сына или дочери; таких отпускали на все четыре стороны с формулировкой «свободное распределение».

Мне раздобыть запрос было негде. Да я и не старался. Слишком неопределенные перспективы сулил этот самый, как его называли, «свободный диплом». А я не мог ждать, зарплата была для меня насущной необходимостью.

Отца как раз в это время уволили из Министерства цветной металлургии, лишив допуска к секретным документам, без коего он не мог занимать свою должность. Причин ему объяснять не стали, но он догадывался. В анкетах на вопрос: «Имеются ли родственники за границей?» отец всегда отвечал: «Нет». А тут брат, уехавший накануне революции в Австралию, прислал письмо, первое за 35 лет разлуки (отец, правда, не ответил), и таким образом его скомпрометировал. Отец устроился в артель, выпускавшую заколки, и получал там гроши. Мать после кровоизлияния во второй глаз почти не видела. Содержать сына, который неизвестно когда устроится на работу, они не могли.

И я пришел на заседание комиссии по распределению с пустыми руками. Мне даже показалось, что председатель был удивлен, не обнаружив в них никаких бумажек. Этим председателем был новый сравнительно директор института по фамилии Бутов, переведенный к нам за какие-то грехи на посту второго секретаря ЦК КП Молдавии.

— Вам предоставлены на выбор коллегии адвокатов Иркутской и Томской областей. Какую из них вы предпочитаете? — спросил директор.

Что мог я ему ответить? Иркутск и Томск я знал только по названиям. Я сказал, что хочу посоветоваться по телефону с отцом.

— Пожалуйста, — любезно разрешил директор. И добавил:

— Можете сюда не возвращаться. Сообщите свое решение секретарше.

Отец, осведомленный о жизни культурных центров Восточной Сибири не многим более меня, долго молчал, а потом неуверенно произнес:

— Я где-то читал, что в Томске прекрасный университет. Если это правда, то и интеллигенция есть, и жизнь интереснее.

Так я получил направление в Томск.

Впрочем, в Томск я не попал. Маму приводила в отчаяние мысль, что ее непрактичному сыну придется жить в одиночестве за тридевять земель от нее. И она нашла спасительную соломинку, за которую ухватилась. В Архангельск после войны переехал ее младший брат с семьей. И она потребовала, чтобы я попросил в Министерстве юстиции России направить меня туда. Дядя, тоже юрист по образованию и тоже футбольный болельщик, принял предложение принять меня с восторгом.хлопоты в Министерстве заняли полчаса: у меня взяли один бланк, заполнили другой и вручили его мне.

Еще до распределения мы условились с двумя однокурсниками — Юрой Фишкиным и Романом Журавским — провести вместе две недели последнего вольного лета на Черном море. Нам порекомендовали Лазаревку, и мы заблаговременно запаслись билетами на поезд. Но прежде чем мы уехали, вся наша учебная группа собралась на прощальный вечер.

У девушки, с которой мы вместе учились, Оли Шостак, была огромная пятикомнатная квартира в Фурманном переулке, где она жила вместе с матерью, двумя престарелыми тетками и двумя сестрами — по мужу и ребенку у каждой. Все семейство любезно согласилось освободить помещение до самого утра. Там и состоялся бал.

Отношения с Олей, хозяйкой дома, были у меня не более и не менее дружественные, чем с остальными соучениками обоих полов. Но тут, после обильных возлия-

ний и танцев, во время которых мы теснее обычного прижимались друг к другу, нам с ней вдруг захотелось уединиться. Мы спустились в маленький дворик за домом, сели на лавочку и принялись целоваться, не заметив, как пролетели несколько часов и ночь сменилась утром.

Ни взаимных признаний в любви, ни назначения новых свиданий не было. Но когда мы на другой день увиделись в институте, Оля сообщила, что она и ее подруга Лида Трифонова тоже едут в Лазаревку, только немного позже нас, и попросила снять им комнату рядом с нами и встретить их на станции.

Уже после их приезда мы познакомились на пляже еще с одной девушкой, Аней, тоже только что окончившей институт, педагогический, и мы проводили время вшестером, почти не расставаясь. Целый день купались и загорали, а по ночам занимались любовью.

Развязку этого летнего приключения нетрудно угадать. Я в связи со скорым отбытием к месту работы женился первым. Зимой нашему примеру последовали Роман с Лидой, а несколько позже — Юра с Аней.

Не могу сказать, что столь важный шаг я сделал без колебаний. Меня смущала стремительность, с которой мы, знакомые четыре года и до того равнодушные друг к другу люди, промчались путь от, как сказал поэт, «поцелуев при луне» к загсу. Мы, в общем-то, как следует и не знали друг друга, не были связаны общими интересами, никогда до той судьбоносной ночи не поговорили ни о чем существенном.

Однако все сомнения рассыпались в прах, едва я напомнил себе о проявленном моей суженой благородстве. Она превращалась для меня в княгиню Волконскую или княгиню Трубецкую, принесших в жертву столичный комфорт и последовавших за своими мужьями-декабристами в сибирскую ссылку. Тетка Ольги заведовала отделом библиографии во Всесоюзном институте юридических наук, помогла ей избежать распределения и обещала устроить на службу.

А она едет за мной, едет в северную глушь, в холод и неизвестность.

Глава 3

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Блюстители закона

— Я об этом не компетентен, — важно отвечал на большинство задаваемых ему вопросов заместитель прокурора Архангельской области старший советник юстиции Федор Чешкин. И прибегал он к этой любимой своей формуле не из скромности. Он считал, что она заменяет другое, менее уместное в устах работника областного масштаба «не знаю». Он произносил «я об этом не компетентен», когда речь заходила не только о вещах, далеких от его интересов, вроде оценки нового романа или причины весеннего похолодания, но и о прогнозе погоды на завтра или часах работы местного ресторана «Полярный».

«Труп в живности находился в рынке и торговал семечками», — было записано в протоколе опознания умершего, который я обнаружил в одном из первых в моей адвокатской практике следственных дел. Под этим документом стояла подпись оперуполномоченного городского отдела милиции Северодвинска старшего лейтенанта Кобылина.

Знакомство с изречениями двух среднего ранга тружеников правового фронта побудило меня обзавестись записной книжкой. Думал: приеду в Москву в отпуск и буду развлекать знакомых любителей анекдотов. Но не сохранилась у меня та книжка. И пополнялась она записями лишь первые месяцы жизни на новом месте. Потому так привык слышать и читать такие и еще почище выражения, что глаз и слух перестали их улавливать: мои коллеги-адвокаты, которым грамотная речь вменяется в служебную обязанность, не многим отличались от остальных тамошних юристов.

Пожалуй, это, а не бытовые неудобства и скудость зарплаты больше всего удручало меня в первое время. Правда, почти одновременно со мной прибыли в Архангельск двое моих одногодков, выпускники Московского и Ленинградского институтов. Но нам быстро пришлось друг с другом распрощаться. Оказалось, что Архангельск для нас — перевалочная база перед новым распределением — в юридические консультации разных городов области. Меня, как прибывшего первым, направили в Северодвинск — самый крупный и благоустроенный из всех.

Если распространяется определение «социалистический реализм» на градостроительство, Северодвинск мог служить таким же идеальным образцом этого жанра, как Комсомольск-на-Амуре. В нём тоже каждый кирпичик каждого дома, каждую досочку каждого тротуара, каждое бревно каждой мостовой уложили заключенные. Уложили прямо на болоте.

Точка, отметившая его местоположение, появилась на географической карте в середине 30-х годов. Ново-рожденному было присвоено имя Молотовск. Переименовали его уже после моего приезда, как и еще множество городов и улиц, некогда названных в честь членов разоблаченной Хрушевым антипартийной группы Молотова — Маленкова — Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова.

Возник Северодвинск у впадения Северной Двины в Белое море. Все его сооружения — жилые дома, здания городских учреждений, заводские цеха, проезжие и пешеходные дороги — покоились на сваях. Люди ходили по дощатым мосткам, окруженным болотом, и летом над прохожими вились скрывающие солнце тучи комаров.

Архитекторы жилых кварталов не отличались изобретательностью. Создавали они дома либо кирпичные с двухкомнатными квартирами для более или менее ответственных работников, либо оштукатуренные, покрытые грязно-розовой и грязно-голубой краской с комнатами-клетками, выходящими в общий коридор, для рядового семейного люда, либо того же типа строения, которые назывались молодежными общежитиями и в которых каждая комната предназначалась для шести-семи одиночек.

Здания драмтеатра и кинотеатра в центре города не делали пейзаж привлекательнее. И без того блеклая краска на них полиняла и местами отвалилась вместе со штукатуркой. Некоторое разнообразие внешнему виду города могли бы придать каменные коттеджи, служившие жильем для высшего начальства, но их вынесли за городскую черту.

В Северодвинске было два предприятия. Одно, строительный трест, существовало ради второго, завода по производству военных кораблей, в официальных документах фигурировавшего под кодовым названием «п/я №1». Собственно, при нем «из тьмы лесов, из топи блат вознесся» и сам Молотовск, город с населением 80 тысяч человек.

Лагерь на территории города почти не осталось. Но когда я шел утром на работу, меня иногда обгоняли грузовики с сидевшими в них, тесно прижавшись друг к другу, людьми в серых бушлатах и того же цвета ушанках, над которыми возвышались охранники, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Еще реже город пересекали по бревенчатым панелям пешие колонны заключенных в окружении стрелков с собаками на поводках. В середине 30-х годов только они — заключенные и охранники — составляли население Молотовска.

Заключенных в качестве основной рабочей силы на строительстве второй очереди завода сменили приезжие, в большинстве своем завербованные на четырехлетний срок. Закон приравнивал их к жителям районов Крайнего Севера, и они получали приличную зарплату, которая росла ежемесячно на 10 процентов до тех пор, пока не удваивалась. Еще им полагались удлиненные отпуска и прочие льготы.

Те же, кто устраивался на завод и стройку самостоятельно, ни надбавок к жалованью, ни льгот не имели. В таком же положении были все работники городских учреждений, в том числе юристы.

Вряд ли нашелся бы на свете мудрец, получивший задание создать наиболее располагающую к взяткам и коррупции систему и сумевший придумать что-либо совершенной этой.

Работал на заводе 22-летний парень Вася Шабанов, высшей квалификации плазовый разметчик. Познакомился я с ним как с баскетболистом сборной города, матчи которой посещал. А подружился после успешного завершения его уголовного дела. Вася, выпив лишнего в ресторане, побил палкой прохожего. Его посадили в местную КПЗ и предъявили обвинение в злостном хулиганстве, за которое могли осудить на пять лет. Васина мать попросила меня быть защитником сына. Мне удалось добиться сначала его освобождения из-под стражи до суда, а потом, уже в судебном заседании, приговора к условному наказанию.

Так вот, мой друг, выпускник ремесленного училища Вася, чей заводской стаж равнялся двум годам, зарабатывал с премиями 400—450 рублей в месяц. А прокурор города, в круг обязанностей которого входило обвинение Васи на суде, 150. А следователь, которому дело было поручено, 98. А судья, выносивший приговор, тоже 98. И они еще не были самыми мелкими спицами в колеснице советской юстиции. Северодвинск, в связи с его особым значением для укрепления обороноспособности страны, отнесли к категории городов, носивших название «город союзного подчинения». В других, областного подчинения, блюстители закона получали рублей на 20 меньше.

Судебная защита Васи Шабанова снискала мне в глазах горожан некоторую известность. Думаю, однако, что победу позначительней, если измерять ее масштаб в денежных купюрах, одержало одно из лиц, от коих зависел срок наказания. Вася был не из тех, кто постоял бы за ценой. Но, хотя мы с ним подружились, в эти подробности он меня так никогда и не посвятил, даже когда спустя много лет гостил у меня дома в Москве. Должно быть, не посвятил из деликатности — как бы не подумал я, что Васино освобождение из неволи — его, а не моя заслуга.

На таком же, как Вася, уровне получали на заводе зарплату тысячи молодых людей, живших в общежитиях, не обремененных ни иждивенцами, ни квартплатой. А, скажем, у прокурора города Бызова было пятеро детей, у народного судьи Гончарова — трое. Непонятно,

как они при своих зарплатах сводили концы с концами. Тем более в тамошних условиях.

Мясом, маслом и молоком северодвинские магазины торговали редко. Эти продукты можно было раздобыть только на том самом единственном в городе рынке, где, по словам старшего лейтенанта Кобылына, находился и торговал семечками «труп в живности». На рынок все это добро привозили из южных краев и заламывали за него цены, едва доступные даже завербованным.

В дни, когда дефицитные продукты все-таки, как это тогда называлось, «выбрасывали» или «давали», город пересекали тысячные очереди. А самые большие не только у нас, в Северодвинске, но и в Архангельске выстраивались за мороженой треской. Нежная любовь архангелогородцев к этой рыбе снискала им кличку «трескоеды». В тех краях родился непонятный приезжим афоризм: «Трещечки не поешь — не поработаешь». И когда по городу проносился слух, что завезли треску и завтра будут «давать», народ с ночи толпился у магазинных дверей, вооруженный холщовыми мешками. Впрочем, загружать эти мешки удавалось далеко не всегда. Магазин открывался, на пороге возникал директор и громогласно объявлял: «Норма выдачи трески — три килограмма в одни руки».

Белое море треской богато, ее там ловят тысячами тонн. Даже в те трудные времена треска подолгу пролеживала в рыбных магазинах большинства городов, не имея спроса. Но там, где люди тосковали по треске, она, хоть и стоила копейки, была недоступна.

Труд адвокатов в мое время оплачивался так же нищенски, как и прочих юристов. За судебную защиту, да и то если дело сложное, мне полагалась двадцатка, за составление кассационной жалобы — семь с полтиной, искового заявления — трешка. Точнее, причитались эти деньги не мне, а областной коллегии адвокатов. Мне шло примерно три четверти. Остальное — на содержание коллегии.

Адвокат ни приговоров, ни решений не выносит и не заключает людей под стражу. Адвокат — не более чем проситель. Давать ему взятки не за что. Бывало, правда, что и мои коллеги попадали на скамью подсудимых по

делаю о взяточничестве, но судили их как посредников при передаче денег должностному лицу. Я, даже если бы захотел принять на себя такую роль, не смог бы — для местных судебно-прокурорских работников я был человеком со стороны, не вхожим в их круг немолодых чиновников, сидевших в своих кабинетах многие годы и, подозреваю, связанных друг с другом круговой порукой.

Мы с женой с трудом представляли себе, как нам удастся просуществовать на мои полторы сотни. Но безвыходных положений не бывает. Жену приняли на освободившееся место одного из трех юрисконсультов завода и не только дали ей оклад сто рублей в месяц, но еще задним числом оформили якобы отправленный в Москву вызов и таким образом распространили на нее все те блага, какие положены завербованному.

Впрочем, и вдвоем мы не могли тягаться по заработкам с Васей Шабановым. Пришлось родителям протянуть нам руку помощи. Получив мое письмо с описанием того, что можно и чего нельзя раздобыть в местных магазинах, мама стала отправлять нам посылки и проявила при этом чудеса изворотливости. Разрешалось посылать далеко не все. Сливочное масло почта не принимала. И мама, не представлявшая себе, что ее великовозрастное дитя сможет обойтись без этого богатого витаминами и калориями продукта, проделывала довольно сложную операцию. Она нагревала кусочки масла, придавала им круглую форму, чуть подкрашивала розовым сиропом и заворачивала в тонкий пергамент. Эти кружочки сходили за яблоки. Ценность ее посылок многократно возросла, когда у нас родился сын.

Продовольственные трудности в те годы переживала вся страна. Их справедливо относили на счет принесенных недавней войной разрушений. У всех свежа была память о ней, и на нехватку еды никто не роптал. Но пройдет четверть века и, собираясь в эмиграцию, я, прежде чем уложить в багаж старый семейный фотоальбом, стану его перелистывать и обнаружу то письмо маме, в котором сообщал о пустых прилавках северодвинских магазинов. Там есть такая фраза: «Все магазинные полки заняты пирамидами консервных банок с кабачковой ик-

рой, тресковой печенью и крабами, а на прилавках — ничего, кроме селедки». Мы эмигрировали в марте 78-го года. О существовании таких деликатесов, как крабы и тресковая печень, москвичи, не говоря уже о провинциалах, начали тогда забывать. Кабачковую икру сотрудники «Советского спорта» получали в праздничных заказах. Когда я заикнулся своему другу, директору кафе «Молодежное» Роме Кацнельсону, что хотел бы угостить собирающихся к нам на проводы селедкой, он сказал:

— Проси что угодно, от черной икры до «Сибирской» водки. А селедку — не могу. И никто тебе ее не достанет.

Так ответил мне всемогущий работник общественного питания через 33 года после окончания войны. Кстати, Роман теперь тоже живет в Нью-Йорке, и мы с ним по-прежнему дружим.

Раз уж позволил я себе, нарушив хронологию, забежать на четверть века вперед, оставлю позади еще двадцать лет.

Живя в Нью-Йорке, я долго избегал столкновения с судом. Повестки с требованием явиться в положенный срок для выполнения своего гражданского долга присяжного заседателя приходили мне неоднократно. Но всегда находилась уважительная причина, позволявшая отклонить приглашение: то собираюсь в отпуск, то, будучи единственным кормильцем семьи, не могу отложить внештатную работу на «Радио Свобода», то предстоит командировка на Олимпиаду.

Все это сходило с рук до тех пор, пока законодательное собрание штата не разработало точный перечень мотивов, разрешающих отложить явку в суд. Не явившемуся по иной причине грозит уголовная ответственность. И в 1997 году, снова выбранный из миллионов моих сограждан компьютером, я вынужден был прибыть в суд для исполнения своего гражданского долга.

У станции метро увидел знак — стрела и под ней надпись: «К суду». Впрочем, выделить его здание в ряду соседних ничего не стоит и без указателя — по portalу, как у Большого театра, и мраморным ступеням, ведущим к подъезду. Чтобы попасть из вестибюля в помещение, надо пройти сквозь турникеты, установленные для

выявления у посетителя оружия. Судебные залы напоминают помпезностью наш институтский, имени Вышинского, только менее вместительны. В других, тоже просторных, но поскромнее, ожидают вызова на разные разбирательства присяжные. Для их развлечения предназначены разбросанные по длинному столу свежие газеты, шахматные доски, колоды игральных карт. На книжных полках стоят стопки брошюр о правах и обязанностях присяжных. В обеденный перерыв разносят бумажные стаканчики с кофе и бутерброды. К зданию суда в это время подкатывает фургон с горячими блюдами и салатами, которые, правда, надо покупать за свой счет.

На этом боевом посту я провел два дня. И по прошествии нескольких недель получил чек на 54 доллара, из расчета 27 долларов — за один потерянный рабочий день.

Студентом я проходил практику в прокуратуре Ленинского района Москвы, однажды мне даже доверили занять прокурорское кресло в судебном процессе по мелкому хозяйственному делу. Бывал я в судах Архангельска. Северодвинская юридическая консультация находилась в том же доме, где три участка народного суда, прокуратура и нотариальная контора.

Роднила помещения правоохранительных органов убогость обстановки. В неподметенных темных коридорах всегда не хватало стульев. В залах столы для судей, обвинителя и защитника были покрыты суконными скатертями, некогда зелеными или красными, но с годами приобретшими цвет чернил, пролитых на них несколькими поколениями заседавших. Скамьями подсудимых повсюду служили освобожденные от публики деревянные лавки в первом ряду.

Однако все это показалось бы, по выражению Остапа Бендера, «пошлой роскошью» человеку, попавшему в наш, северодвинский «дворец правосудия».

Лишь в шутку можно было назвать зданием этот дощатый барак. Стоял он на улице, одна сторона которой представляла собой железнодорожное полотно, а за ним — кучи угля, пирамиды шпал, склады. Барак продувался северными ветрами насквозь, и зимой все мы работали в пальто и шубах.

Основное население тогдашнего Северодвинска — хорошо оплачиваемые молодые рабочие, а самый ходкий в магазинах товар — водка, которую принято было запивать бочковым пивом. «Взяли бутылку на троих и бидон пива, потом сбегали еще» — типичная фраза из показаний по делам о хулиганстве. Стоит ли удивляться, что местная КПЗ была переполнена ожидающими суда за пьяный дебош. По каждому такому делу вызывались многочисленные свидетели. Им устраивали перекличку и выпроваживали в коридор — в зал до момента своего допроса свидетель войти не имеет права. И они слонялись толпами по общему коридору, в котором негде было присесть. Некоторые проводили так два-три дня. Изредка между свидетелями обвинения и защиты возникали дискуссии, участники которых охотно переходили от слов к делу. В этом же коридоре топтались люди, ожидающие очереди к адвокату и нотариусу, истребованные повестками к прокурору и следователям.

Все познается в сравнении. Нам — и служителям Фемиды, и тем, кому пришлось с ней столкнуться, — этот антураж казался не только допустимым, но и единственно возможным. О том, что существует иной, мы не знали. И не сознавали, что эти декорации находятся в вопиющем противоречии с самой идеей правосудия, в чьих руках судьбы людей, и института суда, правомочного лишать свободы и, наоборот, ее дарить, разрушать семьи, отнимать нажитое добро.

Впрочем, хотели того или нет создатели советской юстиции, они воплотили в жизнь основополагающую Марксову идею о единстве формы и содержания. Это ведь только так казалось, что они — судьи, прокуроры и следователи — вершители судеб тех, кто имел несчастье столкнуться с законом.

Время от времени их, вершителей, приглашал к себе секретарь горкома партии и произносил примерно такую речь:

— Товарищи! Согласно проведенной проверке состояния борьбы с хулиганством (вместо слова «хулиганство» ставились, в зависимости от обстоятельств, другие: «хищения», «халатность», «карманные кражи», «нарушения

паспортного режима») положение в нашей области неблагоприятно. А в Северодвинске — особенно. Между тем, за последние полгода суды вынесли по этим делам два оправдательных приговора и четыре — не связанных с тюремным заключением. Таких вещей партия терпеть не будет. Пока ограничусь предупреждением, а в следующий раз виновным в либеральничанье придется отвечать за свои действия на бюро горкома.

На что мог рассчитывать очередной подсудимый, даже если выяснялось, что он не напал на женщину, а защитил ее от нападения, что не он украл, а у него украли, что проявил на службе не халатность, а бдительность?

Но и без накачки в горкоме суд и прокуратура — так была устроена их деятельность — заботились не об установлении истины, а о том, чтобы усадить привлеченного к суду человека за решетку. Каждый оправдательный приговор и каждое освобождение из-под стражи требовали от судьи и прокурора письменного объяснения причин начальству. И то, и другое официально признавалось браком в их работе. Накопится несколько таких проколов, и грозит прокурорскому работнику увольнение, а судье нечего надеяться остаться в своем кабинете на новый срок.

Гонорар за работу адвоката вносится в кассу до начала судебного процесса и не возвращается, каков бы ни был исход. И я довольно часто испытывал неловкость, берясь за новое дело. Понимал: мне предстоит сражаться с ветряными мельницами. И это безнадежное сражение мне приходилось вести в одиночку против сплоченных общим интересом судьи и прокурора.

Конечно, никто не лишал заседателя права не соглашаться с судьей. Но сам этот институт народных заседателей — один из тысяч трюков, на которых покоилась самая демократическая в мире советская судебная система.

В стране, где я живу сейчас, присяжных — а это те же народные заседатели — выбирает компьютер. Он не делает различия между богатыми и бедными, бизнесменами и безработными, молодыми и старыми, судимыми и жертвами преступлений. В СССР заседатели избирались на тех же выборах, что судьи, из числа достойных и ло-

яльных граждан. Это должны были засвидетельствовать их производственные характеристики. На собраниях предприятий и учреждений выдвигалось ровно столько кандидатур, сколько требовалось, и ни одной лишней на случай, если хоть один кандидат не наберет необходимого числа голосов.

Никто из таких тщательно отобранных, имеющих репутацию верных линии партии людей не станет противоречить судьбе, который олицетворяет эту линию. Еще и потому не станет, что опасается: вдруг придет ему на работу из горкома бумага — не оправдал, мол, доверия. А это — почти наверняка неприятности вроде лишения премии, отказа дать бесплатную путевку в дом отдыха, увольнения при первом сокращении штатов.

И все же, поскольку в заседатели попадали сотни тысяч людей, мог — в семье не без уroda — проскользнуть по недосмотру на этот пост какой-нибудь правдоискатель или просто упрямец. Такая ситуация тоже предусмотрена.

В американском суде 12 присяжных уединяются для вынесения вердикта, и в отсутствие судьи, не испытывая давления с его стороны, решают, виновен ли подсудимый. И никто из них, если сам не хочет, не обязан сообщать, как он лично ответил на этот вопрос. Обязательное условие вынесения обвинительного приговора — единогласие: все присяжные должны сказать: «Да, виновен».

В советском суде судьба обвиняемого тоже решалась за закрытыми дверями, и нарушение тайны совещательной комнаты влекло за собой отмену приговора. Но уединялись трое: вместе с заседателями и сам судья. Все трое равны, каждый имеет по голосу — а как же иначе в демократическом государстве? Решение принимается простым большинством. На практике это означает, что судья, юристу-профессионалу, надо склонить на свою сторону хотя бы одного из двух заседателей, пришедших от станка. Второй, если упирается, все равно обязан подписать приговор, но, коли захочет, может изложить на бумаге особое мнение.

На одной из вечеринок, последовавших в бараке, где сидели правоохранительные органы Северодвинска, после какого-то очередного торжественного заседания по слу-

чаю революционного праздника с обязательным докладом и вручением почетных грамот передовикам, принявший лишнего судья Гончаров разоткровенничался со мной:

— Вчера приговор по пустячному делу отнял полдня. Уперся один заседатель, и все тут. Я его предупредил, что не выпущу никого из совещательной комнаты и сам не выйду, пока он не уймется. Еле уломал. Но часа три убил...

Не любили судьи «особых мнений»: снижают они воспитательное влияние приговора на трудящихся.

У осужденного человека всегда есть соломинка — кассационная жалоба в вышестоящую судебную инстанцию. И мы, защитники, добросовестно их писали. Так ведь работников правового фронта областного масштаба тоже собирают на совещания в обкомах...

В Северодвинске мне, как и в школе и в институте, пришлось заниматься общественной работой. Раз или два в месяц вручали путевку горкома ВЛКСМ с указанием адреса молодежного общежития, где была назначена моя лекция, день и час ее проведения. Тем несколько, на выбор: «Конституция СССР — самая демократическая в мире», «О правах и обязанностях советских граждан» и еще что-то в этом духе. Сгоняли на лекции иногда до сотни ребят — всех, кто не успел уйти из дому. Слушателям меня представляли: «Адвокат Рубин».

Как ни странно, это пустое занятие сослужило мне добрую службу. За первые два года северодвинской жизни я побывал во множестве общежитий. Их обитатели знали меня в лицо. И вечерами, когда пустели улицы города, занимающего одно из ведущих мест в стране по потреблению водки на душу населения и по преступности, я мог смело разгуливать в одиночку. Только однажды совершилось покушение на мое здоровье и мой кошелек, но, всмотревшись в меня, кто-то из покушавшихся остановил подельников:

— Не трожь, это адвокат Рубин.

Не качество прочитанных лекций служило моим щитом, а слово «адвокат». К нашему брату, в отличие от работников милиции, суда и прокуратуры, население питало симпатию — какие-никакие, а все же защитники. Хорошие отношения с нами старались поддерживать на

всякий случай, руководствуясь народной мудростью, которая гласит: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».

Было еще одно последствие моей деятельности на ниве лекционной пропаганды. Меня полюбил секретарь горкома комсомола Власов (его, когда я уже работал в «Советском спорте», перевели в ЦК КПСС, но в Москве я с ним не встречался). Кто-то доложил ему, что мои лекции имеют успех: я не пользуюсь конспектами, привожу примеры из своей юридической практики, легко отвечаю на вопросы, словом, слушателей не приходится на встречи со мной сгонять силком.

Не помню сейчас, до или после Нового, 1953 года Власов позвонил мне и попросил явиться в горком. В его кабинете я увидел прокурора Андрея Николаевича Бызова. Его прислали в Северодвинск недавно, но мы уже успели настолько с ним сойтись, что, приезжая в Москву на экзаменационные сессии в заочном юридическом институте, Бызов навещал моих родителей. Выглядел он белой вороной среди своих сослуживцев — скромный, начитанный, обладающий хорошей речью человек. Уже после этого свидания в горкоме он мне рассказал, что идея сделанного Власовым предложения принадлежала ему, Бызову.

А само предложение меня огорошило.

— Вы знаете, — говорил Власов, — какое сейчас сложное время. Разоблачение группы врачей-отравителей грозит многим у нас в городе большими неприятностями. Вам — в том числе. Так устроена наша жизнь: чем дальше от Москвы, тем круче отклик на все, что там происходит. Мы с Андреем Николаевичем посоветовались и решили дать вам рекомендацию в партию. Принятие в ряды КПСС именно теперь может избавить вас от многих бед. Я член бюро горкома и беру его на себя. А Бызов позаботится о том, чтобы все прошло гладко у вас в организации.

Идя в горком, я был готов к чему угодно, только не к этому. От растерянности я стал лепетать первые пришедшие на ум слова:

— Я вам очень благодарен, но не знаю, достоин ли... Жизненного опыта мало... Боюсь не оправдать доверия...

И, наконец, спасительная мысль, позволившая выиграть время:

— Я должен подумать и посоветоваться с женой. Завтра передам ответ через Бызова.

Мой рассказ о беседе в горкоме жена восприняла с энтузиазмом. Оказывается, она сама хотела подать мне эту идею, но не решалась и потому откладывала разговор. Нет, ей, как и мне, не приходило в голову, что дело врачей может каким-то боком коснуться нас. У нее были совсем иные мотивы.

С того самого дня, как мы ступили на землю этого славного города-новостройки, мы мечтали о возвращении домой. По тогдашним законам молодой специалист обязан проработать там, куда направлен при распределении, не менее трех лет. У меня как раз третий год и пошел, так что это препятствие на пути в Москву скоро должно было рухнуть. Однако было другое, покруче.

В Москве тоже придется кормить семью. А как найти работу? После долгих и бесплодных попыток устроиться по специальности один из моих ближайших друзей, Ленья Новиков, окончил курсы иностранных языков и преподавал в школе немецкий. Другой, Роман Журавский, баскетболист-перворазрядник, стал тренером по баскетболу в спортшколе Тимирязевского района. Только третий, Юра Фишкин, был юрисконсульт на полставки в тресте хлебопечения и зарабатывал там 40 рублей в месяц. Но детей у него еще не было, жена служила, и они кое-как перебивались. Мне ни один из трех вариантов не подходил.

В поисках выхода жена написала своей тетке, старой сотруднице Всесоюзного института юридических наук, и взмолилась о помощи. Та ответила, что наши шансы на трудоустройство хотя и невелики, но не безнадежны. Кто-то из институтского начальства обещает содействие, однако при единственном условии — надо возвратиться с партбилетом в кармане.

Потому и вдохновило так жену предложение секретаря горкома комсомола. Спорить с ее доводами я был не в праве: первая обязанность семейного человека — позаботиться о своих ближних.

Я сообщил Бызову о принятом решении и после выполнения необходимых формальностей стал кандидатом в члены КПСС. Через год, когда пришла пора сменить кандидатскую карточку на членский билет, Сталин давно почил в Бозе, а врачей реабилитировали. Но обратной дороги для меня уже не было. Да я об этом и не думал. Для нас с женой, как для чеховских сестер, все заслоняла одна мечта: «В Москву».

Не стану кривить душой: мое нежелание вступить в партию не вызывалось расхождением с ее генеральной линией. Для меня и для подавляющего большинства людей моего поколения партия составляла органическую, обязательную часть нашей жизни. Это было то, что в задачах по математике называется «дано». Над тем, что дано, не задумываешься, хорошо это или плохо. Хорошо или плохо, что есть зима и лето? Что на севере холодно, а на юге тепло? Что солнце греет, а луна нет? Партия в нашем сознании была явлением из того же ряда — существующим вне нас и независимо от нас, явлением, которое нельзя ни признавать, ни отрицать, а надо с ним считаться.

Мне надоел комсомол с его собраниями, общественными нагрузками, вечной опасностью, что на тебя заведут персональное дело. Но без комсомола не обойтись. В нашем классе 12-й школы было 33 ученика и 33 комсомольца, в том числе все второгодники. Партия сулила все те же неприятности, но возведенные в квадрат. Однако таких, как я, туда не тянули за шиворот, как в комсомол. Для таких и определение было придумано — беспартийный большевик. Значит, я могу прожить вне ее рядов и не помереть с голоду.

Я говорю о тогдашней идеологии моего поколения. Возможно, те, кто повзрослел до войны или на войне, думали иначе.

Для меня навсегда остался загадкой один эпизод из жизни отца. Он не состоял в партии. Национальность и другие анкетные данные стали причиной потери им после войны службы в министерстве с довольно приличным жалованьем 180 рублей в месяц и, соответственно, мно-

голетней полосы материальных трудностей, из которых они с матерью так и не выбрались до самой смерти.

Но, как рассказывала мама, когда по радио объявили, что умер Сталин, у отца, человека не сентиментального, любителя слушать и рассказывать антисоветские анекдоты, была самая настоящая истерика. Рыдал он долго и безутешно, а в день похорон пытался пробиться в Колонный зал Дома союзов к гробу с телом Сталина, чтобы лично проститься с вождем и учителем. В толпе одержимых тем же стремлением его чуть не задавили на смерть у Неглинной площади, к которой очередь двигалась по крутому спуску от Сретенских ворот вдоль Рождественского бульвара; в Колонный зал ни отец, ни его соседи по очереди так и не попали.

Если бы в этот день, или на следующий, или накануне был объявлен — наподобие 30-летней давности ленинского — массовый сталинский призыв в партию, и отец, и миллионы таких же убитых горем людей откликнулись бы с восторгом и без раздумий. Но призыва никто, естественно, не объявлял, и ни отец, ни его единомышленники — в большинстве своем люди за сорок — не влились в авангард трудящихся.

Пополнялся он, этот авангард, в то время из иных источников. Значительная часть — главным образом рабочие и колхозники — вступала в КПСС, понуждаемая местными властями, от которых высшее руководство требовало увеличить представительство класса-гегемона в партии. Других влекла забота о карьере. Третих, как меня, — о том, чтобы устроиться на работу. Четвертых — чтобы не выгнали с работы.

Объединивший все эти мотивы общим определением: «шкурные интересы» сказал бы сушую правду. Но как бы там ни было, сама по себе принадлежность к партии не считалась признаком аморальности, если ты не пользовался ею во вред другим и не взбирался на верх служебной лестницы по трупам своих ближних. Среди того великого множества людей, с которыми и тогда, и позже сводила меня жизнь, были добрые, нравственные, заботливые по отношению к слабым коммунисты и жуликоватые, злобные, завистливые беспартийные.

Вступила в КПСС и жена. И мы с ней немедленно взялись за осуществление плана под кодовым названием «Назад, к предкам». По этому плану она, не привязанная к своему заводу статусом молодого специалиста, отбыла с 2-летним сыном в Москву. Я должен был, пока течет срок моей ссылки, зарабатывать деньги на жизнь себе и им. А к тому моменту, когда и я буду свободен, как ветер, жена устроится и возьмет на себя ношу кормилицы семьи.

31 мая 1955 года я сошел со ступенек особого, северодвинского, вагона поезда Архангельск — Москва на перрон Ярославского вокзала. Ни почетного караула, ни ковровой дорожки, ни духового оркестра ради этого случая не приготовили. Но все равно я чувствовал себя в тот миг папанинцем, ступившим на твердую московскую землю после долгой зимовки на Северном полюсе.

Подручные партии

Судя по названию учреждения — Московская контора Главкинопроката — и должности, которую заняла в ней жена — инспектор, она за время моего отсутствия стала важной персоной. Единственный повод усомниться в этом давал размер зарплаты — 60 рублей в месяц. Так что я должен был начать приносить домой какие-то деньги, и чем быстрее, тем лучше.

Однако где и как их добывать? Я не стал изобретать велосипед, а пошел по проторенному многими поколениями советских граждан и самому надежному пути — занялся поисками блата. И нашел. Да иначе и не бывает. Двоюродный дядя, или теткин свояк, или бывший сослуживец отца отыскивается всегда и у всех. И в конце концов какой-то рычаг срабатывает. Есть у Ильфа и Петрова рассказ, герой которого составил список людей, обещавших достать ему по благу билет на поезд в Кисловодск, и в каждой графе сделал пометку: «Хочет, но не может», «Может, но не хочет», «Может, но сволочь». В день отъезда его поджидали на вокзале 47 человек с билетами в руке.

Что блат был явлением в Стране Советов массовым — истина, не нуждающаяся в доказательствах. Немногое изменилось и после того, как советская власть рухнула. И хотя блат — извечный благодатный объект для упражнений в остроумии у эстрадных конференсье и газетных фельетонистов, в глазах общества он — явление неизбежное. Я, как и все мои соотечественники, в этой неизбежности никогда не сомневался.

Прожив некоторое время в Америке, я понял: так-то оно так, нельзя сказать, что в США это явление неизвестно и немислимо. И здесь влиятельные лица готовы «порадеть родному человечку», а зависимые от этих лиц рады им угодить. И на государственной службе, где зарплату служащему платит казна, такие вот «блатные» удерживаются.

Но в мире, где господствует частное предпринимательство, государственный сектор занимает скромное место. Здесь правит бизнес. В нем выживают только преуспевающие, прибыльные. Как бы ни был близок проситель хозяину, для того своя рубашка ближе к телу. Даже если он хочет помочь другу, он просто не может платить деньги посредственному работнику и при первой же возможности заменит принятого по протекции более квалифицированным и трудоспособным. Эти требования к деловым качествам вынужденные, не зависящие от воли, желания, человеколюбия нанимателя.

Однако привычки, усвоенные в прошлой жизни, впитываются в плоть и кровь настолько прочно, что становятся частью нас самих.

В Америке я сам короткое время был бизнесменом — издавал собственную газету (я об этом еще расскажу). И едва ли не на второй месяц после ее открытия у меня произошел такой телефонный диалог:

— Я говорю с вами из Парижа, — начал звонивший и назвал свою фамилию, которую за давностью лет я забыл. — Я звоню по поручению Владимира Емельяновича Максимова. (Владимир Максимов был главным редактором журнала «Континент» и в эмиграции пользовался почти такой же известностью, как Сахаров и Солженицын на родине.)

— Слушаю вас, — почтительно вымолвил я, услышав это имя.

— В Нью-Йорк из Парижа едет близкий «Континенту» человек. Владимир Емельянович просит, чтобы вы взяли его на службу в редакцию.

— Он журналист? — задал я естественный вопрос.

— Нет, но это неважно. Он порядочный и энергичный человек.

— Но у нас в газете ни я, ни оба моих сотрудника не получаем ни одного цента. Мы работаем без зарплаты. Выстоим — тогда и будем получать. А пока нам нечем платить ни себе, ни другим.

Я говорил чистую правду, но мой собеседник не принимал никаких отговорок.

— Да, но вас просит Максимов! — с ударением на последнем слове произнес он.

— Ничем не могу помочь, — только и мог ответить я.

— Тогда дайте мне координаты вашей вышестоящей организации и фамилию руководителя, я буду разговаривать с ним.

Я, хотя и опасался быть заподозренным в обмане или мании величия, объяснил, что нет надо мной начальства ни на земле, ни на небе. Он резко оборвал разговор и повесил трубку.

И еще случай, связанный с приездом в Нью-Йорк Александра Альметова, замечательного хоккеиста и моего давнего друга. Ему в ту пору было за 50. Явился Саша с женой Галей, рассчитывая поселиться здесь навсегда. Он питал тайную надежду на то, что его, олимпийского и мирового чемпиона, Америка помнит и примет с распростертыми объятиями. Он и приглашение приехать в США получил лично от мэра Нэшвиля как почетный гражданин этого города. Билеты на самолет супруги Альметовы взяли в один конец.

Гале мы мигом подобрали работу по объявлению в русскоязычной газете: требовалась няня для ребенка. А ее мужа, оказалось, Америка забыла, и мы не знали, как ей напомнить об Александре Альметове. Несколько дней мы с ним просидели у меня на кухне (у выходцев из России кухня и в Америке — место дружеских бесед),

предаваясь воспоминаниям о былых хоккейных битвах, в которых он участвовал и о которых я писал, и обдумывая пути завоевания им Америки, а потом Саша сказал:

— Я ведь могу и физическим трудом заниматься. Как думаешь, рабочим где-нибудь возьмут?

Мне была известна его послехоккейная жизнь. Забытый своим клубом, Альметов копал могилы на Ваганьковском кладбище, где его много лет спустя похоронили с почетом, разносил полотенца и пиво посетителям Краснопресненских бань.

Услыхав от Альметова, что он готов заняться физическим трудом, я позвонил своему нью-йоркскому приятелю Юре Лещинскому. В первые после эмиграции годы он, киевский инженер, работал на фирме, которая устанавливала в подъездах домофоны. Трудился с раннего утра до глубокой ночи: лазил на столбы и по крышам, тянул катушки с проводами, копал траншеи. Собрал денег и открыл с партнером собственное дело. Работы еще прибавилось: теперь приходилось самим покупать оборудование, инвентарь, платить бухгалтеру. Сейчас Лещинский — серьезный бизнесмен, выполняющий миллионные заказы, к тому же владеющий предприятиями в России и на Украине.

Юра отнесся к моему ходатайству без энтузиазма: у него самого сейчас затишье в делах, но он потолкует со знакомыми бизнесменами и, если что-нибудь подвернется, даст знать. По его тону я понял, что связывать с ним большие надежды не стоит, но перед тем, как положить трубку, сказал:

— На всякий случай запомни фамилию — Александр Альметов.

Последовала долгая пауза, а за ней — залп:

— Кто? Альметов? Хоккеист? Чего же ты молчал? Конечно, устроим, о чем речь?

Условились, что завтра Юра будет ждать Сашу в полдень на набережной рядом с Брайтон-Бич авеню, — улицей, где даже названия магазинов, прачечных и аптек написаны по-русски, у ресторана «Москва». Оттуда он повезет его к себе в офис и обзвонит своих знакомых работодателей, а уж Саша выберет, что ему больше подходит.

Домой Альметов вернулся вечером грустный и молчаливый. Наш ужин прервал телефонный звонок. Это был Юра:

— Сегодня у нас ничего не вышло. Саша сильно опоздал, но это полбеды. Он был прилично выпивший. Я просто не мог его никому представить. Ты ему объясни, что здесь в таком виде на работу не берут. Мы условились, что завтра встретимся опять.

— Да я и выпил-то граммов сто пятьдесят, — уныло парировал мои упреки Альметов. — Как откажешься? Узнал меня на пляже болельщик. Говорит, на московском автозаводе работал. Другие подошли...

С того дня он ездил на Брайтон как на службу. Возвращался вечером. На ногах держался, но спиртным от него пахло. Юра мне звонить перестал. Саша, прожив у меня три недели, съехал. Жена его, Галя, с первого заработка сняла комнату там же, на Брайтоне. Альметов пропадал на пляже. Галя придумала дополнительный источник дохода — пекла пирожки и продавала их на набережной. Мне жаловалась:

— У меня и времени не хватает, и с ног от усталости падаю. Прошу его хоть пирожки мне на пляж подносить. А он — гордый, говорит, неудобно олимпийскому чемпиону таскать корзину с пирожками.

Я его не корил даже мысленно. Он всю жизнь прожил, веря, что титулы чемпиона и заслуженного мастера спорта должны открывать все двери и служить основанием к выдаче денег. Человеку немолодому расстаться с укоровившимся заблуждением трудно. Оно становится его второй натурой.

Саша промыкался в Нью-Йорке менее полугодом и улетел домой. Галя сказала мне, что временно. Может, и вправду собирался сделать вторую попытку, да не успел: Александр Давлетович Альметов, как было сказано в газетном некрологе, умер в Москве в возрасте 52 лет. В некрологе перечислялись его титулы и правительственные награды, но ничего не говорилось о том, какой редкой для человека его суровой профессии добротой и деликатностью обладал Саша Альметов, как верен был своим друзьям. Меня, привычного к известиям о кончи-

нах оставшихся в России близких людей, весть о его смерти надолго выбила из колеи. Попав в Москву, я поехал на Ваганьковское кладбище проститься с ним.

Но я снова забежал вперед. Видимо, такие экскурсии в будущее в этом повествовании неизбежны. Отдалившись от жизни в России на десятки лет и тысячи километров, многое видишь в ином свете. Оттого меняются критерии и оценки.

Перед этим отступлением от хронологии речь у нас шла о блате и моих попытках устроиться на работу. С юриспруденцией пришлось распрощаться сразу. Сделал я это без сожалений. Я все еще в душе сохранял верность мечте о спортивной журналистике.

Мой родной дядя был заместителем ответственного секретаря газеты «Московская правда». Пусть к спортивной журналистике его служба не имела отношения, но надо же с чего-то начинать. Так я вышел на дальние подступы к делу, которому отдал большую и лучшую — я и сегодня не разочаровался в своем выборе — часть жизни.

Подступы были действительно настолько дальние, что цель не маячила даже на горизонте. По дядиной протекции я стал приносить в редакцию 15—20-строчные заметки под рубрикой «Из зала суда». Платили мне за это по трешке, иногда, за произведение помасштабней, в 40 строк, по пятерке. Среднемесячная добыча составляла рублей тридцать.

Для меня это занятие было ликбезом. Я усвоил, например, что начинать заметку фразой: «В народном суде Тимирязевского района слушалось дело об ограблении» — признак непрофессиональности. Чтобы выглядеть бывалым репортером, следует сразу огорошить читающего убийственным фактом: «Тишину темной июньской ночи разорвал молодой женский голос: «Помогите!» Пройдет немало времени, прежде чем я пойму, что нет ничего в журналистике хуже штампов, даже угроза быть обвиненным в любительстве. Но сначала я проведу два года в газетах подмосковных районов.

— В Красной Пахре редакции требуется литсотрудник, — сказал дядя, когда я принес ему на рецензию очередной детектив. — Я попросил коллегу порекомендовать тебя. Редактор тебя ждет.

На следующий день я сел в автобус, отходивший от Калужской площади, купил за 65 копеек билет и по узкому Калужскому шоссе добрался за полтора часа до села Красное — столицы Калининского района Московской области. Последняя остановка перед въездом в село — Красная Пахра, знаменитая дачами писателей и санаториями для важного начальства. Заканчивал свой путь автобус, вскарабкавшись на крутой холм, где находилась главная площадь райцентра с чайной посередине. Это предприятие общественного питания okayмляли здания правительства района. В одном размещались райком, райисполком и прочие учреждения районного масштаба. В другом, бревенчатом и похожем на избу доме — редакция газеты «Колхозная правда». В третьем, обшарпанной, с осыпавшейся со стен штукатуркой церкви, — типография.

Редакция состояла из трех комнат. Две маленькие служили кабинетами главного редактора и ответственного секретаря, в большой сидели все остальные, включая бухгалтера, корректора и машинистку. Журналисты непрерывно говорили с кем-то по двум телефонам, вовсю старясь перекричать друг друга и стрекотание пишущей машинки.

Редактор дал мне «листок по учету кадров». Потом торопливо пробежал глазами заполненный и сказал, что я принят и могу приступать к работе сейчас же. Еще через полчаса я сел на автобус и поехал в колхоз имени Буденного. Мне предстояло собрать материал для корреспонденции под рубрикой «Рейд по проверке готовности скотных дворов к зиме».

Я вырос в московском дворе внутри Садового кольца и не слишком отчетливо представлял себе, как может выглядеть двор скотный. Спросить в редакции, что это такое, означало признаться в недопустимом для сотрудника газеты под названием «Колхозная правда» невежестве. «Ничего, на месте разберусь», — сказал я себе и, на

всякий случай, заготовил наводящие вопросы к своим будущим собеседникам.

От автобусной остановки к деревне, где находилось правление колхоза, надо было пройти километра полтора тропинкой. В правлении я застал пожилого мужчину — бухгалтера и женщину помоложе — бригадира. Оба согласились стать участниками рейда.

Скотный двор оказался устланым навозом участком земли с коровником, поилкой для скота и отгороженным от остальной территории закутком, где хранилось сено. Словом, вникнуть в суть этого понятия, «скотный двор», оказалось несложно. В оценке готовности его к зиме я положился на знания моих сотоварищей по рейду.

Довольный собой, я собирался с ними распрощаться. Оказалось, однако, что я сделал даже не полдела, а всего треть: я осмотрел двор лишь одной бригады, а в колхозе их три. Но не это было самым печальным, а открытие, что в переводе на общедоступный язык бригада — это деревня. Чтобы побывать в двух других, надо преодолеть еще 4 км, а потом брести столько же обратно, к автобусу.

Обойдя все бригады и расспросив о запасах кормов и состоянии помещений для скота, я почувствовал, что готов взяться за перо, и пустился в обратный путь. Дождь, начавшийся, пока я собирал материал для статьи и теперь превратившийся в ливень, не испортил мне настроение. Я запел про себя бодрую песенку «Ну-ка, дождик, теплой влагой ты умой нас веселой рукой» и в такт мелодии зашагал к остановке. Однако вытаскивать ноги из превратившейся в глиняное месиво дороги становилось все труднее. Я чувствовал, что подошвы медленно, но верно отделяются от туфель. У самого финиша у одного отлетела подметка, в другом образовалась обширная дыра.

Я понял: надо срочно ехать домой. Не к Красным воротам, где мы жили у родителей жены, — в такой обуви и измазанных до колена глиной брюках не пустят в городской транспорт, а к маме, на Калужскую, которая находится рядом с остановкой везшего меня из первой журналистской командировки автобуса.

Туплюги пришлось выбросить. Мама тут же в ближайшем обувном магазине купила за 5 рублей резиновые сапоги. В них, шлепавших по моим икрам широкими голенищами, я ходил весь год, что проработал в «Колхозной правде», в том числе и зимой. Носившие эту обувь знают: на морозе резина остывает и не греет, а, напротив, холодит ноги. Слава Богу, русский народный гений создал незаменимую на такие случаи часть мужского туалета — портянки. Мама сделала мне их, вырезав две длинные и широкие полосы из куска фланели. Зимой я накручивал их на ноги поверх носков, нарушая таким образом традицию, согласно которой портянками оборачивается голая ступня.

За год с небольшим, проведенный в «Колхозной правде», я исходил в этих сапогах едва ли не весь район — в стужу, в солнцепек, в слякоть, и они меня не подвели. Когда, уже работая в Москве, я выбросил их за ненадобностью, сапоги выглядели как новенькие.

Унылыми были эти походы. Калининский район, хотя и близкий сосед столицы, был одним из беднейших в области. Промышленных предприятий он не имел. Внешнее впечатление нищеты, в которой жили люди, занятые в сельском хозяйстве, подтверждали ежемесячные сводки о доходности, урожайности, продуктивности животноводства. Все показатели были ниже, чем в других районах.

Исключение представляли собой три совхоза — «Коммунарка», «Воскресенское» и «Вороново». За информацией о достижениях и ударниках я ездил туда. В них были двухэтажные дома для рабочих с водопроводом и газовыми плитами. В них платили зарплату. В них существовал 8-часовой рабочий день.

Рассказывая об их трудовых победах, мы застенчиво замалчивали одну деталь: первый совхоз был подсобным хозяйством ЦК КПСС, второй — Совета министров, третий — цековского санатория, где отдыхали крупные тузы. В их парниках и теплицах зрели зеленые с пупырышками огурчики и сочные, упругие помидоры, а на небольших полях — крупная ароматная клубника. К зданиям правлений, начиная с июня, подкатывали черные

ЗИСы, и шоферы загружали в багажники эти дефицитные дары земли, цыплят, которыми особенно славилась «Коммунарка», и прочую мясную снедь.

Про санаторий «Вороново» могу сказать: «И я там был, и мед я пил». Мой приятель поэт Борис Дубровин получил — естественно, по блату — туда путевку, и мы провели с ним вместе вечер, гуляя по бескрайнему парку. Дубровин сообщил по телефону администратору, что у него гость, и нам накрыли в его номере царский ужин на двоих.

Многое отличает нынешних хозяев российской жизни, «новых русских», от тогдашних. Среди прочего и то, что теперешним мало самим ощущать свои привилегии и свое богатство, они хотят, чтобы об этом знали и им завидовали все. Прежние ели свою икру из закрытых распределителей, занавесив окна, прятали свои виллы за высокими заборами, получали свои вторые зарплаты в запечатанных конвертах. Даже обслуга в их магазинах, санаториях и пансионатах подбиралась проверенная, умеющая держать язык за зубами, и за это получала толику от их благ.

Но вернусь к первым дням своей карьеры профессионального газетчика.

Помотавшись ежедневно автобусами из Москвы в Пахру и обратно — путь этот отнимал почти три часа, — я понял, что надо устраиваться как-то иначе. Не потому, что жалко потерянного времени. Это был тот случай, когда — по Остапу Бендеру — «время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем». Времени у меня было сколько угодно. Не было денег.

Мне, как любому литературному сотруднику любой подмосковной газеты, положили зарплату 61 рубль 50 копеек в месяц. Выходила «Колхозная правда» три раза в неделю, и на каждый номер полагался гонорар — 20 рублей. Почти четверть гонорара уходила на оплату обязательной передовой статьи, которые писали по очереди главный редактор и ответственный секретарь. Не потому писали, что остальные были менее пламенными публи-

цистами. Но для редакционного начальства эти статьи служили приработком к жалованью.

Итак, в распоряжении всех, чьи имена появились в номере, оставалось 15—16 рублей. Но еще в двадцатые годы ЦК партии, следуя заветам Ильича, принял постановление, прожившее по крайней мере до моего отъезда в эмиграцию: штатные сотрудники газет не могут получать больше 40 процентов положенного редакции гонорара, остальные 60 должны идти привлеченным авторам. Сам Ленин, правда, о нашей зарплате ничего не говорил. Но среди несметного числа брошенных им в массы лозунгов есть такой: «Газета должна делаться руками рабкоров». ЦК по-своему интерпретировал эту установку: неважно, сколько места в газете займут заметки этих самых рабкоров и селькоров. Важно, чтобы на них уходило в полтора раза больше денег, чем на гонорар штатным сотрудникам редакции.

Так, может быть сам того не ведая, вождь мирового пролетариата нанес тяжелый удар по материальному положению тех своих сограждан, которых Хрущев позже назвал «подручными партии». В конкретном случае с газетой «Колхозная правда» тяжесть этого удара равнялась 12 рублям на номер. Их изымали у нас в пользу доярок и птичников, зоотехников и агрономов, чьи имена стояли под статьями, которые мы за них писали и которые они далеко не всегда читали.

Так делалась газета — руками рабкоров и селькоров, которые имели еще меньшее представление о нашем труде, чем мы о дойке коров.

В результате этого разделения труда всем нам троим, рядовым литсотрудникам «Колхозной правды» вместе взятым, причиталось четыре рубля за вышедший номер.

Лично меня Владимир Ильич лишил возможности проводить свободные от работы вечера в семейном кругу. Тратить почти половину жалованья на проезд было мне не по карману. Пришлось за пятерку снять комнату в доме рядом с редакцией.

Собственно, это был не дом, а изба. Жили в ней бабка с внуком. Входить туда приходилось через темное воющее помещение, где постоянно проживали корова и

несколько кур. В холодные дни всю скотину переводили внутрь избы. Отведенная мне комната не имела двери, и куры нередко меня навещали. Бабка и внук, мальчонка лет восьми, чаще. Они заходили и просто поболтать, и взять какую-нибудь вещь из шкафа, и заглянуть, дома ли квартиросъемщик.

Такой грязи, как в этом доме, я никогда и нигде не видел. Если я случайно касался голой ступней пола, нога к нему прилипала. Бабке было изрядно за семьдесят, она круглый год мерзла и потому спала в той же блестящей от жира телогрейке, в которой доила корову и выгребала навоз.

Невзирая на возраст, бабка подрабатывала в местном колхозе. Без этого они с внуком просто умерли бы с голоду. Моя ежемесячная пятерка почти удвоила их денежный доход. Избегая грязи и загоравшихся при виде пищи глаз хозяев, я съедал привезенные из Москвы продукты в редакции.

Питался я всухомятку. Я и вообще-то не способен приготовить никакую еду, кроме вареной картошки и яйца всмятку, а в русской печи тем более. Эксперимент с посещением чайной на центральной площади села окончился для меня полным фиаско. Я заказал лангет и чай. Расторопная официантка быстро принесла первое из блюд и положила рядом вилку. Я безуспешно пытался вонзить ее в тощий кусок мяса, внешним видом и твердостью напоминавший подошву моего резинового сапога и, когда официантка пробежала мимо, крикнул ей вдогонку:

— Девушка, вы забыли дать мне нож.

— За ножом надо идти к директору, — остановившись, вежливо разъяснила она. И в ответ на мой удивленный взгляд пояснила: — Он после одного случая запретил подавать ножи клиентам. Люди выпили, поссорились, и один другого покалечил.

Когда я кое-как справился с лангетом, девушка поставила передо мной граненый стакан с чаем.

— Нельзя ли блюдец? — попросил я, не представляя себе, какую опасность для окружающих может представлять скромных размеров фаянсовый кружочек. И опять получил исчерпывающее объяснение:

— Не беспокойтесь, чай не горячий.

С того дня наши дороги, моя и местного общепита, больше не пересекались.

Домой я ездил только по выходным и возвращался к 9 утра в понедельник. Правда, в зимние месяцы именно по понедельникам начало работы задерживалось. Сперва растапливалась печь, и мы, не снимая верхней одежды, ждали, когда помещение нагреется настолько, чтобы в чернильницах растаял лед. Сигналом к старту служил жест очеркиста Агапкина: он брался за телефон.

В редакцию он, самый старший и опытный из литсотрудников, являлся, уже успев принять «свои боевые сто грамм». Отлучался он только в чайную — принять для снятия усталости еще — и в райком. Выяснив там, кого следует ругать, а кого хвалить, он звонил в нужный ему колхоз, задавал десяток вопросов и брался за выполнение социального заказа.

Так же писал Агапкин очерки. Ни одного из их персонажей он никогда не видел. У взявшего в колхозном правлении трубку он спрашивал, кто у них там передовик и каковы у него показатели — урожайности, надоя молока, темпов прополки, яйценоскости — и, не озаботившись узнать фамилию собеседника, макал перо в чернила. Через час очерк был готов.

Зато едва ли не со всеми тружениками сельского хозяйства района была знакома наша коллега Настя — дипломированный агроном. Раньше она работала по специальности в исполкоме и потому писала со знанием дела. Была у Насти единственная слабость: ей никак не удавалось извлечь из своего крошечного запаса слов нужные, чтобы составить более или менее складную фразу. Ответственный секретарь, приступая к правке Настиной заметки, сажал ее рядом с собой и расспрашивал о том, что она хотела сказать в том или ином предложении.

Недалеко от Насти в этом отношении ушел и наш главный редактор — высокий мужчина средних лет, постоянно ходивший в кителе со стоячим воротником. Человек он был смирный, скромный, не мнил себя Эренбургом и свои передовицы тоже отдавал ответственному

секретарю, заранее соглашаясь с любыми вставками, сокращениями и прочими коррективами.

Секретаря звали Семен Давыдович Коган. Журналист он был без полета, писал стертymi фразами, но так, что и захочешь, придраться не к чему — словом, профессионал. В 30-е годы он окончил КИЖ — Коммунистический институт журналистики, — работал в крупной газете, во время войны был редактором дивизионной многотиражки. До «Колхозной правды» он возглавлял районную газету в Балашихе под Москвой, за какой-то политический недосмотр был уволен с партийным взысканием и брошен к нам на исправление.

Как и я, Коган в Пахре жил бобылем, но, в отличие от меня, не снимал комнату, а ночевал в своем кабинете на диване. В шкафу рядом с его письменным столом хранились привезенные из дому набор кухонной посуды и электрическая плитка. Обогащенный военным опытом, Семен Давыдович варил суп, картошку, жарил яичницу.

Я довольно часто навещал его вечерами, прихватив с собой четвертинку. Мы выпивали, закусывали и болтали. Покончив с трапезой, Коган доставал из шкафа материалы для следующего номера, надевал нарукавники и брался за правку. Я не уходил. Я садился рядом и молча смотрел, как он это делает. Иногда я просил в моем присутствии нарисовать макет полос очередного выпуска и тоже наблюдал за тем, как он подбирает, сверяясь со справочником, заголовочные шрифты, расставляет клише, размещает на страницах заметки. Мысленно я дал этим вечерам название «Мои университеты».

Я и в самом деле почерпнул от вечерних посиделок у Когана много необходимого для освоения газетного ремесла. После полученных у него уроков я не почувствовал бы себя новичком, придя в другую редакцию. И это сознание поддерживало во мне надежду на то, что раньше или позже мне удастся пробиться в настоящую газету.

Год работы в «Колхозной правде» принес мне еще одну победу. Как-то летом зазвонил редакционный телефон. Все были заняты, и трубку взял я.

— С вами говорят из «Московского комсомольца». Мы ведем кампанию за вовлечение сельской молодежи в

производство торфоперегнойных горшочков. Нет ли у вас человека, знающего в каком-нибудь колхозе района комсомольское звено, которое их делает?

— Есть, — уверенно ответил я, хотя понятия не имел о таком звене и имел смутное представление о том, для чего эти горшочки нужны. («Кажется, для посадок квадратно-гнездовым методом», — мелькнула догадка.)

— Вот и хорошо, — сказал звонивший. — Нам срочно нужна корреспонденция об этом звене. Если согласны, вас через два дня вызовет по телефону стенографистка.

Конечно, я был согласен. Работу я выполнил в срок и вскоре увидел на 2-й странице «Московского комсомольца» довольно большой материал, под которым стояло: «Е. Рубин». Чувство торжества, которое я испытал при первом взгляде на статью, не омрачило ни то, что от написанного лично мною остались рожки да ножки, ни то, что над моим именем стояло другое: «В. Володин». Он-то и превратил мою заметку в произведение, которому подошел бы заголовок «Марш энтузиастов». Все ее действующие лица видели в торфоперегнойных горшочках залог будущего процветания родины, трудились над их изготовлением с комсомольским огоньком и были горды тем, что им поручено дело государственной важности.

Получив за труды десятку в бухгалтерии «Московского комсомольца», который тогда помещался, как и все областные газеты, на Чистых прудах, я пошел знакомиться с соавтором. Это был добродушный на вид, невысокий лысеющий человек в очках, которому животик придавал сходство с мистером Пиквиком. Протягивая мне руку, он сказал:

— Владимир Шляхтерман, заведующий отделом сельской молодежи.

Я не стал говорить ему, что отныне не смогу глядеть в глаза девушкам из звена, о котором написал, не стал выяснять, как появилась вторая подпись. Если бы он в тот миг спросил, готов ли я и дальше сотрудничать на таких условиях, я бы радостно согласился.

С того исторического момента, как в газете областного масштаба появилась первая подписанная мною статья, минуло сорок с лишним лет. Из «Московского ком-

сомольца» Володя Шляхтерман пошел наверх — стал ответственным секретарем областной партийной газеты «Ленинское знамя». Но — «Что наша жизнь? Игра!» — его, как и другого моего благодетеля Когана, уволили за идеологическую ошибку в статье, прошедшей на газетную полосу по его халатности. Я уже тогда был ветераном «Советского спорта» и сумел оказать ему ответную любезность. По моей рекомендации Володю взяли на работу в секретариат «Советского спорта». Завершилась его газетная карьера в шахматном еженедельнике «64», приложении к «Советскому спорту». Он уже давно на пенсии, но изредка сотрудничает в «64» и по-прежнему подписывается «В. Володин».

Он тоже, хотел того или нет, был для меня одним из первых учителей. И с такой редактурой, и с появлением непрошеного соавтора я потом сталкивался часто, но и то и другое воспринимал спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Так что за год работы в «Колхозной правде» я получил немало полезных уроков журналистики.

А еще эта работа позволила мне познакомиться с производственным процессом создания газеты, о каком следующее поколение моих коллег, уверен, и не слыхало.

Отредактированные и вычитанные корректором заметки с редакторской резолюцией «В набор» мы относили в церковь, где находилась типография, и сдавали наборщицам Рае и Клаве. О существовании линотипов — наборных машин — полиграфисты Калининского района в середине 50-х годов если и знали, то лишь понаслышке. Наборщица брала в одну руку металлическую форму с отверстием, длиной и шириной соответствующим газетной строчке. Другой она доставала из нужной ячейки в кассе первую букву заметки и вставляла в отверстие. За ней — следующую. Когда строчка оканчивалась, наборщица, сверившись с макетом, укладывала ее в лежащий на монтажном столе металлический каркас газетной полосы и принималась составлять следующую. Отдельная касса отводилась заголовочным шрифтам.

Заполненную статьями, очерками и репортажами из свинца полосу дюжий парень сдвигал со стола на тележку и отвозил под пресс. Там и рождался черновик каждо-

го номера газеты «Колхозная правда».* После просмотра редактором и исправления грамматических ошибок его распечатывали тиражом 15 тысяч экземпляров. Каждый стоил 2 коп. Их продавали в газетных киосках, почтальоны разносили их по подписке во все сельсоветы, колхозы и совхозы. В каждую комнату двухэтажного здания, где размещались учреждения районного масштаба, редактор доставлял их лично и, естественно, бесплатно.

Где бы ни бывал я по заданию редакции, всюду мне на глаза попадалась «Колхозная правда». Вот только видеть, чтобы кто-нибудь ее читал, мне не привелось. Так что не могу с уверенностью судить о том, насколько успешно выполняла она роль, которую возложил на нее Владимир Ильич, сказавший, что газета «не только коллективный агитатор и пропагандист, но и коллективный организатор». Подозреваю, что труд наш пропадал втуне. В том числе и труд Раи с Клавой, на чьих руках и, что страшнее, в чьих легких свинцовая пыль оставила вечные, неизгладимые следы.

О двух этих молодых женщинах я надолго сохранил теплые воспоминания. Мы с ними подружились. Уже работая в другой районной газете, я получил от них по письму. Сначала — от Раи. Она писала о том, как ей живется, о переменах в редакции. Потом пришло — к счастью, тоже на службу — послание от Клавы. Она просила сохранить его содержание в строгой тайне. Оказывается, Рая питает ко мне горячие чувства и время их не остужает. Рае горько от того, что я ей не ответил. Клава просила меня это сделать, а еще лучше — хоть изредка навещать Красную Пахру и ее лучшую подругу Раю.

Однако не довелось мне больше ни разу побывать в тех местах.

Половину отпуска, который пришелся на глубокую осень, я провел на крышах московских новостроек. Опять-таки по рекомендации дяди, я делал репортажи об ударниках для газеты «Московский строитель». В свободные

* Подумаешь, эка невидаль! Даже треть века спустя, уже в 1990 году, в самом центре Москвы, в типографии «Известий» на пл. Пушкина точно так же печаталась знаменитая тогда «Независимая газета». — *Издатель.*

дни выяснял, нет ли вакансий литсотрудников в районных газетах или заводских многотиражках, и ходил по редакциям предлагать свои услуги. Приняли меня в «Ухтомский рабочий».

Это был в буквальном и переносном смысле слова шаг к «Советскому спорту». В буквальном потому, что моя новая редакция находилась в Люберцах, в полчасе езды электричкой из Москвы. А в переносном потому, что я переставал быть угловым жильцом, дорога на службу стоила гроши и занимала полчаса в один конец. Это позволяло заниматься халтурой. (На газетном языке слово «халтура» не означает скверно сделанную работу, у журналистов это — сотрудничество с изданиями, в штате которых ты не состоишь.)

Зарплата моя осталась прежней, зато заработок значительно вырос. «Ухтомский рабочий» выходил ежедневно, сразу полюбивший меня редактор отводил моим материалам целые полосы и доверял писать передовые. А все это — гонорар, который достигал у меня иногда пятидесяти рублей в месяц.

«Ухтомский рабочий» смотрелся на фоне «Колхозной правды» газетным гигантом. В нем были отделы промышленности, сельского хозяйства, писем, была заместительница редактора, одновременно ведавшая отделом партийной жизни. Запомнились мне несколько наиболее колоритных фигур.

Главный редактор Серпов, маленький крепыш с короткими кривыми ногами, кажется, переведенный в редакцию то ли на повышение, то ли на понижение из горкома, дневал и ночевал в своем кабинете. Его там можно было застать всегда склонившимся над кипой бумаг, что-то в них зачеркивающим, вписывающим, вздыхающим по поводу бездарности авторов. Изредка он заперся на ключ. Это означало, что Серпов создает документ особой важности — отчет о пленуме горкома или статью кого-то из секретарей. Окончив, он выскакивал из редакции и рысцей бежал по коридору в направлении горкома, который находился на нашем этаже. По возвращении он снова уединялся — вносил коррективы в соответствии с руководящими указаниями.

Литературная сторона написанного Серповым начальство не интересовала, а дать кому-то статью на редактирование он не догадывался. И выходили из-под его пера творения, каждая строчка которых представляла собой издевательство над русским языком. К счастью для Серпова, ни один человек на свете, кроме него самого и таких же, как он, грамотеев, дававших статьям добро, их не читал.

Его заместительница Александра Алексеевна тоже была переведена в журналисты из горкома, где занимала пост инструктора отдела пропаганды. Изяществом слога она не уступала своему шефу. Это было существо баскетбольного роста, которое делал еще выше валик из скрученных над головой волос — позже такая прическа получила прозвище «вшивый домик». Юбки и кофты неопределенного цвета болтались на ее костлявом теле. Женщин такого типа, безразличных к своим туалетам и внешности, называют «синий чулок». Но к Александре Алексеевне это определение не подходило. Стоило постороннему мужчине появиться на пороге редакции, в глубине ее глаз вспыхивал плотоядный блеск, щеки розовели, скулы натягивались, и она, пока мужчина не закрыл за собой дверь с другой стороны, не могла сосредоточиться на трудовом процессе. Об ее успешных и безуспешных попытках соблазнить всякого, кто носит брюки (женщины в те времена брюки не носили), ходили легенды. Если и было в них преувеличение, присущее этому жанру, то небольшое.

Однажды она позвонила в редакцию, сообщила, что лежит дома с высокой температурой, и попросила меня по дороге на станцию занести ей сегодняшней номер газеты. Она встретила меня в дверях, одетая в прозрачный халат, и требовательным жестом указала на кровать рядом с собой. Я сел, и Александра Алексеевна придвинулась ко мне поближе. Так просидели мы с ней довольно долго. И оба, смущенные, молчали. Я — ее напористостью, она, видимо, моей нерешительностью.

В электричке я переживал впечатления от этого свидания, вспоминал Раю из Пахры и мысленно цитировал Остапа Бендера, сочинившего эпитафию на собствен-

ном надгробном камне: «Его любили домашние работницы, домашние хозяйки и даже одна женщина — зубной техник». Еще я не без страха рисовал себе нашу будущую неминуемую встречу в редакции. Однако я напрасно тревожился. Она приветствовала меня обычной дружеской улыбкой.

Один штрих к ее портрету я умышленно оставил на десерт: эта женщина носила словно специально придуманную писателем-юмористом, чтобы подчеркнуть несоответствие ее внешности и характера, фамилию — Боголепова.

Промышленным отделом у нас заведовал Алексей Михайлов — немолодой человек, которого все в глаза и за глаза звали просто Лешкой. Михайлов писал свои материалы еще быстрее, чем я диктовал свои. Он заполнял страницу крупными круглыми буквами, отбрасывал ее в сторону и принимался за следующую, не выпуская изо рта папиросу «Беломорканал». Докурив, он тут же брал другую, прикуривал от спички и продолжал строчить.

Эта особенность его творческого почерка привела к случаю, заставившему меня запомнить Михайлова навечно. Лешка обычным манером рождал свою статью, когда ко мне тихо подкрался заведующий отделом писем Петя Бицуков, приложил палец к губам и показал на него. Остальных Бицуков уже обошел. Все пребывали в оцепенении от этого зрелища: Михайлов кидает написанные страницы в стопку, не замечая, что под ней пепельница, в которой не погашенная им спичка. Огонь методично пожирал лист за листом, а Михайлов торопливо подкладывал все новое топливо.

— Леша, — не удержался я, — а рукописи-то, выходят, горят.

Он поднял глаза, увидел огонь, посмеялся вместе со всеми и начал статью заново.

Уже после меня пришел в газету новый ответственный секретарь, молодой и энергичный Михаил Красновский. Его отправили в редакцию, сбросив с должности заведующего отделом культуры горисполкома. Сам он утверждал, что подлинная причина смещения — антисемитизм. Я в это не очень-то верил. Слишком был он раз-

битной и непоседливый, чтобы не нашкодить на рабочем месте.

Уже когда я работал в «Советском спорте», мы с ним иногда перезванивались, реже виделись. Перестал он звонить, да и не только он, когда я подал заявление об эмиграции. В командировку в Москву я приехал после 18-летнего отсутствия летом 1996 года. И, как Чацкий с корабля на бал, попал на торжество в Раменскую музыкальную школу, где чествовали сестру жены. Среди гостей, разместившихся во главе банкетного стола, был Мишка Красновский. Верный себе, он по-прежнему не пропускал мероприятий, которые на современном языке именуются тусовками. Мы обнялись.

Он так и ходил в ответственных секретарях. Только не в Ухтомском, а соседнем, Раменском районе. Меня это известие поразило: я и допустить не мог, что и в постсоветской России сохраняется этот атавизм — никому не нужная и никем не читаемая районная газета.

Однако и то лето 96-го ушло в прошлое. Может, теперь это детище социализма с нечеловеческим лицом, наконец, прекратило свое существование?

Уж не знаю, чем я приглянулся бывшему горкомовскому деятелю Серпову. Знаю одно: мне повезло. Поведав, что я справлюсь с любым заданием, которое даст редакции горком, он установил для меня полусвободное посещение. Я перед уходом домой договаривался с ним, о чем буду писать завтра, и утром отправлялся собирать материал, потом являлся в редакцию и сразу присаживался рядом с машинисткой. Когда Серпов затруднялся в выборе темы моего очередного опуса, я предлагал ему несколько на выбор сам, благо в Ухтомском районе и его столице Люберцах было несметное множество крупных предприятий и исследовательских институтов, правда, часть из них — закрытые. В общем, творческий простор — безграничный.

«Поэтом можешь ты не быть», — снисходительно отозвался, как о простительной слабости, об отсутствии поэтического дара Некрасов. Трудясь в «Ухтомском рабочем», мне удалось эту слабость преодолеть.

Когда писать было уж совсем не о чем, я брал у Пети Бицукова стопку писем в редакцию. Выбрав поязвительней, я доставал из ящика, где хранились иллюстрации, десяток металлических клише с оттисками карикатур — их рассылал по маленьким газетам ТАСС, и среди них можно было найти годные на все случаи жизни. Получалась эффектная подборка: письмо, снабженное карикатурой.

Но я не остановился на достигнутом. Однажды меня, как пел Высоцкий, муза посетила, и я превратил письмо в четверостишие. Всем в редакции понравилось, и я стал изредка баловаться составлением рифмованных строчек. Некоторые эпиграммы я до сих пор помню. Была, например, такая, навеянная жалобой из колхоза и рисунком с изображением развалившегося колхозного амбара и подкапывающегося под него грызуна:

*Завалился набок склад,
Протекает крыша.
Для зерна здесь сущий ад,
Сущий рай для мыши.
Пропадает в нем зерно,
Мерзнет, мокнет, тлеет,
Люди страдают, но
Мыши разжиреют.*

Или такая — с письмом в качестве эпиграфа и рисунком:

*Обилья блюд здесь не ищи —
Напрасная работа.
Раз подадут с компотом щи,
Другой раз щи с компотом.*

Как-то я показал эти стихи двоюродному брату — поэту и переводчику Анисиму Кронгаузу.

— Что ж, вполне на крокодильском уровне, — усмехнулся он.

Я постеснялся спросить, какой смысл вкладывал он в эту оценку — хвалил мою стихотворную технику или выражал презрение к качеству стихов в журнале «Крокодил»?

В «Ухтомском рабочем» я сочинил первые и последние свои вирши. От дальнейших попыток меня удержала рассказанная знакомым притча. Когда Утесова

спросили, как он относится к творчеству Блехмана — был такой эстражник в Ленинграде, — он ответил: «То, что делает Блехман, может делать каждый еврей, но стесняется».

Диктовать заметки по записям в блокноте я научился еще в «Колхозной правде». К середине дня я сдавал Серпову готовый материал и, если не дежурил по номеру, мог распоряжаться своим временем. Оставалось решить, о чем писать. Хотелось — о глобальных проблемах футбола или, на худой конец, какого-нибудь другого популярного вида спорта. Но я уже был достаточно подкован в своей профессии, чтобы понимать, что никто не напечатает статью безымянного человека на такую тему. А того, о чем рассказывал «Советский спорт» на второй странице, я, как каждый уважающий себя болельщик, не замечал. Словом, я — не первый уже среди мыслителей — бился над вопросом «Что делать?».

На помощь пришел случай.

Возвращаясь в один прекрасный день с работы, я встретил на углу Земляного вала и Фурманного переулках своего бывшего однокурсника и сотоварища по архангельской ссылке Юрия Кларова, жившего по соседству со мной. Мы разговорились. Он тоже отбыл свой срок молодого специалиста, тоже долго не мог устроиться. Теперь он перебирал бумажки в какой-то конторе, томился и мечтал стать писателем-беллетристом. Юра сделал мне неожиданное предложение:

— Давай напишем вместе статью для серьезной газеты. У тебя там, в Люберцах, темы под ногами валяются. Но проблема должна быть острой, значительной, масштабной.

Он был прав: я каждый день проходил мимо тем, годившихся для любой центральной газеты. Но, поглощенный идеей фикс придумать что-нибудь для «Советского спорта», я их не замечал. Я тут же изложил Кларову содержание одного письма в редакцию. Писала мать освобожденного из лагеря заключенного. Он обошел едва ли не все предприятия района, где требовались рабочие его специальности. Везде кадровики принимали его с распростертыми объятиями, но как только замечали в пас-

порте пометку о судимости, давали ему от ворот поворот. Сейчас его собираются выслать на 101-й километр за тунеядство.

Статью мы отдали в газету «Советская Россия». Она называлась «Вторая судимость» и заняла на ее полосе целиком подвал. Я радостно вздрогнул, взглянув на заголовок. А в следующее мгновение вздрогнул снова, но уже от ужаса. Под статьей стояли две фамилии: «Ю. Кларов, Е. Губин». Первую букву моей перепутали. Я не то что не мог сослаться на статью как доказательство моего журналистского класса, мне даже в родной люберецкой газете могли не поверить, что это я ее написал.

Сознавая, что поезд ушел, я все же позвонил зав. отделом, которому мы сдали статью. Он вежливо сказал, что ошибка произошла из-за невнимательности корректора и что при следующей публикации она не повторится.

— В гонорарной ведомости фамилия будет написана правильно, — добавил он мне в утешение.

Мы с Юрой расценили упоминание о следующей публикации как предложение печататься и дальше. И принесли фельетон. И его напечатали. И без искажения моего имени. Не помню, кого и за какие грехи мы разоблачали. Точно могу сказать только одно: за тот фельетон, как и за годичной давности материал в «Московском комсомольце», я должен сказать спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. Это он выдвинул идею продвижения посадок кукурузы на север, и торфоперегнойные горшочки изобрели во исполнение его указания. И это он призвал сломать ведомственные барьеры, чему-то мешавшие, и мы с Юрой наносили удар по бюрократам, воспротивившимся их ломке.

На том наше сотрудничество с Кларовым закончилось. Изменил он мне с другим нашим однокашником Анатолием Безугловым. Тот работал в прокуратуре, и они вдвоем занялись созданием произведений детективного жанра, преуспели и получили писательскую известность, а спектакль по их пьесе «Конец Хитрова рынка» долго шел на сцене Театра Ленинского комсомола.

Меня не огорчил разрыв нашего творческого союза. Я сознавал, что мы временные попутчики. Я не видел себя в

будущем литератором. Юра, по-моему, ни разу в жизни не был на футболе. Я и прежде отдавал себе отчет в том, что к порогу спортивной журналистики должен пробиваться в одиночку. Вопрос, тоже уже однажды поднятый классиком: «С чего начать?» — оставался на повестке дня.

«Почему Витя Крылов ушел с площадки?» — так я озаглавил корреспонденцию, с которой отправился по указанному в «Советском спорте» адресу. Витю Крылова я выдумал, дав ему имя и фамилию бывшего своего одноклассника, которого давно потерял из виду. А площадка, с которой якобы ушел мой Витя, существовала на самом деле.

Их, эти площадки, называли еще летними городскими лагерями. Работающие родители приводили туда по утрам своих малышей. Ребята под наблюдением воспитателей строили в песочницах домики, раскрашивали картинки, разучивали хороводные песни. Вечером папа или мама забирали свое дитя домой. Посещал люберецкую площадку и мой Витя. Но скоро решительно отказался. Он хотел бегать, прыгать, гонять мяч, однако спортивных развлечений площадка не предлагала.

Редакция «Советского спорта» находилась на Ленинградском проспекте между Белорусским вокзалом и улицей Правды. С порога попадаешь в большую комнату. В ней сидели за письменными столами несколько мужчин и одна женщина. Она меня заметила:

— Вы по какому делу?

— Заметку принес, — ответил я и протянул рукопись. Она отпрыгнула, словно это были не два листа бумаги, а пучок крапивы, и спросила: — О чем заметка?

Я начал сбивчиво объяснять, но был немедленно прерван:

— Поезжайте на улицу Карла Маркса, отдел учащейся молодежи там. Обратитесь к Стоянову, он заведующий.

На Карла Маркса комнатуха была поменьше, и по ней сновали, обходя друг друга, полдюжины людей. Тот, кто оказался Стояновым, расположился в центре комнаты на коленях перед стулом, на котором лежала заметка, и вносил в нее какие-то исправления. Я и ему пытался объяснить, кто я и о чем написал. Он обратил ко мне

невидящий взгляд и, как та дама на Ленинградском проспекте, прервал:

— Давай материал и позвони завтра. Если сгодится, отвезешь на Ленинградский.

— А как вы другие заметки отправляете? — набравшись храбрости, полюбопытствовал я.

— Не сумеешь — не приезжай, курьер отвезет.

Я был ошарашен увиденным: моя любимая газета ютилась в двух конурах, которые отделяло друг от друга пол-Москвы.

Естественно, мой первый звонок по приходе на работу был Стоянову. Его ответ меня потряс.

— Заметка идет. У тебя еще что-нибудь для нас есть?

Я замялся на секунду и услышал:

— Ладно, приезжай так. Я сам дам тебе задание.

Я много лет проработал в «Советском спорте» рядом с покойным Всеволодом Владимировичем Стояновым, маленьким, юрким, крикливым, много курящим и пьющим человеком. От нас он ушел на пенсию, редакция устраивала его похороны. В газете он славился тремя качествами. Во-первых, всем говорил только «ты» — пожилым авторам и молодым репортерам, главному редактору и уборщице. Во-вторых, никто не называл его ни по фамилии, ни по имени-отчеству, а все, несмотря на то, что был он из старейших в газете по возрасту, — исключительно Севкой. В-третьих, у него была нестандартная редакторская манера. Прочитав первую фразу, он зачеркивал ее жирной чертой и сверху писал свою. То же он проделывал со второй. И так — до последнего предложения.

Попадались мне и впоследствии правшики, старательные корезившие рукописи. Все это были люди бесталанные и неуверенные в себе. Делали они это из страха, как бы не заподозрило начальство редактора в лености, если не оставит он заметных чернильных следов на чужом машинописном тексте.

Первое задание, которое я получил в «Советском спорте», вызвало у меня глубокое уважение к себе: Стоянов поручил мне сделать полосу о вожатой подмосковного пионерского лагеря, которая сама была мастером

спорта и всячески культивировала его среди отдыхающих в лагере ребят.

Полосу быстро напечатали, разумеется, перелицованную моим благодетелем и — к этому я уже начал привыкать — подписанную «Е. Рубин, В. Стоянов».

Потом я написал — уже для другого отдела — корреспонденцию о работнице фабрики «Трехгорная мануфактура» — одаренной бегунье, которую долго, но безуспешно переманивали разные спортивные общества. Потом — еще о чем-то.

Заметки с некоторых пор я стал носить в смежный с московской синагогой четырехэтажный дом в Спасоглинищевском переулке, позже переименованном в улицу Архипова. Перебралась туда редакция в связи с решением ЦК КПСС о превращении «Советского спорта» из четырехстраничной в восьмистраничную и из выходящей через день в ежедневную газету. По этому случаю штат редакции разросся. Мои акции, считал я, резко подскочили. Я уже считался в газете своим человеком: почти со всеми здоровался, входил в комнаты без стука, примелькался машинисткам. О моем приеме уже хлопотали два ответственных работника. Кого же и брать, если не меня?

Охладил мой пыл Стоянов. Он зазвал меня в свой кабинет, плотно закрыл дверь и сказал полусшепотом:

— Любомиров вашего брата на службу не берет. Он и оставил-то всего четырех ветеранов — Гришку Тиновицкого, Зяму Гуревича, Женьку Шустера и Ромку Берковского. Остальных изжил. Печататься Любомиров не мешает. Так что пиши, зарабатывай деньги. А насчет штата себя не обманывай.

Николай Иванович Любомиров был тогда главным редактором газеты, и сказанное Стояновым прозвучало окончательным и не подлежащим обжалованию приговором. Все же — так, на всякий случай — я проверил правдивость его слов у старинного своего приятеля Володи Иванова, с которым вместе учился в Юридическом институте и который, хотя никогда не проявлял интереса к спорту, стал журналистом спортивной газеты. С ним и еще двумя сотрудниками редакции мы обедали в закуской «Севан», которая находилась рядом с газетой и

которую в шутку называли ее филиалом. Когда первая коньячная бутылка опустела, я спросил их, правда ли то, что я узнал от Стоянова. Все трое утвердительно кивнули головами. Оказывается, ни для кого это не было тайной.

Сгоряча я объявил собутыльникам, что больше ноги моей не будет в их здании. Но пока мы допивали новую бутылку и заполняли пепельницу горой окурков, они убедили меня не торопиться. Им было легко это сделать: я уже привык к «Советскому спорту», а походы туда по гонорарным дням повысили благосостояние моего семейства.

Очередное посещение редакции стало для меня вехой.

— Тебя просил зайти Коля Тарасов, — сообщил мне источник всех добрых и дурных вестей, связанных с газетой, Стоянов.

Ответственный секретарь редакции Николай Александрович Тарасов сидел в большом кабинете за большим, заваленным рукописями письменным столом. Выглядел он эффектно — красивый человек с черными с проседью волосами и карими глазами, в дорогом темно-сером костюме. Приблизительно таким я рисовал себе внешний облик крупного спортивного журналиста, разъезжающего по заграницам и передающего оттуда материалы о мировых чемпионатах. Этим людей я знал по именам, стоявшим под их статьями: В. Фролов, В. Пашинин, И. Немухин, тот же Н. Тарасов, а пониже — «наш спец. корр.». Для полноты сходства с мысленно созданным мной собирательным образом у Тарасова не хватало только курительной трубки.

Пройдет два-три месяца, и со всеми своими кумирами, кроме Тарасова, я перейду на «ты». А через два-три года они будут носить мне на просмотр и визу свои творения. В этих людях не было ничего общего с рожденными моим воображением. Они ходили на службу в потертых брюках и мятых пиджаках, неделями носили одни и те же рубашки и стреляли в кассе взаимопомощи пятерки до полочки. Судьба одного, Володи Пашинина, мне неизвестна, а Игоря Немухина и Вити Фролова давно уж нет в живых.

Умер, еще до моей эмиграции, и Тарасов. Хорошие отношения у нас сохранялись до самой его смерти. Для дружеских — слишком велика была разница в возрасте.

Мы жили недалеко друг от друга и, если сталкивались при выходе из редакции, он обычно предлагал:

— Давайте прогуляемся пешком. Я тут стишок сочинил. Если хотите, дорогой читаю.

Я, разумеется, хотел.

То, что Тарасов называл «стишками», было чистой лирикой. Все его стихотворения роднили совершенство формы, безупречный вкус и краткость. Десятки лет он писал для себя, никуда не относил написанное и читал только избранным слушателям. Уже на склоне жизни он выпустил тоненькую книжечку.

Это он, Тарасов, привел в «Советский спорт» 17-летнего Евгения Евтушенко и первым напечатал его стихи.

Вот такое странное сочетание: эстетствующий поэт по призванию и спортивный журналист по профессии, предпочитавший всем видам спорта самый жестокий — бокс и не пропускавший ни одного боксерского турнира.

Тарасов был вообще внутренне противоречив и непредсказуем. В душе поклоняясь единственному богу — изящной словесности, в жизни он был практичен, состоял в партбюро, активно и резко выступал на собраниях. Своё хорошее отношение ко мне он доказал многократно, но когда редколлегия обсуждала меня за задержку ответов на читательские письма, внес предложение объявить волокитчику строгий выговор, которое было принято. Зато, будучи много позже главным редактором журнала «Физкультура и спорт», он стал благодетелем моей второй жены. Именно Тарасова окрылила идея: пусть она попробует заняться спортивной фотожурналистикой, а когда выяснилось, что у нее это получается, взял ее к себе в журнал.

И снова воспоминания увели меня на многие годы вперед. А в день нашего знакомства Тарасов протянул мне письмо в редакцию. На листке, вырванном из школьной тетради в линейку, оно занимало полстранички. Нетвердый детский почерк писавшего и содержание свидетельствовали: излагать свои мысли на бумаге — занятие

для автора непривычное. В письме выражалось недовольство положением дел в отечественном боксе. Внизу стояла подпись: Николай Королев.

Николай Королев и поныне остается одной из крупнейших фигур в советской спортивной истории вообще и истории бокса в частности. Это имя гремело до войны, а после ее окончания стало легендарным. На войне Королев был партизаном, получил тяжелые ранения в обе ноги, но вернулся на ринг и вернул себе звание чемпионки страны в тяжелом весе.

Когда я окончил читать, Тарасов сказал:

— Не напечатать письмо такого человека, как Королев, «Советский спорт» просто не имеет права. Но и напечатать эту чушь — тоже. Мы-то с вами понимаем, что нельзя многого требовать от боксера, дравшегося в его весовой категории и получившего на своем веку столько тяжелых ударов в голову. Но для читателя Королев — герой, личность во всех отношениях совершенная. Не нам, спортивной газете, его развенчивать. Так что берите письмо, езжайте к Королеву, подробно поговорите с ним и сделайте его большую статью.

Я был на седьмом небе. Все, что я делал для «Советского спорта» до сих пор, к настоящему спорту имело отдаленное отношение. Мои заметки публиковались на второй и третьей страницах рядом с материалами о производственной гимнастике, о цеховых физоргах, о спартакиадах на селе. Потребители газеты начинали читать ее с четвертой страницы, а три первых делались для партийного и спортивного начальства.

Впервые в жизни мне поручили написать статью, которую будут читать все, статью Николая Королева. В ней я мог показать знание спорта и его проблем. То, что статья пойдет без моей подписи и о моей спортивной эрудиции будет известно только редакции, меня не беспокоило. Напишу как следует, рассуждал я, доверят писать о большом спорте и от своего имени.

Королев жил с женой, не первой молодости, но сохранившей стройную фигуру и привлекательность кубанской казачкой в трехкомнатной квартире дома на углу улицы Горького и Пушкинской площади. Супруги при-

няли меня любезно и беседовали со мной вдвоем, но ничего путного не рассказали.

Тем не менее статью я написал. Она заняла почти полную страницу. Ни сам я, ни окружающие никаких восторгов не выразили. Но Тарасов, прочитав ее и написав на бланке сверху «В набор», задал мне вопрос, который я уже слышал дважды за полгода сотрудничества в «Советском спорте»:

— А вы не хотели бы пойти к нам в штат?

Я, конечно, снова ответил утвердительно, однако без прежнего энтузиазма. Информация Стоянова лишила меня иллюзий. С Тарасовым я, понятно, ею не поделился. Но он, будто угадав мои мысли, сказал:

— Посидите здесь, а я пойду к Любомирову. Уверен, что все будет в порядке.

Вернулся он быстро.

— Можете считать себя принятым. Любомиров согласен. Возьмите в отделе кадров анкету, заполните и принесите мне. И оставьте свой телефон. Я вам завтра позвоню. Когда вы можете выйти на работу? Лучше всего — послезавтра.

«Вот тебе и «пятый пункт», — подумал я. — Отчего в мире столько сплетников и злопыхателей? Превратили Любомирова в юдофоба».

Тарасов проявил завидную для руководящего работника аккуратность.

— Вы еще не рассчитались у себя в газете? — подняв трубку, услышал я на следующий день его голос. — Нет? Вот и хорошо. Тогда не спешите. Редактор вернул мне вашу анкету. Он говорит, что «Советскому спорту» нужны юристы.

Тогда этот мотив отказа вызвал у меня очередной приступ отчаяния, тем более горького, что с момента обещания Тарасова не прошло и суток. А сорок лет спустя я искренне посмеялся, вспомнив устную резолюцию Любомирова. По вполне объяснимой ассоциации я подумал о ней, когда прочитал цитату то ли из книги, то ли из речи Жириновского, где он сообщал о своих родителях: «Мать русская, отец — юрист».

Поздней весной 1958 года меня вызвали повесткой в военкомат. Мне приказали пройти медицинский осмотр и ждать другой повестки с указанием, куда и когда явиться с вещами. Так я угодил в солдатчину.

Как каждый выпускник высшего учебного заведения, сдавший зачеты по военной подготовке, я получил звание младшего лейтенанта запаса. Не знаю уж почему, но в военных билетах окончивших юридические вузы в графе «специальность» ставилось: «пехота». И когда в неизвестных мне заоблачных армейских кругах сочли, что запасных пехотинцев в стране перепроизводство, зато мастеров противовоздушной обороны маловато, для моей и сотни таких же неудачников перековки устроили двухмесячный лагерный сбор в полку, стоявшем под Клином. Там нас должны были превратить в технарей.

Днем меня безуспешно пытались выучить на командира взвода управления ракетами средней дальности, а по вечерам, в часы, которые устав именовал «личным временем», я торопился в ленинскую комнату, куда приносили газеты, чтобы первым захватить родной «Советский спорт». Сбор уже подходил к концу, когда в самом низу последней, восьмой полосы я увидел: «Главный редактор В. А. Новоскольцев».

Не могу объяснить, почему я решил, что Новоскольцев, до тех пор пописывавший небольшие заметки о спорте в «Правде», сделан из другого теста, чем Любомиров, но я сразу сказал себе: пробил мой час! И добавил столь же высокопарное: теперь или никогда! Но какое уж там «теперь», если я заперт в воинской части, от которой до Москвы почти сто километров? Требовалось что-то срочно предпринять.

Я лихорадочно думал: что? И придумал. И совершил поступок, граничащий с преступлением, к тому же бессмысленный.

Сразу после подъема я, надев тренировочные штаны и рубаху, а поверх напялив форму и прихватив рюкзак, перебрался через ручей, который служил границей расположения полка. С этого момента я находился в самовольной отлучке, которая, если продлится больше двух часов, превратится в дезертирство. Правда, судить чело-

века, не принимавшего присягу, не стали бы, но провести неделю на гауптвахте тоже малоприятно.

Обмундирование, которое нам выдали, годилось только на территории военного городка. Кирзовые сапоги, побелевшие от стирок, с дырами и заплатами хлопчатобумажные солдатские гимнастерки, галифе и пилотки имели официальное название БУ — бывшие в употреблении. Зато на плечах у нас красовались погоны младших лейтенантов. В таком наряде меня задержал бы первый комендантский патруль. Потому в рощице у ручья я все это сбросил с себя, засунул в рюкзак, выбрался на шоссе и в кузове попутного грузовика доехал до железнодорожной станции Клин, а оттуда — электричкой в Москву. Дома я привел себя в порядок и помчался в «Советский спорт».

Возвратиться я был обязан к вечерней поверке, иначе могли не зачесть сборы и отправить на повторные. Зачем мне был нужен этот час пребывания в редакции, нельзя объяснить, руководствуясь здравым смыслом. Человек религиозный сказал бы: «рука Всевышнего». Я же думаю: должно же было и мне когда-нибудь повезти.

Первый, с кем я столкнулся, поднимаясь по редакционной лестнице, был ветеран «Советского спорта» Семен Аркадьевич Гуревич. Мы с ним всегда обменивались вежливыми поклонами, но до этой встречи не сказали друг другу ни единого слова. У Гуревича была репутация интеллигентного, доброжелательного, трудолюбивого и досконально знающего газетное дело человека. Но журналист он был посредственный. Писал, главным образом, скучноватые фельетоны, построенные на старых, много раз использованных другими приемах, бичуя пороки руководителей не выше областного масштаба. Печатался под псевдонимом «З. Гурьев», т.к. паспортное имя его было Зиновий.

В тот раз я равнодушно кивнул ему и двинулся дальше, но был остановлен фразой, которую от других слышал много раз:

— Женя, вы не хотели бы работать в «Советском спорте»?

— Я-то хотел бы, — скрывая волнение, ответил я. — Но, насколько я понимаю, не хотят меня.

И тут же, на лестнице, рассказал Гуревичу о своих бесплодных потугах прорваться в «Советский спорт». Он терпеливо выслушал мою печальную повесть и сказал:

— Сейчас у нас новый редактор. Он поручил моему отделу освещать три всесоюзные спартакиады — армии, профсоюзов и «Динамо» и дал ставку литсотрудника. Ситуация критическая. Тянуть у Новоскольцева времени нет. Если откажет, можете считать, что здесь ваша пенска спета. Но он не откажет.

И — тоже уже знакомый вопрос:

— Когда вы готовы выйти на работу?

Я назвал следующее за окончанием сборов число — 21 июля, сказал, что моя анкета лежит у Тарасова и, не дойдя до второго этажа, повернул обратно. Дома меня застал телефонный звонок. Гуревич извещал меня, что я принят.

Отдел, которым он заведовал, назывался научно-методическим. Я хотел было спросить, какая связь между наукой и методикой спорта, с одной стороны, и спартакиадами — с другой, но передумал: не все ли равно? Главное, что на 29-м году жизни я все-таки добился своего.

Глава 4

ЭТО БЫЛО В СПОРТИВНОЙ РЕДАКЦИИ

По этажам газетной лестницы

Мой друг Миша Марин презентовал мне общую тетрадь в клеенчатой коричневой обложке, на которой черной тушью было выведено:

Е. Рубин

Это было в спортивной редакции

Марин в ту пору, когда сделал мне этот подарок, находился на середине пути, который я уже преодолел: писал статьи и надеялся перебраться из горьковской газеты «Ленинская смена» в «Советский спорт», а я уже занимал пост замредактора отдела. Мы сразу сошлись. Когда я попадал в Горький или он в Москву, почти не расставались. Миша любил слушать были о жизни редакции и журналистов и требовал, чтобы я эти рассказы записывал — мол, когда-нибудь пригодится. Теперь, взявшись за книгу, я пожалел, что пропустил его совет мимо ушей. Но, как сказал Анатолий Франс, «прошедшего не вернут даже Боги».

Вспомнил я о Мишином подарке к тому, чтобы отдать кесарю кесарево: название этой главы принадлежит ему. Впрочем, и Марин его позаимствовал. «Это было в спортивной редакции» — так начинается стихотворение Евтушенко «Первая машинистка». Под заголовком — посвящение: «Татьяне Сергеевне Малиновской». В самом стихотворении есть слова: «Дорогая Татьяна Сергеевна, я люблю Вас верно и нежно».

Татьяна Сергеевна Малиновская заведовала машинописным бюро «Советского спорта» еще с довоенной поры, когда эта газета называлась «Красный спорт». Во времена, когда Евтушенко приносил в редакцию свои первые стихи, эта изящная, хрупкая, нервная и порывистая женщина была далека от первой — да и от второй — молодости, но сохранила черты былой привлекательности. Говорили, что перед войной у нее был долгий бесперспективный роман с одним из ведущих журналистов газеты. Мы точно знали лишь, что она никогда не имела мужа и ее личная жизнь не удалась. Вероятно, поэтому она редко спешила домой и подолгу засиживалась в редакции. Печатала она с пулеметной скоростью, не выпуская сигарету из чуть подкрашенных губ. Ее работу ни автор, ни корректор могли не проверять: Малиновская отличалась абсолютной грамотностью и печатала без помарок.

Все мы разделяем своих знакомых на добрых и злых, веселых и скучных, щедрых и скупых, шумных и тихих, гуляк и домоседов. У Малиновской была собственная шкала оценок. По одну сторону демаркационной линии, созданной ею для распределения людей по категориям, находились пишущие хорошо, по другую — плохо. В этом она разбиралась не хуже любого редактора. О том, чей материал она печатает в данный момент, красноречиво говорило выражение ее лица.

Имея в виду это свойство ее натуры, легко догадаться, почему между ней и годившимся ей в младшие сыновья Евтушенко родилась взаимная симпатия и почему образ машинистки вызвал у поэта прилив творческого вдохновения.

О руководимом Малиновской машинописном бюро — теперь уже отмершей части организма редакционной жизни, а когда-то игравшей в нем внешне малозаметную, однако едва ли не главную роль — мне предстоит рассказать позже. Мне не обойти эту тему по причине глубоко личного свойства. Но — каждому овощу свое время. Здесь же на упоминание Миши Марина и Тани Малиновской навела меня строчка «Это было в спортивной редакции».

В годы учения мне пришлось сменить несколько школ, до прихода в «Советский спорт» — несколько учрежде-

ний. Обживатьсья среди людей, которые уже притерлись друг к другу, всегда непросто. Попав в спортивную редакцию, я этих трудностей избежал. В ней новичков было больше, чем старослужащих. В некоторых отделах только начальники сохранились со времен, когда газета выходила на четырех страницах и через день.

Редакция напоминала неустоявшийся раствор. Позже прояснится, кто чего стоит. Кого-то вынесет наверх, кто-то выпадет в осадок. Пока же все мы выглядели как постриженные под гребенку рекруты. Меня постригли в числе последних, но и первые успели проработать считанные месяцы.

Все, как в других, было и в заштатном научно-методическом отделе: руководил им ветеран Гуревич, а мы, рядовые сотрудники, работали без году неделю. Отдел поставлял столь же длинные, сколь и скучные статьи докторов и кандидатов педагогических наук об основах спортивной тренировки, о влиянии производственной гимнастики на производительность труда, о методических пособиях для инструкторов физкультуры. Эти материалы попадали на газетную полосу через руки двух женщин — Федосовой и Федосеевой. Из-за сходства фамилий их путала вся редакция, кроме нас, меня и Льва Николова, трудившихся с ними бок о бок. Сами они писать не пробовали. Но в газете открылись вакансии, и они, как многие другие, были рекомендованы кем-то, кому неудобно отказать.

Меня Гуревич избавил от науки и методики. Через два лета предстояли Олимпийские игры в Риме, через год — Спартакиада народов СССР в Москве. Она длилась две недели. Считалось, что по ее итогам составляется олимпийская команда страны. Но по доброй советской традиции всесоюзному событию следовало придать глобальный размах. А потому был выдвинут лозунг: «Спартакиада — круглый год!». На другой день после каждой Олимпиады объявлялось о начале нового спартакиадного четырехлетия для подготовки к следующим Зимним и Летним олимпийским играм. Так что мы слевой могли считать себя загруженными работой навечно.

Можно ли, однако, сделать ограниченное во времени событие перманентным, круглогодичным, не знаящим

антрактов? Оказывается, можно. При соблюдении двух условий: первое — если тратить на него деньги не из собственного кармана, второе — если этих денег не жалеть.

Вот как это делалось.

Все начиналось за 4 года до московского финала с цеховых, заводских, колхозных и совхозных спартакиад. Их участники освобождались на время тренировок и соревнований от работы с сохранением зарплаты. Чемпионы ехали на районные спартакиады, а их победители, предварительно отдохнув и пройдя тренировочные сборы в местных здравницах, на областные. Они жили в гостиницах, получали усиленное питание, посещали театры. После соревнований им вручали кубки, дипломы, ценные подарки, пожимали руки и отправляли по домам. Они сделали свое дело, они могли уходить.

На следующем этапе обходились без них. Там выступали атлеты, которые только числились рабочими, служащими, студентами или солдатами, а на самом деле работали спортсменами. Они ежедневно тренировались и получали за это жалованье, стыдливо именуемое государственной стипендией. По мере приближения Спартакиады республики они тысячами стекались на черноморские курорты.

Это были в основном немолодые (по спортивным меркам) и не слишком искусные, но способные показать результат первого разряда (он служил пропуском на Спартакиаду) полупрофессионалы.

По правилам, республика обязана была послать на московские финалы сборную, в которой есть команды по всем олимпийским видам спорта. Но откуда, например, безводной Туркмении взять гребцов или не имеющей катков Армении — хоккеистов?

Однако безвыходных положений не бывает. Туркменское спортивное руководство заблаговременно приглашало гребцов из второй сборной Белоруссии или Украины. Местная милиция ставила в их паспортах штамп о постоянной прописке в Ашхабаде. Пока документы оформлялись, приезжие знакомились с достопримечательностями республики, цвета которой им доверялось защищать на всесоюзной арене, а затем убывали на Черное море.

Однажды — кажется, в 1967 году — мне пришлось освещать хоккейный турнир Зимней Спартакиады народов СССР. Руководитель армянской делегации гордо объявил, что его республика прислала в Свердловск, где проходили соревнования, исключительно местных спортсменов. На матчах армян со сборными России и Казахстана, которым они проиграли соответственно 0:47 и 0:33, я не был. А отказать себе в удовольствии посмотреть встречу, как сказал бы Николай Озеров, «друзей-соперников», встречу Армения — Грузия, я не мог и поехал на стадион завода Уралмаш.

Ничего подобного мне за те 40 лет, что пишу о хоккее, ни до, ни после этого матча видеть не приходилось. Игрокам сборной Армении помогали держаться на ногах клюшки, а разбежавшись останавливаться — бортики поля. Грузины чувствовали себя уверенней, им удавалось передвигаться, толкая перед собой шайбу.

Победу Грузии принес мой давний знакомый, бывший игрок московского «Локомотива» Михаил Захаров по прозвищу Баланс. Этот 40-летний человек время от времени выходил на площадку и занимал место рядом с грузинскими воротами. Туда кто-нибудь из партнеров доставлял ему шайбу. Баланс неторопливо вел ее вперед, обводя встреченных по пути противников. Так он добирался до ворот Армении и либо забивал гол сам, либо уступал эту честь партнеру. А затем, тяжело дыша, усаживался на скамейку запасных до следующей смены.

Выиграла Грузия со счетом то ли 16:0, то ли 14:0.

Зрителей на том матче почти не было. Зато явились все лица, ответственные за проведение Спартакиады. Явились, опасаясь эксцессов. Однако игра была довольно мирной. Видно, слишком много энергии отнимал у играющих процесс управления коньками, клюшками и шайбой.

Финалы Летних спартакиад открывались в Москве праздником на лужниковском стадионе. В правительственной ложе рассаживались члены Политбюро. На футбольном поле по очереди выступали с гимнастическими упражнениями студенты Института физкультуры, армейские спортсмены, школьники, ремесленники. Все они готовились к этому длившемуся два-три часа концерту в

Крым и на Кавказе и радовали глаз высшего партийного руководства налитыми мышцами и бронзовыми телами.

Непременной частью торжества был рапорт о главном достижении — вовлеченных в занятия физкультурой и спортом новых миллионах трудящихся. Из рапорта следовало, что сама эта армия превышает число населения большинства европейских стран. Рапортующий засыпал слушателей цифрами. Не упоминал он лишь, в какие суммы обошелся весь этот фейерверк.

Помнится, в конце 50-х годов советское физкультурное движение боролось за выполнение обязательства, сформулированного в девизе «Даешь 47 миллионов!». От одного четырехлетия к другому цифры менялись. В 70-е годы добрались до 88 миллионов. И каждое обязательство, конечно, перевыполнялось. А чтобы придать рапортам видимость правдивости, было в русском языке узаконено новое слово — «человекостарт». Проще говоря, сколько раз вышел бегун на старт, в такое количество людей он автоматически превращался на бумаге.

Один великий писатель, Гоголь, предвосхитил создателей советских спартакиад на целый век, изложив суть их изобретения в поэме «Мертвые души». Другой, Маяковский, обогнал на три десятилетия, провозгласив: «Так и надо, крой, Спартакиада!». Что ж, на то они и великие, чтобы предвидеть будущее. Гоголя, правда, можно упрекнуть в том, что писал он сатиру. А Маяковский — тот как в воду глядел.

Этой вот «липой» и занимались мы слевой Николовым под предводительством тишайшего, порядочнейшего и скромнейшего Семена Аркадьевича Гуревича.

Прослужил я в его отделе недолго. Очередные аппаратные перестановки привели Тарасова к руководству отделом массовых видов спорта, в чье веденье входили все олимпийские дисциплины, кроме плавания, прыжков в воду и водного поло. Тарасов взял меня под свое крыло и поручил курировать бокс.

В большой и многолюдной редакции газеты «Советский спорт» только тарасовский отдел и еще один, спортивных игр, имели прямое отношение к спорту. Составляли они незначительное меньшинство. Четырех-

этажное здание заполнили посторонние в спорте люди. Они сидели в отделах оргмассовом, общественно-политическом, учащейся молодежи, писем. Даже от иностранного отдела требовалась не информация о происходящих за границей спортивных событиях, а показ опыта соцстран и разоблачение прогнившего буржуазного спорта.

Между спортивными и неспортивными отделами шла вечная борьба за место на газетной полосе, борьба с переменным успехом, но чаще — при преимуществе неспортивных отделов. Их заведующие убивали нас обвинением: «Они пробавляются отчетиками об элите, а мы занимаемся проблемами развития массового физкультурного движения страны». Этот довод разил редактора наповал.

Новоскольцев, а позже сменивший его у газетного штурвала Николай Семенович Киселев, редко приезжал на работу раньше полудня. Утренние часы он проводил во Всесоюзном спорткомитете, в ВЦСПС или другой директивной организации. Раз в две недели ему надлежало являться по утрам в ЦК КПСС на совещания главных редакторов центральных газет. Таким образом, к планерке, где составлялся ближайший и намечались следующие выпуски, он был до зубов вооружен инструкциями.

Новоскольцев любил огорошить собравшихся глав отделов сюрпризом. Он хладнокровно выслушивал план номера, предложения об улучшении, а затем, дождавшись тишины, тихо говорил:

— А где полоса о спорте на селе?

— Но она же не планировалась, — робко возражал заведующий оргмассовым отделом. Новоскольцев пропустил это бестактное замечание мимо ушей и продолжал:

— Какая близорукость! Какое непонимание ситуации! На селе решающие дни битвы за урожай, а чем мы помогаем труженикам деревни? Тем, что футбольные таблички печатаем и раздуваем отчеты о матчах? Найти место для сельской темы и через час доложить! В этом номере и во всех. Без материалов о сельском спорте мы отныне выходить не будем.

Все знали: приказ действует две недели, до нового инструктажа в ЦК. Затем про село забудут и станут ежедневно — опять две недели — публиковать заметки о спортивной работе на предприятиях черной металлургии.

Речь о первоочередной задаче «Советского спорта» стать организатором битвы за урожай я привел почти текстуально. Я в то время руководил отделом спортивных игр и должен был являться на планерки. В тот раз, отпустив всех, редактор сказал:

— Женя, задержитесь. Народ в кабинетах ЦК жалуется: результаты игр мы даем, а как они изменили положение команд, неизвестно. К гласу народа надо прислушиваться. Отныне таблицу будем давать ежедневно.

Я не стал напоминать Новоскольцеву его презрительное замечание о табличках. Я только спросил:

— А как быть, когда матчей нет?

— И тогда давайте. Жалко, что ли?

Новичками мы, работавшие в спортивных отделах, не хотели верить, когда вернувшийся с планерки Тарасов коротко передавал нам содержание редакторских речей и сообщал, какие из наших материалов выкидываются из номера, а какие сокращаются. Мы не допускали мысли, что цековский начальник, дававший подобные распоряжения, искренне полагал, будто есть на свете колхозник, который черпает в «Советском спорте» опыт прополки картошки или ремонта трактора.

Едва дождавшись обеденного перерыва, мы спускались вниз по Спасоглинищевскому переулку на площадь Ногина, заходили в родимый «Севан» и за бутылкой трехзвездочного азербайджанского коньяка давали волю эмоциям.

Но это — в первое время. Потом остыли.

Вообще же это было золотое время. Большинство из нас пришло в «Советский спорт» ниоткуда — из второсортных газет, со студенческой скамьи, некоторые — из большого спорта.

Мы, исключая бывших спортсменов, привыкли считать каждую копейку. А тут приличная зарплата (моя первая была 130 рублей) и дважды в месяц гонорар — всегда сумма неопределенная, а потому для домашних не подотчетная. Нам по долгу службы приходилось дежурить в типографии, задерживаться по вечерам на стадионах, ездить в командировки. Это делало неопределенным рабочий день. Позвонишь жене, скажешь, что не успел на последний поезд из Воскресенска, и — гуляй до утра.

Нам открылся доступ в ЦДЖ — Центральный дом журналиста, куда пускали только по членским билетам. Там был лучший по тем временам ресторан Москвы, где готовили суворовское филе и поджарку «Дом журналиста», приносили на закуску угри, миноги, рубленые яйца с луком и печеночный паштет, каких не было больше нигде. Там был бар, куда прямо с завода Бадаева привозили в бочках свежее жигулевское пиво, и к нему подавали прилетевших самолетами из Ростова-на-Дону горячих розовых раков. Мы подружались с тамошними официантками, и, даже если все места в ресторане были заняты, они накрывали специально для нас добавочные столики.

Словом, это была вольница. Нас, объединенных интересом к спорту, она сблизила еще больше. По вечерам мы гурьбой выходили из редакции и решали, куда держим путь. Присоединявшийся к нам, когда приезжал из Горького, Миша Марин ставил перед обществом один и тот же вопрос: «Как мы проведем остаток дня?».

Как ни странно, амурные дела занимали в той нашей жизни второстепенное место. Мы предпочитали мужскую компанию, чтобы без помех вести нескончаемые разговоры все о том же — о спорте, о газете, о журналистике. Жару в костер полемики добавляли появлявшиеся на столе вместо опустевших полные бутылки. Когда питьевое заведение закрывалось, мы выходили на улицу и еще долго не могли расстаться — каждый торопился доказать то, что не успел за долгий вечер.

Я думаю, именно тогда «Советский спорт» стал превращаться в газету, которая пользовалась популярностью в стране. Довольно скоро она вошла по тиражу в первую пятерку ежедневных изданий. Но ее конкурентки имели перед нами солидную фору. Подписываться на «Правду» обязаны были партийные организации заводов, фабрик, колхозов, учреждений, цехов, библиотеки, агитаторы, пропагандисты, рядовые члены КПСС. Подписку на «Труд» субсидировали профсоюзы. Грандиозную подписную кампанию для своей читательской аудитории проводили организации, которым подчинялись «Комсомолка» и «Пионерка». По этой части «Со-

ветский спорт» тягаться с ними не мог. И тем не менее газета, печатавшая в конце 50-х годов ежедневно не более миллиона экземпляров, в 70-е выходила тиражом за 5 млн.

Братская могила

Воспоминания о той, первой для всех нас советско-спортивной поре теперь вызывают у меня смешанное чувство. Сама по себе она с вершины времени, которое стирает память о будничных конфликтах и мелких неприятностях, видится прекрасной. Но что ни месяц приходят из России холодящие душу вести о смертях людей, которые пришли в «Советский спорт» вместе со мной и с которыми мы тогда сразу и близко сошлись как единомышленники.

Я еще ожидал в Италии разрешения на въезд в США, когда умер Миша Марин (его подлинная фамилия Меллер). По образованию он был историк, по призванию репортер. Для Марина не существовало закрытых дверей, если нюх ему подсказывал, что там скрывается сенсация. Это он придумал прожившую в «Советском спорте» полтора десятилетия рубрику «Проход всюду». Он заболел, если новость появлялась в другой газете раньше, чем у нас. Сам-то Миша действовал без промаха. Только не все от него зависело. Сколько раз кто-нибудь из начальства — они по очереди дежурили вечерами, — получив не запланированную с утра заметку, робел и откладывал ее до следующего выпуска. Мы кипятились, осыпали проклятьями перестраховщика, от которых тому наверняка икалось, и покидали редакцию. Домой в такие дни не несли ноги. Мы заходили в ближайший гастроном, брали бутылку и брели в пельменную на проезде Серова. Там на видном месте висел плакат: «Приносить и распивать спиртные напитки строго воспрещается». Уборщица ставила на наш столик граненые стаканы, мы торопливо их наполняли, а пустую посуду вручали ей: 12 копеек, которые она выручит, сдав бутылку, были наградой за услугу.

В те же годы умер Игорь Васильев, который был моложе меня лет на десять. Он превосходно знал легкую атлетику и обладал хорошим чувством слова. Вскоре ушел из жизни лучший в спортивной журналистике специалист по лыжному спорту Игорь Немухин, написавший несколько книг о лыжниках.

Потом наступила очередь, казалось, бессмертного Алексея Пискарева. Это была одна из колоритнейших фигур в истории «Советского спорта». Пискарев, экс-чемпион Союза по скоростному бегу на коньках, каждое утро лихо влетал во двор «Советского спорта» на мотоцикле. Поручив своего боевого коня заботам редакционных шоферов, он в несколько прыжков достигал четвертого этажа и деловито распахивал дверь в отдел. Всем своим видом он даже не говорил, а кричал, что готов к трудовым подвигам. Он сбрасывал с себя кожаную с бесчисленными застешками и карманчиками куртку, протирал толстые стекла очков в роговой оправе, садился за стол и осматривался. Дальнейшее зависело от того, был ли в комнате зам. зав. отделом Григорий Аронович Тиновицкий. Если не было, он кивал на дверь кабинета Тарасова и тихо спрашивал:

— Сам на месте?

Когда выяснялось, что и того нет, Пискарев снимал телефонную трубку и набирал номер.

— Кармела! — кричал он, дождавшись ответа, своим хрипловатым баритоном. — Слава Богу, застал! Иначе бы просто умер. Терпеть нет больше сил. Стели кровать, раздевайся, еду!

Он снова надевал куртку, выходил на середину комнаты и по дороге к двери отдавал команды.

Секретарше Гале:

— Возьмешь у машинисток мой репортаж!

Своему другу Игорю Васильеву:

— Проверишь там цифры!

Мне:

— Сделаешь правку!

Всем:

— Для Тарасова я уехал брать интервью. Для Нины Анатольевны (за глаза он называл жену исключительно по имени-отчеству) я на совещании у редактора.



С мамой Верой Филипповной, 1934



Отец Евгения Рубина Михаил Лазаревич, 1945



Офицерские сборы на ст. Дивизионная под Улан-Удэ. Рубин — третий слева.



Великий боксер Валерий Попенченко (справа) даст свое последнее интервью.
Через три недели его не стало.



Репортаж из Дворца спорта в Лужниках. Рядом — жена Жанна.



Слева направо: Владимир Петров, Валерий Харламов, Борис Михайлов — легендарная тройка ЦСКА.



Отбор фотографій для очередного номера газети «Советский спорт». Слева направо: Анатолий Пивчук, Алексей Патрикеев, Юрий Моргулис; за столом — Евгений Рубин, 1962.



Мария и Владимир Степак в сельке в Сибирь.



Многократный чемпион и рекордмен СССР и Европы по плаванию Семен Белицкий-Гейман называет себя учеником Рубина в спортивной журналистике. 1976.



Ложа прессы в лужниковском Дворце спорта.
В третьем ряду по обе стороны от Рубина — молодой журналист
Леонид Трахтенберг и Е.Рубин-младший.



Фото Жанны Морено

Николай Эпштейн после победы «Химика» над ЦСКА.



Фото Жанны Морено

Валерий Харламов

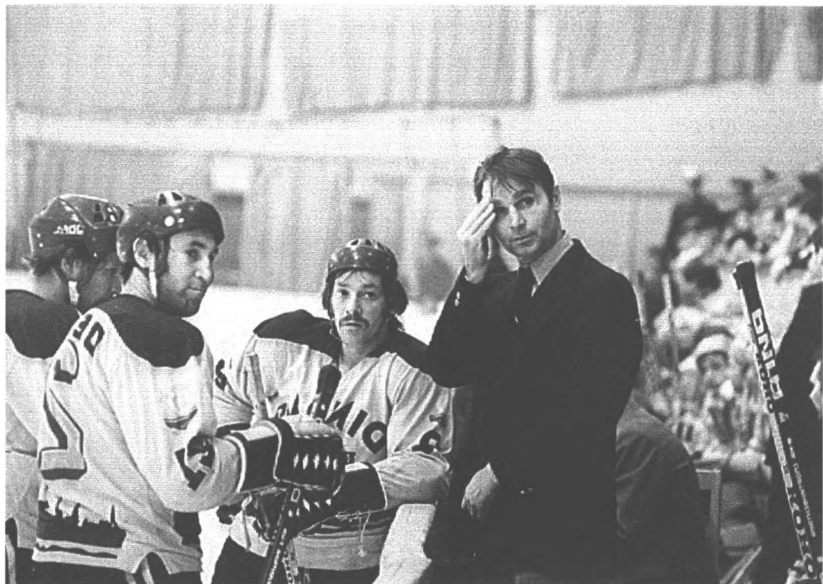


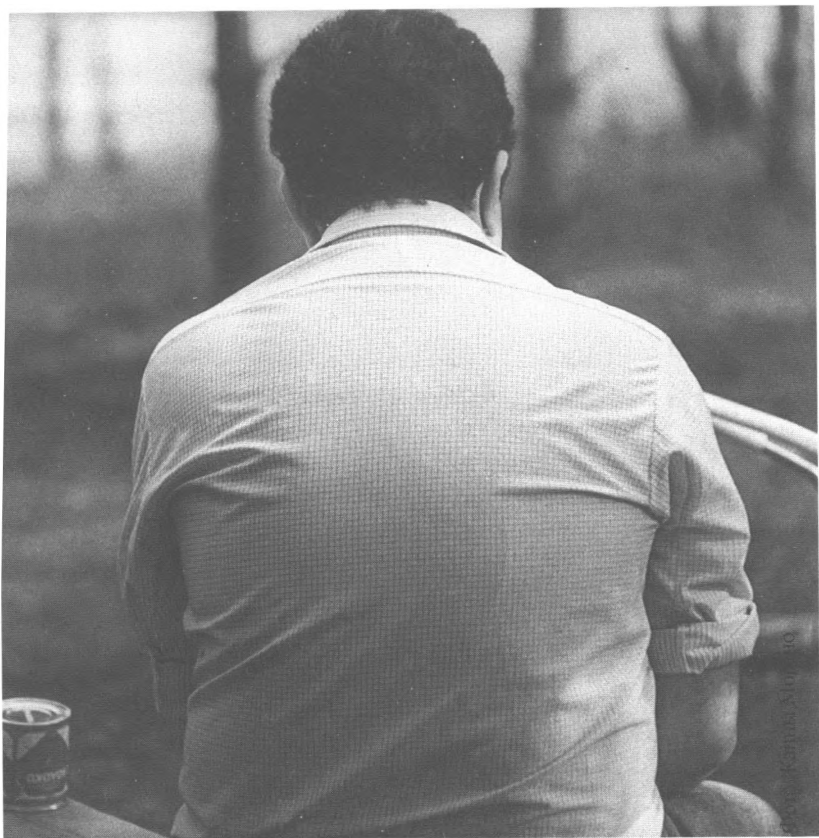
Фото Жанны Морсено

Виктор Тихонов



Фото Жанны Морсено

Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов



Мой муж Евгений Рубин

Фото Жанны Морено

И уже из-за захлопываемой двери:

— Буду через два часа!

Свое слово он держал и, вернувшись от Кармелы, охотно рассказывал секретарше Гале о том, какая та удивительная женщина. Уходя в положенный час из редакции, он давал новое распоряжение остающимся:

— Если будет звонить Нина Анатольевна, я на вечерней тренировке сборной.

Пискарев однажды познакомил меня с Кармелой — цыганского вида молодой женщиной, скуластой и веселой. Умер он уже после того, как покинул «Советский спорт» и стал спортивным репортером «Вечерней Москвы».

Одновременно со всей новой волной пришел в редакцию еще более знаменитый спортсмен, бывший чемпион мира по тяжелой атлетике и заслуженный мастер спорта Дмитрий Иванов. У нас с ним были сложные отношения. Ему, водопроводчику по специальности, успехи на помосте позволили перебраться из Ленинграда в Москву, поступить на факультет журналистики МГУ и в «Советский спорт». Убедившись в его полной профессиональной беспомощности, Тарасов прикрепил Иванова ко мне.

Иванов являлся на работу к шести утра, до моего прихода составлял заметку, уезжал на лекции в МГУ и снова приходил к вечеру. Я охотно возился с его материалами. Действовали магия спортивного имени и то, что он быстро осваивал наше дело. Через год опекуны ему не требовались. Он уже был полноценным работником, не только со знанием предмета, но и грамотно писал о тяжелой атлетике. Его статьи стали появляться во многих газетах.

Раздражало меня в Иванове вот что. С одной стороны, он вел себя как свой человек в нашей компании. В его просторной квартире — он жил в доме рядом с памятником Юрию Долгорукому на том же этаже, что и зять Хрущева Алексей Аджубей, — мы иногда собирались поговорить и выпить. С другой, слишком яростно и откровенно, словно поднимал тяжелую штангу, рвался Иванов к должностям. И шел по ступенькам служебной лестницы путем, которым обычно пробирались наверх

люди бесталанные: побывал председателем месткома, секретарем партбюро, входил в разные общественные комиссии и комитеты, чтобы быть поближе к редакционному и спорткомитетскому руководству. Там, выслушав мнение начальства, присоединялся к нему и с легкостью необыкновенной выступал против того, что так горячо отстаивал в наших застольных дискуссиях.

Мы все больше отдалялись друг от друга. Ко времени, когда у меня созрело решение покинуть Россию, мы не всегда и здоровались. Теперь я в этом раскаиваюсь. Был бы жив Дима Иванов, попросил бы у него прощения.

В 1978 году, когда я подал заявление об эмиграции, пошедший на такой шаг автоматически превращался в изгоя. Чтобы не ставить в неловкое положение приятелей и избежать косых взглядов остальных, я попросил жену взять в редакции справку, без которой не давали выездную визу, о том, что материально я перед «Советским спортом» чист. Пока она сидела в кабинете кадровички, туда заходили по делу мои теперь уже бывшие сослуживцы. Мой близкий приятель и превосходный журналист Виктор Васильев притворился, что ее не узнал. Зашел и член редколлегии и партбюро Дмитрий Иванович Иванов.

— Ну как у вас дела? — участливо спросил он. — С отъездом все в порядке? Женьке передай от меня огромный привет. И ни пуха вам, ни пера в новой жизни.

Все это он говорил в присутствии заведующей отделом кадров Ирины Ивановны Гошевой, которой по долгу службы положено было доносить о каждом услышанном слове главному редактору «Советского спорта» и начальнику управления кадров Всесоюзного спорткомитета.

Через полтора года Иванов был в командировке на чемпионате мира по тяжелой атлетике в американском городе Толидо. Уж не знаю, как умудрился он разыскать мой нью-йоркский телефон, но, не считаясь с чудовищными по меркам тех дней расходами на междугородние переговоры, позвонил, расспрашивал о жизни и обещал, если удастся, заехать в гости.

Ни в тот раз, ни после повидаться нам не удалось.

Вот так, неожиданно-негаданно, раскрывается человек, казалось, изученный вдоль и поперек за два десятилетия близкого знакомства.

Зимой 88-го года, когда я был на Олимпиаде в Калгари, мне туда позвонила жена и оглушила известием: умер Толя Пинчук. Мы с ним познакомились и подружились в дни, когда и он, и я стремились проникнуть в «Советский спорт». Он тоже окончил Юридический институт, только двумя годами позже, тоже с детства был спортивным болельщиком, только ЦСКА, а не «Динамо», тоже мечтал сделать спортивную журналистику своей профессией. И тоже сделал.

Спортивный журналист любой другой газеты пишет сегодня о футбольном матче, завтра о боксерском чемпионате, через неделю о лыжном марафоне или гребной регате. Для нашей не годилось знать о спорте всего понемногу. У нас сотрудник тоже должен был уметь ориентироваться в нескольких видах, но еще не хуже тренера разбираться в одном.

Никому у нас в редакции не удалось стать таким «узким» специалистом, как Пинчуку. Он был живой энциклопедией баскетбола. Разбуди его ночью, он мигом выдаст любые статистические данные об этой игре и о каждом известном игроке. В СССР до таких тонкостей не добирались и научные бригады. В американских профессиональных спортивных лигах для их подсчета и систематизации содержатся армии статистиков, до зубов вооруженные компьютерной техникой. Толе помогал справляться с этим сизифовым трудом единственный ассистент — конторские счета. И работали они с компьютерной точностью, но без осечек, которые нет-нет да и дают эти умные машины.

Баскетболисты платили Пинчуку дружбой за его безграничную преданность их игре. Корифеи той эпохи Арменак Алачачян, Иван Едешко, Геннадий Вольнов, Юрий Корнеев были завсегдатаями в редакции и у него дома.

Умер, не дожив до 60 лет, Станислав Токарев, возможно, самый блистательный журналист за всю историю «Советского спорта». Не верилось, что оболочка смазливой мальчишки, с пеленок избалованного родите-

лями, скрывает такую почитительность к слову, такой безупречный литературный вкус, такую преданность делу и такую работоспособность.

Токареву не завидовали. Зависть испытывает тот, кто считает недооцененным себя. А мы понимали: писать так, как он, нам не дано.

Звезды, будь то театр, спорт, эстрада, журналистика, обычно капризны и эгоистичны. Токарев в нашем деле был «суперстар», но одновременно, пользуясь спортивным лексиконом, командный игрок. Он безропотно делал маленькие заметки, подписи под фото, придумывал заголовки к чужим статьям, ужимал свои, чтобы оставить побольше места другим, оставался допоздна в редакции — помочь дежурному по номеру. Общей удаче он радовался, как собственной.

Токарев, типичный солист, чьи статьи читатель сразу узнавал по стилю, с готовностью принимал участие в бригадах, назначавшихся для освещения крупных и долгих турниров. Подписи всех, кто входит в бригаду, ставились гуртом, по алфавиту, и гонорар делился на всех поровну. Такая работа была в его, командного игрока, натуре.

Мастеров класса Токарева в любой профессии называют маститыми. Ему этот эпитет не шел. Никто в редакции не знал его отчества, и каждая девчонка-секретарша обращалась к нему на «ты». А он, в свою очередь, в каждую новенькую немедленно влюблялся, так же как во всех молоденьких курьерш, стенографисток, внештатниц. Заметив в редакционном коридоре незнакомое девичье лицо, он влетал в отдел и, грацируя, восторженно кричал:

— Что за пгелестная кошка!

Эта слабость Славы Токарева к юным представительницам прекрасного пола во многом предопределила его журналистскую специализацию. В первые годы он увлекался многодневными велогонками — спортом чисто мужским, выматывающим у атлета все силы и нервы. Но постепенно его главными темами стали женская гимнастика и фигурное катание. Чемпионки 60-х и 70-х годов Лариса Латынина, Ирина Роднина, Людмила Турище-

ва, Ольга Карасева, Лариса Петрик, Людмила Пахомова — героини лучших очерков Токарева.

Своему пристрастию к девицам, едва переступившим порог совершеннолетия, или, по вошедшему сейчас в моду определению, тинэйджерам, он изменил лишь однажды. История того скоротечного романа вошла в летописи «Советского спорта», а сентенция из завершившего его заявления — в устное собрание редакционных пословиц.

Бригада «Советского спорта» из семи человек во главе с Токаревым освещала Зимнюю спартакиаду 1967 года в Свердловске. Седьмой впервые включили стенографистку. Звали эту довольно привлекательную, но миновавшую токаревский возраст дородную даму Рита Лозенко. Популярность в газете ей снискали романы с холостыми и женатыми сотрудниками. Она не делала из своих похощений секрета. Не скрывала и того, что очень хотела бы пополнить коллекцию покоренных Славой Токаревым. Своей цели она достигла уже в купе скорого поезда Москва—Свердловск, пока остаток бригады сидел в вагоне-ресторане. Продолжалась эта связь две недели — столько, сколько сама Спартакиада. По возвращении в Москву бригадир в присутствии своих подчиненных отчитывался на заседании редколлегии. Последняя фраза доклада вызвала у нас, его соратников, шок. Токарев сказал:

— Опыт использования стенографистки Гиты полностью себя опгавдал.

Юные и изящные девушки были пламенной, но не единственной страстью Токарева. Другая — книги. И перед ними он не мог устоять. Однажды он со своей второй женой Эллой был у меня в гостях, а на утро я обнаружил в тесных рядах томов на книжной полке пробел там, где вчера еще стоял раздобытый с таким трудом однотомник Булгакова — украшение и гордость моей библиотеки.

Ну да Бог с ним, с однотомником. Булгакова я купил в Нью-Йорке. Булгаков у меня теперь есть. Пропадет — куплю еще. Нет Токарева...

Нет и Игоря Маринова, журналиста, превосходно владевшего русским языком и почти так же французским.

Нет Юрия Моргулиса — газетного фоторепортера, каких, по-моему, не было ни до, ни после него. Газета —

такое же производство, как завод. Если детали поступают в сборочный цех несвоевременно, срывается график выпуска продукции. Разница в том, что автомобиль или пылесос годятся к употреблению, если вышли с конвейера с опозданием, а запоздавшая газета никому не нужна. Моргулис — и только он один — умел, проведя четверть часа у кромки футбольного поля, у ринга, у фехтовальной дорожки, сделать снимок, годный для фотOVERнисажа, проявить, отпечатать и сдать его вовремя. Теперь, наверное, на такое способны многие его коллеги. Но тогда не было нынешних объективов размером с дуло орудия крупного калибра. И снимали тогдашние фотографы отечественными «Зенитами», которые их наследники побрезговали бы взять в руки.

Лишь двое из того скорбного списка, с которым я вас познакомил, списка далеко не полного, — Пискарев и Иванов были старше меня. Остальные моложе. И не смертельные, неизлечимые недуги вроде рака их выкосили.

Я окидываю мысленным взором эту братскую могилу и пытаюсь понять, почему так рано умерли люди, которых и роднят-то только профессия да ранняя смерть. И не могу отделить одно от другого.

В 60-е годы пользовался известностью переведенный на русский язык роман американского писателя Джона Сильвестра «Вторая древнейшая профессия». Автор подразумевал под этим названием то, что первыми в истории человечества людьми, торговавшими своим ремеслом и жившими за этот счет, считаются проститутки, вторыми — журналисты, только у первых товаром было тело, у вторых — душа. Миша Марин, знавший роман Сильвестра почти наизусть, говорил о нем: «Энциклопедия журналистики». И этот отзыв справедлив, пусть само название отнюдь не бесспорно. Так вот, у Сильвестра, да и из других источников, вычитал я, что по средней продолжительности жизни люди нашей специальности занимают одно из последних мест, а вслед за ними стоят рабочие горнодобывающей промышленности.

Понятно, я статистикой не располагаю, но думаю, что и среди журналистов избравшие спортивную отрасль плетутся в хвосте. Во всяком случае мои соотечественни-

ки. Я имею в виду настоящих спортивных репортеров, которые составляли лишь часть именованных себя так, но ведущих жизнь обыкновенных кабинетных служащих.

Эти настоящие полжизни проводили, мотаясь из командировки в командировку по городам и весям Советской страны. В Омске, Красноярске, Барнауле, Челябинске, Свердловске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Новокузнецке, Казани довелось мне вместе с Юрой Моргулисом провести по полторы-две недели, освещая большие турниры. Места, где воздух чище и еда не так убога, я не упоминаю.

Платили нам суточные два шестьдесят и квартирные рубль шестьдесят в день. Снять за квартирные номер, где тебе не пришлось бы спать в соседстве с тремя незнакомцами, было невозможно. Суточных хватало разве что на суточные ши. Между тем, мы не относились к числу настолько состоятельных людей, чтобы ежедневно докладывать к этому довольствию собственные пятерки — мы в своих семьях были кормильцами.

Мы возвращались с соревнований поздней ночью. Я писал репортаж, он в душевой — единственной на весь этаж — проявлял фото пленки. Потом — разговор с редакцией. И негде раздобыть хлеба местной выпечки, тяжелого и кислого, с несъедобными комьями внутри, и кусок колбасы, сделанной на местном комбинате, с вкраплением пластинок сала такой твердости, что глотать их надо было целиком и от вида которых становилось дурно. И то, и другое заменяли сигареты. К счастью, теперешние курильщики даже их наименований — «Прима», «Дукат» или, того хуже, «Памир» и «Дымок» — не помнят. Заполнением легких дымом от этих медленно разрушающих душу и тело табачных изделий заканчивался один рабочий день и начинался другой. Они же заменяли закуску к бутылке водки тамошнего разлива, пахнувшей денатуратом. Без этого снотворного не заснешь.

Сильвестр от имени своего героя Неда Горса произносит фразу: «Алкоголизм — профессиональная болезнь журналистов». И делает точное замечание: репортеры не пьют по выходным, когда отдыхают, они пьют в будни, чтобы снять усталость. Но ни автор «Второй древнейшей

профессии», ни его персонаж не могли и вообразить, каковы условия труда их российских коллег.

Мы возвращались из командировки и прямо с аэродрома ехали в редакцию — сдать последний отчет, отпечатать фотографии чемпионов. И никаких отгулов: журналист — человек с ненормированным рабочим днем, за все проведенные в труде вечера и выходные ему причитается 24-дневный отпуск.

Верно, поездка на соревнование — эпизод. Но и в Москве у нас выдавались редкие свободные вечера. Почти все съедали дежурства, встречи с людьми, у которых можно было разжиться информацией, взять интервью, проконсультироваться по специальному вопросу, просто посиделки в редакции или Доме журналиста; в нашем деле такое общение — необходимость.

Приходишь домой, где тебя ждет горячий душ и чистая постель, и засыпаешь с ощущением человека, сбросившего с себя тяжелую ношу. Но газета живет один день, и утром надо начинать все заново, чтобы заполнить ее опять чистые страницы. С этой мыслью просыпаешься по зову будильника, который звонит ровно в 8 утра — в половине десятого ты должен переступить порог редакции и расписаться в книге приходов и уходов.

По своему опыту знаю: для втянувшегося в этот ритм он становится естественным. До определенного возраста человеку кажется, что он ведет нормальное существование и что болезни — это для других. Первые сигналы нестораживают. А ко времени, когда недуги наваливаются всей своей тяжестью и все вместе, в стареющем организме уже не хватает сил им сопротивляться.

Я эмигрировал в 49 лет и незадолго до отъезда едва не попал на операционный стол — кровоточила язва двенадцатиперстной кишки. Напоминает мне она о себе и теперь, 20 лет спустя, но изредка. Не перемена страны спасла меня от роковых ее последствий, а перемена образа жизни.

Я взялся за книгу, которая перед вами, возвратившись с Зимних Олимпийских игр 1998 года. Там я работал бок о бок с репортерами, сменившими мое поколение.

Нас, корреспондентов московской газеты «Спорт-экспресс», было семеро — пять пишущих и два снимающих. Старший из шести москвичей — на 20 лет моложе меня. Если отбросить бытовую сторону жизни в те полмесяца, что продолжалась Олимпиада, все было как когда-то: метания по аренам Нагано, отчеты, интервью, поиски своей темы, ночные бдения в снятом для нас редакцией на территории пресс-центра помещении, где все пепельницы заполнены горами окурков, а на полу опустошенные бутылки.

Между часом и двумя ночи (в Москве это — восемь вечера) ставилась последняя точка в последней сегодняшней заметке и можно было ехать в отель. Но никто не поднимался из-за стола. Так бегун, пройдя длинную дистанцию и смертельно усталый, должен пробежать еще полкруга, чтобы умирить пульс и нервное напряжение. Обычно кто-нибудь произносил, как пароль:

— Ну что, может, по рюмочке? — и восприняв общее молчание как знак согласия, открывал дверцу холодильника. Кто знает, сколько длились бы эти полкруга после финиша, если бы последний автобус в пресс-деревню отходил позже половины третьего.

В нашей команде я оказался не только самым пожилым, но и самым болезнеустойчивым. На остальных, которых я застал в день прилета такими здоровыми, жизнерадостными, цветущими, напали старые враги, давно о себе не напоминавшие — артриты, астмы, высокое кровяное давление, расширения вен.

Среди новобранцев «Советского спорта» поры массового набора, открывшего дверь в газету и мне, были женщины. Их имена, может быть, помнят старые читатели: Ирина Гладкова, Лидия Лопачева, Мария Кондратьева, Нина Беляева, Светлана Пальмова. Их, кроме Светланы, которая и поныне трудится в «Советском спорте», я потерял из вида. Но пока вести о них доходили до меня, все были живы-здоровы. Говорят, что женщины более живучи, чем мужчины. У меня на данный случай есть иное объяснение. Они писали о школьной физкультуре, о спортивном кинематографе, делали обзоры писем, готовили статьи бюрократов. Каждоднев-

ная, не знающая ни начала, ни конца работа на ненасытного зверя — сегодняшний газетный номер — обошла их стороной.

От сержанта до генерала

Из отдела Тарасова я пошел на повышение. Меня пригласил к себе в заместители редактор отдела спортивных игр Виктор Васильев. Так за каких-то два-три года я достиг предела, потолка редакционной карьеры, перепрыгнуть который при моих анкетных данных было невозможно. Правда, потом я долго этим отделом руководил, но в официальных документах именовался «и. о.» — исполняющий обязанности редактора отдела.

Евреи с древних времен называют себя Богом избранным народом. В дружной семье народов СССР их называли не иначе, как «лица еврейской национальности». Слово «еврей» было изъято из официального употребления наравне с нецензурными выражениями. В периоды кампаний по разжиганию у населения антисемитских страстей в устный и письменный обиход вводились термины-синонимы: «сионисты» и «космополиты всех мастей». «Лицам еврейской национальности» оставалось благодарить партию и правительство за деликатность: два эти определения вполне можно было заменить коротким, ясным и звучащим недвусмысленно словом «жид».

За двадцать без нескольких месяцев лет моей работы в «Советском спорте» накал таких кампаний редко достигал высшей точки. Но процентная норма для поступающих в лучшие вузы и претендующих на определенные должности сохранялась независимо от политической ситуации. Мой знакомый, кандидат физических наук Михаил Иванович Киселев в начале «оттепельных» 60-х подрабатывал, принимая экзамены у поступавших в МВТУ абитуриентов. Вот что он рассказывал об этом своей жене, которая, презрев процентные нормы, позже ушла от него ко мне:

— У меня инструкция: еврей не должен получить проходной балл. А они, как правило, весь школьный курс

знают назубок. Приходится выходить за рамки школьной программы. Иногда задаешь вопрос, на который не всякий студент ответит. Ставишь низкую оценку, и стыдно парню в глаза смотреть.

Не то чтобы Михаил Иванович, выходец из семьи отставного офицера, питал к Богом избранному народу большую симпатию. Познакомившись со мной, он в разговоре с женой, тогда его, а потом моей, дал мне такую характеристику: «Еврей, но приличный парень». Кому, однако, охота ломать человеку будущее, лишая его возможности заниматься делом, которое, скорей всего, является его призванием?

Тем не менее мое назначение не вызвало удивления в редакции. В ней, как и в любом советском учреждении, даже артели инвалидов, все должности делились на две категории — номенклатурные и ненаменклатурные. У нас посты главного редактора и его заместителей были номенклатурой ЦК КПСС. Заведующих ведущими отделами, которые входили в состав редколлегии, утверждал Всесоюзный спорткомитет. Остальных, в том числе заместителей редакторов отделов, доверялось подбирать газетному начальству самостоятельно. Они и считались ненаменклатурными.

Привел этот порядок к странной, на первый взгляд, ситуации: не только у нас, но и во многих других редакциях, что ни зам, то либо Шустер, либо Лифшиц, либо Гуревич. И то же самое в секретариатах. Так что я не был исключением. Новоскольцеву не потребовалось спрашивать ничего разрешения, чтобы нашить на мои солдатские погоны сержантские лычки. Но когда потребовалось поставить меня во главе отдела, ему пришлось добавить к моему титулу буквы «и. о.».

Новоскольцев был вообще не слишком удобной фигурой для Всесоюзного спорткомитета, поскольку приходился зятем секретарю ЦК КПСС Поспелову. Даже когда того понизили, сделав директором Института Маркса-Энгельса, для комитетского руководства он остался настолько важной персоной, что оно предпочитало не связываться с поспеловской родней. Зато едва Поспелова

отправили на пенсию, уволили и Новоскольцева, заменив его Николаем Семеновичем Киселевым, который немедленно получил указание подобрать на мое место более подходящую кандидатуру.

Пока же до смены редакционной власти было далеко, и я делал первые шаги как заместитель Виктора Васильева.

Работать с Васильевым, журналистом экстракласса, было весело и интересно. Он все делал легко. Особенно писал. А писал он о футболе, баскетболе, шахматах и теннисе. Читатели его любили. Хотя знатоки, признавая достоинства стиля Васильева, упрекали его в некоторой поверхностности. В этих упреках была доля правды. Виктор так увлекался формой — поисками эпитетов и сравнений, что, случалось, перебарщивал в оценках. В общем, публика ему это прощала.

Он относился к небольшой группе мастеров нашего дела, которые пришли в спортивную журналистику вскоре после войны и заставили читателей и коллег перестать видеть в ней занятие второго сорта. К их числу я отношу, помимо Васильева, уже упоминавшегося Тарасова, Мартына Мержанова и Льва Филатова, первых редакторов приложения к «Советскому спорту» еженедельника «Футбол», Александра Вита, тоже писавшего о футболе, Аркадия Галинского и Александра Кикнадзе — киевского и бакинського корреспондентов «Советского спорта».

Никто из них не был бескрылым ангелом. И друг с другом они жили совсем не мирно. Кто-то имел склонность к демагогии, кого-то раздражал напор молодых, кого-то обуревало тщеславие. Объединяли же всех подлинная интеллигентность и стремление выразить себя в печатном слове. Спорт они знали и понимали. Но, как мне кажется, не это привело их в нашу, а не в другую газету.

При всей поднадзорности спортивной прессы партии и государству она все же не требовала от пишущих такого раболепия, как от журналистов, специализировавшихся в политике, промышленности, культуре, сельском хозяйстве. В очерке о Льве Яшине, или Михаиле Тале, или Валерии Брумеле можно было обойтись без упоми-

нения их коммунистического мировоззрения, идейности и желания своими достижениями отблагодарить партию за материнскую заботу о спорте. В рассказах о передовых доярках, токарях, ученых и рационализаторах эти атрибуты были обязательны.

Я и мои ровесники по стажу многим обязаны названным мною людям. Они установили уровень, к которому мы просто обязаны были стремиться. В частности, мне больше всего дало общение с Васильевым и Филатовым, который был моим начальником в течение семи предэмиграционных лет. А по-человечески ближе всех из них мне Аркадий Галинский, с которым я переписывался уже живя в США.

Нет, я никогда не пытался никому подражать. Их влияние на меня лучше назвать косвенным. Мы подолгу разговаривали о журналистах и журналистике. Высказывания Филатова отличались серьезностью и глубиной, Васильева — остротой и парадоксальностью, Галинского — категоричностью и непримиримостью.

От Филатова я услышал формулировку, которую написал бы крупными буквами у входа на факультет журналистики: «Всех журналистов можно разделить на две группы, к одной относятся те, кто свои материалы пишет, к другой — те, кто их составляет». С того дня, как Лев Иванович сказал эти слова в моем присутствии, я примеривал его градацию на каждого своего коллегу и имел миллион возможностей убедиться: это правило не знает исключений. Примерял я «закон Филатова» и на себя. И уже хотя бы поэтому никогда не мог позволить себе работать методом составления.

Однажды мы, молодые подчиненные Васильева, собрались по какому-то поводу в его кабинете. Когда обсудили все дела, один из присутствующих, Женя Бирун, с которым мы были не просто тезками, но и носили фамилии, состоящие из одинаковых букв, спросил:

— Витя, у тебя постоянно выходят книги. Поделись секретом, как тебе удается получать в издательствах заказы?

Васильев, не задумываясь и, как всегда, когда острил или язвил, чуть заикаясь, ответил:

— Вот вам мой рецепт: старайтесь писать хорошо.

Васильев обладал редким для человека непьющего и некурящего свойством — страстью к игре на деньги. Бывало, в разгар нашего совещания в дверь его кабинета без стука входил фоторепортер Борис Светланов. Уверенный, что явился по делу более важному, чем то, которым занимаемся мы, он опускал руку в карман и проносил:

— Сколько?

Васильев называл несколько цифр, Светланов доставал из кармана зажатые в кулаке купюры и вместе с Васильевым проверял номера на них. Тут же выявлялся размер выигрыша того или другого согласно правилам босяцкой игры в «железку», или, по-заграничному, «шман-де-фер», производилась выплата, и Светланов покидал помещение.

Васильев играл во что угодно — в преферанс, в покер, в шахматы, даже в пинг-понг, лишь бы на деньги. Как-то в разгар рабочего дня он вбежал к нам в комнату и обратился ко мне, своему заместителю:

— У меня Лацис (был такой фельетонист, деятель Федерации настольного тенниса и муж поэтессы Екатерины Шевелевой). Мы играем «блиц». Пойди на планерку.

Возвратившись с заседания, на которое обязан был являться каждый зав отделом, я постучал в запертую дверь его кабинета, чтобы передать указания начальства. Виктор, не открывая, прокричал:

— Делайте, что сказано! И зайди перед уходом.

Выполнить его приказ я не смог: дверь по-прежнему была на замке. На следующее утро то же. Я все же потребовал впустить меня. Они сидели за васильевским столом, торопливо делали ходы на стоящей между ними доске и нажимали кнопки шахматных часов. Они сражались в ту разновидность «блица», где каждому дается на партию 5 минут.

— Ты хоть Стелле позвонил? — спросил я, представив себе, что может подумать жена известного ловеласа Васильева, не ночевавшего дома.

— Все в порядке, — ответил он. — Она сама сюда звонила и не волнуется. Днем сходишь на планерку.

Больше я в тот раз к нему не заглядывал. Но уходя с работы, проверил: дверь была заперта.

Когда мы изредка пеняли своему заву на то, что он подает нам дурной пример, он, немного заикаясь, отвечал:

— Делайте не то, что я делаю, а то, что я говорю.

Больше всего хлопот было у Васильева с Толей Пинчуком. Тот не мог даже маленькую заметку написать так, чтобы не попытаться изобрести оригинальный ход. Из-за этого его материалы главный редактор нередко снимал из номера. У Пинчука набралось целое собрание набранных, но неопубликованных сочинений, с которыми он ходил по редакции и жаловался на редакторскую тупость. И Виктор, выпустив книгу «Загадка Таля», подарил экземпляр Пинчуку с такой надписью: «Толе Пинчуку, автору нашумевших гранок».

Филатов обладал даром удивить читателя выбором из груды слов единственного — самого точного и одновременно не близко лежащего. Васильев искал парадоксы и яркие сравнения. И оба достигли на избранном пути больших высот.

Галинский был мастером не только письменного, но и устного творчества. Он мог, заглянув мимоходом в какой-нибудь отдел и услышав там разговор на любую тему, бросить реплику, другую, затем завладеть всеобщим вниманием и превратить беседу в собственный монолог. Его речи отличались страстностью, и каждое слово он подкреплял мимикой, жестом, движением тела.

Он некоторое время комментировал футбольные матчи на Центральном телевидении. Его ораторское дарование и умение владеть аудиторией еще выигрывали на фоне телерепортажей старожилов. Они это почувствовали и позаботились о том, чтобы Галинский ушел из ТВ.

Среди множества его высказываний мне глубже всего врезалось в память одно. Адик (так все называли Аркадия Романовича) в каждом появившемся у нас новичке видел будущую звезду журналистики. Естественно, он чаще всего обманывался в своих ожиданиях. Когда я напомнил ему об этом, он огорченно отвечал:

— Хороших кровей, но в щенках замучен.

Так оно, возможно, и было.

Рассказать об этих людях, тянувших и нас наверх, я считал необходимым. Конечно, историк советской прессы той эпохи может познакомиться с их работой по книгам, которые они написали. Но журналист — не писатель. Его имя и его книги стираются из памяти куда быстрее.

Так же как эти, ушли в небытие для сегодняшней публики имена главных редакторов «Советского спорта» Владимира Андреевича Новоскольцева и Николая Семеновича Киселева, с которыми мне довелось работать. Они просидели в своих креслах по десятку с лишним лет, а после них сменилась целая толпа. Но сменивших я уже не застал.

Эти же — достаточно типичные для своего времени газетные боссы, хотя людей, менее похожих друг на друга, не сыскать.

У Новоскольцева было прозвище Маленький Аджубей. И тот, и другой взлетели на орбиту, как космические ракеты — с реактивной скоростью и по вертикали. Оба проделали этот путь, перемахивая через ступени крутой карьерной лестницы. Литсотрудник «Комсомолки», зам ее редактора, редактор и, наконец, главный редактор «Известий» — траектория движения «большого». Сотрудник многотиражки на послевоенном Днепрострое, спортивный репортер «Правды», шеф «Советского спорта» — так мчался «маленький».

Для обоих роль ракетоносительниц сыграли жены, для «первого зятя страны» — дочь Хрущева Рада, для моего начальника — дочь Пospelова Евгения. И оба, когда их тесты были смещены со своих постов, вошли в плотные слои атмосферы. Аджубея приютил в журнале «Советский Союз» Грибачев. Попечению Новоскольцева вверили третьесортный журнал «Спортивные игры». Оба остались без правительственных приемов и заграничных поездок во главе делегаций.

Сформулированный Васильевым девиз «Делайте не то, что я делаю, а то, что я говорю» Новоскольцев мог бы повесить над своим рабочим столом.

Его излюбленное изречение: «Пусть земля горит под ногами пьяниц!». Если ему доносили, что работник «Со-

ветского спорта» был нетрезв в общественном месте, того ждала безжалостная расправа. Мне даже трудно припомнить всех, кого Новоскольцев уволил по этой причине. Он, конечно, не мог не знать, что в редакции почти нет трезвенников. Но для принятия мер ему требовался сигнал.

Между тем сам Новоскольцев являлся в редакцию, прилично выпив. Исключение составляли дни, когда его мучили почечные колики. Как-то я сидел в закуской «Украина» — по соседству с «Советским спортом» на улице Богдана Хмельницкого — и увидел своего главного. Он, не садясь за столик, попросил у официантки рюмку коньяку, потом еще одну и ушел. На планерке выяснилось, что утром Новоскольцев был в ЦК, где запах спиртного слышат за версту, а потому туда надо являться трезвым как стеклышко. По дороге оттуда на службу он спешно опохмелился.

Если наш главный проводил заседание стоя за своим креслом, это был верный признак: сегодня он перебрал больше обычного. В такие дни его призывы, разносы и приказы звучали непререкаемо. Правда, мы знали: протрезвев, он об одних не вспомнит, о других будет сожалеть.

Именно так — стоя и опираясь обеими руками на спинку кресла — он на редколлегии приказал мне передать Пинчуку, чтобы тот подал заявление об уходе. Я догадывался, за что невзлюбил Новоскольцев Пинчука. Был у Толи, хорошего работника, журналиста с именем, грех — внешнее сходство с Новоскольцевым: такие же выступающие из орбит глазные яблоки, вьющиеся каштановые волосы, ниже среднего рост. Их даже путали иногда. Я ответил главному, что у меня претензий к Пинчуку нет и пусть Новоскольцев, если считает нужным его уволить, обойдется без передаточного звена. Тому ничего не осталось, как согласиться.

После редколлегии мы собрались всем отделом обсудить, как вести себя теперь Пинчуку, и решили, что нападение — лучшая защита: пусть он сам идет к редактору объясняться. И на следующее утро Толя засел в приемной Новоскольцева, который, как всегда, задерживался

где-то в директивных органах. Наконец, он появился. Но, увидав Пинчука, исчез в кабинете одного своего заместителя. Вышел оттуда и завернул к другому. Снова вышел, но незванный гость терпеливо ждал. И тогда Новоскольцев, даже не заглянув к себе в кабинет, крикнул секретарше: «Я уехал в ВЦСПС. Буду во второй половине дня». И испарился.

В конце концов Пинчук уволился из «Советского спорта» по собственному желанию. Но Новоскольцева к тому времени уже не было в газете. Их разговор так и не состоялся.

Того, что сам он — человек пьющий, наш главный и не думал скрывать. Мне пришлось дежурить с ним в типографии после его возвращения из командировки в Ереван. Я спросил, как прошла поездка. Вот его рассказ:

— Незабываемое впечатление осталось у меня от посещения подвалов «Арарата». Меня пригласил туда их директор. Собралось все руководство. Передо мной поставили четыре крошечные рюмочки, в них налили по несколько капель коньяка из четырех шприцев, которыми вышеживают напиток из бочек, и попросили дать каждой рюмке характеристику. Я пригубил все четыре и высказал мнение об их возрасте и сорте винограда, из которого они сделаны. Присутствующие были поражены. Кто-то заявил, что по призванию я дегустатор. Потом повторили опыт — опять четыре шприца и четыре рюмки. Я снова дал оценку каждой пробе. И тогда директор сообщил, что содержимое всех рюмок на этот раз взято из одной бочки, где хранится трехзвездочный коньяк производства этого года.

Самой неожиданной была мораль, которой наставительным тоном закончил Новоскольцев свою притчу:

— Так вот, Женя. Когда садишься за стол, важна первая стопка. Дальше можешь пить хоть денатурат.

Затем он, как обычно, когда дежурил по номеру, посмотрел на часы и объявил:

— Важные материалы я просмотрел, остальное прочитаете сами и подпишете газету в свет. Я поехал.

Писать Новоскольцев умел. Излюбленным его жанром был фельетон. Иногда он подписывал их своей под-

линной фамилией, иногда — псевдонимом «В. Андреев». Этими произведениями он очень гордился и благодаря связям в издательствах выпустил их сборник. Зато тех, кто тоже считал себя фельетонистами, терпеть не мог, корежил их работы, вычеркивая синим карандашом целые абзацы. Одного, наиболее одаренного, Юрия Алексеева, и вовсе, воспользовавшись пустяковым поводом, изгнал из «Советского спорта». Правда, того без промедления подобрал журнал «Крокодил».

Внешними знаками благоволения Новоскольцев одаривал исключительно заведующих неспортивными отделами — присланных Всесоюзным спорткомитетом чиновников, обожавших выступать на собраниях и разбирать персональные дела. Однако, улучив свободную минуту, он раз-другой в день забегал к Тарасову послушать его стихи. Иногда я заставал их за таким занятием: Тарасов начинал читать стихотворение Пастернака, или Мандельштама, или еще кого-то из поэтов «Серебряного века», фактически запрещенных в СССР, а Новоскольцев подхватывал с очередной строфы и продолжал до тех пор, пока Тарасов не перенимал у него эстафету. Не думаю, что были в те годы другие редактора ведущих газет, способные продемонстрировать такое знание и понимание настоящей поэзии.

В одном из наших бесконечных споров с Васильевым о Новоскольцеве, который мне был в общем и целом симпатичен, а Виктору — решительно нет, я упомянул о прекрасном литературном вкусе редактора. Как всегда в таких случаях, чуть заикаясь, Васильев ответил:

— Ты прав. Только использует он свой тонкий вкус для того, чтобы вычеркивать лучшие места в чужих материалах.

Я не мог не признать, что в этих словах моего ментора была изрядная доля правды.

Николай Семенович Киселев был человеком без роду и племени, проще говоря, без связей. Его выдвинули в журналисты с комсомольской работы и бросили на укрепление «Московского комсомольца». С тем же успехом он мог укрепить руководство Союза художников, треста ресторанов или фабрики игрушек. Из областного «Ком-

сомольца» его перевели во всесоюзную «Комсомолку», где он возглавил отдел спорта и стал секретарем партбюро. В этой газете издавна существовал неофициальный возрастной ценз. И когда Киселев подошел вплотную к этому цензу, его сделали заведующим спортивным отделом ТАСС и уже оттуда перевели на место Новоскольцева.

Став газетным генералом, Ник-Сэм, как его называли за глаза во всех редакциях, не перестал быть солдатом партии — трудолюбивым, исполнительным, непьющим и не обсуждающим полученные приказы.

Меня он знал еще до прихода в «Советский спорт», хорошо относился ко мне и не скрывал, что доволен отделом спортивных игр. Но Новоскольцев, с которым я, бывало, ссорился и при котором неоднократно получал наказания за действительные и мнимые провинности, терпел меня в роли руководителя этого отдела. Ник-Сэм, едва заступив на свой пост, вызвал меня и грустно информировал:

— Женя, комитетское управление кадров потребовало, чтобы в редакции не было никаких «и.о.». А вас они не хотят утверждать в должности члена редколлегии. Вот и давайте вместе поищем вам работу, не требующую утверждения.

Так и пришлось мне после семилетнего исполнения редакторских обязанностей в 1969 году перебраться сначала к родным пенатам, в отдел массовых видов, а оттуда, по предложению Филатова, в еженедельник «Футбол», который превратился к тому времени в «Футбол-Хоккей».

Киселев был вообще добрым и совестливым человеком. По своей воле никогда мухи не обидел. На Зимнюю Олимпиаду в американский город Лейк-Плэсид прилетела сотня журналистов из СССР. Киселев — единственный, встречая в пресс-центре меня, корреспондента «Радио Свобода», подходил и на глазах у всех говорил мне:

— Здравствуйте, Женя.

В редакции Киселев просиживал до ночи, никогда не позволял себе отлучаться по личным делам и прочитывал каждую строчку, которой предстояло появиться на газетной полосе. Это качество помогло Ник-Сэму изу-

чить спорт и его людей. А сердце свое он раз и навсегда отдал одному виду — скоростному бегу на коньках.

С наступлением осени без заметок о коньках не обошлось ни один газетный номер. Мы давали списки лучших конькобежцев мира, СССР, республик, ведущих в этом спорте держав и стран, чемпионы которых не выиграли бы в России областных соревнований. Эти заметки Киселев писал лично, приносил их из дому и сдавал в набор. Как бы тесно ни было в завтрашнем номере, никто не решался спросить главного, нельзя ли отложить на день его творение. В дни установления рекордов Ник-Сэм создавал целые полотна: история рекорда, имена всех прошлых обладателей «от Ромула до наших дней», данные о новом герое, раскладка его бега по кругам.

На крупные международные и всесоюзные турниры по конькам редактор ездил сам, и, пока турнир шел, редакцию лихорадило. Все сроки сдачи газеты в печать срывались. Дежурный сидел в типографии до рассвета. Каждый час на его столе звонил телефон — Киселев передавал поправки и уточнения.

На чемпионат СССР, если память мне не изменяет, в Челябинске, он взял с собой Мишу Марина, и они там жили в одном гостиничном номере. После Марин рассказывал:

— Он часов пять просидел над отчетом, продиктовал его по телефону и начал ходить вдоль и поперек номера. Ходил, ходил, потом присел к столу и стал что-то вымарывать и что-то вписывать. Снова заказал телефонистке Москву. Передал поправки, встал и опять принялся ходить. Вдруг вспомнил еще что-то и взялся переделывать. И так раз пять...

Писал Киселев, по Маяковскому, «утомительно и длинно, как Доронин». И в том же духе говорил. Он считал своим долгом подводить итоги всех редакционных собраний, летучек, совещаний. Поднимался со своего места, и глаза присутствующих мутнели от предвкушения тоски. Нельзя было в такие минуты не сочувствовать Ник-Сэму, мучительно подбирающему слова и безуспешно ищущему выход из начатой фразы.

Косноязычие нашего главного редактора имело свою причину. В партийных уставах и инструкциях нет никаких указаний на то, что руководящий работник идеологического фронта должен читать книги. Вот солдат партии Киселев и не читал их. Да и ничего другого, кроме того, что отправлял в набор. Все слова и выражения, которые он включал в свои статьи и речи, он когда-то где-то уловил на слух и повторял их так, как они ему услышались. В результате из его уст вырывались на свет чудовищные изречения, которые тут же превращались в анекдоты.

Взявшись рассказывать о Киселеве, я с ужасом установил, что за давностью лет большинство созданных им языковых перлов выпало из памяти. К счастью, был в редакции их собиратель, превосходный журналист-международник Алексей Григорьев, сотрудничающий сейчас в «Независимой газете». Я разыскал Лешу, и он прислал мне список, уточнив, что в нем лишь избранное. Вот оно:

- Были мы в Брюсселе, смотрели кино. Там все ИЗБИЯНСТВО и ИЗБИЯНКИ.
- Пуганая КОРОВА куста боится.
- ЛейБ-мотив.
- Подстамент.
- ОКОЛОТОЧНЫМ путем.
- Персона нон-ГРАНТ.
- Рвать и метать ИКРУ.
- ФИТЮЛЬКИНА грамота.
- Ничтоже СУМЯТИША.
- Связывать руками и ногами.
- Мы все расписали СКОРЛУПЕЗНО.
- Очень СКОРЛУПЕЗНО поработал товарищ.
- Он ПАЛЕЦ О ПАЛЕЦ НЕ СДЕЛАЛ для этого.
- Дмитрий Иванович может это подтвердить в страдательном падеже.
- КОМПОТЕНТЫ физкультурного движения.
- Триптих? Это что такое? Три — ясно. А что такое ПТИХ?
- АЭРОГВАЙЦЫ забили нам неправильный гол в Мехико.
- ВИКИНГ-энд.

- На трибунах сидели СОМБРЕТКИ.
- Из мухи ВЫСОСАЛИ слона.
- Смотреть сквозь СПУЩЕННЫЕ РУКАВА.
- Вы, Миша, пишите, а я потом ВСТАВЛЮ свои КУПЮРЫ.
- ЯШКАТЬСЯ (с ударением на первом слоге. — *Е. Р.*).

Только не принимайте Киселева за шутника. Да нарочно такое и не придумаешь.

Умер Николай Семенович в середине 80-х годов. В его кончине, конечно же, не последнюю роль сыграла трагедия, пережитая семьей Киселевых еще до моего отъезда. Учреждение, где работала жена нашего главного, получило льготные путевки на новогоднее путешествие в Ереван. Она купила две — для 23-летнего сына и 20-летней дочери. Самолет, на котором они летели, врезался в землю под Воронежем.

Николай Семенович вышел на работу через два дня после этой катастрофы.

Глава 5

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА

Час зачатья и полвека спустя

Это был замечательный матч. Пар от дыхания нескольких десятков тысяч зрителей клубился над трибунами. Мерный топот обутых в валенки и черные матерчатые боты, прозванные в народе «прощай, молодость», и хлопанье в такт этому топоту рукавицами прерывались взрывами восторженных аплодисментов и возгласами разочарования...

Был разгар зимы 1946 года. На Малом поле московского стадиона «Динамо» играли две лучшие хоккейные команды той поры — ЦСКА и «Динамо». По матовому льду мчались хоккеисты в белых и красных свитерах. Среди них болельщики легко узнавали своих идолов — динамовцев Василия Трофимова, Сергея Ильина, Михаила Якушина, Всеволода Блинкова, армейцев Всеволода Боброва, Владимира Никанорова, Александра Виноградова. Эти знаменитые мастера зимой перекочевывали с зеленого газона главной арены «Динамо» на лед Малого поля, меняли большой кожаный мяч на маленький, сплетенный из розовых ниток, и подбитые шипами бутсы — на коньки. И вместе с ними перебирались с футбольных трибун на хоккейные, поменьше, за что и называлось поле Малым, их почитатели. Мороз никого не отпугивал. Люди смотрели игры хоккейного чемпионата стоя на заснеженных лавках.

Окончился первый тайм, и зрители потянулись к выходам — размять ноги на аллеях динамовского парка, съесть бутерброд с ветчинно-рубленой колбасой, выпить стакан горячего кофе, который буфетчицы разливали из титанов, пробиться, кому повезет, в павильон — запастись теплом на второй тайм.

Покидавших свои места остановил голос из репродуктора: «Товарищи, сейчас группа студентов Института физкультуры покажет вам новую игру — канадский хоккей». На этот зов откликнулись далеко не все. Я, ученик девятого класса московской школы №12, оказался в числе любопытных.

На лед вышли несколько служителей в валенках и ватниках. Они оградили прямоугольный сектор в середине поля, по обеим его сторонам установили сколоченные из досок ворота и исчезли. Их сменила дюжина участников показательного матча. По пять человек в каждой команде были одеты в формы тех же цветов, что игроки «Динамо» и ЦСКА. Вратари в стеганых телогрейках и кепаках напоминали лесорубов.

Хоккеисты были вооружены клюшками. Но в отличие от тех, которыми пользовались ушедшие на перерыв — удобных в обращении, изящных, с изогнутыми как лебединые шеи наконечниками, — студенты держали в руках длинные неуклюжие палки с обмотанными черной изоляционной лентой крюками. Этими похожими на кочергу палками играющие старались загнать черную непослушную каучуковую шайбу в чужие ворота, но ничего путного у них не получалось.

Жалкое это было зрелище, нудное и некрасивое. Играющие сталкивались друг с другом, бортики от прикосновения игрока или удара шайбы разъезжались, и служители ставили их на свои места. То и дело сдвигались ворота, и это тоже служило причиной перерыва на ремонт.

Наконец десять тоскливых минут истекли, рабочие убрали декорации, на арену вернулись хоккейные виртуозы, трибуны заполнились снова, и возобновился настоящий матч.

Домой я ехал на метро. В вагоне было как всегда после таких игр: к обсуждению хода и исхода матча присоединялись новые спорщики, дискуссия быстро стала общей. О происходившем в антракте никто не обмолвился ни словом. О нем видевшие эту убогую пародию на настоящий хоккей с мячом забыли, казалось им, навсегда.

Если бы нашелся в том поезде фантазер, объявивший, что через девять месяцев после часа зачатия нового

вида спорта и их любимцы, и сами они предадут хоккей с мячом ради этой, как сказал бы Остап Бендер, «жертвы аборта», его бы приняли за ненормального.

Что ж, ясновидцы во все века выглядели в глазах современников ненормальными. Глубокой осенью 46 года все — и таланты, и их поклонники — совершили эту измену. Игроки переселились с просторного ледяного поля в тесную коробку, а публика — с лавок, окруживших Малый стадион «Динамо», на скамьи у Западной трибуны Большого.

Старый хоккей не почил тогда в Бозе лишь благодаря тому, что сборная СССР выигрывала каждый чемпионат мира; чемпионат, в котором, кроме нее, участвовали три команды — шведская, норвежская и финская, а победы на мировых и олимпийских первенствах всегда были единственной задачей, которую ставили партия и правительство перед спортивным руководством. Но трибуны на его матчах с тех пор заполнялись только в тех городах — главным образом, уральских и сибирских, — которым не довелось лично познакомиться с новорожденным.

Говорят: не родись красивым, родись вовремя. Советский Союз примеривался к выходу на олимпийскую арену. ЦК КПСС требовал: советские атлеты должны своими достижениями во всех олимпийских видах спорта продемонстрировать миру преимущества нашего строя и заботу партии о здоровье народа. Канадский хоккей занимал видное место в программе Зимних Олимпиад. И власти его приголубили с момента появления в стране.

Старому хоккею сохранили жизнь, но переименовали в хоккей с мячом. Новый, чтобы не возникло подозрение в низкопоклонстве перед Западом, нарекли «хоккеем с шайбой».

Дальнейшие его приключения казались необъяснимыми. Ему не было и двух лет, когда в Москву приехала ЛТЦ, лучшая команда Чехословакии, чья сборная, в которую входило много игроков этого клуба, только что стала чемпионом мира. Результат получился ошеломляющий. Противники сыграли три матча. Каждый выиграл по разу, и одна встреча окончилась вничью.

Опасаясь, как бы советская команда не оконфузилась, спортивное начальство придумало матчам назва-

ние «совместные тренировки». Билеты на стадион «Динамо» в кассах не продавались. Все же мне, старому безбилетнику, удалось проникнуть на все три встречи.

Сейчас в это трудно поверить, но москвичи — а только они и входили в ту команду — не умели отрывать шайбу ото льда. Они понятия не имели о защитном снаряжении. На фоне облаченных в складную форму гостей они выглядели комично в своих шароварах и с велосипедными шлемами, прикрывающими головы.

Пройдет еще шесть лет, и сборная СССР, чья международная практика ограничивалась лишь теми тремя матчами, отправится в Стокгольм на свой первый чемпионат мира. И вернется оттуда с золотой медалью, обыграв всех противников, кроме шведов, с которыми сделает ничью 1:1.

Еще через два года — новая победа, покрупнее этой, на Зимних Олимпийских играх в итальянском городе Картина д'Ампеццо.

И в Швеции, и в Италии среди побежденных были хоккеисты Канады, страны, где эта игра родилась в прошлом веке.

Если первые головокружительные успехи российского хоккея можно было отнести на счет фактора внезапности — к новичкам не проявили должного уважения, — то вскоре этот мотив отпал. Мировые чемпионаты — турниры ежегодные. Вплоть до 1963 года советская сборная ни разу не опустилась на них ниже второго места и лишь на Зимней Олимпиаде, которая проходила в 1960 году на американском калифорнийском курорте Скво Велли, была третьей. А затем на протяжении полутора десятков лет никому ни разу не уступила золотых медалей.

Что же позволило самоучкам, не знавшим азбучных технических и тактических принципов, на которых построен хоккей, взлететь так высоко с места в карьер? Должно же существовать какое-то объяснение. «Мы диалектику учили не по Гегелю» — эта строка из Маяковского могла бы, как мне кажется, послужить эпиграфом к такому объяснению.

Канадцы, изобретшие хоккей, не зря загнали его в тесную коробку, а для играющих смастерили из эластич-

ных материалов наколенники, налокотники и эластичные кольчуги, оберегающие их от травм. Сделали они это потому, что первым средством достижения успеха были сочтены сражения грудь на грудь, столкновения у бортов, умение опрокинуть противника на лед, вызвать в нем страх перед болью от синяков. Только такой хоккеем знали на его родине, только к такому привыкли зрители. Публике он пришелся по вкусу. Хоккеисты привезли его в Европу — в Англию, Чехословакию, в страны Скандинавии.

По счастью, конек первого канадца коснулся русского льда после того, как его избородило целое поколение советских игроков, выросших на больших полях футбола и хоккея с мячом. А их взяли и уплотнили, загнав из просторной квартиры в тесную комнатушку. И проделали эту операцию не с детишками, а со взрослыми, привыкшими к определенным условиям людьми.

Человек способен адаптироваться к любым условиям, так он устроен. И новоселы стали осваиваться в жилье, на которое их обрекла жизнь. Но свои прежние повадки сохранили. Сохранили принесенный из футбола и хоккея с мячом стиль — раскатистый, со сменой мест, со стремлением не пересилить, а переиграть партнера, перехитрить его, найти неожиданный путь к его воротам.

Когда площадка невелика, а на ней, кроме вратарей, размещены десятеро, по пять на команду, проще обучить игроков набору стандартных приемов. А когда и поле, и число участников вдвое больше, возникает необходимость в импровизации и постоянных поисках новых решений старых задач.

Бобров и его сверстники не представляли себе, что, пусть и на арене иных габаритов, можно вести какую-то другую игру, чем та, к которой они с малолетства приучены. Не знали они и того, что их доморощенный стиль поставил в тупик их первых соперников из развитых хоккейных держав. Они просто делали свое привычное дело. И делая его, закручивали партнеров в комбинационных вихрях, из которых те не находили выхода. И это своеобразие компенсировало российским мастерам зияющие бреши в хоккейном образовании.

Приблизительно то же самое произошло и с послевоенным советским футболом, хотя он к тому времени был старожителем российского спорта. Однако по меркам футбола мирового — глубоким провинциалом. До войны советская сборная совершила поездку в Турцию да несколько клубных команд сыграли дома с басками. Если не считать того, что матчи с турками позволили писателю Льву Кассилю сочинить рассказ «Турецкие бутсы», встречи эти со вполне заурядными партнерами ничего советскому футболу дать не могли. Был, правда, еще матч с рабочей командой Франции в Париже, но о его значении лучше всего говорит счет: гости победили то ли 18:0, то ли 16:0.

Никто не мог и допустить, что осенью 1945 года московское «Динамо» совершит триумфальное турне на родину футбола, сыграет там четыре матча с профессиональными клубами Великобритании и одержит две победы при двух ничьих? Ничего подобного не ожидали и сами участники той поездки.

Потом советская сборная впервые сыграла с тогдашним чемпионом мира, командой Западной Германии, и победила ее 3:2. Еще через год — золотая медаль Олимпиады в Мельбурне. И в 1960-м — первый международный приз: Кубок Европы, завоеванный в Париже в борьбе с сильнейшими профессиональными сборными континента.

Справедливости ради надо упомянуть более чем скромное достижение футболистов на чемпионате мира 1958 года. Но в тот раз команду сразило отлучение за провинности лучшего крайнего нападающего Бориса Татушина, лучшего крайнего защитника Михаила Огонькова и центрфорварда Эдуарда Стрельцова, о котором его постоянный партнер в «Торпедо» Валентин Иванов сказал: «Он тогда по игре, по крайней мере, не уступал Пеле». Стрельцов к тому же еще и угодил за решетку. Все это произошло за считанные дни до отъезда сборной. Такие удары нанесли бы смертельные раны любой команде. А советская еще умудрилась выиграть на чемпионате у австрийцев и англичан и была выбита из турнира лишь в четвертьфинале хозяевами, шведами, которые затем дошли до финала.

Сравнение успехов на футбольных и хоккейных полях, по-моему, правомерно. И вот почему. На первенстве мира 1958 года по футболу Бразилия потрясла мир, предложив новую систему расстановки игроков. Придумал ее тренер Винсент Феола.

До Феолы повсюду издавна была принята схема расстановки игроков, которая называлась «дубль W», или «3-2-5». Это значит, что команды выходили на поле, имея трех защитников, двух полузащитников и пять форвардов. Считалось, что это штатное расписание вечно и неизменно. «Феола на него покусился. Чтобы дать больше простора своим быстрым и техничным нападающим, он отвел одного из пяти назад, а чтобы и в средней линии не было тесноты, одним полузащитником укрепил оборону. Схема эта вошла в историю футбола под названием «4-2-4».

Увековечил свое имя в футболе и ее создатель. Его команда, применившая новую расстановку, выиграла два первенства мира подряд — после Швеции еще и в Чили в 1962-м. Но величие Феолы не только в том, что он стал творцом этих побед. Главное — он потряс основы. С его легкой руки начались перемены в тактических построениях. В 66-м в Англии была опробована система «4-3-3». А на чемпионате 1998 года во Франции сборная США — правда, без всякого успеха — выводила на каждый матч трех защитников, шесть полузащитников и одного форварда. Однако все это уже вариации на темы Винсента Феолы.

Но какое отношение имеют революционные преобразования на мировой футбольной арене к послевоенным успехам советских команд? Имеют, и самое непосредственное.

В первые послевоенные годы на футбольных полях СССР безраздельно властвовали две московские команды — «Динамо» и ЦСКА. До начала 50-х чемпионкой становилась либо одна, либо другая. При этом та из двух, что уступала первое место, занимала второе. Оба клуба располагали выдающимися центрфорвардами: Григорием Фе-

дотовым, Константином Бесковым и Василием Карцевым. Было бы расточительством отправить кого-то из них в запас только потому, что команде положен один центровой. Надо было искать выход из положения. Не берусь вручать пальму первенства ни тренеру ЦСКА Борису Аркадьеву, ни его динамовскому коллеге Михаилу Якушину. А может быть, они нашли решение независимо друг от друга — так же как, если верить советским учебникам физики моих школьных лет, Лавуазье и Ломоносов.

Оба тренера расширили зону действия своих центральных и разделили получившийся сектор на двоих. Пятый нападающий стал лишним, и его перевели в полузащиту. В ЦСКА эту операцию проделали с Валентином Николаевым, в «Динамо» — с Александром Малявкиным, футболистами двужилковыми, способными все 90 минут, что идет игра, бороздить поле вдоль и поперек, поспевая помочь и в обороне, и в атаке. Это качество того и другого позволило тренерам — надо же как-то сражаться против сдвоенного центра! — перебросить поближе к своим воротам одного из полузащитников — того, кто больше тяготел к обороне. Получились те же расстановки, что и у Феолы.

Просто Аркадьеву и Чернышеву не пришло в голову претендовать на изобретательские права и считать себя футбольными революционерами. Да они и не собирались сотрясать основы. Они хотели лишь найти своим игрокам наилучшее применение. Феола заслуженно сочтен преобразователем: это с его легкой руки началась в футбольном мире перестройка.

Что же до Советского Союза, то здесь система игры со сдвоенным центром получила гражданство сразу. Эти посты делили Григорий Пайчадзе и Автандил Гогоберидзе в тбилисском «Динамо», Николай Гулевский и Виктор Ворошилов в куйбышевских «Крыльях Советов», позже Стрельцов и Иванов в московском «Торпедо». Просто тренеры этих команд не знали, что схема, которую они культивируют, имеет название «4-2-4».

Это — о «диалектике не по Гегелю». Можно дать к теме о футболе и хоккее в России после войны и другой

эпиграф, тоже стихотворную строку, лермонтовскую: «Да, были люди в наше время...».

Каждый, кто ее цитирует, должен быть готов к обвинению в стариковском брюзжании. Что ж, я готов, тем более что и возраст соответствует — автор перебрался с седьмого на восьмой десяток. Но, возможно, познакомившись с моими доводами, вы с ними согласитесь.

На духовное формирование рыцарей и героев послевоенного спорта оказала решающее влияние война. Одних она застала малышами, других подростками. Некоторые — например, хоккейный защитник Николай Сологубов или футбольный вратарь Николай Жмельков — прошли фронт и вернулись искалеченные ранениями. Тяготы и испытания войны коснулись, пусть не в равной степени, всех. Они не по книгам, а на личном опыте знали цену таким понятиям, как «патриотизм», «подвиг», «жертвы», «честь флага». Эти слова были для них исполнены смысла, находили отклик в их душах.

В 1976 году издательство «Библиотека «Огонька» выпустило первую в долгой своей истории спортивную книжку — футболиста Льва Яшина «Записки вратаря». На последней ее странице есть пометка:

«Литературная запись Евг. Рубина». Мы с Яшиным ровесники. Выдержки, которые я привожу, отражают наш общий взгляд. Вот первая:

«У всех нас было трудное военное детство — без лишнего куска хлеба, без лишней ложки сахара, без лишней рубашки. Мы знали, что такое взрослый труд на заводе и в поле. На наших глазах жизнь входила в нормальное русло, и мы добирали теперь то, чего недобрали в детстве... Хватало любого пустяка, чтобы доставить нам радость, привести в хорошее настроение... И в коллективе мы уживались проще.

И такие понятия, как «долг», «обязанность», «надо», «жертва личным ради общественного», вошли в нашу плоть и кровь с детства — в годы войны каждый впитал их в себя на всю жизнь. Зато редкий человек среди нас имел среднее образование. Зато мы маловато, не в пример нынешним молодым ребятам, читали. Зато наши представления о мире были сравнительно узки и примитивны».

Под словами «нынешние молодые ребята» мы имели в виду тех спортсменов, чей расцвет пришелся на 70-е годы. Разговоры о долге перед социалистической родиной, сделавшей их самыми счастливыми людьми планеты, призывы к героическим подвигам ради ее прославления они слышали ежедневно всю жизнь — на школьных уроках и пионерских сборах, в тренерских наставлениях и на комсомольских собраниях, на концертах песен советских композиторов и спектаклях по пьесам советских драматургов. Все это давным-давно им приелось и от бесконечного повторения превратилось в ничего не значащие штампы.

Яшин, бывший в то время, когда мы работали над книгой, начальником футбольной команды московского «Динамо», пишет далее:

«Да, мы были проще — и с нами было проще. К нынешним нужен новый подход, нужны новые методы воспитания. А мы чаще всего идем к ним со старыми, которыми пользовались и два, и три десятилетия назад. Те испытаны, проверены, апробированы на тысячах футболистов. Только на других — прежних, не нынешних... Я гляжу на скучающие лица ребят и понимаю, почему они скучны. Не только потому, что озабочен человек множеством забот и ушел в себя. Ему еще, как ни хороша наша новогорская база, осточертели эти четыре стены, на которых он изучил каждую трешинку, надоели одни и те же собеседники, с которыми все говорено-переговорено, с которыми обо всем поспорил уже давным-давно, чьи мысли и взгляды изучены, как трешинки на стене».

Так что же: этот величайший из футбольных вратарей всех времен, оказывается, был брюзгой и ретроградом, призывавшим: «Назад, к прошлому!». Нет, Лев Яшин знал подлинную цену этому прошлому. Но время идет. А новое время — новые птицы, новые птицы — новые песни...

Хорошо это или плохо, но факт остается фактом: пора романтизма в российском спорте невозвратима. В 1966-м советская футбольная сборная выиграла бронзовую медаль первенства мира, в 1972-м хоккейная сборная провела блистательную серию из восьми матчей с командой «Все звезды НХЛ». Парни, зарабатывавшие спортом по

300 рублей в месяц да еще то, что удавалось выручить за привезенный из-за границы товар, не уступили крупнейшим и богатейшим спортивным профессионалам мира. Это были последние отзвуки той поры. И хотя за следующие годы уровень советского спорта неизмеримо вырос — его звезды получили миллионные контракты в профессиональных клубах футбольной Европы и хоккейной Америки, — громкие победы национальных сборных давно позади.

У нынешних звезд утилитарный подход к делу: высокое мастерство должно и оплачиваться высоко. Они глухи к призыву «Постоим за родину!», если он не сопровождается хорошим гонораром. Прагматичностью они переплюнули западных профессионалов — те готовы сражаться безвозмездно под флагами своих стран. Российские озабочены одним — не продешевить бы.

Почему так? Не потому ли, что для западных спортсменов патриотизм, к которому их не призывают денно и нощно, не превратился в штамп и сохранил свой первоначальный смысл?

Так уж жизнь сложилась, что все свои изгибы судьба российского хоккея (в большей степени) и футбола (в меньшей) претерпевала на моих глазах. В 16 лет я оказался свидетелем самого первого хоккейного матча, который выглядел столь неуклюже в исполнении студентов Инфизкульта. В 17 был на открытии первого чемпионата. В 19 присутствовал при первой международной победе советских хоккеистов — над чехами. В 31 начал освещать хоккей в газете «Советский спорт». В 33 возглавил в этой газете отдел спортивных игр. В 43 стал сотрудником еженедельника «Футбол-Хоккей». В 50 стал спортивным обозревателем «Радио Свобода» и в этой роли освещал хоккей на нескольких Олимпиадах. В 60 встречал в Америке первых российских игроков, заключивших контракты с клубами НХЛ, и взял первое американское интервью у такого первопроходца — у Игоря Ларионова.

Эта хронология поражает и мое воображение: до чего же велик охват во времени событий, в которые вовлекла меня профессия!

А есть и еще один отсчет, пожалуй, еще наглядней. Зимой 1972 года исполнилось 50 лет легендарному хок-

кеисту середины века Всеволоду Боброву. На свой юбилей, который отмечался в кафе у станции метро «Сokol», Всеволод Михайлович пригласил несколько десятков близких приятелей, в том числе и меня. Летом 1998 года в русском ресторане Нью-Йорка «Садко» праздновал 40-летие хоккейный правнук Боброва, тоже ставший легендарным, еще не уйдя из спорта, Вячеслав Фетисов. Был я и на его дне рождения.

Не примите мои слова за кокетство — я говорю это искренне; специалистом футбола и хоккея, уверенно ориентирующимся в деталях техники и тактики этой игры, в методических тонкостях подготовки ее мастеров, я за эти полвека не стал, да и не стремился стать. Меня в спорте всегда интересовал не сам процесс — с голами и рекордами, с тактическими замыслами и техническими новшествами, а люди. Они и голы забивают, и рекорды ставят, и тактика с техникой в спорте — дело их рук.

Профессия свела меня со множеством крупных спортсменов и тренеров. И вывел я из этих знакомств одно правило, не знающее исключений: спортивные вершины доступны только личностям незаурядным, людям, которые, избрав другое занятие, многого достигли бы и в нем.

В российском хоккее никогда не было недостатка в таких людях.

Тарасов

Эта была — из тех многих, что поведал мне за годы нашей дружбы замечательный хоккеист и одаренный рассказчик, покойный Константин Борисович Локтев.

Ранней весной 1955 года команда ЦСКА доигрывала последние матчи сезона на первом искусственном катке Москвы в Сокольниках. Играли хоккеисты по вечерам, когда примораживало, а днем там же тренировались на подтаявшем льду.

Чем просторней площадка, тем продуктивней занятие. Чтобы создать такой простор основному составу, тренер ЦСКА Анатолий Владимирович Тарасов освободил

всех запасных игроков от занятий в Сокольниках. Им, молодым, или, по любимому тарасовскому выражению, «полуфабрикатам»; было разрешено жить дома и по утрам являться на Ленинские горы, где находился каток клуба.

22-летний Костя Локтев, как и его друг и сосед по дому, будущий игрок московского «Локомотива» Михаил Рыжов, принадлежал к этим самым «полуфабрикатам». Ехать им приходилось на Ленинские горы трамваем через всю Москву. Там, у катка, их поджидал являвшийся раньше всех Тарасов.

Между тем весеннее солнце делало свое дело. И каждый раз, явившись на тренировку, игроки с надеждой («Скоро каникулы!»), а Тарасов с возмущением («Против нас и силы небесные!») смотрели на тающий лед. Вот уже, на радость Локтеву и его партнерам, в проталинах и прошлогодняя травка показалась.

— Ничего, — успокаивал ребят тренер, — завтра соберемся на полчаса раньше, пока солнце не взошло.

Уезжая с этой тренировки на другую, основного состава, он приказывал:

— Лед забросать снегом, чтобы сохранился.

Но проталины росли, а ледяная корочка становилась все более хрупкой. Однако Тарасов не унимался:

— Будем отрабатывать технику передач шайбы по воздуху, — командовал он. — Каждый стоит на своем клочке льда и оттуда бросает шайбу на другой клочок, партнеру.

Теперь уже Локтеву и Рыжову приходилось подниматься в пять, чтобы успеть к первому трамваю. Сидя в пустом вагоне, они, невыспавшиеся и мрачные, кляли Тарасова и задавали — не столько друг другу, сколько каждый себе — риторический вопрос: «Долго он еще будет нас мучить?». Но однажды Рыжов спокойно ответил другу:

— Завтра едем в последний раз. — И, не дав никаких пояснений, загадочно улыбнулся.

В тот день все было как всегда. Тарасов уже поджидал игроков с лопатой в руках; к их приезду он успевал сам расчистить каток. Закончив тренировку и переодевшись, он сел в свою «Волгу», велел завалить каток снегом и укатил в Сокольники.

Когда машина исчезла из вида, Рыжов достал из своего рюкзака большой пакет с солью и аккуратно, как

сеятель семена, разбросал ее по площадке, не пропустив ни одного пяточка. Затем игроки набросали на лед снежные сугробы и разъехались.

На другое утро «полуфабрикаты» стали очевидцами немой сцены, достойной «Ревизора». Их наставник ползал на животе по жухлой прошлогодней траве и кончиком языка лизал снег. В его глазах читались гнев и стремление проникнуть в некую тайну.

На хоккеистов подозрение Тарасова не пало.

— Я знаю, кто это натворил, — после долгого молчания произнес он. — Я давно подозревал, что здешний сторож — динамовский болельщик. Будем увольнять... А вы свободны. Занятия на льду окончены до осени.

Крошечный, пустяковый, в сущности, эпизод из жизни Тарасова, о котором скорей всего он и сам никогда не вспомнил бы. Но если бы я услышал этот рассказ не от игрока ЦСКА и в нем не были бы названы имена действующих лиц, я сразу узнал бы в главном герое Анатолия Владимировича Тарасова. С его нечеловеческой трудоспособностью. С его беспощадностью к себе и другим. С его готовностью сметать на пути к цели любые преграды. С его чудовищной подозрительностью. С его верностью девизу: «Кто не с нами, тот против нас!». «Нас» в его трактовке означало ЦСКА, а значит, хоккея и лично его, Тарасова.

Он был еще сравнительно молодым человеком, когда его объявили великим тренером. Я был близко знаком и подолгу общался с Тарасовым около двадцати лет. Мы вместе работали над его статьями для «Советского спорта», вместе ездили на публичные выступления, обсуждали хоккейные проблемы, стегали друг друга вениками в бане, ссорились, какое-то время не разговаривали, мирились. Но на самом ли деле он великий тренер, не решусь сказать и сейчас, когда Анатолия Владимировича нет в живых.

Его коллега, тренер команды «Химик» из маленького города Воскресенска Николай Эпштейн как-то пошутил: «Я бы ЦСКА потренировал. Вот пусть бы он потренировал «Химик». И другое высказывание Эпштейна: «Давайте раз навсегда отдадим золотые медали ЦСКА, а сами бу-

дем бороться за серебряные». Доля правды в обеих шутках велика. За всю его долгую карьеру Тарасову ни дня не пришлось работать не просто с посредственными, но вообще с не самыми сильными командами страны.

Впрочем, однажды он попробовал, но не с хоккейной, а с футбольной, тоже ЦСКА. Этот некогда процветавший армейский клуб растерял свои старые традиции и превратился в заурядную команду. Тарасов был в числе его самых непримиримых критиков. Его основной тезис звучал так: «Они бездельники. Вот если бы заставили их трудиться на тренировках так, как трудимся мы, хоккеисты, все было бы в порядке». Генералы, возглавлявшие армейский спорт, вняли этим словам и вручили тренерский жезл футбольной команды Тарасову. Тот по своему обыкновению впрягся в работу, засучив рукава. А к концу сезона, так и не сдвинув ЦСКА с последнего места, был освобожден от этого бремени.

Неудача хоккейного тренера на футбольном поприще сама по себе ни о чем не говорит: у каждого вида спорта своя специфика, да и времени на то, чтобы разобраться в бедах команды и исправить положение, было отпущено Тарасову слишком мало.

Но и серьезных поводов усомниться в его тренерской непогрешимости тоже немало.

Его называют творцом крупнейших международных побед советского хоккея со дня рождения этой игры в стране и до начала 70-х годов, когда он и его напарник в сборной, Аркадий Иванович Чернышев, подали в отставку. Называют и при этом по странной забывчивости упускают из виду одну немаловажную деталь: все эти победы были одержаны на тех чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых главным тренером сборной был Чернышев, а Тарасов либо занимал пост его помощника, либо вообще отсутствовал. В те же сезоны, когда бразды правления вручались Тарасову, сборная выше второго места не поднималась. А на Олимпиаде 1960 года вообще проиграла студенческой команде США, ставшей чемпионом, и уступила серебряную медаль Чехословакии.

Едва ли можно считать это совпадением. Стихией Тарасова был армейский хоккей, где его и игроков связы-

вали отношения полковника с младшими офицерами и сержантами. Заслушивание или невыполнение приказа он мог сослать хоккеиста не только на гауптвахту, но и в дальний гарнизон, отобрать у того звездочку или лычку на погонах, понизить оклад. В сборной этот метод годился по отношению к той половине команды, которая рекрутировалась из ЦСКА. У остальных игроков он вызывал внутренний протест и побуждал, пусть к не выражаемому вслух, сопротивлению. В этих остальных Анатолий Владимирович, признававший только беспрекословное подчинение, привыкший к раболепию и обожествлению себя игроками, видел недругов и скрытых разрушителей сооружения им здания успеха. Он — возможно, невольно — делил игроков сборной на детей и пасынков, «своих» и «чужих».

Самые первые успехи — на чемпионате мира 1954-го и Олимпиаде 1956-го — достигнуты сборной вообще в отсутствие Тарасова. И в Швеции, и в Италии помощником Чернышева был Владимир Кузьмич Егоров.

Тарасова спортивное руководство послало в Швецию наблюдателем. Он присутствовал при выработке планов на игры, но права голоса не имел. На пути к двум труднейшим матчам — с канадцами и шведами — сборная обыграла всех своих противников. Перед встречей с Канадой в раздевалке состоялось летучее совещание, на котором, помимо Чернышева, Егорова и Тарасова, был капитан команды Бобров, много позже передавший мне содержание происходившей там дискуссии. Тарасов настаивал на том, что не следует попусту растрачивать энергию на борьбу с канадцами, которых все равно не одолеть, что гораздо практичнее заранее смириться с поражением, а силы поберечь для победы над шведами. Эта победа гарантирует сборной второе место, более чем почетное для новичка.

Чернышев и Бобров высказались против тарасовского проекта, Егоров промолчал. Решающее слово принадлежало Чернышеву. Советская команда сыграла с канадцами в полную силу и разгромила их со счетом 7:2. Матч со шведами проходил при сильном снегопаде и закончился вничью, 1:1.

Судите сами, насколько ценным было бы присутствие Тарасова в команде не как наблюдателя, а как полноправного тренера.

Затаенную робость перед канадцами Тарасов не мог изжить в себе до конца дней своих. Хотя при всяком удобном случае бросал канадским профессионалам вызов сойтись с нашей богатырской дружиной в открытом бою и обещал, что «эти самоуверенные, самодовольные, высокомерные профессионалы» будут разгромлены. Все это, конечно же, нужно было Тарасову для того, чтобы заглушить страх перед родоначальниками хоккея в себе и не дать его заметить другим.

Когда же перспектива таких встреч стала реальной, Анатолий Владимирович спасовал. Чемпионат мира 1970 года был назначен в канадском городе Виннипег. Месяца за полтора до дня открытия канадцы выдвинули ультиматум: либо будет разрешено включать в каждую сборную по девять профессионалов, либо они откажутся от чемпионата. Речь в ультиматуме шла не о тех, кто играет в НХЛ, а о хоккеистах младших лиг, для НХЛ еще не созревших. Канадцы объясняли: местная публика, избалованная зрелищем профессионального хоккея, не пойдет на матчи любителей.

Советский представитель в Международной хоккейной федерации запросил Москву, а столичное спортивное начальство — тренеров сборной. Те ответили: не уступать требованию хозяев турнира ни при каких обстоятельствах и просить представителей других соцстран подержать «старшего брата».

Предложение Канады не прошло. Пришлось искать страну, желающую принять чемпионат. Такая нашлась — та же самая Швеция, которая проводила его год назад. Канадцы свою команду не прислали. Выиграла первенство сборная СССР — как и всегда, начиная с 1963 года.

Все же в 1972-м советские хоккеисты с профессионалами сошлись. Да не с простыми, а с избранными, лучшими в НХЛ, командой «Все звезды Национальной хоккейной лиги». Но произошло это через полгода после отставки из сборной Чернышева и Тарасова.

Ту сборную возглавил Бобров — гениальный атлет, которому все в спорте давалось легко и, может быть,

оттого излишне самоуверенный и даже легкомысленный человек. Это он согласился на матчи со «Всеми звездами» и тем положил начало новой эре в летосчислении хоккея.

Но вернемся к Тарасову. В 1967 году он принял в ЦСКА двух совсем молодых хоккеистов, попробовал обоих в деле и одного оставил, а другого отправил в город Чебаркуль Челябинской области, где находился гарнизонный Дом офицеров и при нем команда «Красная звезда». Потуги Бориса Кулагина, ассистента Тарасова, следившего за этим парнем с детства, уговорить патрона сохранить его в ЦСКА, не действовали.

— Таких коньков-горбунков у нас и без него перебор, — в своей обычной манере завершил спор Тарасов, имея в виду телосложение парня, невысокого и тонкого в кости. — Вот первый — другое дело. Какой рост, как катается!

«Конек-горбунок» провел ползимы на Урале, и кто знает, сколько еще мыкался бы в заштатной команде, если бы ЦСКА срочно не потребовался крайний нападающий и Кулагин не убедил своего шефа попробовать парня еще раз. Тарасов неохотно согласился, 19-летнего форварда откомандировали в Москву и после первого же испытания оставили в ЦСКА.

Того, высокого и статного, что поразил воображение знаменитого тренера, вряд ли кто-нибудь сегодня и помнит. (Его имя — Александр Смолин.) Второго вот уже полтора десятка лет нет в живых. Но он не забыт и никогда, пока существует в России хоккей, забыт не будет. Звали того «конька-горбунка» Валерий Харламов.

В чем Тарасов-тренер действительно был непревзойден, так это в искусстве увлечь игроков скучной тренировочной работой. Он сам изобретал упражнения и был тут неистощим на выдумки. Взрослые мужчины, позабыв об усталости, носились по залу наперегонки, таща на спинах партнеров, играли в чехарду, самые крупные пролезали между ног у самых маленьких. Премией победителям таких молодецких забав служила передышка, проигравшим — добавочная нагрузка. Эти выдумки и его красноречие заражали и самого Тарасова, заставляя и его забыть об усталости.

Внешностью, повадками, манерой говорить он напоминает мне нынешнего Жириновского. Хоккеисты, знавшие историю по советским учебникам для средних школ, придумали своему наставнику прозвище Троицкий. В этой кличке слышится насмешка. И за глаза игроки, работавшие под началом Тарасова, охотно рассказывали истории, в которых тот выглядел довольно смешно. Но если бы любого из них, включая скептика Локтева, спросили, великий ли тренер Тарасов, каждый ответил бы без раздумий и однозначно: «Да». Его могучий природный интеллект, его убежденность в своем умственном и духовном превосходстве над этими молодыми людьми действовали на них гипнотически, превращали их в покорных и нерассуждавших исполнителей тарасовской воли.

В общем, в дискуссии о тренерском величии Анатолия Тарасов набралось бы достаточно аргументов и у сторонников, и у противников. Вне сомнений для меня то, что человек он был действительно великий, и то, что ему больше чем кому-нибудь хоккей в России обязан всеобщим признанием и процветанием.

Это в его, Тарасова, мозгу родилась возвеличивающая советский спорт идея, казалось бы, простая, но в конкретных условиях той жизни гениальная: хоккей — игра, в которой выражены типичные черты характера советского человека — и новые, и унаследованные от славных предков во главе с Ильей Муромцем: коллективизм, беззаветная преданность стране, храбрость, сила, удаль и прочее в этом духе. Эпитеты, вроде бы приевшиеся и лишенные оригинальности — «народная игра», «ледовая дружина», «советский характер», «богатырская забава», «коммунистическое воспитание» — зазвучали в его исполнении свежо и привлекательно. Монологи Тарасова — так был он устроен — всегда дышали страстью, которой он заражался, начав говорить. Слова, о подборе которых он никогда не задумывался, слетали с его губ, как пули из автомата Калашникова. Он загорался сам и воспламенял окружающих.

Сборная возвращалась в Москву с очередного турнира, и тренеров приглашали отчитаться перед коллегией Госкомспорта. После короткого суховатого сообщения Чернышева поднимался Тарасов.

— Рады доложить, что задание Родины выполнено, — отчеканивал он по-военному. — В неизмеримо трудных условиях наши славные парни показали всему миру, что такое советский человек. Западная пресса сделала все, чтобы принизить значение нашей победы. Но ей это не удалось...

Сказанное Тарасовым как бы шло снизу вверх — от тренера к министру. А оттуда возвращалось обратно вниз — в народ. Потому возвращалось, что очень уж заманчивой выглядела и глазах верхов возможность использовать его слова для пропаганды советского образа жизни. Стремление Тарасова превратить хоккейные успехи во всенародные соответствовало их желанию и целям. Он, в душе знавший цену тому, что говорил, своими речами показывал начальству: вот как надо преподносить хоккейные достижения.

Одновременно с хоккеистами на европейской арене доминировали советские волейболисты, баскетболисты, фехтовальщики, штангисты, лыжники, конькобежцы, фигуристы, гимнасты, борцы. Всем им победы тогда давались труднее, чем тарасовской дружине. Она не состязалась с профессионалами, а стран, где серьезно культивировалась эта игра на любительском уровне, было раз-два и обчелся: Чехословакия, Швеция, Финляндия. Канада и США посылали на международные турниры игроков третьего сорта — тех, кому не хватило мастерства и таланта пробиться в профессиональные клубы. Однако из всех видов спорта хоккей, и только хоккей, стал такой же достопримечательностью, такой же национальной гордостью страны, как ансамбль Моисеева, балет Большого театра и ВДНХ. А хоккеисты — «героями ледовых баталий» и «богатырской заставой».

Хрушев и Брежнев пользовались любым поводом, чтобы устроить прием для хоккеистов, и щедро раздавали им ордена. Тот и другой охотно посещали хоккейные матчи и приводили с собой всю свою свиту. Подражая московским вождям, так же вели себя вожди местные.

Хоккей превратился в правительственный спорт и за это должен быть вечно благодарен Тарасову. Люди, связанные с хоккеем, были обласканы государством, осыпаны почестями, заграничными поездками и премиями.

Сам Анатолий Владимирович тоже не остался в стороне от этого стола яств. На покой он ушел полковником, заслуженным мастером спорта, заслуженным тренером СССР и профессором. Более того, он, быть может единственный в стране человек без высшего образования, получил степень кандидата педагогических наук. Это звание ему присвоили как автору многочисленных книг, в которых разрешены важные проблемы воспитания и которые написал за него журналист Олег Спасский.

В связи с книгами Тарасова мне вспоминается один из несметного числа анекдотов о чукче. Тот сдавал приемные экзамены в Литературный институт и на вопрос, читал ли он Пушкина и Толстого, ответил: «Чукча не читатель, чукча — писатель». Профессор педагогики Тарасов, правда, при любом подходящем случае сообщал, что его настольная книга — «Моя жизнь в искусстве» Станиславского и что эта книга служит для него незаменимым пособием в тренерской работе. Любимым своим писателем он называл Чехова.

Однако никогда не объяснял, какие уроки он черпает в режиссерском опыте основателя МХАТа. А по поводу Чехова приметливый Саша Альметов рассказал мне:

— Я бывал в комнате на базе в Архангельском раз сто. И всегда у него на кровати лежит том Чехова. Однажды я подошел поближе и заметил, что раскрыт он на 12-й странице. Через неделю смотрю — страница та же. И через месяц, и через полгода.

Остается допустить, что Саша Альметов видел разные тома полного собрания сочинений классика. Или, может быть, работы Станиславского помогали Анатолию Владимировичу вживаться в образ начитанного человека? Если так, он показал себя способным учеником. Я вообще думаю, что театральное искусство потеряло в его лице большого актера.

А вот начитанность Тарасова всегда вызывала у меня сомнения. В 1967 или 68-м году он представлял на коллегии Всесоюзного спорткомитета кандидатов в сборную и сказал о 19-летнем Владимире Лутченко:

— Хороший парень, сын батрачки.

И однажды, браня в разговоре с несколькими журналистами хоккейного судью Андрея Васильевича Ста-

ровойтова, своего ровесника и в ту пору майора, вполне серьезно назвал его белогвардейцем.

Зато он ориентировался в тонкостях и хитросплетениях системы, в которой существовал, как ориентируется опытный охотник в путанице лесных троп. Он так же уверенно выбирал лучшие ходы, как шахматный гроссмейстер — беспроигрышные продолжения, и предпочитал всем другим ходам самые простые. При нем обязательными спутниками жизни ЦСКА были кружки по изучению истории партии и лекции о международном положении и пятилетнем плане, комсорги и культорги, боевые листки и коллективные походы в театр.

Он докладывал обо всем этом в публичных выступлениях, призывал перенимать опыт, как он выражался, «партийно-политической работы в ЦСКА», объяснял ими успехи команды. Слушатели внимали докладчику в почтительном молчании, не решаясь выдать своего подлинного отношения к его словам. Никто не сомневался в том, что Анатолий Владимирович и сам отлично знает им цену.

В ЦСКА был даже женсовет. Этот дамский батальон, составленный из жен игроков, отвечал за культурную работу в команде. В курс некоторых задач, которые ставил Тарасов перед советом, ввела меня жена Анатолия Фирсова Надя. Он собирал женщин перед заграничными поездками команды и наставлял их примерно так:

— Отдаю вам мужей в полное распоряжение на трое суток. Только помните: сыграем плохо — останетесь без заграничных шмоток. Так что будьте сдержанны, не переутомляйте супругов в постели.

Он и тут оставался верен себе: «женсовет» — и звучит красиво, и для дела можно приспособить. Цель для него всегда оправдывала средства.

Тарасов не был антисемитом. Он в самые трудные для «лиц еврейской национальности» времена сохранял дружбу с врачом ЦСКА Олегом Марковичем Белаковским, не давал отлучить его от команды, привлекал к поездкам сборной. В его друзьях числился Александр Яковлевич Гомельский, баскетбольный тренер ЦСКА. Но он знал: среди двух дюжин его игроков наверняка есть не-

сколько, не питающих к евреям симпатии. А коли так, и это можно обратить в средство достижения побед. Локтев передавал мне содержание тарасовских установок перед матчами с воскресенским «Химиком»:

— Все маленькие, все бегут и у всех нос крючком. Так неужели мне вас учить, как обыграть эту воскресенскую синагогу? — на том наставление заканчивалось.

В «Химике» единственным евреем был тренер Николай Семенович Эпштейн. На лед он не выходил, во время игры не бегал. Но Тарасову хотелось напомнить игрокам о существовании Эпштейна, не называя его по имени и не указывая на его национальность. Напомнить так, на всякий случай: лишний повод вызвать у игроков перед матчем спортивную злость не помешает.

Тут, впрочем, проницательный стратег иногда просчитывался. Локтев рассказывал:

— Мы после таких его речей бросались вперед всей командой, суетились, торопясь забить, оголяли тылы, и «Химик» нас за это наказывал голами. Нам не терпелось отыграться, мы спешили еще больше, нервничали, ошибались, били мимо ворот, теряли шайбу.

«Химик» вообще был самым трудным противником для ЦСКА и чаще других отбирал у постоянного чемпиона очки. Тарасов никак не мог приспособиться к сугубо защитной тактике, которой придерживался Эпштейн в матчах с ЦСКА. Придерживался не от хорошей жизни, а как единственного средства спастись от разгрома в игре с заведомо более мощным и искушенным противником.

Попытки Тарасова успешно бороться с этой тактикой на льду ни к чему не приводили, и Анатолий Владимирович прибег к обходному маневру. Но одном из заседаний федерации он потребовал осудить Эпштейна как тренера, который мешает прогрессу советского хоккея.

— Мы культивируем атакующий хоккей. Только он соответствует нашей идеологии, только он воспитывает настоящих строителей коммунизма. Оборонительная, пассивная тактика, которую старается проташить в советский хоккей Эпштейн, чужда принципам, на которых стоит наше общество.

В ту пору обвинение такого рода граничило с политическим и могло привести к крупным неприятностям

для того, кому оно адресовано. И, кстати, вскоре после заседания Эпштейн — скорей всего, по этой причине — был смещен с поста тренера молодежной сборной. Тарасов ничего не имел лично против Эпштейна. Но надо же было как-то вынудить «Химик» изменить эту неудобную для ЦСКА манеру. Вот он и избрал, с его точки зрения, наиболее верное средство обезвредить противника.

В 1965 году «Советский спорт» командировал меня в Финляндию на первенство мира по хоккею. К месту чемпионата, городу Тампере, сборная и я вместе с ней добиралась кружным путем: ее ждали два тренировочных матча в финских городках, больше напоминающих деревни. В одном из них, Лаппенранте, Анатолий Владимирович заглянул ко мне в гостиничный номер. Ступив на порог, он сморщился от дыма — я только что загасил сигарету.

— Женька, — прогремел, как всегда, тоном «агитатора, горлана, главаря» Тарасов, — бросай немедленно курить. Ты же сейчас член коллектива сборной. А мы объявили себя бригадой коммунистического труда и дали слово отказаться от вредных привычек, в том числе от курения. Нам даже такого ценного игрока, как Костя Локтев, пришлось отчислить за то, что он курил.

В ответ я промолчал. Я не стал уточнять, как получилось, что бригадой коммунистического труда стала команда, члены которой якобы являются рабочими, служащими, студентами, военными, в общем, служат в разных учреждениях, а спорту посвящают досуг. Самого Тарасова это несоответствие смутить не могло. Он отдавал себе отчет в том, что ему не попеняют на политическую профанацию и учтут, что его начинание — в интересах советского хоккея.

За два этих матча перед чемпионатом финны заплатили сборной какую-то по нынешним временам мелочь на карманные расходы. Деньги делили тренеры. Досталось понемногу всем, кроме меня, в общем-то, случайного попутчика, и еще трех человек — врача, массажиста и переводчика, уж точно членов бригады. Коммунистический принцип распределения в бригаде коммунистического труда не сработал.

Что же до обязательства прекратить курение, единодушно взятого образцово-показательными питомцами замечательного педагога, то за несколько минут до него ко мне в номер заглянул на перекур капитан сборной Борис Майоров. А немного раньше — еще кто-то по тому же поводу. Я запирал за вошедшими дверь, чтобы не попались с поличным и не разделили судьбу Кости.

Следующей за тем чемпионатом осенью Локтева амнистировали. При встрече я его поздравил и спросил:

— Курить-то ты бросил?

Костя усмехнулся и сообщил мне еще одну быль о своем мэтре:

— Вызвал он меня к себе и спросил, знаю ли, за что изгнан из сборной. Я ответил, что знаю — за курение. «Вот и дурак, — говорит. — Вспомни прошлый год и Свердловск. Вспомнил? Тогда можешь идти. Ты прощен». Конечно, я вспомнил. У меня в этом городе есть друзья — муж с женой. Я их пригласил на матч, провел на трибуну, а там ни одного свободного места. Я раздобыл два стула, поставил их за нашей скамейкой запасных и усадил гостей. Тарасов увидел, что рядом с командой посторонние, и начал на них кричать: мол, безобразие, подослали к нам местных шпионов. Я сказал что-то резкое. Он промолчал, но поглядел на меня косо. У меня и в мыслях не было, что он мне будет мстить.

И месть эта была жестокой. Бог с ней, с золотой медалью, без которой остался Локтев. Но он потерял причитавшиеся ему суточные в финских марках и тысячерублевую премию. А мог, пропустив сезон, навсегда потерять место в сборной: ему ведь уже было 32 года.

Всерьез и надолго мы поссорились с Тарасовым вот при каких обстоятельствах. Ведавший спортивным отделом в «Правде» Лев Лебедев заказал трем журналистам — Николаю Озерову, Владимиру Дворцову и мне — статью об итогах первенства мира 1969 года, выигранного, как и пять предшествовавших, командой Чернышева и Тарасова. В статье, среди прочих, высказывалась мысль о необходимости разделить функции тренеров сборной и клубов. Тренер, совмещающий эти обязанности, писали мы, неизбежно предпочитает игроков своего клуба всем

прочим — он их лучше знает, больше им доверяет. В итоге не попадают в сборную давно созревшие для нее превосходные мастера из Горького, Воскресенска, Челябинска, московского «Спартака».

Разведка — общие знакомые — донесла: Анатолий Владимирович рвет и мечет, уверенный, что это сговор с целью отлучить его от сборной. Мои соавторы были защищены от тарасовского гнева: Озеров — комментатор Центрального телевидения, Дворцов — корреспондент ТАСС. Сотрудники этих учреждений вне пределов его досягаемости, в отличие от меня, работающего в «Советском спорте», на первой странице которого красовалось: «Орган Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту». Комитет был нашим полномочным хозяином, в его воле было казнить и миловать журналистов своей газеты. Я понимал: удар должен быть нанесен по мне.

Он, этот удар, вскоре и последовал. В тарасовском стиле: в неожиданный момент, с неожиданного направления и в незащищенное место.

По какому-то поводу сборная проводила товарищеский матч в Лужниках. В нем впервые сыграл одаренный ленинградский вратарь Владимир Шаповалов. Сыграл прилично, но однажды сплеховал: выставил перчатку навстречу летящей шайбе, но промахнулся и пропустил гол.

Я упомянул об этом в репортаже, оговорившись, что ошибку следует объяснить естественным волнением человека, первый раз в жизни надевшего форму национальной команды страны.

На следующее утро меня вызвал главный редактор Киселев.

— Я только что из комитета, — грустно сообщил он. — Там в кабинете председателя бушевал Тарасов. Он кричал, что игроки боятся открывать «Советский спорт», чтобы не наткнуться на ваши разносы. Что у Шаповалова была истерика, когда он увидел ваш репортаж. Что тренеры сборной не ручаются за ее успехи, если вас не останавить.

— Николай Семенович, — пытался я возразить. — Пусть соберут написанное мной за всю жизнь, ни одно-

го дурного слова о спортсменах найти не удастся. Ругать спортсменов за ошибки и неудачи я всегда считал и считаю безнравственным.

— Неужели вы настолько наивны, что допускаете, будто там, — он поднял вверх палец, — станут читать полное собрание сочинений Евгения Рубина? Я попросил вас зайти, — продолжал Киселев, — чтобы вы имели в виду разговор в комитете и были поосторожней.

Хотя мне тогда уже стукнуло сорок, я еще не поборол в себе привычку возмущаться несправедливостью обвинений и перестал здороваться с Тарасовым.

(Недели через две после вызова к редактору управление кадров комитета приказало сместить меня с должности и.о. зав.отделом. Но об этом — в другом месте.)

В статье, которую напечатала «Правда», не содержалось никаких намеков на то, что тренеры сборной отводят кандидатуры игроков чужих клубов по корыстным соображениям. Ни я, ни мои соавторы не подозревали, что такое возможно. Лишь несколько лет спустя я выяснил, что напрасно не подозревали.

Перед отъездом сборной на первенство мира 1966 года в Любляну игроков и тренеров пригласили в Спорткомитет для традиционного в таких случаях напутствия. Но на сей раз был и дополнительный повод. Тарасов потребовал, чтобы спартаковца Евгения Майорова заменил в Любляне нападающий ЦСКА Анатолий Ионов. Он уверял, что замена необходима: привычный вывих плеча мешает Евгению играть в полную силу, заставляет его беречься.

Даже привыкшее не удивляться ничему, что исходит от Тарасова, комитетское начальство было смущено. На тройку Старшинова и братьев Майоровых смотрели как на нерасторжимое целое, как на одно из крупнейших достижений советского хоккея. Поймут ли в кабинетах ЦК, где у «Спартак» много болельщиков, целесообразность замены? Но и отмахнуться от тарасовского предложения не так просто. Сыграет сборная в Любляне неудачно — и Тарасов скажет: «Я же предупреждал!» Не с него, а с комитета будет спрос. И верный испытанному многими поколениями чиновников методу перестрахов-

ки, председатель комитета принял соломоново решение: пусть выскажут свои соображения партнеры Евгения Майорова.

Встреча происходила при закрытых дверях. Тем не менее я поехал в комитет — послушать, что говорят и думают обо всем этом хоккеисты. Тарасов быстро ходил по коридору, держа под руку Бориса Майорова, и что-то втолковывал ему полусшепотом. Затем он оставил Бориса в покое и принялся за Старшинова. Потом снова вернулся к Майорову. В «Золотом теленке» есть сцена: два ксендза охмуряют Адама Козлевича. Тут картина тоже получилась выразительная: двух Козлевичей охмурял один ксендз.

И охмурил. Он говорил им, что травма сделала Женю нервным и раздражительным, что ему надо отдохнуть, что он молод и сборная от него никуда не уйдет. Он же, Тарасов, обещает Борису и Вячеславу пристроить Ионову в другое звено, а им вместо Евгения выделить Виктора Якушева, с которым мечтал бы сыграть каждый.

И партнеры предали друга, который одному из них был к тому же близнецом-братом. Они не нашли в себе силы сопротивляться могучей воле Тарасова. Сборная уехала в Люблян у без Евгения Майорова.

Великолепная тройка так и не возродилась. Женя, самолюбивый, уязвленный изменой людей, с которыми вместе играл еще в молодежной команде, не захотел возвращаться в их компанию. В сборной он больше не появился. И оставил хоккей раньше брата и Старшинова.

Через десять лет после того, как произошла эта история, мы с женой обедали у Бориса Павловича Кулагина, с которым я тогда близко подружился. В середине 60-х Кулагин был помощником Тарасова, его наперсником и хранителем его самых сокровенных замыслов. На сборах ЦСКА в Архангельском они жили в одной комнате.

— Обычно после обеда мы отдыхали на своих койках и беседовали, — поведал мне Кулагин. — Верней, Анатолий проверял на мне свои идеи. Однажды во время такого вот послеобеденного возлежания он спросил: «Как считаешь, при наших трех тройках нападения обязаны мы победить в Любляне?» — «Да, — отвечаю, — обязаны». — «А двух — альметовской и фирсовской — хватило

бы?» — «Думаю, да». — «И я так думаю. А раз так, на кой ляд мне в сборной готовить противников для ЦСКА? Женьку я отщеплю». — «А кого вместо него возьмешь?» — «Не все ли равно? Кого-нибудь подберем».

Так я узнал, какова была подоплека тарасовского демарша.

Без малого тридцать лет спустя после того приема у председателя комитета, еще при жизни Евгения, Борис был в командировке в США. Я встречал его в нью-йоркском аэропорту и привез к себе домой. Мы предавались воспоминаниям до утра, и он остался у меня ночевать. О чем только мы тогда не переговорили! Как обычно в таких случаях, вспоминали все больше истории комичные. Но попадались и грустные. Я передал Майорову рассказ Кулагина. Он сказал, что ему давным-давно все известно. Я спросил, как он относится к тому своему поступку. Он ответил:

— До сих пор не могу себе его простить.

Он признался, что и сегодня не понимает, как дал Тарасову себя уговорить. А я понимаю. Тарасов мог убедить кого угодно в чем угодно. Убеждая, он так воспламенялся, что сам начинал верить в свою правоту. А что уж говорить о собеседниках, тем более его боготворивших?

Вот образец ораторского дара, которым наградила природа этого человека. Я уже упоминал о серии матчей сборной СССР с командой «Все звезды НХЛ» и о том, что с моей точки зрения это был выдающийся успех советского хоккея. Канадцы взяли на очко больше наших, но пропустили на гол больше. Анатолий Владимирович, уже не связанный со сборной, был иного мнения. Это мнение он изложил в ЦК ВЛКСМ при обсуждении итогов серии. Привожу монолог Тарасова почти дословно:

— Мы обязаны были одержать победу. Но тренеры допустили грубую тактическую ошибку. Поясню примером. На чемпионат мира 1967 года в Вене канадцы привезли выдающегося хоккеиста, бывшего профессионала Карла Брера (так почему-то А.В. произносил фамилию Брюер. — *Е.Р.*). Перед матчем с ними мы дали задание Александру Рагулину вывести Брера из строя. Саша бил его неумело, по-русски, но задание выполнил. Первый пе-

риод закончился со счетом 1:0 в пользу канадцев. Но на второй Бреввер выйти уже не смог. Преимущество перешло к нам, и мы победили. В нынешней сборной звезд НХЛ был выдающийся игрок Фил Экспозито (хотя фамилия того Эспозито. — *Е.Р.*). Если бы тренеры использовали наш опыт и не позволили Экспозито доиграть серию до конца, победа была бы за нами.

Он помолчал несколько секунд и заключил:

— Комсомол меня поддерживает?

Комсомол, записавший в Уставе ВЛКСМ первой своей задачей ту, которую объявил своей главной и Тарасов — воспитание молодого советского человека в духе коммунизма, — спорить не стал.

Да, Тарасов не уставал повторять, что именно воспитание людей коммунистического завтра — дело его жизни и что хоккей для него — не более чем средство достижения этой цели. Если бы он был искренен, можно было бы считать, что жизнь его прошла впустую. Из двух первых поколений его питомцев мало кто пережил своего наставника, и пьянство стало для большинства не последней причиной преждевременной смерти.

Помирились мы с Анатолием Владимировичем вскоре после той серии. Я уже работал в еженедельнике «Футбол-Хоккей». Моя статья об итогах серии выпадала из хора опубликованных другими изданиями одной нотой. Я, как и все, превозносил новых тренеров — Всеволода Боброва и Николая Пучкова, но просил не забывать, что костяк сборной составляли хоккеисты, подготовленные Тарасовым в ЦСКА.

Еженедельник выходил по воскресеньям. А в понедельник я подъехал к служебному входу в лужниковский Дворец спорта. Рядом с нашей редакционной машиной, в которой вместе со мной были тогда совсем молодые журналисты Леонид Трахтенберг и Александр Львов, остановилась голубая «Волга». Из нее выбрался Тарасов и радостно, словно соскучившись, положил мне руку на плечо. Мои спутники, удивленные этим жестом, невольно сделали шаг вперед, в нашу сторону.

— Полуфабрикаты, — строго прикрикнул на них Тарасов, — не суйте нос в чужую беседу, дайте взрослым

людям спокойно поговорить. — И дождавшись, когда те выполнили его приказ, продолжил:

— Женька, спасибо тебе! Я всегда говорил, что из вашей братии ты один разбираешься в нашем спорте. Все остальные — верхогляды и продажные писаки.

Тогда я не принял всерьез его комплимент. Слишком долго и хорошо знал я привычку Анатолия Владимировича говорить не то, что думает, а то, что считает в данный момент нужным. Но пройдет полтора десятка лет, и кто-то из приезжающих в Нью-Йорк коллег, встретив меня на хоккейном матче, расскажет, что Тарасов повторил публично, и не раз, тот отзыв обо мне. Повторил уже после моей эмиграции и до того, как в СССР началась перестройка, когда хорошие слова о беглеце могли только повредить говорившему и, уж точно, были сказаны вопреки конъюнктурным соображениям.

Оказавшись летом 1997 года, впервые после его смерти, в Москве, я поехал на Ваганьковское кладбище попрощаться с этим удивительным человеком, столько сделавшим для прославления и процветания дела, которому он отдал жизнь, человеком, как, быть может, никто другой олицетворявшим свое время, одновременно добрым и злым, цельным и противоречивым, сложным и примитивным, гибким и прямолинейным.

Я не сразу нашел его могилу. На пути к ней мне встретился гранитный памятник бывшему боксеру Олегу Каратаеву. Погиб Каратаев в Нью-Йорке: когда он выходил из русского ресторана на Брайтон-Бич, его убил выстрелом в затылок некто, так и не обнаруженный, но, полагает американская полиция, связанный с отечественной мафией. Памятник был бы по размерам более уместен у входа на ВДНХ, рядом с «Рабочим и Колхозницей» работы Мухиной.

Потом я постоял перед другим монументом, еще выше и массивней. На нем — три высеченные из камня фигуры в полный рост. Он сооружен для увековечения памяти трех молодых парней, тоже, свидетельствуют надписи на постаментах, убитых в уличной перестрелке, как нетрудно догадаться, со своими коллегами — джентльменами удачи.

На могиле Тарасова памятника не было. Не было и ограды. О том, что здесь покоится он, сообщала лишь пропылившаяся и пожелтевшая фотография, к которой были приколоты несколько вылинявших искусственных цветков.

О, времена! О, нравы!

Сейчас, говорят, памятник наконец поставили.

Чернышев

История не сохранила имени того, кого осенила идея объединить Аркадия Ивановича Чернышева и Анатолия Владимировича Тарасова у руля сборной, идея тем более гениальная, что никто не сомневался в ее неосуществимости. До возникновения этого альянса они не скрывали взаимной антипатии и давали друг другу — правда, не в глаза — язвительные характеристики. Какое при таких-то отношениях сотрудничество? Тем более при характере Тарасова, который как личное оскорбление воспримет предложение стать вторым лицом в команде, пусть и в национальной сборной.

А они согласились. И их союз выстоял десять лет. И с момента его рождения оба участника объявили себя верными друзьями. И на людях по любому поводу и без такового расточали друг другу похвалы. И одновременно ушли из сборной.

Приняв приглашение к сотрудничеству, в успех которого никто не хотел верить и которое было единогласно приговорено к скорому разрыву, оба тренера проявили себя людьми мудрыми и практичными. При всем несходстве характеров и темпераментов они, как выяснилось, прекрасно дополняли друг друга. Чернышеву недоставало энергии и честолюбия — качеств, которыми Тарасов был наделен в избытке. Зато его сдержанность, его неприязнь к крутым мерам, отсутствовавшие у Тарасова, делали Чернышева неким амортизатором в отношениях между вторым тренером и командой.

Тарасов, хотел того или нет, своей неумемностью, нестерпимостью к инакомыслию, несдержанностью в вы-

ражении чувств накалял атмосферу. Чернышев, спокойный и внешне мягкий, умел ее охлаждать.

Когда Тарасов учинял взрослым семейным людям, заслуженным мастерам спорта такой разнос, на какой не решился бы и надзиратель в колонии для малолетних правонарушителей, или, разгневанный недостатком у них прилежания, давал команде запредельную нагрузку на тренировке, Чернышев взирал на это молча. Но спустя полчаса, будто ненароком, случайно, забредал в одну комнату за другой, присаживался на кровати отдохавших, шутил насчет необузданности своего ассистента. И уходил, когда чувствовал, что раны, нанесенные Тарасовым человеческому достоинству игрока, затягиваются.

Лично меня больше всего привлекало в Чернышеве то, что он благоговел перед талантливыми хоккеистами. Он готов был, как говорится, сдувать с них пылинки. Он сквозь пальцы смотрел на те их проступки, которые на спортивном лексиконе именуются нарушениями режима. Он ни разу за долгие годы совместной работы не наказал и даже не пожурил Александра Мальцева — необычайно одаренного игрока, но не слишком дисциплинированного и шкодливого парня. Он, не зная, как выразить отеческую нежность Борису Майорову, придумал тому ласкательное имя: Бося. Не Боренька, не Боречка, а Бося.

Когда два тренера еще враждовали, Анатолий Владимирович придумал Аркадию Ивановичу клички: Адька-дурачок и Адька-юродивый. Нет, Чернышев был совсем не дурачок. Он понимал, какие блага обещает ему объединение с Тарасовым. После этого объединения он облачился в тогу хоккейного патриарха и прожил за могучей спиной своего ассистента счастливую жизнь — без хлопот, окруженный почетом и уважением.

Помимо Тарасова, он привлек к работе в сборной спартаковского администратора Анатолия Сеглина, бывшего футболиста и хоккеиста, человека напористого, энергичного, умеющего раздобыть для команды — и для себя, конечно — все необходимое хоть из-под земли. И это сняло с Чернышева даже хозяйственные заботы, досаждавшие в условиях вечного советского дефицита лю-бому главному тренеру.

Общество «Динамо», московской командой которого руководил Чернышев, принадлежало двум ведомствам — МВД и КГБ. Они, как и Министерство обороны, имели право призыва на военную службу. Но Чернышев не конкурировал по этой части с Тарасовым, а забирал себе то, что оставалось в других клубах после набегов ЦСКА. Зато и спрос с Чернышева-тренера был сравнительно невелик. Помните шутку Эпштейна о том, что золотую медаль следует вручить ЦСКА навечно? Щит в лице Тарасова и тут пригодился Аркадию Ивановичу. Ампула вечно второй команды, которое долгие годы исполняло «Динамо», гарантировало ему уютное существование.

По-моему, Чернышев не рвался ввысь потому, что был не слишком уверен в тренерском величии, которое ему приписывали, иначе говоря, страдал комплексом неполноценности. Виктор Тихонов, которого он назначил своим помощником, рассказал мне:

— Обязанности в сборной заставляли Аркадия Ивановича часто и надолго покидать «Динамо». Я оставался за него. Возвращался он в разном настроении. Все зависело от того, как играла команда в его отсутствие. Если неважно, он становился веселым и общительным. Если хорошо, раздражался, придирался к мелочам. И я понял, в чем дело. Он опасался, как бы не сложилось впечатление, будто не он творец динамовских успехов и что его отсутствие не очень-то и заметно. Я служил Чернышеву верой и правдой. И конфликтов у нас не было. Но он почувствовал во мне конкурента и при первой возможности отправил в рижское «Динамо», игравшее во второй лиге.

Этот поступок Аркадия Ивановича свидетельствует о его дальновидности и проницательности. Тихонов с первых же своих самостоятельных шагов проявил себя незаурядным тренером. Сборная под его водительством завоевала еще больше наград, чем в эпоху Чернышева и Тарасова.

О нерушимой дружбе двух этих людей, вспыхнувшей одновременно с рождением их союза, и сами они, и спортивные журналисты говорили так часто, так много и так восторженно, что для иллюстрации напрашивается фотография вроде той, где два вождя («первый сокол

— Ленин, второй сокол — Сталин») беседуют на садовой скамейке в Горках. На самом деле их отношения не отличались чрезмерной теплотой.

Болезщикам 60-х годов памятен тот матч в Лужниках между ЦСКА и «Спартаком». Команда Тарасова терпела поражение. Он метался за спинами своих игроков, наклонялся к ним, одним резко выговаривал, другим шептал что-то на ухо. Но на льду ничего для ЦСКА не менялось к лучшему. И тут он, раздосадованный, потерявший контроль над собой, обрушил свой гнев на судей. Каждый их свисток вызывал бурную реакцию Тарасова. И после одного, показавшегося ему, видно, особо возмутительным, он увел команду в раздевалку.

Такого в советском спорте еще не бывало. За кулисы ринулась целая толпа начальников всех рангов. Уговоры длились минут двадцать. Сломил упорство Анатолия Владимировича известие, что сам Леонид Ильич то ли сидит в правительственной ложе, то ли смотрит игру по телевизору. Матч продолжился. ЦСКА проиграл.

Прессе положено на такие ЧП реагировать. Но как? Мы знали: связываться с Тарасовым — себе дороже стоит. Наутро выяснилось, что коллеги из других газет сочли за лучшее промолчать. Я тоже не решился пожурить этого влиятельного и мстительного человека от своего имени, а избрал обходной маневр.

За кулисами Дворца спорта я разыскал Николая Сологубова. Знаменитый хоккеист давно ушел из хоккея и с воинской службы, а потому перестал скрывать застарелую ненависть к своему первому учителю. Его я и попросил высказать свое отношение к происшествию на льду и заручился разрешением изложить сказанное в заметке под рубрикой «Реплика». Сологубов говорил долго, но заметка получилась небольшая: мат в те времена писали только на заборах.

Тарасова вызывали в разные инстанции, прорабатывали, сняли звание заслуженного тренера СССР (которое, впрочем, быстро вернули).

Через несколько дней после этого исторического матча я по телефону условился с Аркадием Ивановичем об интервью и приехал на стадион «Динамо». Мы побеседовали, и он пригласил меня перекусить в ресторане «Ди-

намо». К обеду заказали графинчик водки. Выпив первую рюмку, Чернышев сказал:

— Ну до чего же вы, журналисты, трусливая публика! Все готовы Тарасову простить.

— А вы «Советский спорт» разве не читаете? — возразил я. — Там все поставлено на свои места.

— Ты о заметке Сологубова? Да она такая маленькая, что ее и не заметишь. Про эту сволочь полагалось целую страницу написать. И дать заголовок похлеще.

Старая газетная дисциплина сохранилась у меня и поныне. Оттого и употребляю тут эпитет «сволочь» вместо куда более сочного, но из «заборного жанра», который использовал обычно хладнокровный Аркадий Иванович. Его тон не вызывал сомнений: есть у «первого сокола» немало претензий ко «второму».

Однако — и это делает обоим честь — на публике они всегда выступали единым фронтом. Так, вдвоем, решительно и шагая в ногу, явились они с заявлением об отставке. Расставание, как сказал бы покойный Николай Озеров, «друзей-соперников» со сборной состоялось почти на моих глазах.

Их весенние визиты к председателю Спорткомитета накануне окончания сезона вошли в обычай. Являлись они не принимать поздравления, а искать справедливости. По инструкции Министерства финансов чемпион мира или Олимпиады награждался за эту победу тысячерублевой премией, а его тренер — двухсотрублевой. Правило, что и говорить, возмутительное. Чернышев с Тарасовым ежегодно выдвигали дежурное требование равной со своими питомцами оплаты. А начинали всегда с того, что просили освободить их от работы в сборной. Они говорили: зарплату мы получаем в клубах, в сборной трудимся на общественных началах, для пожилых людей нагрузка слишком велика, а нас еще и не премируют.

Они заранее знали, что им откажут — нарушение финансовой дисциплины не прощали даже министрам. Но знали они и то, что дадут уговорить себя остаться в сборной еще на годик, а в обмен выторгуют для нее и для себя какие-нибудь льготы: лишний заграничный сбор или поездку за океан. И в этом обязательно преуспевали.

После Зимней Олимпиады 1972 года в Саппоро знаковый дебют повторился. Два тренера команды-победительницы явились в управление спортивных игр, мрачно кивнули сидевшим за своими столами служащим, сняли пальто и пошли к председателю. Возвратились они довольно скоро, еще более угрюмые, оделись и, не попрощавшись, отбыли. Как сообщил сослуживцам сопровождавший Чернышева и Тарасова начальник управления, эндшпиль этой партии у них не получился.

Новый председатель комитета Сергей Павлов, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ (тот самый, которого Евтушенко увековечил в одном из своих стихотворений строчкой «румяный комсомольский вождь»), не привык торговаться с подчиненными, а тем более идти им на уступки. Павлов заблаговременно, еще до Олимпиады, подготовился к приходу двух тренеров: послал в Саппоро наблюдателями Всеволода Боброва и Николая Пучкова, а после Игр сделал им предложение возглавить сборную, которое те приняли.

Когда Чернышев и Тарасов вошли, Павлов поднялся из-за стола, долго и крепко жал обоим руки, горячо благодарил за службу. Едва услышав обычное: «Мы устали...», он прервал дуэт новым рукопожатием и сказал, что понимает их и, как ни горько ему их отпускать, он согласен: они заслужили отдых.

Должно быть, председательское сердце екнуло, когда сборная вскоре после этой отставки старых тренеров под руководством новых уступила в Праге золотую медаль чемпиона чехам. Но объективно тот поступок Павлова пошел на благо советскому и мировому хоккею. Если бы статус-кво сохранился, встреча сборной СССР с командой звезд НХЛ откладывалась бы долго. И на тот же срок откладывалось бы наступление новой эры в истории хоккея, эры, которая продолжается и сейчас.

Эпштейн

Почти четверть века не был я в подмосковном Воскресенске. А до этого часто ездил туда электричкой с Казанского вокзала. Совсем давно — на открытый каток

местного комбината органических удобрений, где играла команда «Химик», позже — во Дворец спорта, куда она перебралась. На площади перед Дворцом мне видится статуя Ленина во весь рост с протянутой вперед рукой. Но, может быть, память меня подводит, рисуя типичный для тех времен атрибут оформления главных площадей сотен районных центров.

Если же все так и есть, как мне помнится, то статую теперь, наверно, снесли. Воздвигнуто ли что-нибудь вместо нее? По справедливости следовало водрузить здесь тех же размеров другую фигуру — подлинного благодетеля города Воскресенска Николая Семеновича Эпштейна.

Дорога от станции к открытому катку вела по мрачным улицам, покрытым толстым слоем грязи, в сырую погоду липкой, в сухую — каменевшей. Были участки, напоминавшие непроходимое болото. Тут заботливые городские власти перекидывали мостки шириной в одну доску. Примерно на середине пути стоял такой же, как все, дом, над одной из дверей которого красовалась вывеска: «Вечерний ресторан». Днем это была обычная столовая. Вечернее превращение заключалось в том, что разрешалось торговать водкой. Правда, клиенты редко ее там покупали. Утром, днем и вечером они приносили выпивку с собой и разливали под столиками. Посетители разбредались после трапезы, покачиваясь. Отдельные лица устраивались вздремнуть тут же, под стеной дома.

Так выглядел Воскресенск, который находится в 87 км от Москвы, когда туда переселились из столицы хоккейная команда «Химик» и ее тренер, в недавнем прошлом средней руки хоккеист Николай Эпштейн. Ее, нищую и беспризорную, благодаря неустанным хлопотам Эпштейна, наконец-то воплотившего в жизнь свою идею фикс найти состоятельного покровителя, приютил комбинат-гигант, с которым был связан почти каждый из 80 тысяч жителей города. Дирекция комбината распорядилась огромными денежными средствами и жилым фондом. Дать нужному человеку хорошую квартиру и выделить премию, как перевыполняющему план ударнику, было для руководства комбината делом пустяковым.

Бытие определяет сознание. В новых условиях команда быстро прогрессировала. Потребовалось совсем немного времени, чтобы она поднялась в высшую лигу, а Воскресенск заразился хоккейной лихорадкой. В городе, напминавшем гоголевский Миргород, только подмосковный, и как тот, не имевшем достопримечательностей, кроме лужи в центре, появился предмет гордости и поклонения — «Химик».

Мужская часть взрослого населения за него болела, мальчишки мечтали когда-нибудь надеть его канареечного цвета форму. Во время матчей на местном стадионе Воскресенск затихал. Не разжившиеся билетом принимали к телевизору или, если трансляции не было, ловили сообщения по радио. Эпштейна знали в городе все, независимо от возраста и пола.

«Химик» играл все лучше. Эпштейну был известен каждый подающий надежды мальчишка из Воскресенска и близлежащих городов и поселков, от Люберец до Жуковского. Он общался с их родителями. Он видел в этих подростках будущих Бобровых и привлекал их к тренировкам — в созданных им при «Химике» командах нескольких возрастных групп.

Этой своей вере в великое будущее любого мало-мальски способного парня он не изменял никогда. Просмотрев перед матчем «Химики» протокол, в котором перечислялись фамилии участников и увидав незнакомую, я спрашивал Эпштейна:

— Семеныч, откуда у тебя эта звезда?

— Наш, местный, — отвечал он и с энтузиазмом, картая еще больше обычного, продолжал: — Ты приглядиись к нему. Иггочище! Все умеет, все видит, все понимает. Гигант! Я его в молодежную сборную рекомендовал.

Часто гигантом оказывался 18-летний шкет ростом «метр с кепкой», носивший фамилию, будто придуманную для водевиля, вроде Сапалкин или Ляпкин.

Будущий «гигант» далеко не всегда оправдывал надежды Николая Семеновича. Но если бы могучие хоккейные центры вроде Челябинска, Новосибирска, Новокузнецка, Свердловска растили крупных мастеров так, как Воскресенск, их хватило бы на десяток равноценных

сборных страны. Это он, Николай Эпштейн, выпестовал в «Химике» братьев Рагулиных и братьев Голиковых, Эдуарда Иванова и Юрия Ляпкина, Валерия Никитина и Юрия Морозова. Это при нем взяли в руки клюшки и при его учениках—продолжателях эпштейновских традиций достигли высот Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Вячеслав Козлов, Валерий Зелепукин, играющие теперь в НХЛ.

Команда такого класса, как «Химик», не могла существовать без собственного крытого катка с искусственным льдом. И, учитывая положение, которое она заняла в жизни города, богатый хозяин, Воскресенский комбинат, не мог такой каток для нее не построить.

Писатель, верный методу социалистического реализма, написал бы в этом месте: «Рождение Дворца спорта в корне преобразило лицо Воскресенска». Но я не писатель, а литература социалистического реализма, как при Пушкине латынь, из моды вышла ныне. «Вечерний ресторан» функционировал и в 70-е годы, и в дождливые дни обувь пешехода, идущего на матч «Химика», все так же тяжелела от окаменевшей на ней глины.

И все же Дворец многое изменил в жизни города — в Воскресенск теперь приезжали всемирно известные фигуристы — на турниры и показательные выступления. На городских афишах запестрела реклама:

«Балет на льду», «Концерт мастеров балета», «Цирк на льду», «Вечер оперетты». Сердца местных жителей таяли от известия, что в их Дворце готовятся к сезону Олег Протопопов и Людмила Белоусова, для которых не нашлось приличного катка в родном Ленинграде.

В свое время «Советский спорт» опубликовал прекрасную статью Аркадия Галинского «Театр режиссера» и «Театр актера». Она была о подходе к делу футбольных тренеров, но вполне годилась и для хоккея. Представителем «Театра режиссера» Галинский называл Константина Бескова, строившего игру своих команд в соответствии с собственными представлениями о том, какой должна быть оптимальная тактика вообще. «Театр актера» в статье олицетворял Виктор Маслов, исходивший при выборе системы игры из того, какими исполнителями располагал.

Жизнь диктовала Эпштейну необходимость выбрать стезю Маслова: «Химик» испытывал постоянный дефицит на игроков хорошей квалификации, и тренеру вечно приходилось латать дыры в составе. Да и по натуре он был из «театра актера»: свято верил, что его парни способны на любые свершения, и вселял эту веру в них самих.

Одни играли лучше, другие хуже, но никто не знал чувства робости перед противником. Даже таким, как ЦСКА.

И все же я бы не решился безоговорочно отнести Эпштейна к хоккейным режиссерам, скажем так, «актерского направления». Его тренерская мудрость заключалась в искусстве создания команды гибкой, умеющей менять тактику, вести самую неудобную для противника игру. Так и наносил «Химик» ЦСКА свои знаменитые укусы, столь болезненно воспринимавшиеся Тарасовым.

В главе о Тарасове я привел одно замечание Эпштейна: «Я бы с ЦСКА поработал, вот пусть бы он поработал с «Химиком». Сказал это Николай Семенович с усмешкой, словно бы в шутку. На самом деле это была голубая мечта всей тренерской жизни Эпштейна: попробовать себя в команде экстракласса. Перед великими игроками он благоговел. Разговаривая с таким хоккеистом, он глядел на него с нескрываемым обожанием. Как-то он сказал мне:

— Беру Ваню Трегубова.

Я не мог скрыть удивления. Иван Трегубов — не просто великий, а один из величайших, хоккейный классик — к тому времени спился с круга, был изгнан из ЦСКА, полежал в больнице для алкоголиков, однако не вылез из больницы окончательно. Тому, самому первому поколению хоккей не принес богатства, а Трегубов, тративший свои заработки на водку, был откровенно беден. Вот и согласился он играть в «Химике». Но Эпштейну-то к чему была эта обуза?

— Да он и сегодня кому хочешь сто очков вперед даст, — взволнованно ответил на мой вопрос Семеныч. — Мне своих огольцов никогда не научить тому, чему они научатся, играя рядом с ним. Он же гений! И своего последнего слова еще не сказал. Да для меня счастье — продлить его жизнь на льду.

Он не мог ни мне, ни себе признаться в главной причине приглашения Трегубова: его присутствие в «Химике» создавало у Эпштейна иллюзию приближения к мечте. Ей, этой мечте, так и не суждено было в его лучшие тренерские годы осуществиться, а теперь уж поздно — Николай Семенович давно отошел от дел.

А суждено было находить и доводить игроков до уровня экстракласса и, доведя, их терять — все, кого я перечислил, кроме Никитина и Морозова, и еще многие, превратившись в крупных мастеров, покинули «Химик». Не потому покинули, что разочаровались в своем первом учителе. Все они ушли в столичные клубы, подавляющее большинство — в ЦСКА, остальные — в «Динамо».

В отличие от всех своих коллег Эпштейн не держал камень за пазухой на ушедших. Более того, он сохранил к ним отеческое отношение, а они к нему — симпатию. Он сознавал, что путь в сборную, а значит, к золотым медалям, московским квартирам, заграничным поездкам, ордерам на покупку без очереди «Волг» и «Жигулей», открыт лишь тем, кто приглянулся Чернышеву и Тарасову, и что отказ от их приглашений ставит на этом пути непреодолимый слагбаум.

Перед каждым сезоном теряя лучших игроков, «Химик» всякий раз на финише чемпионата посрамлял специалистов, ставивших крест на нем как на серьезном конкуренте лидеров. Ниже четвертого места «Химик» при Эпштейне опускался редко, а однажды завоевал бронзовую медаль.

Среди воскресенских хоккеистов, да и в молодежной сборной, когда Эпштейн ее тренировал, у него не было недоброжелателей. Его особо любили за терпимость, за понимание того, что ничто человеческое спортсмену не чуждо. Только к себе не умел и не умеет он подходить снисходительно. Идеальный семьянин, непьющий, некурящий, лишенный тщеславия и бескорыстный, уж он-то по всем статьям сгодился бы в бригаду коммунистического труда, каковой объявил свою команду Тарасов, грешивший многими слабостями, от которых избавлен Николай Семенович Эпштейн.

Богинов

Не припомнить теперь, в какой день середины июня 1992 года меня поднял с постели необычно ранний телефонный звонок.

— Здравствуйте, Евгений Михайлович, — сказал звонивший таким тоном, словно мы вчера виделись. — Это Леша Богинов из Киева. Не знаю, известно ли вам, но четвертого числа умер мой отец.

Мне это было известно. Замешкавшись на мгновение, Алексей, которого я в последний раз видел задолго до того как эмигрировал, продолжал:

— Я вам вот по какому делу звоню. У нас тут, в России, никто о его смерти и о нем ни слова не написал. Может, вы оттуда, из Америки, напишете?

У Дмитрия Николаевича Богинова было много приятелей среди журналистов. Но близкая и многолетняя дружба связывала его с двумя — Михаилом Мариным и мной. Марин умер на 14 лет раньше него. Так что просьба сына написать об отце меня не удивила. Да и само известие о смерти старого друга вызвало во мне не удивление, а горечь — умер 74-летний, прошедший войну, израненный, изрезанный после тех ранений хирургами, бросивший пить и курить лишь с наступлением старости человек.

Поразили меня слова Алексея о молчании гласа народного — российской прессы об этой потере. В Америке я отвык от такого безразличия общества к памяти людей, доблестно послуживших своей стране. Как раз накануне звонка Алексея Богинова в газете «Нью-Йорк таймс», где спорт занимает не ахти какое место, я прочитал большой некролог с вмонтированным в текст портретом. Оказывается, умерший прославился тем, что изобрел так называемое «правило 24 секунд», действующее в американском профессиональном баскетболе, а в России даже у спортивных газет не нашлось места хотя бы известить о кончине заслуженного тренера.

Естественно, статью я написал, и она была напечатана в газете «Спорт-экспресс». Вообще же человек этот

в газете «Спорт-экспресс». Вообще же человек этот достоин стать героем книги. Для того, кто взялся бы за нее, простор в выборе жанра — безграничный, от «Педагогической поэмы» до «Двенадцати стульев». И, в отличие от Макаренко или Ильфа и Петрова, создателю художественно-документального произведения о жизни Дмитрия Богонова не надо было бы ничего придумывать.

Мы с Мариным когда-то лелеяли мечту написать эту книгу. Но спортивные издательства тех лет предпочитали, чтобы моя фамилия фигурировала на их страницах не как автора, а литзаписчика — такой и была моя роль в «Центральном круге» Валентина Иванова, «Я смотрю хоккей» Бориса Майорова и «Записках вратаря» Льва Яшина. Однако не эта трудность нас останавливала от попыток уговорить издателей. Непреодолимой мы считали другую: слишком уж выпадала личность Богонова из шаблонных представлений об образе воспитателя и педагога, пестующего молодых строителей коммунизма.

Все же большой очерк о нем мы с Мариным написали. Назвали его, по предложению Марина, обожавшего пышные заголовки, «На серебряной орбите» и опубликовали осенью 1961 года в журнале «Молодая гвардия». В нем, однако, не было биографических данных Богонова до начала его тренерской карьеры. А они о многом говорят.

Богонов рожден матерью-француженкой, неизвестно как занесенной Гражданской войной в Россию, и русским отцом, давшим сыну свою фамилию, но, кажется, никогда им не виденным. Он вырос на улице и к отрочеству успел стать своим в блатной среде нескольких городов, где был известен по кличке Жид. Живя в Ленинграде, начал играть в футбол и приглянулся легендарному Михаилу Бутусову, тренировавшему местное «Динамо», но не проявил себя в спорте, т. к. угодил за решетку. Бутусов выпатчил его из тюрьмы и вскоре парень ушел на фронт.

В разгар войны, не знаю за какие грехи, его отправили в штрафной батальон. И лежать бы ему уже тогда в земле, как едва ли не всем остальным штрафникам, если бы не вызволил его легендарный военачальник Рокоссовский, знавший его, запомнивший и взявший к себе шофером.

Закончил он войну капитаном, командиром танкового батальона. Как-то, когда я был дома у Богинова в Горьком, он открыл ящик кухонного стола, и там я увидел груды орденов и медалей, которые он никогда не носил. После победы он демобилизовался, попробовал вернуться в спорт, в футбол и хоккей, но без всякого успеха. Надо было чем-то заняться, и он поступил в Ленинградскую школу тренеров. Вскоре после того как он эту школу окончил, мы познакомились.

Мы сошлись сразу, быстро перешли на «ты», во время моих поездок в Горький, где он работал, и его — в Москву обязательно встречались — вместе пообедать, выпить, поболтать. Участником этих встреч был обычно Миша Марин. Окончательно сдружились мы в поездках за границу. Там я ощутил подлинный и пристальный интерес к нему как к человеку, хотя по рассказам Марина и раньше знал, что в советском тренерском цехе эта фигура стоит особняком.

Чемпионат мира 1961 года проходил в Швейцарии на катках двух городов — Лозанны и Женевы. Тренеры нескольких клубов, чьи игроки попали в сборную, жили в Лозанне, а мы, купившие в Интуристе путевки в Швейцарию спортивные журналисты, — в Женеве. На те матчи, что советская команда играла в Женеве, Богинов приезжал, и мы с ним в эти дни не расставались.

Прогуливаясь в перерыве одного из этих матчей, мы столкнулись нос к носу с руководителем советской делегации Валуевым — бывшим крупным комсомольским бюрократам, переведенным во Всесоюзный спорткомитет на должность заместителя председателя.

— Евгений Иванович, у меня к вам дело. Я сюда приехал из Лозанны электричкой. Не оплатите ли билет? — сказал вместо приветствия Богинов.

— Ну что вы, Дмитрий Николаевич! Такой расход не входит в смету. Мы не можем сорить валютой.

— Не беспокойтесь, я пошутил. Валюты у меня куры не клюют, — Богинов помахал перед носом шефа делегации пачкой бумажек. — Я просто хотел вас проверить.

Валуев был в замешательстве: то ли Богинов и в самом деле его разыгрывает, то ли приставлен к команде

каким-то учреждением, которое снабжает его валютой? А тот спокойно протянул ему руку:

— Ну пока, желаю вам приятного времяпрепровождения в красавице Женеве. Мы пошли...

— Только так с ними и надо разговаривать, — это было сказано уже мне, едва мы расстались с начальством.

Следующий матч наша сборная проводила в Лозанне. Теперь уже я приехал в гости к Богинову. Он куда-то отлучился из гостиничного номера, и я застал там только его соседа по комнате — тренера московского «Спартак» Александра Никифоровича Новокрещенова. На столе красовался торт.

— Откуда эта роскошь? Неужто на свои кровные покупали? — полюбопытствовал я, знавший, как берегут франки соотечественники, только и думавшие о том, где бы перекусить «на халяву».

— Ты что, нас за сумасшедших принимаешь? Это все Димка. Загадочная он личность! Сидим вчера вечером дома. Вдруг стук в дверь. Открываем. Входит официант с этим тортом и шампанским. Я думал, ошибся номером. Но Димка вежливо что-то говорит по-французски, берет торт, а его выпроваживает. «Это, — объясняет, — мне, в знак уважения, как почетному гостю». За что? Почему он почетный гость? А в общем, мне-то что? Короче, бутылку мы распили, а торт доедаем. Хочешь кусок?

Я, признаться, тоже был озадачен этим рассказом. Развевал мое недоумение Богинов, когда мы остались наедине.

— Сашка — баран! — начал он объяснение эпитетом, которым обычно награждал себя и других опростоволосившихся. — Шли мы с ним вчера мимо портъе. Я их заграничные нравы знаю. Я представляю ему Сашку и рекомендую: это, мол, пользующийся на всю страну популярностью тренер и сегодня у него юбилей — сорокалетие. Он и не подозревает, что имеет к тарту хоть малейшее касательство. И ты, смотри, меня не выдай.

Таким, озорным и безбоязненным, открылся мне Богинов в Швейцарии. Таким он оставался всегда. На работе — тоже.

Кстати, в Швейцарии ему, единственному из советской делегации, оказывал преувеличенное внимание пре-

зидент Международной федерации хоккея американский мультимиллионер мистер Тат. Они были явно на дружеской ноге. Оказалось, уже встречались прежде.

В 1960 году молодежная сборная СССР играла в Колорадо-Спрингс, где находилась резиденция Тата. Вежливый хозяин решил показать главному тренеру сборной Эпштейну и его помощнику Богинову свои владения и, в частности, коллекцию автомобилей. Об одном из них он дал справку:

— Это образец. Такие будут выпускать через пару лет.

У Богинова, страстного автомобилиста, от непреодолимого желания сесть за руль машины будущего загорелись глаза и зачесались руки. Но детская просьба: «Дядя, дай прокатиться» может поставить Тата в неловкое положение. И Дмитрий Николаевич просто сказал:

— Да у меня в Горьком есть очень похожая. Можно взглянуть поближе?

— Конечно. Если хотите, прокатитесь.

Что Дмитрий Николаевич и сделал, продемонстрировав знание зарубежной техники, о которой ему было известно по журналам и каталогам, получаемым автозаводом, и заодно поддержав престиж отечественного машиностроения.

В горьковское «Торпедо» Богинов попал так. Ему, выпускнику школы тренеров, доверили подготовить сборную ленинградских юниоров по хоккею к товарищескому матчу с горьковскими сверстниками. Игра эта для гостей-ленинградцев окончилась позорно — хозяева забили им то ли 15, то ли 20 шайб, а сами не пропустили ни одной. Возвратившись домой, Богинов отправил письмо в профсоюзный комитет Горьковского автозавода и предложил свои услуги в качестве тренера тамошней команды «Торпедо». Ему ответили согласием.

В Горьком он первым делом разыскал ребят, которые особенно приглянулись ему во время того, завершившегося для него позором, матча, и пригласил их в команду. Общими силами тренера и его новых питомцев «Торпедо» выиграло турнир в классе «Б» и поднялось в класс «А» (или, пользуясь современной терминологией, из первой лиги в высшую). А еще через три сезона, в год швей-

царского первенства мира, вышло (отсюда и название очерка в «Молодой гвардии») на серебряную орбиту — завоевало серебряную медаль чемпионата СССР. До него ни одной команде, кроме ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов», не удавалось ступить на всесоюзный пьедестал почета. Позже постоянных обитателей пьедестала отесняли с его ступенек воскресенский «Химик», столичные «Локомотив» и «Спартак», ленинградский СКА. Но путь на пьедестал проложила для них команда Богинова.

Только мало кто знает, с чего начался этот путь.

В те времена хоккеисты высшей лиги участвовали в трех внутренних соревнованиях. Осенью на катке в Сокольниках проходил турнир на приз газеты «Советский спорт», всю зиму длился чемпионат страны, а весной разыгрывался Кубок СССР. Ни в одном у ЦСКА не было соперников. Чтобы как-то обострить конкуренцию, для турнира «Советского спорта», на котором действовал олимпийский принцип: проигравший выбывает, ввели правило гандикапа — заведомо более сильная команда давала противнику фору в несколько голов. Их количество определялось заранее, но устроители турнира держали его в секрете. Матч заканчивался, судья вскрывал запечатанный сургучом конверт и объявлял победителя. Однако никакие ухищрения не мешали ЦСКА выигрывать приз.

Осенью 1960 года правило гандикапа отменили. Тут уж вопрос о будущем победителе казался тем более ясным. А выиграла турнир горьковчане. Фундамент этой победы Богинов заложил в матче с «Крыльями Советов» — командой, с которой, считалось, «Торпедо» сражаться не по силам.

Торпедовцы приехали на ту игру поездом из Горького без четырех лучших хоккеистов — им тренер разрешил прибыть на автомобиле. Но они опаздывали. Команды уже вышли на разминку, а их все не было. Наконец, прибежавший из-за кулис массажист успокоил Богинова: приехали, переодеваются. Тем временем на льду появились судьи, Богинов жестом попросил их подъехать к скамейке и тихо поговорил с ними о чем-то. Игроки выстроились в середине площадки, обменялись положенными

приветствиями, один из судей приготовился вбросить шайбу. В этот момент и появилась на горьковской скамейке запасных четверка опоздавших. Однако тут же удалась. Насовсем.

Перерыв между первым и вторым периодами я провел у раздевалки «Торпедо». Мне не терпелось узнать, о чем Богоинов шептался с судьями. И как только он показался в дверях, поймал его за рукав и задал этот вопрос. Богоинов бесстрастно ответил:

— Напомнил им параграф о том, что в матче не могут участвовать игроки, не вышедшие на приветствие.

— Но ты же самоубийца! Через час тебя растерзают «Крылышки», а завтра — заводское начальство.

— Поживем — увидим, — не меняя тона, сказал он.

«Торпедо» тот матч выиграло. В ослабленном составе, без трех сильнейших форвардов и лучшего защитника, еле-еле, 3:2, но выиграло. Потом добежало до финала, а там одолело набирающий силу «Спартак» во главе с братьями Майоровыми и Старшиновым, которых только что ввели в сборную.

Те, кто отнес этот неожиданный-негаданный успех на счет случайности, убедились в своей ошибке через несколько месяцев, когда «Торпедо» завоевало серебряную медаль чемпионата и вышло в финал розыгрыша Кубка СССР. Это вообще был сезон-пик в истории горьковского хоккея и всех четырех опоздавших на осенний матч с «Крыльями Советов».

Богоиновский трюк с недопущением их до игры последний раз проявил для меня его натуру — человека, не страшщегося авантюрных шагов в самых серьезных делах и одновременно умеющего сыграть на невидимых другим струнах окружающих. Сомневаюсь, что оба эти качества воспитала в нем тренерская школа. Скорее, они, заложенные от рождения, были развиты его опытом, полученным, как принято говорить, «в местах не столь отдаленных» и на войне.

Регалии, которые заработало «Торпедо» в том сезоне, заставили признать Виктора Коноваленко первым вратарем страны и поставили тройку нападающих, в которой играли Роберт Сахаровский, Игорь Чистовский и Лев

Халаичев, в один ряд с сильнейшими звеньями ведущих московских клубов. Но только Коноваленко взяли в сборную — слишком уж он превосходил остальных вратарей. Перед тремя его одноклубниками-нападающими возникла альтернатива: либо переехать в столицу, в ЦСКА, либо распрощаться с мыслями о сборной. Все трое пожертвовали сборной.

Воскресенские хоккеисты с благословения Эпштейна, как мы знаем, при таких обстоятельствах перебирались в столицу. Богинова триумфы его команды превратили в такого же хозяина Горького, какими были отцы города. А он позаботился о том, чтобы сохранить торпедовский костяк в неприкосновенности.

Он понимал: с одной стороны, многомиллионный Горький — не чета безликому, забытому Богом Воскресенску, с другой — это и не Москва, в которой спортсменов с мировой известностью чуть ли не больше, чем в Воскресенске жителей. В Горьком хоккеисты «Торпедо» — идолы, на них молятся местные жители, на любом торжестве, будь то праздничное собрание или пир, они — свадебные генералы. В Москве они затеряются в несметной толпе спортивных знаменитостей, как звездочки на Млечном пути, и если упадет такая вот звездочка — набедокурит парень или другая беда случится, — никто и не заметит ее исчезновения. В Горьком же ее грудью отстоит от посягательств закона обком, горсовет, а коль потребуется, и гарнизон.

Богинов употреблял все свое влияние и все свое красноречие на то, чтобы игроки прониклись сознанием: нет на земле для них места уютней, чем Горький, и на то, чтобы завод обеспечил их отсрочкой от воинской службы. А искусством убеждать собеседников, заставлять их слушать себя и очаровывать этот человек владел в совершенстве.

Есть в Нижнем Новгороде (по крайней мере, тридцать лет назад было) учреждение, сокращенно именуемое НИРФИ — Научно-исследовательский радиофизический институт. Богинов там выступал перед учеными регулярно, а однажды — вместе со мной. Пока народ рассаживался в конференц-зале, я разговорился с гла-

вой института — членом-корреспондентом Академии наук СССР Гапоновым.

— Я встреч с Дмитрием Николаевичем не пропускаю никогда, — сказал он мне. — На заседаниях Академии наук, если доклад президента длится больше полутора часов, встаю и ухожу. А Богинова готов слушать сколько угодно.

Говорить он действительно умел. И для каждого находил самые понятные тому слова.

Сладкое бремя славы оказалось непосильным для большинства торпедовцев — парней с горьковских окраин и из нищих семей. На завод пошли письма: одного видели подвыпившим и пристающим к девушкам, другой распивал водку в подворотне, третьего вытаскивали в бессознательном состоянии из рабочей столовой.

Горьковское телевидение пригласило меня вести какой-то матч «Торпедо», я приехал накануне и решил посмотреть, как тренируется богиновская дружина. Дмитрий Николаевич предложил:

— Останься на собрании команды. У нас от тебя секретов нет.

На собрании и должны были разбираться обвинения, содержащиеся в этих письмах. Разумеется, я принял приглашение. Очень уж интересовало меня, что скажет Богинов этим взрослым недорослям. Что он не станет прибегать к заклинаниям типа «советский спортсмен должен служить примером...», или «трудящиеся передового завода ждут от вас...», или что-нибудь о моральном кодексе молодого строителя коммунизма, было для меня очевидно. Но в таком случае что? Станет грозить отменой выходных? Вызовом в завком?

Собрание было коротким. Все ограничилось лаконичной речью тренера:

— Я не буду заниматься расследованием фактов, изложенных в этих письмах и, тем более, выслушивать ваши возражения, — сказал он. — А вы меня послушайте. Простительны многие недостатки, но не жлобство. Как не стыдно вам, состоятельным людям, шататься по забега-ловкам, присаживаться к чужим столикам, пьянствовать с босяками. Вы думаете, я святой? Но когда мне хочется

погулять, я беру билет на самолет, через час прилетаю в Москву и иду, куда мне нравится и с кем мне нравится. А вы делаете это дома, где вас знает каждая собака. И на глазах у людей, которые вам поклоняются, превращаетесь в свиней. Да от водки местного разлива и нельзя не превратиться в свинью. Подумайте над тем, что я сказал, и впредь постарайтесь быть умней.

Принцип, который проповедовал мой газетный учитель Виктор Васильев: «Делайте не то, что я делаю, а то, что я говорю», Богинов не признавал.

Выходные Богинов, если его присутствие не требовалось для добывания игрокам квартир, их женам служб, их чадам мест в детском саду, проводил в Москве. По Нижнему он разъезжал на своей «Волге», номера которой знал каждый милиционер и брал при встрече с ней под козырек. В столицу завод посылал ему «Чайку», управляемую верным другом и оруженосцем, водителем-испытателем Витей Фотеевым. Тот и описал мне эпизод, случившийся во время одной из их автомобильных прогулок.

Они пообедали в Доме журналиста, прихватив с собой уже знакомую читателю стенографистку «Советского спорта» Риту. А потом Богинов скомандовал ехать в Архангельское для продолжения трапезы. Фотеев рассказывал:

— Я ему говорю, что нельзя нам совать нос на улицу Горького. Там в этот час пробки и по всей трассе — милиция, а мы прилично выпили. Но Димка требует: «Выезжай на Горького, становись на осевую, и вперед с максимальной скоростью. Мы же — на «Чайке», на них члены Политбюро ездят». Я пытаюсь ему объяснить, что у правительственных машин особые номера и у «Чаек» на капоте решетка золотистая, а у нас из белого металла. А он — свое: «Да они, как увидят, что мы по средней полосе летим, и разбираться не станут». И ведь так и вышло. Только я думал, инфаркт по дороге получу.

Хоккеисты, конечно, понятия не имели о таких проделках своего наставника. Но по его поведению, по тому, как он держал себя с ними и с окружающими, включая областное начальство, чувствовали, что он — личность незаурядная, стоящая на порядок выше их по волевым и интеллектуальным качествам, верили ему и подчинялись.

Тем не менее повторить сезон 1960—61 гг. «Торпедо» больше не удалось. Как ни велико было влияние Богинова на хоккеистов, оно каждый день сталкивалось с другим влиянием — среды, в которой существовала команда. Шли ли игроки по улице, садились ли за ресторанный столик, появлялись ли во дворах своих домов, забегали ли на завод получить зарплату — все взгляды обращались к ним. Наступала тишина. Публика ловила каждый жест, каждое слово своего кумира, будто перед ней был не парень, прилично владеющий клюшкой, а сошедшее на землю божество.

Такой оказываемый повсеместно прием порождал в молодых людях самовлюбленность и уверенность в собственной непогрешимости. Старый афоризм «Кто умеет — делает, кто не умеет — учит» они перефразировали на свой лад: кто умеет — играет, кто не умеет — тренирует.

Так уж мы устроены: когда сталкиваются два влияния, побеждает то, которое сулит нам жизнь более приятную и менее обременительную. Или, как сказала героиня комедии Островского: «Из двух зол я всегда выбираю то, которое приятней». Каждый новый чемпионат отдалял «Торпедо» от серебряной орбиты. На уровне того исторического для команды сезона продолжал играть лишь Коноваленко. Но не потому, что был сознательнее и прилежнее других, а благодаря исключительной природной одаренности.

Изверившись в том, что ему удастся преодолеть центробежные силы, уводящие из-под его контроля команду, Богинов принял приглашение стать главным тренером только что сформированного киевского «Динамо». В Горьком его не очень удерживали: слишком нестандартной фигурой он был, хотя и терпели как творца удивительных достижений «Торпедо».

Вслед за ним, как за сказочным крысоловом, увлекшим за собой из города волшебными звуками своей дудочки детей, переехали в столицу Украины несколько молодых торпедовцев. С этими юнцами, среди которых был его сын Алексей, и группой перезрелых, изгнанных ввиду бесперспективности другими клубами игроков, Богинов за три года вывел новичка из первой лиги в высшую.

Но сам он в Киеве не прижился. Чувствовал себя на Украине чужаком, и ему при любом подходящем случае давали это понять. Вот что рассказывал мне Дмитрий Николаевич об одном своем визите в ЦК КП республики. Его вызвал осуществлявший партийное руководство спортом третий секретарь — то ли Сидяк, то ли Примак.

— Пока он давал мне ЦУ (ценные указания), в кабинет заходили чиновники. И он, беседуя с ними, сразу переходил на украинский, хотя и сам, и все они порусски лучше говорят. Видно невооруженным глазом, что делается это для меня: ты, мол, при обсуждении проблем самостийной Украины — лицо постороннее.

А недели через две его привез к нам на сборы председатель украинского «Динамо» Бака. Как только они уселись, я извинился и сказал, что мне надо срочный звонок сделать. Покрутил диск — вроде номер набираю — и заговорил по-французски. Они даже замерли — уж не знаю, от удивления или с испуга. Перед их уходом Бака отвел меня в сторону и стал выговаривать, что непозволительно так себя вести при высоком начальстве. Пришлось мне им обоим объяснять, что французский мой родной язык и что говорил я с родственником.

Странно, но факт — Богинов, который в любой среде умел стать своим, на Украине так и не ощутил себя дома. Это при его-то общительности. В Горьком круг его приятелей охватывал шофера Фотеева и без пяти минут академика Гапонова, в Москве — пожилую официантку из шашлычной у Никитских ворот Граню и народного артиста республики Николая Рыбникова, в «Советском спорте» — беспутного гуляку фоторепортера Моргулиса и суперинтеллигента Филатова. И никому он не набивался в друзья, отношения завязывались легко, сами собой.

Вот как он познакомил меня с Рыбниковым. Дело было во время зимних каникул школьников на стадионе «Динамо», куда перебирался хоккей из лужниковского Дворца на те две недели, пока там праздновали елку. Дмитрий Николаевич подвел ко мне популярного киноактера и сказал, что у них есть ко мне важный разговор. Поднялись на последний ряд и уселись на лавку. Рыбников молча достал из портфеля белую накрахмаленную салфетку и

поставил на эту скатерть-самобранку извлеченные оттуда же бутылку «Московской особой» и три граненых стакана. Последним из портфеля выплыл бумажный сверток. В нем оказались бутерброды из черного хлеба с колбасой и ветчиной и тонко нарезанные соленые огурчики.

— Это Алла снаряжала меня на хоккей, — пояснил Рыбников, разливая жидкость по стаканам. Мы выпили за здоровье его заботливой жены и спустились вниз досматривать матч.

(Пройдет тридцать лет, я встречу вдову Рыбникова красавицу Аллу Ларионову в Нью-Йорке, поведаю ей об этом эпизоде и поблагодарю за угощение.)

И так, без натуги, сходилса Богинов со всеми — а в Киеве не сумел. Может, и не чужбина тому виной, а усталость от бурно и трудно прожитой жизни. Новый переезд, в Москву, не сделал его прежним Богиновым. И там, в «Локомотиве», и позже, в Тольятти, он трудился без прежнего азарта. Хотя напоследок, уже незадолго до ухода на пенсию, тряхнул стариной.

Мы уже готовились к эмиграции, когда Дмитрий Николаевич явился к нам в дом со спутницей, которая была лет на тридцать пять младше его.

— Знакомьтесь. Ира, моя жена.

Она уже ждала ребенка. Родившийся у них сын был значительно младше Лешиного, которому приходился дядей. Получилось, как в рассказе Марка Твена «Трагическое родство», герой которого стал сам себе дедушкой.

Ни брак этот, ни возникшая в связи с ним запутанность ветвей богиновского генеалогического древа меня не удивили. Дмитрий Николаевич отучил нас, своих друзей, удивляться чему бы то ни было.

Тихонов

Виктор Васильевич Тихонов дослужился на тренерском посту до чина полковника. Команды, которые он тренировал, завоевывали все награды, какие только были в советском и мировом хоккее. У него просторная квартира неподалеку от центра Москвы. Скоро он отпраздну-

ет золотую свадьбу. Его жена Татьяна — верный и надежный помощник мужа во всех его делах. Его сын Василий, пошедший по стопам отца, одним из первых российских тренеров приглашен на работу в клуб Национальной хоккейной лиги.

Налицо все признаки счастливой жизни и безоблачной карьеры.

Между тем Тихонов в российском хоккее и спорте вообще — фигура трагическая.

Я знаю его полвека, а наша дружба длится три десятилетия. Впервые я увидел Тихонова на футбольном поле московского стадиона «Буревестник». Он играл в команде этого студенческого клуба вместе с другом моего детства Юрой Фишкиным. Виктора считали неплохим защитником, но не более того. Однако футбол и хоккей, а со временем только хоккей, превратились для него в профессиональное занятие. Он стал заметной личностью в московском «Динамо». Во второй сборной команде страны выходил на лед с повязкой капитана.

Он достиг в спорте потолка тех скромных возможностей, которыми одарила его мать-природа. Чернышев, в команде которого Тихонов играл много лет, вплоть до окончания хоккейной карьеры, как-то сравнил его в разговоре со мной с другим динамовцем, Валентином Чистовым, лентяем и пьяницей:

— Если бы к Валькиному таланту да Витькину старательность, новый Бобров бы получился.

Когда Тихонов закончил играть, Чернышев взял его к себе в помощники. Мне думалось, что на этом посту Виктор доживет до пенсии — тихий, скромный, аккуратный, однако, как принято говорить, без искры Божьей работник. Но Чернышев, кажется, скорей всех понял, что это впечатление обманчиво. Он и выхлопотал Тихонову должность главного тренера в рижском «Динамо». Виктор так объяснил мне тот шаг своего ментора:

— По долгу службы в сборной Аркадий Иванович часто и на длительные сроки покидал «Динамо». А когда возвращался, приходил в хорошее расположение духа, если без него дела шли плохо. Если же все было в порядке и команда набирала много очков, он мрачнел и нахо-

дил поводы распекать своих ассистентов. Я был ближайшим, и он постарался от меня избавиться.

Меня, постоянно общавшегося с Чернышевым, удивило то, как точно обнаружил Тихонов его тщательно скрываемый комплекс неполноценности. Что же до самого Тихонова, то он, получив в Риге неограниченную свободу действий, раскрылся с неожиданной стороны. На новом поприще вчерашний безропотный исполнитель чужих приказов превратился в смелого новатора.

Вряд ли есть в истории мирового спорта другая команда, которую тренер-новичок втащил бы на такие заоблачные высоты, как это сделал с рижским «Динамо» Тихонов. Он принял команду, когда она плелась в хвосте турнира второй лиги. Сезон она окончила не просто первой, а с отрывом от финишировавшей за ней на 18 очков. Следующий год динамовцы завершили третьими, но уже в первой лиге, а затем стали первыми и там, обогнав ближайшего преследователя на 16 очков. Первенство открыло им дорогу в высшую лигу, где они с ходу вырвались на шестое место. Причем весь путь «Динамо» проделало с тем составом, с которым в него отправилось.

Самостоятельность внешне не изменила Тихонова. Он остался прежним педантичным, погруженным в мелочи служащим, не расстающимся с карандашом и блокнотом (не забыть бы что-то важное). Перед матчами и тренировками он длинно и скучно, сверяясь с конспектом, объяснял команде и каждому хоккеисту задачи, рисовал расстановку на доске игроков при стандартных положениях. В комнатке, где он жил на сборах, допоздна горел свет — Тихонов составлял рабочий план на завтра, анализировал данные медосмотров, записывал впечатления от вечернего матча.

Но едва он заступил на пост главного тренера, у него началась и вторая жизнь, в которую была посвящена только жена. Он купил — на свои кровные — киноаппарат и перед встречей «Динамо» с очередным противником улетал — тоже не прося командировочных — на предыдущую игру этого противника. Он делал любительский фильм о матче и торопился домой — изучить его, выявить его, противника, слабые места и обдумать, как их

обратить на пользу «Динамо». Днем он репетировал со своей командой созданную собственным воображением игру, и каждый динамовец выходил на лед, твердо зная свою задачу.

Тихонов первым из советских тренеров — правда, уже на средства клуба — обзавелся видеомагнитофоном. Другие — кто раньше, кто позже — последовали его примеру и разбирали с игроками допущенные на льду ошибки. Тихонов — единственный, кто нашел этому аппарату другое применение — его ассистенты просматривали отснятый на пленку матч и делали его раскадровку по эпизодам. Этот метод позволял выявлять наиболее сильные и слабые стороны в организации игры своей команды и противника и соответственно менять тактику.

Когда он спал, не может сказать даже его жена. Таня, когда я был у них в Риге, рассказала:

— Просыпаюсь и вижу: Виктор включил ночник у кровати и что-то пишет лежа. И так — каждую ночь.

— Что же ты пишешь под покровом темноты? — спросил я Тихонова.

— Понимаешь, во сне иногда рождаются интересные идеи. А утром не можешь их вспомнить. И я с некоторых пор стал класть под подушку блокнот...

Днем он тоже не расставался с записной книжкой и обращался к ней ежечасно. Помню, как однажды в кафе на лужниковском стадионе мы с ним разговаривали о хоккее (другие темы его, собственно, и не интересовали). Вдруг Виктор прервал разговор, похлопал себя по пиджаку и с ужасом обнаружил, что блокнота нет. Он лихорадочно схватил со столика бумажную салфетку, написал на ней что-то, спрятал ее в карман, а заодно и еще несколько салфеток, впрок.

Мы дружили семьями. Когда он приезжал в Москву, жена приглашала его к нам пообедать и готовила свои фирменные блюда. После одного такого визита она заметила:

— Напрасно я старалась. Он все равно понятия не имеет о том, что у него в тарелке, — он только тем и озабочен, чтобы не забыть что-то в книжечке пометить.

Во время Зимней Олимпиады 1968 года в Гренобле я забрел в ангар, расположенный рядом с местным университетом. Привлекли меня туда звуки стучащей о деревянные бортики шайбы. В ангаре шел хоккейный матч. Играли, если память мне не изменяет, Япония и Болгария. В зале было не более двух десятков зрителей. Я уже хотел покинуть помещение, но в одном из них узнал Тихонова. Он, не отрывая взгляда ото льда, что-то помечал в блокноте. Я подобрался к нему сзади, хлопнул по плечу и спросил:

— Ты как сюда попал? И чем ты тут занимаешься? Пишешь письма на родину в тишине?

Тихонов удивился моему вопросу, а не внезапному появлению.

— Я не пишу, а рисую, — ответил он. — Рисую схемы.

Озадаченный, я только пожал плечами: ну что может тренер из великой хоккейной державы почерпнуть для себя у команд, которых наши юниоры разделали бы с двузначным счетом?

— Не много, но кое-что, — объяснил Виктор. — Я давно заметил, что в играх таких вот слабаков стихийно возникают интересные расстановки, особенно в обороне. Если такую откорректировать и разучить, можно озадачить и сильного противника.

Спортивные общества отправили в Гренобль много тренеров — набираться опыта. Те добросовестно посещали центральные события, а днем расплзались группами по городу в поисках распродаж и сборищ, которые сейчас называют презентациями и на которых можно бесплатно выпить, закусить да еще в придачу получить сувенир — спортивную сумку, фонарик, бокал с олимпийской эмблемой.

Только Тихонов понятия не имел о существовании распродаж и тусовок. Он занимался тем же, чем всегда: смотрел хоккей и думал о хоккее.

Тренеров команд мастеров часто вызывают в Москву на различные совещания, конференции, для отчетов. Виктор приезжал из Риги рано утром и мчался с вокзала на каток ЦСКА в надежде посмотреть, как ведет занятие Тарасов. Однажды тот заметил молодого коллегу, одиноко сидящего в последнем ряду пустого зала.

— Витя, ты здесь зачем? Нечего тебе здесь делать. Тебе еще рано нас копировать, — сказал великий тренер и закончил повелительно: — Иди!

Перебравшись окончательно в Москву, в ЦСКА, Тихонов первым делом потребовал выделить ему кабинет с письменным столом и шкафом. Начальник клуба недоумевал: зачем эти декорации тренеру, когда его рабочие места — каток и раздевалка? Ведь даже капризный Тарасов таких претензий не предъявлял...

Между тем в Латвии — и на динамовской базе под Ригой, и во Дворце спорта — у Тихонова были такие кабинеты. Там он трудился, изучая и расшифровывая бесконечные таблицы и диаграммы, профессионально вычерченные, разлинованные тушью разных цветов. В них вносились данные о каждом игроке. В одни — поднятые им на тренировках килограммы металла, показанные на кроссовых дистанциях минуты, количество подтягиваний на перекладине. На других — результаты медицинских осмотров. На третьих — число рывков, бросков по воротам, силовых единоборств за тренировку и матч. И не вообще, а на каждый день. И кривая изменений в общем состоянии и игре в зависимости от роста нагрузок.

Шкаф был заполнен этими схемами и книгами. Тихонов договорился с местными специалистами медицины, физиологии, биомеханики о консультациях и получал у них рекомендации, какие труды на интересующие его темы прочитать.

Да, с первого дня вступления на тренерскую стезю этот внешне бесстрастный, не умеющий повышать голос, безразличный к жизненным благам человек — нет, не горел — пылал одной, но пламенной страстью — к хоккею.

ЦСКА и сборную Тихонову доверили почти одновременно. По этому поводу его по очереди принимали и напутствовали председатель КГБ Андропов, министр обороны Устинов и секретарь ЦК КПСС Зимянин. Андропов, чье ведомство было хозяином «Динамо», сказал ему, что не хотел бы уступать армии такого ценного работника, но этого требуют общегосударственные интересы. И Тихонов повел свои команды от победы к победе.

И познал не меньше триумфов, чем Чернышев с Тарасовым. И не был обойден наградами и славой.

Я пишу о Тихонове и ловлю себя на том, что глаголы ставлю не в настоящем, а в прошедшем времени, как в рассказе о Чернышеве, Тарасове, Богинове. А ведь Виктор, слава Богу, жив-здоров, занят любимым делом и, когда возвращается с работы, дома его ждет верная и надежная жена Татьяна. Но моя рука невольно выводит: «был», «достиг», «пылал», «познал».

Скорей всего, Тихонов и сам этого не заметил, но так получилось, что он пережил свое время. Смена формаций в России застала его врасплох. Как многие фанатики, он лишен гибкости мышления. Он не захотел — да и не сумел — ни на йоту отойти от догм той эпохи, на которую пришелся его, как тренера, расцвет. Как ни бьет его верность этим догмам, он сражался и сражается за них. Не корысти ради, а потому, что верит в продуктивность. И терпит поражение в столкновении с велениями времени.

Самое первое и самое крупное Тихонов потерпел в конце 80-х годов, когда пытался не допустить переезда в Северную Америку, в клубы Национальной хоккейной лиги, группы игроков во главе с Вячеславом Фетисовым и Игорем Ларионовым. Уже в разгаре была перестройка, уже власти декларировали свободу передвижения советских граждан, уже ограничения в правах разоблачались прессой, но Тихонов боролся против фрондеров, не щадя живота своего. И хотя за его спиной были партия, армия и Комитет госбезопасности, проиграл. И вслед за первопроходцами устремились за океан десятки российских хоккеистов.

Тогда победа нескольких одиночек над Тихоновым и его высокими покровителями выглядела чудом. На самом деле подобная ситуация в человеческой истории не нова. Полтора века назад на американской земле войско генерала Гранта было повержено армией генерала Ли — первое представляло Юг и боролось за сохранение рабства, вторая — Север и добивалась его отмены. Грант был обречен — рабство себя изжило. Вы скажете: не те масштабы, не тот уровень. И будете правы. Но суть одна: время рассудит всегда и всех.

Тихонов, личность глубоко аполитичная, хотя был членом КПСС и носил высшее офицерское звание, держится за прошлое не по идеологическим соображениям. Он не строил коммунизм — он управлял командами, которые должны были побеждать, и знал, как это делать при прежних условиях. В нынешних он в тупике.

Он и сегодня не расстался со своими заблуждениями. Он и сегодня не сомневается, что игроков не следовало отпускать на Запад. Вольница, которая царит в профессиональном спорте, убежден он, только во вред им как мастерам. Не без его участия российские спортивные власти пытались ввести всяческие ограничения на выезд атлетов — учредить возрастной ценз, лишать права покидать страну членов сборных, установить лимит на число уезжающих для каждой команды. Ничего не получилось.

Лет десять назад Тихонов привозил ЦСКА в Америку. После матча в нью-йоркском Мэдиссон-сквер-Гардене мы с Виктором до утра проговорили в его гостиничном номере. Конечно же, о хоккее, о чем же еще? Я спросил, что он думает об игре здешних команд.

— Хоккеисты великолепные, тренеры дерьмо, — ответил он без раздумий, так, как отвечают на давно решенный вопрос.

— И ты бы с такими исполнителями добился большего, чем твои канадские и американские коллеги?

— Наверняка.

— Но здесь ведь советские методы не годятся. Здесь нет сборов в твоём понимании, где хоккеисты живут как в казарме — ты устанавливаешь им расписание, запрещаешь отлучки и контролируешь каждый шаг. Здесь нельзя использовать двухразовые тренировки, нельзя снизить игроку зарплату. Здесь отношения игрока с тренером и система наказаний регулируются профсоюзами и контрактами. Ты не можешь обязать хоккеиста лишней раз поднять штангу и задержаться дольше других на тренировке.

— Я бы нашел способ обойти эти запреты. Они только вредят делу. Даже самый прилежный спортсмен старается совершенствовать те качества, которые у него получа-

ются. Например, если хорошо выходит кистевой бросок, он и будет только этим заниматься. А я встану над его душой и заставлю сто раз «щелкнуть».

— Нет, профессионала не заставишь. Он заинтересован в своем развитии больше тебя. Его мастерство — это его судьба, его будущие контракты. Тому, кто не прогрессирует, найдут замену — претендентов на места в этой лиге куда больше, чем самих мест.

Куда мне было сбить Виктора с позиции, если ее не поколебали события, происшедшие на рубеже двух десятилетий в стране вообще и в хоккее в частности. Тихонов не мог сказать себе: перемены, плохи они или хороши, — свершившийся факт, и от этого каждый должен танцевать, как от печи.

Его бывшие питомцы уже играли в клубах Америки и Европы и вкусили плоды свободы от тренерского гнета и прелесть высоких заработков. Вкусили сами и заронили семена в тех, кому не удалось получить приглашения из-за границы.

Тихонов больше не мог уповать на беспрекословное подчинение себе звезд. Для подавляющего большинства игроков он превратился во врага, душителя, ретрограда — пришлось его отставить от сборной. Хоккейное начальство сделало несколько попыток вернуть его в национальную команду, но тут же от них отказалось, опасаясь взрыва недовольства ведущих игроков. В 1996 году был отклонен проект использовать его консультантом сборной на турнире Кубка мира.

Тренерский пост в одном из ныне существующих двух клубов, своем родном ЦСКА, он сохранил. Но его теперешняя команда — жалкое подобие той, великой. И никаких надежд на то, что Виктору удастся возродить былое величие, нет.

Недруги, которых у Тихонова предостаточно, наблюдают за нынешним витком его тренерской карьеры со злорадством — мол, доигрался. Мои симпатия и уважение к Виктору превратности его тренерской судьбы не поколебали. Человек, сохранивший верность своим убеждениям независимо от обстоятельств, которые подбросила ему жизнь, заслуживает того, чтобы снять перед

ним шляпу. Но для меня самое ценное в нем не это. Абсолютная порядочность — а Виктор доказал ее в отношениях со мной — для меня высшее достоинство.

Накануне Нового, 1982 года «Радио Свобода» командировало меня в Монреаль, на матч «Монреаль Канадиенс» — ЦСКА. Мало того, что я был эмигрантом — лицом, с которым не рекомендовалось общаться советским гражданам, я еще работал на радиостанции, обвинявшейся в подрывной деятельности против СССР. И я не сетовал на знакомых из советской делегации, которые, словно по команде, отворачивались, увидав меня за кулисами монреальского «форума». Я понимал: стоит кому-то перекинуться со мной двумя-тремя словами, даже просто кивнуть, и эта заграничная поездка может стать для него последней.

Однако один смельчак в делегации нашелся — Тихонов. Он со счастливой улыбкой кинулся мне навстречу и крикнул:

— Рад тебя видеть! Запомни мой номер телефона в отеле и позвони. Сейчас бегу — игра начинается.

Наш телефонный разговор был долгим и, кажется, впервые — не о хоккее. Он расспрашивал о том, как я живу, как устроился, передавал приветы жене и сыну.

Через три года мы повидались опять. Гуляя по улицам Сараево, где на другой день открывалась Зимняя Олимпиада, я встретил всю сборную СССР. Она тоже совершала прогулку. И опять Виктор на глазах у всех кинулся ко мне с приветствиями и объятиями. Но на этот раз он был не одинок. Подошел поздороваться со мной и Владислав Третьяк.

Больше на тех Играх нам сойтись не удалось. По требованию советского представителя корреспондентов «Радио Свобода», как средства массовой информации, не имеющего отношения к спорту, югославский олимпийский комитет лишил аккредитации.

И еще — деталь к портрету Тихонова. В начале 80-х годов эмигрировал в США Сергей Левин — ленинградец, работавший там на телевидении и пописывавший в «Советском спорте» о хоккее. От него я узнал о выступлении Виктора перед слушателями Академии военно-

воздушных сил имени Жуковского, в котором он упомянул меня добрым словом и выразил сожаление, что хоккей в моем лице потерял ведущего журналиста. Он сказал примерно так:

— Я разделял многие идеи Рубина. Бывало, мы с ним находили истину в споре. Иногда его взгляды расходились с моими. Но в таких случаях мне приходилось изрядно поломать голову, чтобы доказать себе, что прав не он, а я.

Честно признаться, меня эта похвала больше огорчила, чем порадовала. Я не считал и не считаю себя хоккейным журналистом. Мне всегда хотелось думать, что дело, которым я занимаюсь, называется журналистикой и требует от профессионала умения видеть и писать об увиденном. Если это ему не дано, никакие познания в той или иной сфере ему не помогут.

Когда мы беседовали с Тихоновым в номере нью-йоркской гостиницы, я ему, понятно, эти соображения не высказал. Я лишь спросил:

— Зачем ты назвал в такое время и в такой аудитории мое имя? Неужели не понимал, что ставишь себя под удар?

— Я себя под удар не ставил, — возразил он. — В моем положении я могу говорить все, что думаю.

Глава 6

СУДЬБА ПРОКАЗНИЦА, ШАЛУНЬЯ

Ветер дальних странствий

На Зимнюю Олимпиаду 1960 года «Советский спорт» отправил своим специальным корреспондентом заместителя главного редактора Ореста Петровича Шевцова. Выбор второго по рангу сотрудника газеты свидетельствовал о важности миссии: Игры проходили в США, и представлять советскую прессу должен был человек особо надежный, проверенный, квалифицированный.

Договорились, что Шевцова ежедневно — верней, еженощно из-за 11-часовой разницы во времени между Скво-Велли и Москвой — по телефону вызывает стенографистка, и он диктует корреспонденцию о главном событии на Играх. Мы же добываем информацию с остальных олимпийских арен, и она — чтобы выглядеть убедительней и чтобы был эффект присутствия — тоже идет за подписью нашего спецкора.

Первый блин вышел комом: телефон в его гостиничном номере молчал. На следующую ночь попытки другой стенографистки дозвониться до Шевцова тоже не увенчались успехом. На третью все повторилось. И основополагающую статью, и все прочее писали мы в редакции сами и заканчивали свои труды одинаково: «О. Шевцов, наш спец. корр.».

Начальство тревожилось: не случилась ли какая-то неприятность с замом главного. В отделах одни шутники выдвигали гипотезу: «Уж не украли ли нашего Ореста агенты ЦРУ?», другие успокаивали: «Кому этот болван нужен?».

Наконец, наступила очередь стенографистки Риты Лозенко, о которой я упоминал, рассказывая о журналисте Станиславе Токареве. Слабость к мужскому полу не мешала Рите быть прекрасным работником. Она добралась до ночного дежурного Всесоюзного спорткомитета, тот дал ей несколько телефонных номеров в Скво-Велли, она разыскала Шевцова и, услышав родной голос, радостно прокричала:

— Орест Петрович, мы уж тут с ног сбились. Ну, теперь все в порядке, связь налажена. Диктуйте, я готова.

На этих словах ее прервал возмущенный спец. корр.:

— Не звоните и не мешайте работать! — и в трубке раздались короткие гудки.

Эта фраза вошла в анналы «Советского спорта» и передавалась из поколения в поколение, как и другой шевцовский перл:

— В молодости у меня было прозвище Баран. — И, как сказал бы наш будущий главный редактор Николай Семенович Киселев, «ничтоже сумятиша», Орест Петрович пояснил: — У меня с детства волосы кучерявые.

Но о прозвище я так, к слову, для общей характеристики одного из наших боссов. До его приезда из Скво-Велли вопрос: над чем мешала работать там редакция человеку, который командирован, чтобы сообщать читателям газеты об Олимпиаде? — оставался открытым. Между тем все оказалось проще простого:

— Над организацией общекомандной победы наших олимпийцев. Я был членом штаба по связи, и ко мне стекались сведения о ходе командной борьбы. — Шевцов говорил тоном школьного учителя, вынужденного объяснять непонятливым первоклассникам азбучные истины.

На Олимпиаде был еще журналист «Советского спорта» Игорь Немухин — он купил туристическую путевку, которая обошлась ему в полугодовую зарплату. Редакция обещала, что компенсирует часть расходов гонорарами за отчеты о состязаниях лыжников. После каждого дня этих состязаний Игорь допоздна корпел над статьей, переписывал ее от руки начисто, рано утром становился на лыжи и доставлял свой труд Шевцову. Тот просматривал, хвалил, иногда добавлял, что редакция работой Немухина довольна, и отпускал с миром.

Легко представить себе, в какое уныние пришел Игорь, когда узнал, что «вдохновитель и организатор олимпийской победы» ни одной его строчки в газету не передал и таким образом толкнул его в финансовую пропасть.

Зато сам спец. корр. полностью получил гонорар за каждое слово, написанное не им, но опубликованное за его подписью. Он, должно быть, счел, что это справедливая награда за его деяния на благо советского олимпийского движения.

К тому времени я не прослужил в «Советском спорте» и полутора лет. Поездка Шевцова открыла мне глаза на то, что заграничная командировка журналиста у нас — то же, что всякая синекура: она не влечет за собой никаких обязанностей, но сулит, помимо возможности поглядеть мир, хорошее вознаграждение в советских деньгах и валюте.

Не все служебные поездки за рубеж доставались начальству. Их, этих поездок, было больше, чем начальства, а по тогдашним правилам человеку, даже, как Шевцов, номенклатурному, нельзя было выехать в командировку за пределы страны чаще раза в год. Так что главный, его заместители, члены редколлегии, парторг, председатель месткома снимали сливки. Рядовой люд получал остатки с барского стола.

К «остаткам» относились страны Восточной Европы, Куба, Китай, Монголия. И звучало: «Был в командировке в Венгрии» не так гордо, как «вернулся из США», и качественным товаром в братских странах не очень-то разживешься, и валюта сомнительная. Зато слова «Нью-Йорк», «Монреаль», «Мадрид», «Лондон», «Париж» вызывали у начальства те же эмоции, что слово «Бобруйск» у детей лейтенанта Шмидта. Пожалуй, самой желанной была Испания: с ней у СССР отношения порваны, там правит заклятый враг генерал Франко, значит, туда отправляют абсолютно проверенных и доверенных. Послали в Мадрид, как штамп поставили: «свой».

Съездить за кордон было заветной мечтой каждого спортивного журналиста. Во-первых, очень уж заманчиво оказаться там, куда закрыт доступ для 95 процентов

соотечественников. Во-вторых, профессия требует присутствия на турнирах высшего класса, вроде чемпионата мира. В-третьих, важно убедиться самому и убедить своих шефов, что ты «выездной» — нет за тобой хвостов и грехов вроде родственников за границей. В-четвертых, лестно увидеть свою статью, под которой указано, откуда она передана.

Была, правда, тут и сомнительная сторона — на каждого, кому разрешали съездить за кордон, падало подозрение окружающих: не сотрудник ли КГБ, если не на жалованье, то на общественных началах? Подозрение основательное: все делегации были напичканы стукачами — главным образом, доброхотами, надеявшимися, что донос станет лишним доказательством их лояльности и облегчит следующий выезд. О наличии стукачей все знали уже хотя бы потому, что любое, даже шепотом и в шутку произнесенное в поездке слово, допускающее двусмысленное толкование, становилось известно заместителю руководителя делегации.

То, что соответствующие органы имеют в каждой группе отбывающих за рубеж свои глаза и уши, не очень-то и скрывалось. Зачем? Пусть люди знают, что за ними следят, и не распускаются, не болтают лишнего и вообще соблюдают осторожность. На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Зам руководителя делегации — не просто должность, это явление, институция, порожденная системой. Подозреваю, что таких никогда не было и нет ни в одной стране, кроме СССР. Эта фигура, никем из отъезжающих раньше не виденная, возникала у трапа самолета или дверей вагона за полчаса до отправления. Все делали вид, что не догадываются, кто он, из какого учреждения и зачем здесь находится. И сам он не делал из этого военной тайны, хотя и не представлялся.

Помню — это было во время чемпионата Европы по баскетболу 1961 года в Белграде — я спросил такого вот зама, почему его не видно на матчах советской команды.

— Да у меня тут других дел по горло, — просто ответил он. Имени этого человека я не помню. За глаза его и всех его коллег звали Василь Василич — кличкой, сохра-

нявшейся за ними многие десятилетия. Когда я был на Зимней Олимпиаде в Калгари, меня в пресс-центре радостно приветствовал Евгений Зимин, известный некогда хоккеист, ставший телекомментатором. Удивленный его беспечностью — пора в жизни России была неопределенная, — я посоветовал Зимину не афишировать свои дружеские отношения с эмигрантом, тем более сотрудником подрывной радиостанции «Свобода».

— Пустяки, — ответил он. — Наш Василь Василич хороший парень, мы с ним в одном номере живем.

Итак, стукачи, Василь Василичи, перспектива самому прослыть их товарищем по профессии — это были столь же малоприятные, сколь и обязательные спутники посещения гражданами СССР иностранных государств, будь то служебные командировки или туристические поездки. Но мечта попасть за границу от этого не ослабевала.

«Желающие поехать в Рим на Летнюю Олимпиаду, записывайтесь у Маши из бухгалтерии» — прочитал я на доске объявлений и пошел к счетоводу Маше, которая была техническим секретарем месткома.

Надежд на успех этого предприятия я не питал. Было бы слишком большой удачей попасть, пусть всего на полторы недели, в Италию. Но в таких случаях на ум приходят вечные истины типа: «чем черт не шутит» и «попытка не пытка». Помимо этих, у меня был дополнительный аргумент: за запись денег не берут.

Кроме меня, в редакции записалось еще трое. Но у них были передо мной преимущества: один, мастер спорта по водному поло, уже бывал за границей, другая давно работала в «Советском спорте», третий возглавлял отдел. К тому же никого из них не беспокоил пункт №5 в анкете. Но — на удивление себе и другим — я, как и они, не получил отказа ни в одной инстанции, которые стояли на пути выезжающего.

Первая из этих инстанций — так называемый «треугольник» в своей организации: требовалась производственная характеристика за подписями руководителя учреждения, председателя месткома и секретаря партбюро.

Обязательная характеристика — одна из иезуитских затей, на которые были столь горазды власти. У началь-

ства всегда был в распоряжении жупел — угроза резолюции: «воздержаться от выдачи характеристики». Пенять не на кого: решение коллективное.

Пусть называлась характеристика «производственной», оценка деловых качеств занимала в ней последнее место. На первое ставились моральная устойчивость и высокая идейность. Будто тебя не работать отправляли, а давали путевку в рай.

Сестра Семена Аркадьевича Гуревича — того самого, которому я обязан поступлением в «Советский спорт», — то ли до, то ли сразу после революции эмигрировала из России и оказалась в Израиле. С братом она, понятно, не переписывалась, и тот ничего не знал о ее судьбе. После более чем полувековой разлуки она каким-то образом разыскала Гуревича и прислала ему оформленное по всем правилам приглашение в гости.

Производственная характеристика потребовалась и тут. Я, в то время «и.о.», должен был являться на редколлегиях, так что присутствовал при этом спектакле.

Гуревичу, старшему из всех бывших в кабинете главного редактора, а по возрасту — пенсионеру, не предложили сесть. Он стоял, отвечая на вопросы, словно подсудимый. Вопросы рождались мучительно. Гуревич был идеальный работник, педантичный и исполнительный, ветеран «Советского спорта», обошедшийся без единого взыскания.

В конце концов, тема нашлась: почему он не писал в анкетах о наличии родственников за границей? Он объяснил, что не мог и не должен был писать о человеке, не имея представления, жив ли тот. Воцарилось молчание. Затем кто-то посоветовал Гуревичу не торопиться ехать в Израиль, где антинародный режим и где власти проводят враждебную по отношению к нашей державе политику. Был и другой совет: если так соскучился по сестре, пусть пригласит ее в гости. Третий выступавший внес предложение: воздержаться от выдачи характеристики.

Тогда позволил себе выступить я.

— Нас ведь не просят, — попытался я перевести дискуссию на рельсы логики и здравого смысла, — решать, давать или не давать производственную характеристику

Гуревичу. Нам предлагается ее дать. Не нравится вам, как он работает, дайте плохую.

На голосование поставили два предложения. Первое было принято единогласно («и.о.» права голоса не имел). Смирный Семен Аркадьевич обжаловать резолюцию не стал. Да и кому жаловаться?

Но случай с Гуревичем — нетипичный. Внутри редакции обошлось обычно без осложнений: решение, кого посылать, принималось заранее, и выдача характеристики превращалась в формальность.

Наиболее унижительной была процедура во второй инстанции. Раз в неделю существовавшие при райкомах партии комиссии, которые назывались выездными, утверждали характеристики, выданные учреждениями. В этот день сборище в коридоре у дверей кабинета первого секретаря райкома напоминало толпу студентов у аудитории, где сидит экзаменатор. В ожидании вызова два-три десятка людей нервно переступали с ноги на ногу. Все держали в руках газеты, брошюры, листки со шпаргалками.

В кабинет вызывали по одному. Там во главе длинного стола восседал районный самодержец, а по обеим сторонам от него члены комиссии — персональные и обыкновенные пенсионеры.

Эти пожилые люди томились дома от безделья. Чем меньше внимания и уважения оказывали им домочадцы и соседи по квартире, тем большей гордостью переполняло их приглашение в комиссию, где есть возможность покуражиться в свое удовольствие, с тем большим рвением отвечали они на оказанное партией доверие. Как голодные дворняги на кусок хлеба, набрасывались они на очередную жертву — занятого, уставшего после рабочего дня человека. И обрушивали на него лавину неожиданных и бессмысленных вопросов. Помню, меня спрашивали:

— Назовите основные цифры пятилетнего плана.

— Чему был посвящен последний пленум ЦК КПСС?

— Кто секретарь ЦК компартии страны, в которую вы едете?

— Что сказано об этой стране в первомайских призывах ЦК КПСС?

— Сколько зерна собрано в СССР и насколько этот урожай превысил плановые задания?

Правда, довольно быстро пришедшая известность (как ко всем, писавшим о футболе и хоккее) впоследствии избавила от этих idiotских допросов. Комиссары, узнав, кто я, интересовались составом отбывающей сборной, силой противников, моими отношениями с тренерами и проявляли тут себя людьми осведомленными. Завершалась беседа обычно напутствием: «Передайте ребятам, что душой мы с ними. Будем ждать вас с победой».

Словом, я отделялся легким испугом и потерянным временем. А были среди явившихся на комиссию и такие, кого отправляли на переэкзаменовку. Им объясняли: «Представлять нашу великую страну за границей должен политически грамотный человек. Подготовьтесь как следует и приходите через неделю».

Перед третьей инстанцией пути командированных и туристов расходились. Первым заказывался пропуск в здание ЦК КПСС. Там в специальном помещении им вручали инструкцию о поведении советских граждан за границей, брали подписку о том, что они с этим документом ознакомились, и отпускали. Вторые получали общий инструктаж в обкоме и шли в гостиницу «Метрополь» выкупать свои путевки. Для них это был самый волнующий момент. Кассир сверялся со списком и некоторым сообщал, что их имен в нем нет. Это означало, что КГБ их в последний момент вычеркнул по одному ему известной причине. Выяснить, по какой, было бесполезно. Обычно для таких вот забракованных эта попытка становилась последней.

У меня она сошла гладко. И летом 1960 года я, в числе еще нескольких сотен счастливых, приземлился в римском аэропорту. Впечатление от первой зарубежной поездки усилилось благодаря тому, что незадолго до путешествия в столицу Италии мне пришлось слетать в противоположном направлении и познакомиться с другой столицей — Бурятии. Было бы грешно не упомянуть об этом визите.

Проказница-судьба вновь привела меня на военную службу. То ли министр обороны счел, что на первых сбо-

рах, под Москвой, я не вполне переквалифицировался из пехотинца в ракетчика, то ли все решил слепой жребий, но я и еще 600 выпускников гуманитарных вузов Москвы были вызваны в районные военкоматы и получили приказ 5 сентября 1959 года явиться с вещами на Ярославский вокзал к поезду Москва — Владивосток. Со своей работой и семьями мы распрощались на три месяца.

Дорога пассажирским поездом от Москвы до Улан-Удэ в те годы занимала шесть суток. Этого срока хватило для того, чтобы 600 лиц среднего возраста — филологи, литераторы, юристы, бухгалтеры, журналисты, философы, кинорежиссеры, историки, географы превратились в сброд небритых, пахнущих потом, с помятыми от долгого безделья физиономиями босяков.

Это предприятие было в духе страны победившего социализма, где у чиновников нет привычки считать деньги налогоплательщиков, а тем недоступен контроль над тратами государства вообще, а тем более — проходящими по статье «расходы на оборону». Три месяца наши семьи получали в учреждениях, которые мы временно оставили, половину наших зарплат. Нас это время кормили за государственный счет и давали по 80 копеек в сутки на мелкие расходы. И все ради того, чтобы в отчет о достижениях на ниве укрепления военной мощи страны внести графу о том, что противовоздушная оборона пополнилась новым отрядом специалистов.

Конечным пунктом нашего вояжа был не сам Улан-Удэ, а станция Дивизионная в 30 км от него. Там находился учебный центр повышения квалификации офицеров, управляющих ракетами средней дальности.

Кроме нас, размещенных в двух казармах, размерами напоминавших Манежную площадь, в центре обучались представители дружественных армий — румыны, монголы, албанцы, венгры, поляки. Нам и им, окончившим в своих странах военные академии, одни и те же преподаватели — полковники и подполковники, не представлявшие себе глубины нашего невежества в точных науках, — читали одни и те же лекции.

С тех пор минуло почти 40 лет, но и теперь я иногда вижу лагерь под Улан-Удэ в ночных кошмарах. В октябре

ударили 30-градусные морозы, а казармы почти не отапливались. Нас поднимали в шесть утра и выводили из помещения на зарядку без шинелей. Потом было все, что выпадает на долю солдата: физическая и строевая подготовка, стрельбы, тактические учения. Классам отводилась вторая половина дня, когда главной заботой слушателей была неравная борьба со сном.

В заключительный день, 5 декабря, нас по очереди вызывал в свой маленький кабинет начальник сборов полковник Шевченко. Каждого он предупреждал об уголовной ответственности за разглашение военной тайны, которую составляло все то, что нам преподавали на уроках, и каждый давал расписку, что осведомлен об ожидающей его каре за отсутствие бдительности.

Я понимал: для повторного прохождения курса меня не оставят, и позволил себе обратиться к отцу-командиру с заверением:

— Товарищ полковник, на меня вы можете положиться, как на каменную стену. Я, как Зоя Космодемьянская, даже под пытками тайну не разглашу. Так что подписку с меня брать необязательно...

— Рубин, — не чувствуя подвоха, наставительно сказал Шевченко, — за себя ручаться нельзя, себя никто, пока не оказался в положении Зои Космодемьянской, не знает.

— А я ручаюсь. Потому что я из того, что мне здесь три месяца талдычили, ровным счетом ничего не понял.

Сказал я это, чтобы хоть чем-нибудь отомстить за трехмесячные мытарства тем, кого олицетворял ни в чем не повинный полковник.

В ответ он протянул мне бумагу, в которой я расписался, и тихо проговорил:

— Можете идти...

До отъезда в Италию меня успели вызвать в райвоенкомат и вручить новый военный билет. Бывший младший лейтенант пехоты превратился в лейтенанта противоздушной обороны, командира взвода управления ракетами средней дальности. Хорошо еще, что лейтенанта не действительной службы, а запаса. Не для меня хорошо, для родины. С такими специалистами, как я и мои

однополчане, ей бы не выстоять в случае вражеских ракетных атак.

Не берусь живописать красоты вечного города и прочих мест за пределами СССР, где побывал. Для этого нашлись перья, с которыми мне тягаться не по плечу. Как сказал поэт, «И почище нас были витии...» Но в памяти сохранились происшедшие во время этих поездок встречи и эпизоды, о которых, думаю, стоит рассказать.

В Риме нас поселили за городской чертой, в пустовавшем летом общежитии монашек католического монастыря. Каждый из десяти дней пребывания туристической группы в Италии был спланирован заранее, в том числе экскурсии в Неаполь, Ассизи и Арещо. В этой программе были и посещения Олимпиады. Нам выдали билеты на открытие и на два дня турнира по классической борьбе, который никого не интересовал.

Между тем редакция ждала от нас репортажей. И я мечтал по приезде увидеть свое имя под этими репортажами. И не меньше — окупить гонорарами те 300 рублей, что уплачены за путевку.

Выход нашелся. От монашеской обители до пресс-центра, который находился на окраине, но внутри города, можно было добраться либо рейсовым автобусом, либо пешком. Автобус сразу отпал: не тратить же на дорогу все выданные на карманные расходы итальянские лиры, сумма которых была эквивалентна 13 американским долларам. Пришлось выбрать пеший способ передвижения.

После завтрака я, испросив разрешения представителя Интуриста, получил в столовой сухой паек в плетеной корзинке и отправился в пресс-центр, там предъявил свой «серпастый молоткастый», и мне помогли разыскать главного редактора «Советского спорта».

Его я обнаружил в комнате, служившей ему одновременно спальней и служебным кабинетом. Новоскольцев был в трусах и тенниске и, по московскому своему обыкновению, не вполне трезвый. В этом помещении, в этом наряде и в этом состоянии я потом заставал его ежедневно. На стадионы он не ходил, а выбирался из своего логова только на приемы и банкеты. Трудился за обоих живший в той же комнате другой спец. корр. газеты, за-

ведущий иностранным отделом Беник Гургенович Бекназар-Юзбашев. Новоскольцев любезно разрешил ему ставить под обширными публицистическими статьями о дружбе и мире две подписи.

Меня устраивала бездеятельность главного. Я убедил его на дневное время отдавать мне свое олимпийское удостоверение. Сначала он упирался, говоря, что разоблачение повлечет за собой высылку нас обоих из Италии, потом сдался: выпив, он всегда становился стговорчив.

Вооруженный красной книжечкой с фотографией Новоскольцева, я смело входил в автобус, развозящий журналистов по аренам, и ехал в «Палаццо делла Спорт», на чемпионат по боксу. Возвращался вечером, вручал хозяину его удостоверение и пешком тащился в монастырь.

Спали мы там на еще более жестких матрасах и узких койках, чем были в казарме учебного центра под Улан-Удэ, по восемь человек в комнате. Чтобы не тревожить сон усталых спутников, я писал свои отчеты в прихожей. Там находился и телефон, по которому мне рано утром звонила редакционная стенографистка.

Своих корреспондентов отправили в Рим все ведущие советские газеты, а также Всесоюзное радио и ТАСС. Но первую часть турнира по боксу посещал только я. И мне посчастливилось первым среди журналистов своей страны написать о величайшем боксере всех времен американце Кассиусе Клее, которому тогда было 18 лет и который позже принял мусульманство и стал Мухаммедом Али. На Олимпиаде он выступал в полутяжелом весе и на моих глазах легко разделался с Геннадием Шатковым. Его победу в финале над поляком Збигневом Петшиковским я уже не видел — срок пребывания нашей туристической группы в Риме к тому моменту истек.

До открытия боксерского турнира мне удалось побывать на экскурсиях в Ватикане, в трех городах Италии, но столь же неизгладимое впечатление произвело на меня посещение промтоварного магазина на улице Наполеона III, неподалеку от железнодорожного вокзала Термини. Этот адрес дал кто-то из бывалых туристов.

Магазин представлял собой средних размеров комнату, разделенную прилавком. Она была так набита людей-

ми, что каждый вновь пришедший отвоевывал себе место, вдавливаясь в толпу, как это делают пытающиеся проникнуть в переполненный трамвай. Но в отличие от населения трамвайного вагона, здешнее было настроено миролюбиво. Пришедшие копались в грудах товара, показывали друг другу выбранные вещи, обменивались советами. Уложив покупки, люди выбирались на свежий воздух, а их места занимали ждавшие на улице.

Я провел в этой давке примерно полчаса, за которые в магазин не зашел ни один человек, не говорящий по-русски. Только поездив по свету, я узнал, что такие базахолки — как и эта, без вывесок — есть во всех европейских столицах, куда ступала нога советского человека. Видно, особый нюх помогал первопроходцам обнаружить эти не то магазины, не то склады, где по бросовым ценам торгуют одеждой, на какую может клюнуть лишь гражданин страны, которая даже своих заграничников держит на положении нищих.

На свои валютные крохи я купил в этом складе-магазине пальто жене, плащ и свитер себе и какую-то мелочь восьмилетнему сыну. Видно, такие торговые заведения в западных странах родили некогда знаменитый анекдот об иностранце, который хотел выяснить, за чем выстроилась очередь на московской улице. Ему ответили: «Босножки выбросили». Взглянув на них, любопытный иностранец констатировал: «У нас такие тоже выбрасывают». Есть, правда, у этого анекдота слабость: жанр предполагает наличие гиперболы. А тут — сама жизнь, и никакого преувеличения.

Возвращаясь ежевечерне из «Палаццо делла Спорт», я проезжал коротенькую улицу в центре Рима, освещенную так, будто над ней сверкало солнце. И однажды попросил шофера автобуса для прессы выпустить меня на этой улице. Прежде я думал, что такие бывают только в голливудских фильмах. На широких тротуарах стояли накрытые столики. За ними сидела нарядная публика. Женщины были в платьях с большими декольте, с ожерельями, браслетами, перстнями, отражающими блеск уличных огней. Вдоль панелей медленно двигались открытые автомобили. Из раскрытых дверей кафе и ресторанов лилась музыка.

По приезде в нашу обитель я рассказал об увиденном Виктору Васильеву. У него загорелись глаза от желания поглядеть на эту сказочную роскошь. И в ближайший вечер мы побывали там вместе.

Мы прогуливались и довольно громко, не особенно заботясь о выборе эпитетов, обменивались впечатлениями. Как вдруг нас окликнул по-русски мужской голос:

— Приятно услышать в сердце Италии родную речь. Какими судьбами?

Задавший вопрос человек средних лет с бородкой радостно улыбнулся и представил свою спутницу помоложе. Мы объяснили: мы туристы, приехали на Олимпиаду писать о ней в газете «Советский спорт». Оказалось, что и они туристы. Мы поинтересовались, из какой группы они — тренерской, профсоюзной, турагентства ЦК ВЛКСМ «Спутник»?

— Мы без группы, путешествуем самостоятельно.

Мы никогда не слыхали, что есть в СССР такая разновидность поездок за границу — индивидуальный туризм, и признались в этом нашим новым знакомым.

— Нет, мы не из Советского Союза, — сказал мужчина. — Мы живем в Германии. Марина — жена редактора «Посева», я работаю в этом издательстве.

О существовании «Посева» писали советские газеты: лютей враг нашей страны, эмигрантская организация, существующая на средства иностранных разведок для того, чтобы засылать к нам шпионов и диверсантов, которые должны разлагать СССР изнутри.

Мы молчали, не ведая, что делать. Не бежать же на глазах всего честного народа. Мужчина, между тем, продолжал:

— Что вы здесь повидали? В домике Достоевского были? Неужели в вашей программе нет посещения этого места, мимо которого никогда не проходили приезжающие из России? Хотите, мы вас туда сводим? Дайте адрес, мы за вами заедем. И вообще, хорошо бы устроить встречу с вашей и другими группами. Мы бы рассказали друг другу много интересного.

Мы промямлили какие-то слова о том, что рады бы принять их предложение, да очень заняты, что сейчас

спешим в пресс-центр, что своего почтового адреса не знаем.

— Тогда в любое удобное для вас время позвоните нам по этому телефону, — предложила Маша, достала из сумки газету и записала на ней номер. Мужчина сказал:

— Газета «Посев». Заодно с нашим изданием ознакомьтесь. И, как профессионалы, свои замечания выскажете.

Мы бодро пообещали завтра же позвонить, попрощались и быстро, чтобы они нас не успели окликнуть, свернули за первый же угол.

— Что делать? — произнес державший в руке четырехполосный газетный номер формата известинской «Недели» Васильев. В эту минуту он напомнил мне так ярко нарисованного Маяковским жандарма, которому поэт предъявил свою «краснокожую паспортину»: «Берет, как бомбу, берет, как ежа, берет, как бритву. обоюдоострую. Берет, как гремучую в двадцать жал змею двухметроворостую».

Вообще-то ситуация, в которую мы попали, была предусмотрена инструкциями для выезжающих за границу. В них строго-настрого приказывалось о таких встречах немедленно доносить руководителю делегации и ему же передавать, не читая, всю найденную у себя в номере или врученную где бы то ни было печатную продукцию — книги, брошюры, периодику, листовки.

Вроде бы все проще простого. Однако — «гладко было на бумаге». Поступишь по инструкции, в Москве потребуют письменного объяснения, вызовут для уточнения деталей на Лубянку и, как обычно у нас, на всякий случай больше не выпустят за пограничную черту. И выбросить газету опасно. А вдруг эта пара — подсадные утки, устроившие спектакль для проверки нашей лояльности? Или кто-нибудь — олимпийский Рим в те дни был наводнен делегациями и группами из СССР, а значит, и «сопровождающими лицами» — видел, как нам вручали «Посев»? Тогда ярлыком «невъездной» не отделаешься.

Я был моложе, легкомысленней и, наверно, любопытней Васильева. Я взял «Посев» у него из рук, но едва раскрыл его, Виктор вырвал у меня газету, швырнул ее в урну и скомандовал:

— Пошли отсюда. И выкинули эту прогулку из памяти. Видно, он был прав: все обошлось.

В следующем, 1961 году я побывал за границей дважды. Сначала, тоже туристом, на первенстве мира по хоккею в Швейцарии, потом, уже в командировке, на баскетбольном чемпионате Европы в Югославии.

Говорят: паны дерутся — у холопов чубы трещат. А тут получилось наоборот. В один прекрасный день меня вызвали на редколлегию. Новоскольцев сказал, что решено направить меня в Белград с баскетбольной сборной, и тут же отпустил. Я был в полном смятении, не понимая, чему обязан такой честью. Мое недоуменье развеял вернувшийся от редактора зав отделом Васильев.

На том заседании, оказывается, делили пирог — заграничные командировки. Филатову — заместителю главного — достался кусок пожирней, Швейцария. Васильеву — зав отделом — более скромный, Югославия. И он, мужчина вспыльчивый, потерял самообладание. Резко заявил, что хоккей — это его, Васильева, епархия, а потому ехать в Женеву и Лозанну должен он. Возникла перепалка. Новоскольцев, никому ничего не объясняя, приказал секретарше позвать меня.

Васильев с Филатовым, два интеллигентных, расположенных друг к другу человека, несколько лет после той склоки не здоровались. Не очень ловко чувствовал себя и я, не по своей воле замешанный в этот скандалчик, который мог бы стать сюжетом для небольшого рассказа «О том, как поссорились Лев Иванович и Виктор Лазаревич». Я сказал Васильеву, что готов отказаться от первой в жизни заграничной командировки. Он умерил мой пыл:

— Ну и дурак. Меня теперь все равно не пошлют.

Но сначала была Швейцария. Тургруппа, в которую меня включили, была не простая, как в Италии, а специализированная, только для журналистов — с аккредитацией при пресс-центре, с приглашениями на обеды и коктейли, с экскурсиями для репортеров, освещающих чемпионат, с прочими радостями, которых лишены обыкновенные туристы.

Для меня поездка в Швейцарию еще была ценна тем, что сдружилась с замечательным человеком, Дмитрием Николаевичем Богиновым, о котором я рассказал в предыдущей главе.

А вот несколько характерных деталей из быта нашей группы.

Советский посол — то ли Колесников, то ли Кожевников, — разжалованный и отправленный в швейцарскую ссылку председатель Госплана, пожелал познакомиться с московскими журналистами. Мы приехали к нему в Берн. Посол пригласил нас поудобнее рассаживаться в его обширном кабинете, поднялся из-за стола и совершил обход помещения. Он проверил, хорошо ли затворена дверь, плотно задраил окна шторами, зажег свет и включил приемник, из которого полилась громкая музыка.

— Так и живем, — прокомментировал он свои действия. — Все просматривается и прослушивается. Кстати, кто прикреплен к вам здешним туристическим агентством?

Ему ответили, что зовут этого человека Пьер, что он высокий, худой, пожилой, прилично говорит по-русски.

— Знаю, знаю, — прервал посол. — Матерый шпион, майор разведки. А кто водит автобус?

Оказалось, послу известна и эта личность, имени которой назвать никто не мог.

— Хитрая лиса. Тоже имеет офицерский чин.

— Но он не говорит ни слова по-русски...

— Прикидывается. Советую в автобусе побольше молчать. И не ходить в одиночку по улицам. И ни в коем случае не оставлять в номерах фотоаппараты — все пленки будут засвечены.

Так, вооружив нас до зубов наказами, посол тепло пожал каждому из визитеров руку. На меня он произвел впечатление маньяка.

Поселили нас в женевском отеле «Якорь». Отличался он от других гостиниц, которыми наводнен этот город, безалкогольным рестораном. Бдительный Интурист опасался, как бы мы не спились от тоски по дому. Напрасные это были опасения. Не знаю, какие изменения в

психологию советского гражданина, попавшего за рубеж, внесла перестройка, но до нее он в чужих странах спиртное не покупал, а, напротив, при любой возможности продавал привезенное с родины. И уж коли что-то оставалось, выпивал у себя в номере, предпочтительно в одиночестве.

Питались мы в ресторане при отеле. Нас, впрочем, это не очень-то радовало. Во время и той, и следующей подобных поездок я убедился: главная задача представителя Интуриста и назначенного старостой группы лица убедить принимающее агентство в том, что особенности репортерской работы не позволяют нам являться на обеда в гостиницу и что самое правильное заменить их наличными. Иногда маневр удавался, иногда нет. В Женеве мы однажды, придя вечером в свои номера, обнаружили на кроватях по дюжине шоколадных плиток. Их выдали, чтобы журналисты не умерли с голоду, если опоздают к обеду.

Кормили в «Якоре» роскошно. На обед подавали бифштексы, венские шницеля, бефстроганов, жаркое. Желающие получали добавки. Недоволен кухней был лишь наш Василь Василич. Он страдал язвой желудка, и для него эти мясные разносолы были тяжелы. Выразил он свое недовольство директору ресторана в дипломатической форме через переводчика:

— Наш коллектив любит рыбу.

Ни один мускул не дрогнул на лице директора. То ли он начитался всякой чуши о том, что в стране коммунизма коллективные мужья, жены, дети, жилища — обычная вещь, и подумал: почему бы не быть в ней и коллективной любви к рыбе? То ли, как всякий работник общественного питания в Швейцарии, был вышколен и умел сохранять невозмутимость, выслушивая любые требования клиентов.

Так или иначе, рыбу он в наш рацион включил.

В Швейцарии я встретил весну, в Югославии ее проводил. Поездка в Белград наделила меня опытом, необходимым каждому советскому командированному той эпохи. В выездном отделе Всесоюзного спорткомитета меня спросили, согласен ли я в Белграде жить вместе с ко-

мандой. Я по наивности согласился. Лишь на месте выяснилось, насколько легкомыслен был этот шаг.

Поместили нас в спортивном центре Кошутняк, вроде нашей олимпийской базы в Новогорске. Она тоже расположена рядом со столицей, еще ближе, чем новогорская к Москве, километрах в десяти. Но из Кошутняка в Белград общественный транспорт не ходил. Единственный способ — автобус, закрепленный за нашей сборной. Таким образом, я оказался отрезан от Белграда.

Но это еще было полбеды. Комитетский чиновник не объяснил мне, что жить с командой значит делить с ней не только кров, но и стол.

И за этот стол у тебя еще до отъезда, в Москве, вычитают две трети суточных. Если учесть, что выезжающим в Югославию полагалось по три доллара на день (в местной, конечно, валюте), станет понятным, в сколь бедственное положение я попал.

Зато в Югославии я впервые имел счастье близко познакомиться с тем, как работает большая советская партийно-комсомольская пресса. На первом матче сборной СССР ко мне подошел и представился специальный корреспондент «Комсомольской правды» Павел Михалев. Мы, почти ровесники, быстро сошлись. Он сразу мне понравился: легкий в общении, умный, наделенный чувством юмора человек. Узнав, что я прикован к Кошутняку, Павел предложил, чтобы после Игр я остался ночевать у него в гостиничном номере.

— Правда, там всего одна узкая кровать, но это не беда, — сказал он. — Пока ты пишешь отчет, я сплю. Потом меняемся местами.

Так мы и делали. А по вечерам развлекались (мне удалось продать испанскому журналисту фотоаппарат «Турист»). Однажды даже посетили бар со стриптизом. Зрелище, надо сказать, было убогое. Малопривлекательная девица постепенно сбрасывала с себя в танце предметы туалета. Завершал номер апофеоз: под барабанную дробь она растянула лифчик, отшвырнула его, покружилась на одной ноге и убежала за кулисы.

29 апреля наши играли со сборной Испании, страны, с которой у СССР не было дипломатических отношений.

Москва приказала отменить обычный ритуал обмена выпелами: не вручать же представителям враждебной державы кумачовый символ Страны Советов, на котором изображен наш герб.

Но что-то подарить сопернику при рукопожатии перед игрой — традиция, которую нарушить нельзя. И глава советской делегации, председатель Федерации баскетбола СССР Семашко (кстати, внучатый племянник народного комиссара здравоохранения ленинских времен) нашел выход. Он послал массажиста в цветочный магазин, и тот вернулся с дюжиной крошечных букетиков алых гвоздик. Их и вручили испанцам. Все получилось чинно и корректно.

Наши выиграли матч легко, с разницей в 18 очков. Как раз в тот вечер мы с Пашей побывали на стриптизе, а ночью в его номере сочиняли по очереди свои репортажи. После завтрака Павел предложил прочитать друг другу написанное. У меня был обычный спортивный отчет, с анализом игры, с показателями отдельных игроков.

Естественно, за без малого сорок лет, прошедших с того матча, я забыл какие-то подробности статьи Михалева. Но основную канву и развитие сюжета буду помнить до конца дней своих.

Героем его очерка стал испанский баскетболист по имени Хуан. Фамилия тоже приводилась — Павел взял ее и имя из программки. По версии Михалева Хуан родился в Мадриде за год или два до прихода к власти генерала Франко. Мать его работала на фабрике, отца он едва помнит.

На матч с нашими Хуан шел, проникнутый ненавистью к «красным», которую воспитывала в нем с младенчества фашистская пропаганда. Когда команды выбежали на площадку, он с удивлением увидел, что противники — симпатичные молодые люди, улыбочивые и дружелюбные, ничем не отличающиеся от него, Хуана.

Идя после приветствий к своей скамейке, он вдруг обнаружил у себя в руке букетик красных гвоздик. Откуда он? Ах да, его подарил Хуану один из русских парней. И в этот момент перед героем очерка возникла фигура того самого угрюмого человека в полувоенном синем

френче, который появился в команде перед отлетом из Мадрида у трапа самолета и сопровождал их повсюду в Белграде. Теперь этот тип подходил к игрокам, злобно вырывал у них гвоздики и бросал их в урну. Отобрать букетик у Хуана он не успел: тот положил его в свою спортивную сумку.

Уже поздно вечером, у себя в комнате, Хуан разбирал вещи в сумке, и ему попался на глаза букетик. Алый цвет гвоздик воскресил в нем какие-то смутные детские воспоминания. Он напряг память, и перед ним, сначала размытым планом, а потом все отчетливее, стали всплывать картины: по улицам Мадрида маршируют люди с красными знаменами и поют Интернационал... Вой сирен и разгоняющие демонстрацию полицейские с дубинками... Ночью в их квартиру врываются лица в штатском и уводят отца... С тех пор Хуан отца не видел. Он пытался расспрашивать мать, но та молчала.

Вот, оказывается, что это были за ребята, подарившие ему гвоздики: они из страны, где победили единомышленники его отца и где воцарилась власть рабочих и крестьян. Хуан пожалел, что не смог позвать каждому из них руку и сказать, что душой он с ними.

Такое произведение создал мой новый приятель Павел Михалев. Его могучая фантазия даже перенесла типичный персонаж отечественной действительности — Василь Василича — на испанскую почву. Я слушал и не верил своим ушам.

— Паша, — дослушав, спросил я. — Зачем все это?

— Как зачем? У нас твой отчет отправили бы в корзину. Ты забываешь, что мы — «Комсомольская правда» и материал этот идет в первомайский номер. У нас свои традиции.

— Да, но в Испании фашизм. Ты представляешь себе, что сделают с Хуаном, если там кто-нибудь прочитает твой очерк? Ты же с этим парнем даже не поговорил, ты все за него придумал. А ему, может, за твою выдумку жизнью отвечать.

— Глупости. Кто в Испании этот номер увидит? Там и понятия не имеют, что есть на свете «Комсомольская правда».

В день выхода на работу я пересказал в своем отделе историю рождения Пашиного творения. Все поохали, поохали, но кто-то уверенно заявил, что читал первомайскую «Комсомолку», в ней такой статьи нет. Я поспешил в редакционную библиотеку. Статьи и в самом деле не было. Я был одновременно и рад (выходит, возвел Паша напраслину на советскую печать), и смущен (факты, изложенные мной, не подтвердились).

Прошел год и наступил новый Первомай. По привычке я просматривал утром спортивные рубрики центральных газет и увидел на четвертой полосе «Комсомолки» большой заголовок: «Букетик алых гвоздик». Несколько строчек под ним были набраны черным шрифтом: «Перебирая старые блокноты, я обнаружил в одном из них засушенный цветок гвоздики. И вспомнил...» Дальше шел очерк, который Паша прочитал мне в своем номере белградской гостиницы.

Наши приятельские отношения с Павлом Михалевым сохранились и сейчас. Он стал крупной фигурой в отечественной журналистике, взобрался почти на самый верх служебной лестницы, стремительно промчавшись по ее ступеням: литсотрудник спортивного отдела «Комсомолки», редактор этого отдела, секретарь партбюро редакции, заведующий международным отделом, соб. корр. в Англии, в США.

Попав в Нью-Йорк уже в должности заместителя генерального директора ТАСС, он приходил ко мне в гости. Мы пообедали, выпили, вспомнили былое. Воскрешать в его памяти статью о Хуане я не пытался. Да он, скорей всего, и не вспомнил бы. Советская международная журналистика, в которой преуспел Михалев, вся покоилась на таких статьях.

На хоккейных чемпионатах в Тампере и Любляне я был среди избранных — тех, кого газеты командируют за государственный счет. По сравнению с сослуживцами из «Советского спорта», которым удалось попасть в тургруппы, я чувствовал себя миллионщиком. За две недели пребывания вне родной страны мне полагались суточные из расчета 10 долларов в Финляндии и 3 в Югославии. Получалось целое состояние.

Вообще-то предназначались суточные для определенных целей — чтобы их обладателю было на что поесть и оплатить билет в городском транспорте. Но фактически ни на то, ни на другое командированные за границу денег не тратили.

Наши иностранные коллеги не скрывали удивления при виде тяжелых чемоданов, с которыми являлись мы в отели для прессы. Они не догадывались, что в этих чемоданах, сумках, баулах мы тащили двухнедельные запасы еды, которые состояли в основном из продуктов, не поддающихся быстрой порче: копченой колбасы, сыра, бульонных кубиков, черных и белых сухарей, консервных банок с частичком в томате, чая, растворимого кофе. Во всех чемоданах хранились кипятильники. А в некоторых, чьи владельцы не сумели раздобыть этот нагревательный прибор нужного напряжения, еще и трансформаторы.

В гостиницах, где мы останавливались, по вечерам отключалось электричество. Являлся монтер, менял вылетевшую пробку, и лампы снова вспыхивали в номерах. Но на следующий вечер все повторялось. Тщетно электрики пытались выявить причину этого рецидива. Они и предположить не могли, что это изголодавшиеся за день члены советского журналистского корпуса, едва переступив порог своих номеров, одновременно включали кипятильники.

Наши пожитки не были бы так тяжелы, если бы не бутылки с «Московской» и «Столичной», которую везли все, включая непьющих. В Финляндии, где потребление спиртного ограничено законом, водкой торговали из-под полы на вокзалах, главным образом цыгане, рискуя попасть за решетку. К ним присоединялись самые отважные из наших, в основном фоторепортеры.

Однако большинство тащило спиртное не корысти ради. Общение на турнирах с коллегами необходимо в нашей профессии. Все мы заняты поисками новостей, которые не успели раскопать соперники из других газет. Источники такой информации — сотоварищи по профессии из других стран. С ними происходит обмен новостями. Происходит по старой традиции там, где приятельство завязывается, а языки развязываются быстрее все-

го, — в пресс-баре. Потому там многолюдно в любой час суток. И сидит народ за стойками и у столиков парочками, и гул голосов ровен, негромок и несмолкаем.

Мы, советские репортеры, тоже сживали за столиками и у стоек. Но только в качестве приглашенных. Нельзя, однако, быть вечным гостем. Долг платежом красен. И при первой возможности мы заманивали иностранцев в свои номера. Тут же на столе расстилались листы бумаги, из чемодана извлекались кильки, колбаска, начавшая черстветь хлебная буханка и откупоривалась бутылка с теплой водкой.

Обходились мы и без транспортных расходов. На стадион возил журналистов автобус, по своим личным делам мы ходили пешком на любые дистанции.

Весной 1966 года меня пригласил к себе в кабинет Мартын Иванович Мержанов, редактор еженедельника «Футбол», приложения к «Советскому спорту». У него я застал Филатова. Их обоих редакция посылала на чемпионат мира по футболу в Англию. Мержанов сказал, что есть в группе, созданной ВЦСПС для провинциальных профсоюзных деятелей, свободное место, и они с Филатовым хотели бы, чтобы его занял я. Они объяснили, что чемпионат будет проходить в нескольких городах, что работы предстоит много и им нужна моя помощь. Путевка не дешевая — стоит на десятидневный срок 400 рублей, но, сказал Филатов, гонорарами с лихвой окупится. Я согласился без колебаний. Англия, футбол, первенство мира — этим все сказано.

Львиную долю срока пребывания в Англии я со своей группой, в которую входили члены профкомов и передовики с заводов Сибири, Урала, Средней России, провел в городе Сандерленд, где играла матчи предварительного турнира советская сборная. Выдали нам по 12 фунтов стерлингов на брата. На стадион возили автобусом. В дороге мои спутники обсуждали цены на товары и удивлялись их нелогичности. Сосед по креслу, здоровенный мужик из Красноярска, сказал мне:

— Мохеровую шаль решил жене купить. Зашел в магазин прицениться. Оказывается, одна цена с бутылкой водки. Выходит, здесь шмотки даром? Или, может, на водку цены неподъемные? Ничего не пойму...

— А чего тут понимать? — вмешался другой работяга. — Все они делают со смыслом. Если бы у нас шаль стоила столько, сколько пол-литра, я бы еще подумал, что купить. А так и думать не о чем. На мохер и не глядишь — все равно не по карману.

Матчи в Сандерленде игрались раз в три-четыре дня. Когда их не было, я утром, позавтракав, уходил трудиться. Сам придумывал себе задания и аккуратно их выполнял. Сандерленд — город маленький, но наш отель отстоял в четырех-пяти километрах от каждого из объектов, которые я себе наметил, — от стадиона, где тренировалась сборная СССР, от гостиницы, где была резиденция вице-президента Международной федерации футбола Валентина Гранаткина, от другого отеля, где поселили надзиравшего за судьейством Николая Латышева.

Филатов с Мержановым томились от скуки и жаловались на отсутствие в Сандерленде музеев и театра. Филатов захватил с собой в Англию рукопись книги и целыми днями работал над ней. Я же не скучал, озабоченный тем, как оправдать расходы на поездку.

Советская команда вышла в четвертьфинал, и наши дороги, мои и корреспондентов, разошлись. Они последовали за сборной туда, где ей предстоял следующий этап, кажется в Ливерпуль, а нас, профсоюзных туристов, увезли в Лондон. В нашей лондонской программе не было посещения футбола. В нее входили экскурсии в университетский город Оксфорд и на родину Шекспира в Стратфорд.

Упомянул я об этом вот к чему. Для меня так и осталась загадкой причина этой трогательной заботы советских туристических бюро о повышении культурного уровня тех, кого они отправляли за границу. В данном случае — профоргов с неполным средним образованием, которые сделали серьезные бреши в своих скромных семейных бюджетах, чтобы посмотреть футбол.

То же самое было с туристами в Италии и Швейцарии, Интурист называл эти поездки целевыми, т.е. рассчитанными на людей, которые по роду деятельности или из любви к спорту стремятся посетить спортивные соревнования. Поездки и приурочены ко времени, когда

эти соревнования проходят. Нам же всюду подсовывали посещения мест, которые к спортивному событию никакого отношения не имеют. Народ ропщет, но подчиняется распорядку. Во-первых, из опасения, что Василь Василич напишет донос. Во-вторых, от угрозы помереть с голоду: денег на еду у туриста нет, а общие обеды и ужины назначаются в тех городах, куда группа прибывает на экскурсию.

И никаких коммерческих целей Интурист в данном случае не преследует. Ему дешевле купить каждому билет на стадион, чем везти его, как говорится в народе, за сто верст ши хлебать.

Конечно, заграничный туризм советских времен — явление, которое касалось микроскопической части общества. Хватало в те годы куда более животрепещущих проблем. Но хотя эта была сама по себе локальна, она отражала общие тенденции. Каждый день и каждый час перед советским гражданином, чем бы он ни занимался и к чему бы ни стремился, возникали неожиданные и необъяснимые препятствия.

Попав в Америку, я долго не мог привыкнуть к тому, что любое мое не выходящее за пределы разумного желание, если я в состоянии заплатить, выполняется легко и просто. Что здесь не бывает закрытых на учет магазинов. Что в химчистку можно пойти после окончания рабочего дня. Что деньги в банке выдаются круглосуточно. Что туристские программы выбираются по собственному усмотрению. Что в магазин за продуктами не надо идти с авоськой — там тебе бесплатно дают большие пакеты из пластика. Что дверь в поездах метро захлопывается только тогда, когда все желающие вошли в вагон. Что если нет у тебя монеты для телефона-автомата, можно позвонить бесплатно, за счет собеседника.

Из таких вот тысяч мелочей состоит наше существование. В Америке этих мелочей не видишь — они не превращаются в неудобства. Приезжая в Россию теперь, я убедился, что новые условия мало что изменили в этом отношении, хотя нынешние россияне имеют в основном дело не с государством, а с частным сектором. Но, видно, сознание, что командует не тот, кто платит за

услуги, а тот, кто эти услуги предоставляет, вошло в генетический код граждан бывшего Советского Союза. И они легко мирятся с любыми неудобствами.

Зато опыт советской жизни, в частности и туризма, облегчил мне ответ на один, я бы сказал, глобальный вопрос, возникший передо мной в эмиграции. Америка наводнена беженцами со всех концов света. Но ни одна эмиграция не осваивается в ней так быстро и уверенно, как наша, из России и прочих бывших республик СССР, чей строй и весь уклад жизни глубоко чужды американским. Я думаю, происходит это и от приобретенной с младенчества привычки преодолевать бесконечные и по большей части искусственные барьеры, решать надуманные головоломные задачи, которые воздвигало перед советским человеком государство. Я использую слово «ставило», т.к. теперь бываю в России наездами. Однако уверен, не ошибся бы, употребив вместо прошедшего настоящее время.

Впрочем, ни меня, ни моих спутников по заграничным вояжам эти мысли тогда не обременяли. Мы пребывали в уверенности, что все устроено так, как следует, и иначе быть не может. Лично я был счастлив от ощущения, что нахожусь в Англии, о которой столько читал и землю которой теперь топчу подошвами своих ботинок.

В Лондоне, как и в Риме, нас тоже поселили на далекой окраине, и тоже в общежитии монашек. По утрам я получал в столовой корзинку с сухим пайком, добирался вместе с группой до центра. Все уезжали, а я оставался в окружении толпы, говорившей на языке, которого не знал, смутно представляя, что день грядущий мне готовит.

Как известно, кто ищет, тот всегда найдет. В лондонском пресс-центре я неожиданно-негаданно встретил своего старого друга Леву Костяняна. Его командировало на чемпионат Агентство печати «Новости» и он устроился в квартире своего бывшего соученика, работавшего в Англии и уехавшего в отпуск. Соученик оставил Леве вместе с жилищем полный холодильник продуктов. Так решилась продовольственная проблема.

Костянян, правда, тоже не знал ни слова по-английски. Но свободно говорил по-португальски и немного по-

испански. И это обстоятельство позволило нам стать первыми и единственными в стране журналистами, которым удалось взять интервью у великого футболиста той поры — испанца Ди Стефано. Он приехал на чемпионат в качестве корреспондента и однажды оказался нашим соседом по ложе прессы. Тут-то мы с ним и побеседовали.

В монастырь я возвращался перед рассветом, не чуя ног от усталости, писал репортаж, принимал душ и снова отправлялся на охоту за новостями. И так — до отъезда в Москву, срок которого по воле Интуриста наступил на неделю раньше, чем окончился чемпионат.

Когда я появился в «Советском спорте», тогдашний редактор иностранного отдела Семен Близнюк сообщил:

— Ты один передал больше материалов, чем оба корреспондента вместе взятые.

Ни он, ни начальство повыше не скупилась на похвалы моей работе на заграничных турнирах. Я уже стал думать, что прочно вошел в обойму тех, кого отправляют в такие поездки без колебаний. Но мне еще только предстояло узнать, что «прочность» — не то слово, которое годится для характеристики этой обоймы.

В конце 1966 года «Советский спорт» получил очередное руководящее указание — опубликовать серию очерков о выдающихся советских атлетах. Я не считал себя очеркистом, однако мне давно хотелось написать о Борисе Майорове, которого близко знал, который нравился мне как игрок и как человек.

Очерк «Майоров против Майорова» имел в редакции успех, какого я не ожидал. Перед каждым Новым годом специальная комиссия во главе с признанным маэстро Станиславом Токаревым определяла лучшие материалы года по жанрам; проблемная статья, репортаж, очерк и т.д. Лауреатам вручались награды — венгерские ручки «паркер», ценные не сами по себе, а тем, что служили знаком признания журналистского класса. Именовались награды «золотыми перьями». Приз по разделу очерков достался мне.

При раздаче на собрании «золотых перьев» Токарев держал речь, в которой мотивировал выбор, сделанный комиссией. Мой очерк, оказалось, выделяется тем, что

образ героя дан в развитии. На этот вывод комиссаров навел один фрагмент:

Майоров после матча проходит сквозь строй восторженных болельщиков, а те воображают, как их кумир сейчас промчится в своей сверкающей «Волге» к новому дому на проспекте Мира и поднимется в недавно полученную просторную квартиру из трех комнат, где его, богатого и знаменитого, ждет молодая привлекательная жена. В глазах поклонников-мальчишек он — небожитель, для которого не существует неисполнимых желаний. А между тем он, капитан сборной, обласканный властями, кавалер орденов, больше всего на свете хотел бы вернуть то время, когда на него не давил груз обязанностей, налагаемых положением образцово-показательного гражданина, и он плевал в судей, дрался на скамейке запасных с братом Женькой, изгонялся с поля за грубость. Тогда, а не теперь он чувствовал себя счастливым и с радостью возвратил бы те годы.

Я еще не успел попробовать, хорошо ли пишет «золотое перо», как был вызван к Новоскольцеву. Туда же привели Токарева. Главный сообщил нам, что публикация очерка признана во Всесоюзном спорткомитете грубой политической ошибкой. Публично признавая, что крупные спортсмены зарабатывают деньги, на которые могут покупать автомобили и обставлять квартиры, мы вооружаем врагов, пытающихся обвинить советский спорт в скрытом профессионализме.

В комитете Новоскольцеву поставили на вид и велели послать на первенство мира по хоккею в Вену вместо меня, уже оформленного во всех инстанциях, моего сотрудника и тезку Женю Бируна. Отобрать у меня «паркер» главному не приказали. То ли потому, что он постеснялся доложить при выволочке у начальства о моем лауреатстве, то ли потому, что куплена была ручка на средства месткома редакции, не подотчетные комитету.

Ситуация, в которой оказались и Новоскольцев, и комиссия, выглядела настолько нелепой, что я даже не особенно огорчился, оставшись без поездки в Вену. Кстати, года через два ситуация эта почти повторилась, только в неловкое положение по моей вине попало лицо повыше шефа «Советского спорта».

Ведавший в журнале «Юность» информацией и спортом давний мой приятель Геннадий Зерчанинов предложил нам — мне и моему коллеге Дмитрию Рыжкову — взять интервью у хоккеистов разных поколений на тему о том, как живет человек в большом спорте. Мы побеседовали с тремя: уже сошедшим Константином Локтевым, находившимся в расцвете Евгением Зиминим и молодым Владимиром Шадриним. Кто-то из двух последних — не помню теперь кто — сказал, что хоккейная жизнь не сахар: спортивный век короткий, в тридцать надо думать об уходе, а что делать дальше — неясно, поскольку большой спорт не оставляет времени получить серьезное образование. На вопрос, что же делать, чтобы исправить положение, последовал ответ: распространить закон, по которому артисты балета получают пенсию в 35 или 40 лет, на мастеров спорта.

Накануне очередного Нового года мы с Рыжковым получили письма из «Юности». Редактор журнала Борис Полевой извещал нас о том, что наши интервью признаны лучшим материалом года на спортивную тему, благодарил и выражал надежду на дальнейшее сотрудничество.

Письмо пришло утром, а днем позвонил Зерчанинов. Полевому — между прочим, то ли члену, то ли кандидату в члены ЦК, секретарю Союза советских писателей, лауреату Государственных премий — попало в ЦК за политическую близорукость. О каких пенсиях, да еще ранних, можно говорить по отношению к студентам, учителям, рабочим, военнослужащим, которые играют в хоккей после трудового дня и ради отдыха? Автор «Повести о настоящем человеке» сослался на то, что в спорте профан, и пообещал впредь подобных ляпсусов не допускать. Зерчанинову он поручил позвонить нам с Рыжковым и попросить спрятать письмо подальше и никому о его существовании не рассказывать.

Уж коли я отвлекся от рассказа о поездках за границу, развею законное недоумение читателя, который вправе спросить: а на что же смотрела цензура, пропуская на страницы печати мои политически незрелые творения?

В официальном лексиконе той эпохи слово «цензура» отсутствовало. Люди, которым надлежало этой цензурой заниматься, в штатном расписании надзирающего за прессой учреждения назывались «политредакторы». Им мы носили на визу готовые к печати полосы. Приходилось делать это и мне.

Стол, за которым сидел политредактор, был завален горами справочников, содержащих перечни запрещенных для публикации сведений из всех сфер жизни. Служба цензора в том и состояла, чтобы не пропустить на полосу ничего упомянутого в перечнях.

Когда набиралось определенное количество так называемых вычерков, в редакции устраивалось общее собрание, на котором цензор перечислял каждый наш промах. Когда вычерки превышали другую, более высокую норму, он обязан был отправить письменный доклад своему начальству, и это было чревато неприятностями для начальства нашего.

По-моему, газетная цензура была одним из самых бессмысленных институтов тех времен. В 1958 году советский мотоцикл «ИЖ» завоевал третье место на соревнованиях в Англии. Заметку об этом цензор снял из уже готового номера «Советского спорта». По его справочнику Ижевский мотоциклетный завод — секретное предприятие, и упоминание о нем в печати является разглашением военной тайны. Мы пытались объяснить политредактору, что перевели эту заметку из английской газеты. В ответ он показал нам строчку из справочника.

В хоккейном чемпионате участвовала одно время команда СКА из Липецка. Ее показывали по телевизору. Но называть ее своим именем мы не имели права: в Липецке не может быть спортивного клуба армии, поскольку этот город официально не имеет военного гарнизона. Мы спрашивали у цензора, как же называть команду в таблице турнира. Он равнодушно пожимал плечами.

Как-то в обзоре писем цензор вычеркнул слова: «Лейтенант Иванов пишет нам из Ярославля...» Оказалось, в Ярославле, мирном городе, лейтенанту делать нечего. А если он проводит там отпуск? В справочнике нашего политредактора никаких указаний на эту тему не сохранилось.

Употребление выражения «спортивные сборы» справочник запрещал: от слова «сборы» пахнет профессионализмом. Но если в заметке говорилось: «Весной команда тренировалась в Сочи», — вычерк не следовал. Мысль, что невозможно московской команде ездить на тренировки в Сочи после рабочего дня, цензора не пощажала.

Впрочем, думать не входило в круг обязанностей литредакторов — как правило, пожилых мужчин, вышедших в отставку офицеров Советской армии. Я не иронизирую. Каждая предназначенная для печатного издания строчка, прежде чем попасть к цензору, проходила полдюжины фильтров. Она попадала на стол редактора отдела, дежурного по номеру, ответственного секретаря, главного редактора. Да и сам автор, опасаясь неприятностей и взысканий, контролировал себя. Но власти не скупилась на содержание еще одного, лишнего глаза. Так, на всякий случай.

Однако продолжу о своих заграничных поездках.

Епитимья, наложенная на меня за очерк «Майоров против Майорова», окончилась в 1968 году, году Олимпиады в Гренобле. Меня туда отпустили с миром, правда туристом, за свои кровные.

После окончания Игр мы провели четыре дня в Париже и получили весь положенный иностранному туристу набор экскурсий — в Лувр, собор Парижской Богоматери, на Эйфелеву башню и т.д. Однако в программе оказавшегося в Париже советского человека был еще один обязательный поход. Он совершался без экскурсовода.

Этот адрес не хуже своего домашнего знал каждый советский спортсмен и каждый артист тех ансамблей и театральных коллективов, что постоянно гастролировали за границей. Заведение, к которому во время наездов в Париж гастролеров из СССР стекались людские толпы, именовалось «Текса» и располагалось неподалеку от станции метро «Итальянский бульвар». Запоминать номер дома не требовалось. По дороге от выхода из метро к нему приходилось двигаться сквозь цепь идущих в обратном направлении соотечественников, нагруженных за-

полненными до отказа пакетами и сумками. По этому фарватеру и можно было, не занимаясь напрасными поисками вывески, которой не было, добраться до мрачной подворотни, где находилась «Текса».

Туда и явилась утром накануне расставания с Францией в полном составе бригада корреспондентов «Советского спорта», освещавших Олимпиаду.

Размерами «Текса» напоминала двухкомнатную малогабаритную квартиру, только с потолками на двухэтажной высоте и стенами, сплошь занятыми магазинными полками. Было, видно, здесь еще какое-то помещение, откуда хозяева заведения — говорившие по-русски евреи польского происхождения — тащили и раскладывали по полкам все новые кипы кофт, свитеров, нейлоновых плащей и рубашек. Они величали свое заведение магазином, хотя на самом деле это был обыкновенный вещевой склад. В таких, как выяснил я, живя в Америке, хранятся давно вышедшие из моды предметы, которые продают на уличных развалах и в лавках для неимущих.

В обеих комнатах было тесно и душно. Возбужденная публика металась от полки к полке. Хозяева метались вслед за покупателями, явно опасаясь, как бы кто-нибудь не выскользнул за дверь с неоплаченной покупкой.

Чтобы познакомиться с самой эффектной частью этого зрелища, надо было поднять глаза к потолку. Там, на ступеньке высокой стремянки, стоял человек в советской олимпийской форме — голубой куртке с гербом СССР и серой меховой шапке. Это напоминало виденный в кинофильмах штурм крепостных стен, когда осаждающие взбирались наверх по легким лестницам, а осажденные поливали их сверху кипящей смолой. Отважный первовосходитель сбрасывал с полок вещи в толпу. В нем я узнал Константина Жарова, заместителя главы советской делегации на Олимпиаде и заместителя председателя Всесоюзного спорткомитета. К летящему товару протягивались десятки рук людей, облаченных в такую же форму, заслуженных и просто мастеров спорта, олимпийских чемпионов и призеров, чьи портреты только что обошли все французские газеты.

Мы поняли, что нам, по выражению Остапа Бендера, «нечего делать на этом празднике жизни», и ретиро-

вались. «Приедем снова ближе к вечеру, когда основная масса насытится», — условились мы.

Когда спустя несколько часов мы вернулись, было не так многолюдно и накал покупательских страстей улегся. Пол устилала оберточная бумага с отпечатками подошв. Об утренних баталиях напоминала лишь фигура Константина Жарова, все еще не спустившегося с седьмого неба «Тексы» на грешную землю. Он задумчиво перебирал рубашки и плащи на полках, которые снова были заполнены вещами.

В Гренобле туристам выдали невиданное денежное довольствие — по 400 французских франков (т.е. по 80 долларов) на душу. После посещения «Тексы» у большинства осталась еще небольшая сдача. Вот и решили мы, три прожигателя жизни из «Советского спорта» и один из «Московской правды», посвятить последнюю парижскую ночь кутежу. Получив разрешение от своего Василь Василича, мы поехали гулять по ночному рынку на набережной Сены, всемирно известному в те времена как Чрево Парижа. Из всех развлекательных учреждений Чрева мы, прельстившись названием, выбрали трактир «Свиное копыто».

Уселись за столик, заказали немного еды и достали из портфеля завернутую в газетную бумагу выпивку (таковы, с одной стороны, сила домашних привычек, а с другой — страх, что не хватит средств расплатиться) — две бутылки шампанского, которое дарили в Гренобле репортерам на всех приемах. Игорь Маринов убрал бутылку под стол, наклонился к ней и стал раскручивать проволоку на пробке. Мы застыли в напряженном молчании, страхась попасться с принесенным спиртным. Игорь все еще возился с пробкой, когда над нашим столиком нависла фигура в смокинге. Это был метрдотель. Он говорил что-то наставительным тоном Маринову. При мысли, что сейчас прогонят, а может, и в полицию поволокут, у меня вспотели ладони.

Когда метрдотель отошел, мы обратили взгляды к Маринову, свободно говорившему по-французски. Тот перевел его слова:

— Он просил обождать минуту, пока принесут специальные бокалы.

Так нам удалось пополнить запас своих знаний о Париже: в этом городе приносить с собой и распивать спиртные напитки можно, а пить шампанское следует из хрустальной посуды.

В гостиницу мы возвратились, когда уже рассвело. У подъезда туристов ждали автобусы. Мы погрузили свои пожитки и поехали в парижский аэропорт Бурже.

В аэропорту московском, Шереметьеве, меня и еще двух или трех журналистов отделили от общей массы и велели подождать, пока выпустят остальных. Потом меня подозвали к стойке, и таможенник долго рылся в моем скудном багаже — чемодане и дорожной сумке.

— Что вы ищете? — спросил я наконец. — Может, я вам помогу?

— По нашим данным, — тихо сказал таможенник, — вы везете три шубы из искусственного меха. Предъявите их.

Действительно, в «Тексе» эти шубы отдавали по 150 франков за штуку, и шли они нарасхват. Видно, кто-то из добровольных стукачей, уверенный, что быть в «Тексе» и не приобрести на продажу пару шуб человек не может, донес и на меня. Но в моем случае у него вышла ошибка. Пришлось отпустить меня с миром.

Последний раз я был от «Советского спорта» на соревнованиях за границей в 1969 году. На чемпионате мира по хоккею в Стокгольме впервые после «Пражской весны» предстояла встреча советской и чехословацкой сборных. Перед матчем над рядами зрителей появились плакаты, в том числе и на русском: «Свободу народу Чехословакии», «Долой советских оккупантов». Во время предыгровой разминки форвард чехословацкой команды Йозеф Голонка подъехал к нашей скамье запасных, взял клюшку наперевес, будто это автомат, и нацелил ее на советских хоккеистов и тренеров. Затем он приблизился к скамейке вплотную и плюнул в Тарасова. Трибуны «Чосанесхофа» ответили на этот демарш овацией. По тому, что вспыхнул Тарасов не отреагировал на жест Голонки, я понял: команда получила соответствующую инструкцию из Москвы.

В перерыве между первым и вторым периодами я встретил Николая Озерова. Он выглядел растерянным и поникшим.

— Мне перед матчем позвонили из Москвы прямо сюда, в студию, и передали перечень выражений, которые нельзя употреблять в репортаже. Его составил сам Лапин, — Лапин был тогда главой Гостелерадио. — Вот, погляди.

Озеров протянул мне блокнот. Я прочитал: «атака», «нападение», «наступление», «оборона», «соперники», «друзья-соперники», «силовой прием», «преимущество», «победа», «поражение», «упорная борьба»...

— Я сейчас, как сапер, — печально усмехнулся Озеров. — Ошибусь один раз, второго не будет.

Снова сошлись мы с ним у автобуса перед отъездом в гостиницу. Его настроение резко изменилось — он был весел и разговорчив.

— Приказ выполнил без единой пометки, — гордо сообщил он. — Из Москвы это подтвердили и передали благодарность Лапина.

Он сиял от счастья. Его можно было понять. Такое доступно только профессионалу высшего класса. Обычный репортаж, который длится в общей сложности полтора часа и в котором ведущий не имеет возможности сделать паузу, неизбежно наполовину состоит из тех самых слов, что запретил использовать Лапин. Озерову удалось обойтись без этих штампов, к которым он вообще-то прибегал еще чаще своих коллег.

Однако, насколько я знал Николая Николаевича, с которым мы были пусть не друзьями, но довольно близкими приятелями, радовало его не это, а то, что он угодил своему боссу.

Озеров был человеком во всех отношениях достойным. Вхожий к руководителю отдела пропаганды ЦК КПСС Яковлеву, который курировал и спорт, и телевидение, он использовал их отношения для помощи спорту и спортсменам, хлопотал за них. Особенно много сделал он таким образом для «Спартака» и тенниса — он считал себя пожизненно спартаковцем и был в молодости прекрасным теннисистом.

Его интеллигентность и ясный ум исключали подозрение в том, что ему по душе весь уклад тогдашней жизни страны. Да он в разговорах наедине и не избегал резких, ядовитых замечаний о порядках и о стоящих у руля деятелях.

Однако кто из нас лишен человеческих слабостей? Одной из немногих слабостей Озерова было безграничное тщеславие. Если на горизонте всплывала перспектива получить награду — не орден, так медаль, не почетное звание, так почетную грамоту — он преображался. Исчезало чувство юмора и умение взглянуть на себя со стороны. Николай Николаевич превращался в без лести преданного служаку, рьяного исполнителя самых нелепых пожеланий начальства. И стремясь продемонстрировать свои верноподданнические чувства, он без стеснения кричал в микрофон на всю страну: «Нет, такой хоккей нам не нужен!» — об игре канадских звезд, которыми восторгался, и всех противников советских команд обвинял в грубости, а судей — в необъективности.

Когда Озеров готовил празднование собственного 50-летия, он потерял покой и сон. На каком-то хоккейном матче в Лужниках он дрожащими руками достал из папки две бумаги.

— Вот, почитай...

Оказалось, что это — ходатайства о присвоении ему звания народного артиста СССР. Одно — от пяти народных артистов: Яншина, Станицына, Кторов, Прудкина и Ильинского, старых футбольных болельщиков, а другое — от общества «Спартак». Человек тонкий и проницательный, он не заметил комичности этого сочетания. Речь шла об его награждении, и тут ему было не до шуток.

Удивительно, но высшего актерского звания он, при его-то знании всех ходов и выходов в правительственных учреждениях, при его связях и напористости, в тот раз так и не получил.

В долгий период царствования Николая Николаевича на спортивном ТВ в Москве у него не было ни одного мало-мальски приличного соперника. В Ленинграде работал Виктор Набутов, в Тбилиси — Котэ Махарадзе. А в

Москве — какие-то безликие косноязычные тени. (Вадим Синявский уже почти не работал даже на радио, а на ТВ и вовсе.) Это казалось странным. Но со временем я понял: все закономерно. При всей популярности Николая Николаевича, при всей его уверенности в себе ему не нравилось, когда рядом появлялся тележурналист, способный заставить публику усомниться в том, что он, Озеров, единственный и незаменимый.

Однажды вести футбол по Центральному ТВ пригласили Льва Ивановича Филатова, в ту пору редактора еженедельника «Футбол-Хоккей». Пригласили раз, другой, третий. У Филатова появились поклонники — люди, которым импонировала его спокойная манера, умение анализировать игру, отсутствие категоричности в суждениях, его обширный запас слов.

Последним было приглашение провести матч СССР — Италия. Весь тот день Филатов не мог скрыть праздничного настроения. Он отправился в Лужники пораньше и предложил мне поехать с ним на редакционной машине. Мы поднялись лифтом на верхний этаж Большой арены, где размещались и ложа прессы, и комментаторская кабина. У дверей лифта его остановил какой-то человек, отвел в сторону и тихо сказал несколько слов. Филатов молча кивнул и тоже направился в ложу.

— Лев Иванович, вам туда, — показал я пальцем в сторону кабин.

— Репортаж отменяется, — будто через силу проговорил он. — Звонили из канцелярии Брежнева. Он хочет, чтобы игру комментировал Николай Николаевич.

Как узнал Брежнев имя назначенного на матч телекомментатора, было нетрудно догадаться.

Примерно тогда же начал работать на ТВ серьезный знаток футбола и прирожденный мастер разговорного жанра Аркадий Романович Галинский. Первые же пробы в роли комментатора показали: Галинский создан для этого занятия. У него появилась своя передача, нечто вроде нынешнего «Футбольного обозрения». Сказанное им в репортажах и в этой передаче обсуждали, на его соображения ссылались в спорах болельщики. Я специально, чтобы послушать Галинского, подчас предпочитал смотреть футбол не с трибуны, а по телевизору.

И вдруг он исчез с экрана, а вскоре подал заявление об уходе по собственному желанию. Он не скрывал, что вокруг него сложилась в редакции атмосфера отчуждения и каждая его передача заново прослушивалась руководством и вызывала начальственное брюзжание: не те интонации, не те слова, не тот подход к теме.

Галинский не грешил ни на кого. А я, сопоставив две отставки от футбольного эфира — его и Филатова, ощутил руку всесильного Озерова. И окончательно уверился в своей правоте, когда эта рука коснулась меня, совсем уж не готового к соперничеству с таким телегигантом, как он.

Как-то мы встретились за кулисами лужниковского Дворца спорта. Увидав в руке у меня баул, Коля спросил, далеко ли я собрался. Я ответил, что получил приглашение от Ленинградского телевидения провести завтрашний матч местного СКА с московским «Спартаком» и со стадиона еду на вокзал. Озеров, живший на Земляном валу, предложил подбросить меня на своей «Волге» до Комсомольской площади.

Утром на перроне в Ленинграде я столкнулся с выходящим из той же «Стрелы» частым партнером Озерова по репортажам Яном Спаре. И поинтересовался, какими судьбами он здесь оказался.

— Вечером веду репортаж с хоккея. А ты?

— И я...

Ян сказал, что решение о его командировке было принято вечером. И успокоил меня:

— Ладно, как-нибудь поладим. Я предлагаю так: первый период поработаем вместе, во втором говори ты, в третьем — я.

Режиссер, который должен был управлять передачей, выглядел явно озадаченным, когда мы предстали перед ним вдвоем. Ему ничего не оставалось, как согласиться на вариант Спаре. Однако в антракте он передал указание из Москвы, чтобы остальную часть матча Ян комментировал сам. Когда тот ушел в кабину, режиссер извинился передо мной, заверил, что на гонораре этот казус не отразится, и объяснил: поскольку репортаж транслируется на всю страну, командует не местное, а Центральное ТВ.

В последний раз я видел Озерова на Зимней Олимпиаде то ли 1984-го, то ли 1988 года, уже давно покинув Россию. Он сильно постарел. Он медленно шел, одной рукой опираясь на палку, другой — на плечо своей сослуживицы Анны Дмитриевой. Аня мне улыбнулась и кивнула в знак приветствия. Взгляд Озерова скользнул по мне, как по предмету неодушевленному.

Я не допускаю мысли, что он проникся ко мне презрением или неприязнью. Уверен я и в том, что он, знавший отношение к себе власть имущих, не опасался нажать неприятности, если поздоровается с эмигрантом. Однако, рассудил Николай Николаевич, и в актив ему общение со мной не запишется. И не узнал старого знакомого.

...На том мировом первенстве, на котором Озеров проявил чудеса профессионального искусства, чехословацкая команда выиграла матч у советской, зато советская заняла первое место.

По этому случаю советский консул в Швеции устроил роскошный банкет. Консул — сын Брежнева — встречал гостей у входа в зал и каждому жал руку. Вино — разумеется, белое, 40-градусное — лилось рекой. Чернышев заснул в банкетном зале. Хоккеиста Женю Мишакова в бессознательном состоянии отнесли в машину. Я, измотанный двумя неделями бессонных ночей, в которые писал и передавал по телефону свои репортажи, отчеты и интервью, почувствовал, что пьянею, и попросил постоянного корреспондента АПН в Стокгольме Алексея Думова отвезти меня на своей машине в гостиницу.

По недоразумению комитетский чиновник заказал мне номер в отеле на одно число, а обратный авиабилет — на другое, более позднее. Если бы не любезность двух журналистов из ТАСС — репортера Володи Дворцова и фотографа Славы Унда-сина, пришлось бы последнюю ночь провести на улице. Но они разрешили мне переспать на кушетке в их комнате. Туда я и явился с банкета.

В номере я разделся догола, налил в ванну воды погорчее, погрузился в нее и заснул мертвым сном. Разбудили меня хозяева ночью, и я перебрался на свой диванчик. А утром выяснилось, что нет моего чемодана с подарками жене и принадлежащего ТАСС фотоаппарата,

которым снимал Унда-син. Видно, я, войдя, не запер дверь на ключ.

Эта вторая пропажа сразила меня наповал. Аппарат был дорогой, немецкий, и к нему объектив, длинный, как телескоп. Чтобы уберечь фотографов от соблазна продать за границей ценную вещь, ТАСС брал с них расписку под письменным предупреждением о том, что в случае потери казенного имущества взыскивается его стоимость в пятикратном размере. Чтобы рассчитаться за пропажу, мне пришлось бы бесплатно трудиться год.

Надо было что-то предпринимать. Но что? Дворцов позвонил представителю ТАСС в Швеции и попросил совета. Тот примчался и потребовал у администратора отеля вызвать полицию. Нас опросили, составили акт о краже вещей и обещали, если найдут вора, прислать похищенное в Москву. Копию акта Унда-син предъявил у себя на работе, и на этом основании его освободили от уплаты.

С потерей своего чемодана я смирился и считал, что отделался легким испугом. Однако через несколько дней меня вызвал Киселев. О моем приключении ему сообщили в Спорткомитете — тассовец, конечно, написал обо всем докладную записку в КГБ. Киселев упрекнул меня в том, что я не известил его сразу по приезде из Стокгольма. Я возразил, что известил бы, да не знаю, о чем, — никаких проступков за собой я не вижу.

— Зато другие видят, — усмехнулся он. — За утерю бдительности и употребление спиртного в зарубежной командировке коллегия комитета рекомендовала воздержаться от выдачи вам выездной характеристики в течение года.

«Воздержание» продлилось вместо года семь, но следующая, последняя в качестве советского гражданина, поездка не имела отношения к моей работе. Рассказ о ней мне кажется более уместным в одной из следующих глав.

Один день и вся жизнь

Помню год — 1963-й. Помню месяц — сентябрь. А вот число и день недели, как ни старался, восстановить в памяти не сумел.

В мой маленький кабинет на третьем этаже «Советского спорта» просунулась голова Жени Бируна.

— Ты у кабинета Ирины Ивановны был? — поинтересовался он. — Если нет, походи пройдишь. Стоит поглядеть.

Дверь из комнаты Ирины Ивановны выходила на лестничную площадку между вторым и третьим этажами. Я понял, что там появился некто, вызвавший интерес в редакции, но не торопился следовать совету тезки — я не из слишком любопытных.

Голова Бируна исчезла, уступив место другой, Юры Моргулиса.

— Ты уже видел? Нет? Две приличные «марципанки», — это было придуманное и введенное лично им в редакционный сленг слово для обозначения молодой девушки, которую стоит попробовать соблазнить.

Я не был безгрешным мужем, но и в ловеласах не числился. Не то чтобы я был равнодушен к прекрасному полу, но застенчивость и недостаток самоуверенности служили сдерживающим фактором. Однако все мы становимся смелее и менее скованными во время застолья, и изредка завязывались краткосрочные и необременительные романы. На трезвую голову, однако, выяснялось, что вечер, на который назначено свидание, занят работой или дежурством в типографии, а если свободен, то куда заманчивее провести его все с теми же Мариным, Моргулисом, Пинчуком, с которыми тебя связывает так много общих интересов. И randevу под благовидным предлогом откладывалось на неопределенный срок.

В общем, я остался глух к повторному призыву прервать работу. Однако заглянул с тем же требованием еще кто-то. Я понял, что это глас народный, перечить которому бесполезно, и встал из-за стола.

С высоты одного лестничного пролета мне представилась картина, вызвавшая детские воспоминания о посещении Мавзолея Ленина. Людской ручеек медленно двигался мимо двух стоявших у окна девушек. Двигался без остановки, как мимо гроба Ильича. Но как и в Мавзолее на лежащего вождя, здесь каждый косил глазом на девушек до тех пор, пока шейные мышцы позволяли вертеть головой, и лишь затем ускорял шаг. В отличие от мавзольной толпы эта была однополой.

Со своими редакционными дамами мы ежедневно проводили бок о бок по восемь часов, привыкли к ним, перестали их замечать. Молодые женщины со стороны редко баловали «Советский спорт» визитами — среди наших авторов преобладали тренеры и спортивные журналисты. Тем более ярко выглядели две посетительницы отдела кадров.

Одна — с ярко-рыжими, отливающими бронзой волосами, веснушчатая, с неровными зубами, плоская, как доска, толстогубая и широконосая — могла бы служить олицетворением непривлекательности, если бы не глаза, искрившиеся весельем, озорством и вызовом всем, кто пытался пронзить ее своим взглядом.

Вторая принадлежала к породе женщин, на которых оборачиваются прохожие — высокая, с длинными ногами и фигурой манекенщицы, с копной темно-русых волос и той же масти бровями вразлет, с серыми, чуть раскосыми глазами и острыми скулами — чертами, не дающими забыть о том, что в давние времена Русь томилась под татаро-монгольским игом. Сходство с моделью дополнялось длинными ухоженными ногтями и тонкими острыми каблуками узконосых туфель.

На другое утро Бирун явился рано и встречал каждого входящего в отдел торжественным объявлением:

— Обе сидят в машбюро!

Теперь в российских редакциях машбюро, вероятно, нет — во всем мире журналисты сами печатают свои статьи на компьютерах. А в те годы мы писали от руки или авторучками, или обмакивая перья в чернильницы — тяжелые и вместительные у редакторов и пластиковые «непроливайки» у рядового народа. Рукописи относили машинисткам. В отделах пишущие машинки стояли лишь на столах секретарш.

Машбюро «Советского спорта» представляло собой целый зал, вдоль стен которого размещалось восемь столиков с машинками. За ними сидели, как определил этот возраст диккенсовский мистер Пиквик, «леди средних лет» — с неяркой внешностью и непритязательно одетые. Их потухшие взгляды вспыхивали лишь в мгновенья, когда на пороге бюро возникал силуэт мужчины. Устано-

вив, что это «свой», дамы теряли интерес. Если в зале раздавался телефонный звонок или вошедший затевал разговор, стук машинок прекращался и наступала полная тишина. В глазах сидящих за столиками загоралась тайная надежда услышать сплетню, слух, новость, на которые они испытывали вечный и неутолимый голод, свойственный вообще людям, равнодушным к делу, которым занимаются ежедневно. А кого способно увлечь переписывание чужих текстов?

Словом, машбюро знало все и обо всех. О семейных раздорах и служебных романах, о затеваемых в отделах интригах и намечаемых перестановках. Туда стекались со всех четырех этажей все вести, как кровь из клеток тела к сердцу, и оттуда растекались обратно, обогащенные домыслами и фантазией машинисток.

Такое вот положение своеобразного центра редакционной жизни давало этим обделенным судьбой женщинам большую, пусть и неофициальную власть. Каждый чувствовал себя в их руках. Каждый помнил, что должен, возвратившись из-за границы, вручить сувениры машинисткам. Их боялись прогневить. К ним обращались вкрадчивым тоном и с заискивающей улыбкой. А они принимали эти знаки внимания как должное, смотрели на нас свысока и были со всеми на «ты». Наше лакейское поведение диктовалось еще и вот чем: не потрафишь дамам — и пожелтеет твоя рукопись от старости в папке бюро, но не будет напечатана. И пожаловаться нельзя: опала машбюро не сулит ничего, кроме неприятностей.

Вот почему сообщение Бируна и правда было сенсационным: в змеиное логово впорхнули два юных нарядных мотылька, рыжая Вера и русая Жанна; как отразится это на редакции в целом и каждом из ее тружеников лично? К тому же, поскольку технический персонал не отличается строгостью нравов ни в какой крупной газете, большинство журналистов-мужчин сразу включилось в соревнование за овладение сердцами новеньких.

Я принадлежал в данном случае к меньшинству. Не потому, что руководствовался высокими моральными принципами. Но, думал я, где мне, в мой-то без малого 34 года, гоняться за 20-летними девчушками, которых

сразу облепили молодые и свободные от семейной ноши парни?

Редакция арендовала спортивный зал Московского архитектурного института на улице Жданова. Мы ходили туда играть в волейбол. Возвращались пешком, обогнув площадь Дзержинского. Жанна, хотя не имела ни малейшего понятия об этой игре, стала приходить в зал. На обратном пути мы с ней как-то оказались немного позади остальных и шли, обмениваясь ничего не значащими фразами. В одной из них она произнесла слово «муж». Я принял это за неудачную шутку. И ответил в том же духе:

— Таких, как ты, еще не расписывают.

— Нет, правда, я замужем.

— Без предъявления паспорта не поверю.

— Завтра принесу. Только договоримся: если не вру, ведешь меня в ресторан обедать. Если вру, обед с меня. Согласен?

Предложение не привело меня в восторг: о чем я стану целый вечер говорить с девочкой, о которой только и знаю, что она — Жанна и что она замужем? Но и отступить было неловко.

— Согласен. Когда у тебя будет свободный вечер, известишь.

Извещение не заставило ждать. Так мы оказались вдвоем в ресторане «Рубин» на Открытом шоссе, который я выбрал, чтобы свести на нет возможность нежелательных встреч со знакомыми.

В редакции мы с Жанной обсудили вчерашнее мероприятие, признали поход удавшимся и договорились повторить его при случае. Он вскоре представился. Второй вечер мы провели в ресторане «Черемушки» на другом краю Москвы.

Машбюро и мой кабинет находились на одном этаже. И я вдруг поймал себя на том, что чем бы ни занимался за своим рабочим столом, непроизвольно напрягаю слух: не открывается ли дверь в другом конце коридора и не стучат ли по паркету Жаннины каблучки. Свою дверь я теперь оставлял приоткрытой, чтобы ее не пропустить. Она останавливалась и спрашивала, можно ли у меня перекурить. Иногда интервалы между перекурами затя-

гивались. Тогда я нервничал, срывался со стула и мчался в машбюро. Делал вид, что ищу нужную бумагу, но в упор смотрел в угол, где Жанна сидела за тем самым столиком, где когда-то Татьяна Сергеевна Малиновская вдохновила Евтушенко на стихотворение «Первая машинистка». Взглядом я просил ее: «зайди». И она заходила.

С тех пор минуло 35 лет. Мое рабочее место по-прежнему — письменный стол. Только не в учреждении, а в нашей нью-йоркской квартире. Здесь я пишу, редактирую написанное, делаю вырезки из газет. Жанна где-то тут — готовит обед, или смотрит телевизор, или читает. Поглощенный собственными заботами, я о ее присутствии забываю. Но только пока она дома. Стоит ей выйти — в магазин, к соседке поболтать, погулять с собакой, и я снова ловлю себя на том, что превращаюсь в слух: не ее ли шагов этот звук на пути от лифта к входной двери в квартиру? И я поминутно смотрю на часы. И чаще обычного достаю сигарету из пачки. Все как тогда, 35 лет назад.

Да нет, не все. Теперь время течет ровно. Тогда все было наоборот. Когда я, подобно Фаусту, мысленно умолял его остановиться, оно мчалось сломя голову, когда торопил, плелось черепахой.

Мы проявляли чудеса изобретательности, чтобы не расставаться. Я сочинял дома легенды о дежурствах в типографии, о поездках в Воскресенск, об опозданиях на последние поезда, о том, что, выпив у приятеля, задремал и проснулся утром. Она — о ночных сменах в машбюро, о заболевших подругах, которых не могла оставить, о собственных обмороках на службе, о сердечном приступе у жившей в подмосковной Малаховке мамы. Мы ночевали у ее подруг и моих друзей, вместе ехали на работу и порознь, чтобы не вызвать подозрений, входили в здание «Советского спорта».

Я довольно часто бывал в командировках. И почти всегда брал Жанну с собой. Она сопровождала меня в Ленинград, Баку, Киев, Тбилиси, Горький, Кишинев, Сочи. Получить номер в гостинице без брони и командировочного удостоверения было невозможно, и мы останавливались у знакомых или снимали комнаты.

Однажды в Киеве мне удалось — спасибо трудившемуся там Диме Богинову — устроить ее в гостинице «Мос-

ква», где остановился я, но на другом этаже. Всю ночь коридорная следила за тем, чтобы Жанна не пробралась ко мне в номер.

— Он мой муж, — пыталась уговорить ее Жанна. — Мы просто еще не успели расписаться.

— Знаем мы этих мужей, — резко отвечала дежурная. И подобревшим голосом: — Не верь ты, дочка, мужикам. Все они жулики, все жениться обещают.

Дни и ночи этих настоящих и мнимых командировок летели стремительно. И всякий раз в момент расставания я впадал в уныние. Чувство — единственные узы, которые нас связывали. А вдруг у нее это чувство улетучится? Или она спасует перед необходимостью вечно лгать и вечно рисковать? Или в ее жизни появится кто-то более молодой и свободный? О разрыве других уз, собственных семейных, мы не помышляли. В отличие от нее, у меня было двое детей — второй ребенок, дочь, родилась после начала нашего романа, — и Жанна не хотела быть разрушительницей семьи.

В общем, мы жили с уверенностью, что стезя, на которую вступили, ведет к неизбежному тупику. Меня пугала мысль о том, что каждый счастливый день его приближает. И едва мы прощались и она скрывалась из виду, я впадал в депрессию. И время останавливалось.

Несколько раз мы решали: все, расходимся. И продержались однажды неделю, не видя друг друга. На ее исходе она постучалась в мою дверь и спросила:

— Можно у тебя покурить?

Ни для кого из окружающих, кроме моей жены и ее мужа, наша связь не была секретом. Она уже длилась три года, когда Жанну вызвал к себе ответственный секретарь редакции, бывший правдист Иосиф Савельевич Иткин.

— Что ты пристала к женатому мужику? — строго сказал он, плотно прикрыв дверь в кабинет. — И вообще, что ты в нем нашла? Неужели не могла выбрать холостого и помоложе? Заканчивайте эту канитель, пока не дошло у него до неприятностей.

Иткин относился ко мне с симпатией и искренне хотел мне добра. После его нотации Жанне не оставалось ничего другого, как подать заявление об уходе. В наших

отношениях он ничего не изменил, но лишь усложнил обоим жизнь. Я по разным поводам чуть ли не ежедневно отлучался из редакции — поглядеть на нее, перекинуться несколькими словами и так сократить промежуток между свиданиями.

Ее уход из «Советского спорта» ускорил развязку. В один прекрасный весенний день 1968 года мы одновременно собрали свои носильные вещи и перенесли их к Жанниной подруге Ире.

Началась пора скитаний. От Иры мы перебрались в комнату, которую сняли у женщины, потребовавшей — на случай, если сбежим — уплатить за полгода вперед. Через месяц она нас прогнала, сославшись на приезд родственников, а деньги не вернула. Выручил мой приятель, поэт и переводчик Юрий Ряшенцев. Его соседка по дому в переулке между Пироговской улицей и Комсомольским проспектом сдала нам комнату на лето. Осенью нас приютил мой друг детства Юра Фишкин. Но и оттуда пришлось уезжать — дом готовили к сносу и жильцов выселили. Следующее жилище — густонаселенная коммунальная квартира с очередями в уборную на Суворовском бульваре в доме, который вскоре поставили на капитальный ремонт.

Как раз в период этих переездов меня отставили от руководства отделом. Зарплата уменьшилась вдвое. Третью ее я раз в полмесяца завозил на службу бывшей жене. Сами мы едва перебивались от получки до получки.

Говорят, что нашей памяти свойственно сохранять только хорошие события. Возможно, так оно и есть. Но не оно, это свойство, вызывает у меня воспоминания о той поре как о прекрасной и безоблачной. Я просыпался утром и засыпал ночью, и Жанна была рядом. Больше мне нечего было желать. Бытовые трудности казались на этом фоне сущим пустяком.

Впрочем, лишь до тех пор, пока Жанна не сообщила, что у нас будет ребенок. За время, оставшееся до его появления на свет, требовалось решить квартирную проблему. Но как? Я не осведомлен о том, существуют ли сейчас в России очереди на квартиры, санитарные нормы, излишки жилплощади. Тогда существовали. И для преодоления воздвигнутых этими понятиями барьеров

требовались энергия, искусство, связи и везенье. Три первые из этих качеств, как считал я сам и все окружающие, у меня отсутствовали.

Известно, что страх перед догоняющей человека злой собакой рождает такие таящиеся в тайниках его мышц силы, что он способен побить мировой рекорд по бегу, а коли на пути встретит высокий забор, то и по прыжкам. Между ними — забором и собакой — оказался я. И обаян был прыгнуть выше головы.

Первым этапом этого бега с препятствиями были разводы. Очередь разводящихся растянулась в суде на многие месяцы. И надо привести оставленного супруга в суд или, на худой конец, принести его письменное, заверенное печатью учреждения согласие на развод. Регистровать брак — тоже очередь, а кроме того — испытательный срок, чтобы жених с невестой проверили как следует свои чувства.

Я протирал штаны в канцеляриях суда и загса и, дождавшись приема, размахивал перед должностными лицами бумагой, удостоверяющей, что невеста скоро родит, и клянчил сократить нам срок ожидания.

В Дом бракосочетания «Аист» на Ленинградском шоссе Жанна пришла, гордо неся впереди себя живот, округлившийся за полгода беременности. Женщина-депутат райсовета с алой лентой через плечо задала положенные вопросы и предложила обменяться обручальными кольцами. На двоих у нас было только одно, подаренное Жанне матерью перед первым замужеством. Предприимчивая дама велела снять его, передала мне, и я надел кольцо своей суженой на тот же палец, на котором оно красовалось семь прошлых лет.

Еще до посещения «Аиста» перед нами вспыхнула надежда на постоянное жилище. Нашелся благодетель — фотограф из «Вечерней Москвы» Натан Слезингер. В строящемся кооперативном доме на улице 26 Бакинских комиссаров он был членом правления и выяснил, что одна трехкомнатная квартира на первом этаже пока не распределена.

— Я договорился, — сообщил Натан, — что она ваша. Дом будет сдан в феврале. Первый взнос — четыре тыся-

чи. Нужны виза райисполкома и решение районной жилищной комиссии.

Где достать деньги, мы знали. В день, когда мы узаконили свои отношения, мать Жанны подарила ей платиновую брошь с сапфиром, окруженным шестнадцатью бриллиантами. Эту драгоценность презентовал ей покойный муж, она была семейной реликвией, и, вручив ее дочери, мать отвела меня в сторону и прошептала:

— Берегите ее и ни в коем случае не разрешайте Жанне продать.

Что я мог ей ответить? Не признаваться же в том, что Жанна, заранее зная о грядущем даре, давно решила его судьбу.

Добывать нужные резолюции мы пошли в Ленинский райисполком, предварительно записавшись на прием у председателя. В прихожей толпился народ. Зазвонил телефон на столе секретарши, она подняла трубку и громко объявила:

— Прием на сегодня окончен. Председатель уезжает в Моссовет на «Ленинские чтения».

Это была катастрофа. Вопрос стоял так: сегодня или никогда — либо председатель сейчас напишет на нашем заявлении: «поддерживаю», либо квартиру отдадут другим.

Я лихорадочно думал, что предпринять, когда в прихожую вошел из коридора маленький невзрачный человек в помятом костюме. По дороге к председательскому кабинету он задел меня плечом, поднял глаза и воскликнул:

— О, кто к нам пожаловал! Сам товарищ Рубин! Какими судьбами? — Он протянул мне руку и продолжал: — Что там в «Спартаке» слышно? Говорят, Саша Якушев заболел?! Они же без него пропадут...

При упоминании о хоккее я вспомнил, что видел этого гномика за кулисами лужниковского Дворца. Он там околачивался в перерывах и подходил то к одной, то к другой группе обсуждающих игру — послушать мнения знатоков. Сейчас мне было не до него. Я буркнул что-то и отвернулся. А назойливый болельщик шмыгнул в кабинет председателя. И тут меня осенило спросить секретаршу, кто он. Она охотно ответила:

- Первый заместитель председателя. Ведает жильем.
- Как имя-отчество?
- Иван Васильевич.

В этот момент человек вновь появился в приемной, и мне показалось, что у него за спиной выросли белые крылышки. Он приказал секретарше:

- Пусть шофер идет вниз. Уезжаем.

А я кинулся к нему:

- Иван Васильевич, будьте отцом родным, спасайте...
- Что случилось? — растерянно спросил он и стал

надевать драповое пальто с потертым каракулевым воротником. Пока он этим занимался, я изложил ему суть дела. Дальше между нами состоялся короткий диалог.

- Размер квартиры?
- Тридцать квадратных метров.
- А сколько сдаете?
- Ничего. Там же бывшие семьи остаются.
- Тогда по закону не положено. Тем более на двоих. В санитарную норму не укладывается.
- Но нас трое, — я показал на живот своей спутницы.
- Какой месяц?
- Седьмой.
- Не положено. Считается, когда семь полных.
- Но я член Союза журналистов, имею право на десять метров сверх дополнительной жилплощади.
- Имеете, если они у вас есть. При получении не учитывается.
- Так что же нам делать?

Он посмотрел на меня, подумал и закончил разговор:

- Жилищная комиссия завтра утром. Я сам там буду.

Придете сюда в двенадцать дня и получите у секретаря заключение комиссии. Все решим, как надо. Не волнуйтесь. А вечером увидимся в Лужниках.

Он протянул мне узкую ладошку и выпорхнул в коридор.

Что такое, в сущности, везение? Это — оказаться, как говорят американцы, в нужное время в нужном месте. Так получилось у нас. С Иваном Васильевичем с тех пор мы постоянно встречались на хоккее и изредка угощали друг друга коньяком (его продавали за кулисами из-под полы только «своим», наливали в кофейные ча-

шечки и паролем служило обращение к буфетчице: «Налей мне чашку холодного кофе»).

Еще один, маленький барьер вырос, когда выяснилось, что ни один московский комиссионный магазин не хочет заплатить нормальную цену за брошь. Это препятствие я перепрыгнул легко. Бакинский корреспондент «Советского спорта» Юрий Дашевский, с которым мы дружили, перерисовал брошь в свой блокнот, дома показал рисунок ювелирам и порадовал меня вестью, что там ее с руками оторвут за восемь тысяч. Добрейший Николай Семенович Киселев дал мне командировку в столицу Азербайджана.

Но Юра, как художник эпохи социалистического реализма, видно, переборщил, когда срисовывал брошь. Ни один из пришедших к нему домой покупателей о восьми тысячах и слушать не хотел. Лучшим было предложение 6 700 рублей. Жанна сделку санкционировала.

Ювелир — сутулый, с узкой бородкой, внешностью подошедший бы на роль Шейлока, или владельца «Лавки древностей», или «Скупого рыцаря» — достал из портфеля большой газетный сверток и отсчитал — почему-то пятерками, трешками и рублями — деньги. Они доверху заполнили мой узкий чемодан — дипломат. В полночь я попрощался с Дашевским и его женой Люсей, взял свой бесценный «дипломат» и пошел к агентству Аэрофлота. От его здания автобусы возили пассажиров в аэропорт.

Тут же толпились таксисты. Я сел в такси. Шофер подобрал еще трех попутчиков, и мы тронулись. Машина быстро выскочила на пустое темное шоссе. Мне досталось место на заднем сиденье между двумя брюнетками с тоненькими усиками. Мозг пронзила мысль: а что, если их вместе с шофером нанял ювелир, и они сейчас отберут чемодан, а меня выкинут на обочину? Я отгонял эти подозрения, но, признаюсь, чувствовал себя не очень уютно. Однако все обошлось.

В самолете, отлетавшем в три часа ночи, я безуспешно пытался уснуть в обнимку с «дипломатом». Наконец, изругав себя за трусость, закинул чемодан наверх и проспал сном младенца до прилета в Москву.

В январе наш дом, имевший 13 подъездов, 469 квартир и занявший целиком одну сторону улицы 26 Бакин-

ских Комиссаров, был сдан. В первых числах февраля мы вселились в просторную, с иголки квартиру, в которой еще никто не жил. 15 февраля в родильном доме Граурмана у Арбатской площади Жанна родила сына.

— Какое имя вы решили дать ребенку? — этим вопросом встретила нас по возвращении из родильного дома Александра Кузьминична, мать Жанны, приехавшая из Малаховки помогать дочери и учить ее обращению с младенцем.

Не дожидаясь ответа, она внесла предложение:

— Пусть он будет Казик, в честь своего покойного дедушки. И разве не красиво звучит: Казимир?

Она просительно посмотрела на нас с Жанной, быстро смекнула, что предложение не пройдет, и выдвинула другое, видно, оставленное на худой конец:

— Не хотите Казик — не надо. Но хотя бы не называйте Сергеем. Терпеть это имя не могу.

На такой компромисс мы согласились.

Прожив у нас неделю, бабушка отбыла в Малаховку — посмотреть, как там поживает без присмотра ее дом, и вскоре примчалась обратно к внуку. Мы увидели из окна, как она идет от троллейбусной остановки. И Жанну осенило:

— Скажем маме, что были в загсе и дали ребенку имя Абраша.

В семье Морено было принято устраивать розыгрыши моей простодушной и легковерной теще. Она вошла, не подозревая, какой удар ее ждет, и кинулась в детскую.

— Тише, — остановила ее Жанна, — Абрашенька, кажется, спит.

До Александры Кузьминичны не сразу дошел смысл сказанного. Потом она медленно подняла глаза по очереди на Жанну и на меня и шепотом спросила:

— Какой Абрашенька?

— Наш. Мы уже и в загсе были. Хотите, сейчас метрику покажу, — скороговоркой лепетала Жанна, пока мать менялась в лице.

— Ну зачем же вы так? — наконец вымолвила она. — Если не могли ничего путного придумать, назвали бы хоть Сережей.

— Успокойтесь, — сказал я. — Вы хотели, чтобы ребенок был Казиком, как ваш муж, а я — Абрамом, как мой дед.

Если бы знала Александра Кузьминична, что на самом деле моего дедушку звали Липманом, она, пожалуй, смирилась бы и с Абрашкой.

— Мама, — встряла в разговор Жанна, — но Абрам — старинное славянское имя. Не понимаю, что вы имеете против.

— Жанночка, — голосом трагической актрисы ответила та, — может, имя и славянское, но кто сейчас об этом знает?

И после паузы добавила:

— Сделали ребенка несчастным на всю жизнь...

Прошло немало времени, прежде чем мы успокоили тещу.

Жена настояла, чтобы сына нарекли Женей. Она объяснила свое желание так: когда-нибудь он унаследует профессию отца, а с ней и подпись: Евгений Рубин. Я, польщенный ее мотивировкой, возражать не стал. Для Жанны, русской женщины, неосведомленность об обычаях моих предков естественна. А мне следовало бы знать, что у евреев сын получает имя отца, только если тот умер. Но я был такой же обрусевший еврей, как миллионы других, выросших в дружной семье советских народов.

Сыну не суждено было стать моим коллегой. А вот сама Жанна стала, стала еще до того, как мы узаконили свои отношения. Летом 68-го Тарасов (журналист, а не тренер), Галинский и я одновременно оказались в командировке в Ленинграде. Я, как всегда, взял с собой Жанну. Вчетвером мы пошли обедать в «Асторию». За столом Галинский высказал идею:

— А почему бы Жанне не попробовать себя в фоторепортаже? Она молодая, энергичная, общительная, у нее хороший вкус...

Тарасов его активно поддержал. Ни мне, ни ей никогда не приходил в голову подобный план. Я тогда подумал: с тем же основанием Галинский мог спросить, почему бы ей не заняться вязанием платков или вышиванием гладью. Она никогда не держала в руках фотоаппарат. Однако дома мы задумались: может, предложение

Галинского не такое уж легкомысленное? К тому же лучшей и более реалистической программы у нас не было. И решили: пусть попытается.

Мы купили в комиссионке за 25 рублей подержанный аппарат «Зенит». Юра Моргулис показал, как его наводить, как ставить выдержку, как строить кадр. Я договорился в лужниковской многотиражке, что буду два раза в месяц приносить хоккейное обозрение, а за это редакция снабдит Жанну удостоверением, которое откроет ей доступ на арены стадиона.

Первые результаты превзошли все ожидания. Один, потом другой, потом третий снимок, сделанный Жанной, появились в «Московской правде». Тогда она отправилась в журнал «Физкультура и спорт» к Тарасову, который был там главным редактором:

— Николай Александрович, вы меня толкнули на этот путь, вы и должны взять меня на работу.

— Принесите фотоочерк о каком-нибудь спортивном герое, — вполне серьезно ответил Тарасов. — Если получится, считайте, что приняты.

Жанна выбрала героиню — первую в истории советского плавания олимпийскую чемпионку Галину Прокуменщикову. Очерк занял в журнале разворот. Тот номер еще не вышел в свет, когда Жанна стала внештатным фоторепортером ежемесячного журнала.

Теперь мы не расставались почти никогда. Она ездила со мной на хоккей и футбол и трудилась у кромки поля. Я сопровождал ее, когда она получала задания снимать гимнастику или фигурное катание, и коротал время за кулисами лужниковского Дворца.

Мир фотожурналистики — особый мир. В приличных изданиях снимки оплачивались хорошо. Но количество мест за этим столом яств ограничено, и каждый захвативший такое место бережет его от набегов посторонних. Понятно, первые шаги Жанне помогли сделать мои связи. Однако это только полдела: благодаря связям снимок, сделанный «чужаком», попадает не в корзину, а на редакторский стол. Там все решает только качество. По этой части ее работа была выше всяких похвал. Ее снимки стали появляться в «Известиях», «Огоньке», «Неделе», «Смене», в журналах, издаваемых АПН. Она настоль-

ко увлеклась новым для себя делом, что продолжала трудиться и тогда, когда до рождения нашего сына оставалось два месяца.

Зимой 1969 года работавший в южноамериканской редакции АПН Лева Костанян сообщил, что есть запрос из Бразилии на фотографии о русской зиме и что АПН оплатит их по пятерке за негатив. Жанна походила по московским паркам и сделала десяток кадров, получила в агентстве гонорар и забыла о них. И вдруг — звонок Костаняна. Вот что он нам рассказал.

В АПН готовили традиционную выставку лучших фотографий года. Из всех представленных должна быть выбрана одна: фото—эмблема вернисажа. Последнее слово в выборе принадлежит генеральному директору агентства, тогда это был Бурков. Но он отобранные отделом иллюстраций забраковал и приказал принести все, что можно в данный момент найти. Притащили несколько мешков и завалили длинный стол в зале заседаний грудями фотографий. Бурков брал снимок за снимком и раздраженно откидывал в сторону. Наконец его взгляд остановился на одном.

— Да вот же он! — воскликнул Бурков. — Готовая эмблема. И название есть: «Всюду новости».

Жанна сфотографировала на Суворовском бульваре двух маленьких девочек. Они, в подпоясанных кушачками шубках, закутанные в платки, обутые в валенки, шепчутся на фоне заснеженной садовой скамейки и покрытых толстым слоем снега газонов. Одна из девочек — дочь нашего приятеля Натана Слезингера. Теперь она замужем и живет в Бостоне.

Сказанное Бурковым вызвало ропот собравшихся. В истории ежегодных выставок не бывало, чтобы фотографией года признавалась взятая у пришлого, не служашего в «Новостях» репортера. Это был удар по престижу агентства, гордившегося подбором своих знаменитых на всю страну фотомастеров. Но начальник быстро прекратил прения:

— Штатным наука — надо снимать лучше. Остановимся на этом.

Снимок рядом с рецензиями на вернисаж обошел десяток газет, в том числе «Известия» и «Литературку».

Он занял половину пригласительного билета на выставку и всю стену при входе в зал, где эта выставка проходила. И везде пониже названия красовалось: «Фото Жанны Морено». Сама она, кроме положенной пятерки, получила еще десятку в качестве премии.

Одновременно с ее первыми достижениями начался мой головокружительный взлет. Вроде бы мои служебные дела шли все хуже: из и.о. редактора отдела я превратился в рядового сотрудника «Футбола-Хоккея». Зато моя журналистская известность стремительно росла, я теперь не знал отбоя от заказов. Из разных редакций звонили домой и на работу с утра до вечера. Все требовали: «Напиши!»

Я стал повсюду желанным автором. Не проходило дня, чтобы где-нибудь не напечатался. Мои статьи публиковали десятки газет — от «Правды» и «Известий» до «Советской торговли» и «Челябинского рабочего», и десятки журналов — от «Огонька» и «Советского Союза» до «Молодого коммуниста» и «Дружбы» — ежесемейника Комитета дружественных армий (кстати, платившего лучше всех).

Ко мне выстроилась очередь представителей издательств, желавших получить книги знаменитых спортсменов в моей литературной записи. Так появились «Я смотрю хоккей» Бориса Майорова (в издательстве «Молодая гвардия»), «Центральный круг» Валентина Иванова (в издательстве «Физкультура и спорт»), «Записки вратаря» Льва Яшина (в «Библиотеке «Огонька»).

Не прилагая никаких усилий, я проникал в издания, никогда прежде не печатавшие материалов о спорте. К таким относилась «Библиотека «Огонька», мы с Яшиным стали первопроходцами. Я еще не завершил работу над книгой Майорова, когда получил предложение журнала «Октябрь» дать туда отрывки, они появились в пяти номерах. Впервые в истории советской печати пересеклись дороги спорта и толстого литературно-художественного журнала.

Тогда все это свалилось на меня как снег на голову. Я долго не мог найти ответ на вопрос: чему обязан? Только позже объяснил себе, в чем дело.

Члены семьи моей первой жены, населявшие пятикомнатную квартиру в доме у Красных ворот, в которой жил и я, считали себя рафинированными интеллигента-

ми. Все были с университетским образованием — два филолога, биолог, педагог, библиограф, юрист. К моей профессии они относились со смесью снисходительности и презрения как к занятию не для человека серьезного. Так относится интеллеktуал к поклоннику бульварного чтения, вроде «Библиотеки военных приключений».

Если и удавалось мне работать дома, то в лучшем случае я пристраивался у кухонного стола, где кто-то мыл посуду, кто-то болтал, кто-то играл с детьми.

Все круто изменилось, когда мы сошлись с Жанной. Наш первый расход был сделан по ее настоянию — приобрели для меня пишущую машинку «Эрика» по совершенно недоступной нам тогда цене. Где бы мы ни селились, Жанна выкраивала место для письменного стола. На сдачу, оставшуюся после покупки квартиры за проданную брошь, она купила мебель не для столовой или спальни, а финский кабинет с большим письменным столом и роскошным креслом, в каких мне прежде никогда не доводилось сидеть.

Годы в этом смысле ничего не изменили. Я и в Америке тружусь на безбрежном деревянном полотне письменного стола, где свободно разместились два компьютера, принтер, телевизор и прочее, без чего можно обойтись, но что создает человеку моей профессии добавочные удобства. Жанна позаботилась и о том, чтобы в кабинете была чистота, и чтобы стены были убраны картинами, и чтобы свет от ламп не раздражал резкостью и яркостью.

Сын мой, Евгений Рубин-младший, вырос в Америке. По-русски он говорит свободно, но читает с трудом. Ему мои писания недоступны. Однако он воспитан матерью в убеждении, что нет в мире ничего важнее, чем труд отца. В его глазах я — великий мастер, и каждая строчка, написанная мной, значительна и ценна. Сын теперь женат. Его жена и ее родные не знают по-русски ни единого слова. И тем не менее и сама Моника, и ее родители, рядом с которыми мы с Жанной выглядим неимущими, относятся ко мне с почтением. Главе семейства приходится иногда общаться с выходцами из России. Он в таких случаях не забывает сообщить, что находится в родстве с «самим Евгением Рубиным». И всегда после этих встреч уверяет, что собеседник ответил:

«Как же, знаю». Хотя я не убежден, что так оно и было на самом деле.

В той, старой моей семье никого, в том числе и жену, никогда не интересовало, что я там, примостившись неподалеку от газовой плиты, сочиняю. Жанна, едва мы познакомились, стала моей постоянной первой читательницей. Я писал и воображал, как она оценивает написанное, и старался, чтобы ей понравилось. Ничего не изменилось с тех пор. По-прежнему я пишу, видя перед собой единственного читателя и критика, и стараюсь заслужить его похвалу.

В середине февраля 1978 года мы получили разрешение на эмиграцию. Улетали из Москвы 8 марта. Все последние дни и ночи вели нескончаемые разговоры с заполнявшими дом друзьями. Доминировала тема: как сложится наша жизнь в Америке. Меня спрашивали:

— Что ты собираешься там делать?

В ответ я мямлил нечто неопределенное:

— Поглядим на месте... Может, лифтером устроюсь... Может, в магазин — продукты из подвала на прилавки носить... С голоду не помрем...

Жанна прерывала меня резко:

— То же делать будет, что здесь. Писать.

— Да кому там его писания нужны?

— Это твои не нужны. А его нужны, — со свойственной ей вообще резкостью отвечала она.

И вот ведь что самое удивительное: оказалась права.

У известного в 30-е годы поэта Иосифа Уткина есть такие строчки:

Другой уют, другая крыша,

И тот же самый человек вдруг станет

на голову выше...

Это — про меня. Иногда, возвращаясь мысленно к прожитому, я спрашиваю себя: а что было бы, если бы я не совершил тех или иных ошибок? В частности, в первый раз женился бы на десять лет позже и на Жанне? Нет, я не хотел бы избежать того, первого, брака. Все познается в сравнении. Пока не появилась Жанна, я не сомневался в том, что люблю свою жену и что счастлив в браке. И лишь после встречи с ней понял, что пребывал в заблуждении.

Жанна родилась и выросла в семье цирковых артистов. «Семья Морено» писали о них в предвоенных афишах. «Семья» — это Жаннины отец, мать и брат отца. «Морено» — псевдоним, превращенный в фамилию, записанную в паспортах родителей и метрических свидетельствах детей. По цирковому амплуа семья Морено — велофигуристы (кстати, все трое снимались в фильме «Цирк» с Любовью Орловой, поставленном Григорием Александровым). Однако еще перед войной отец Жанны стал создателем первого в истории русского цирка аттракциона «Мотогонки по вертикальной стене», и семья пересела с велосипедов на мотоциклы. Они путешествовали по городам и весям страны с детьми и скарбом в пульмановских вагонах, добирались до места назначения, ставили на площади «бочку» и давали дюжину сеансов в день, носясь по круглой стене на своих «харлеях» без глушителей. На машине, управляемой отцом, восседал медвежонок.

Будущую жену, мать Жанны, Казимир Морено отыскал в Тамбове и принял в свою труппу, когда той было 13 лет и она успела окончить четыре класса. Больше учиться ей не пришлось. То ли из уважения к его грамотности, то ли из-за разницы в возрасте, но она сохранила преклонение перед мужем навсегда. Видно, отношение семьи к кормильцу Жанна впитала с молоком матери. И таким же молоком вскормила сына.

Пока наша связь не была узаконена свидетельством о браке, мое окружение, даже люди старшего поколения вроде Филатова и Тарасова, ее поощряло. Жанну принимали как свою. Если я спешил на свидание, для начальства это было уважительной причиной моего раннего ухода с работы. Каждый готов был при малейшей возможности дать нам приют и ночлег. Коллеги предлагали в своих редакциях сделанные ею снимки.

Постепенное охлаждение — не всех, а самых близких — началось, когда стало ясно, что происходящее — не очередная любовная интрижка приятеля. Я перестал быть завсегдатаем застолий в Доме журналиста. Я не задерживался допоздна в редакции без крайней нужды. Меня начали забывать официантки в «Севане» и уборщицы в пель-

менной в проезде Серова. Я всегда спешил домой, к Жанне.

Это было похоже на ревность — чувство, которое не способствует симпатии к разлучнику или разлучнице. Внешне охлаждение никак не проявлялось. Но меня перестали спрашивать, как там Жанна, скоро ли мы устроим общее сборище, а когда я предлагал вместо «Севана» ехать к нам, ссылались на отдаленность нашего жилья от центра.

Во всем этом я ощущал подозрительность по отношению к ней и терялся в догадках: в чем можно ее заподозрить? Не в корысти же: интересная, пользующаяся успехом молодая женщина променяла почти такого же молодого мужа, многообещающего ученого-физика, на обремененного двумя детьми, не слишком обеспеченного человека среднего возраста и устроенную, спокойную жизнь — на бесквартирную, исполненную хлопот и лишнюю уверенность в завтрашнем дне.

Но, видно, так уж устроен человек XX века, или, может быть, вернее сказать — человек, выросший в обществе, в котором мы жили: он не хочет верить в чистоту побуждений, ему легче сказать себе, что поступками ближнего руководят меркантильность, хитрость, эгоизм.

Эта истина открылась мне накануне нашего отъезда в эмиграцию. В разгар шумных многолюдных проводов Толя Пинчук шепнул, что ему надо поговорить со мной наедине. Мы сели в его «Жигули», и он — наверно, из опасения, что нас могут подслушать, — включил мотор.

— Ты делаешь роковую, непоправимую ошибку, уезжая с Жанной, — сказал он. — Это не только мое мнение. Просто другие не могут себя заставить открыть тебе правду. Ты ей нужен потому, что ты еврей. Ты для нее средство передвижения. Без тебя ей не попасть в Америку. А там ты ей зачем? Там она себе поищет богатого американца.

Что я мог на это ответить? Я даже не обиделся. Мы с Пинчуком дружили 20 лет. Эпиграфом к его жизнеописанию могло бы послужить название рассказа Владимира Войновича «Хочу быть честным». Ради того, чтобы потом не упрекать себя в сокрытии правды, он готов был пожертвовать моим душевным равновесием: ведь в

момент нашего разговора путей к отступлению у меня уже не было. Но я остался спокоен. Моя уверенность в Жанне была непоколебима.

Мы живем в Америке третье десятилетие. И что ни день я открываю в своей жене новое. Первые месяцы мы перебивались на нищенское пособие еврейской благотворительной организации. Потом мне начали платить крошечный гонорар на «Радио Свобода». Потом мы с двумя новыми эмигрантами открыли газету, в которой не зарабатывали ни гроша. Избалованная, забывшая о нужде Жанна гнула спину сначала в ювелирной мастерской, составляя цепочки, затем — на фабрике, завязывающая узлы на галстуках и получая два доллара в час. В газете, которую мы создали, она выклеивала полосы и заведовала отделом рекламы. И всегда на ее плечах были заботы о доме и сыне.

Она уговорила владельца дома, в котором мы поселились, снизить нам квартплату за то, что сама сделает в квартире ремонт. И во всех трех комнатах, кухне и коридоре собственноручно выкрасила стены и потолки, и вымыла полы, и выдраила до блеска дверные ручки.

Взвалив на себя этот груз, который согнул бы и мужские плечи, она еще выкраивала время шить себе туалеты. Овладела этим искусством в эмиграции самоучкой и достигла высшего мастерства, умеет шить все — от незатейливого фартука до модного демисезонного пальто.

В Америке медицинское обслуживание дорого. Медицинское страхование тоже. Много лет ни то, ни другое было нам не по карману. Я помню все случаи, когда мы обращались к помощи врачей.

Однажды поднялась до опасной отметки температура у маленького сына. Другой раз он вывихнул лодыжку, играя в баскетбол. Пришлось нам в Нью-Йорке лечить зубы, заказывать очки. Вот и все. Нет, другие недуги не обходили нас стороной, но врачует нас Жанна. Она обзавелась книгами по народной медицине, травами, витаминами, настойками. И лечит себя и нас, манипулируя ими уверенно и умело. А еще оказалось, что у нее так называемые «электрические руки» — она умеет передавать ими энергию, которая выгоняет из нас радикулиты, гаймориты и прочие простуды.

В 96 году мы купили маленький летний домик в ста километрах от Нью-Йорка на берегу Атлантического океана. Жанна выкрасила его стены, починила крышу, посадила цветы, прорыла арыки для стока воды. Мне она отвела в дачной жизни роль добытчика. Устав от сиденья за письменным столом, я беру удочки и ловлю похожую на российских пескарей рыбешку либо с берега, либо с моторной лодки. Рыбу эту по-настоящему любит наша собака, красавец-лабрадор по имени Мойша.

Средний американец ежедневно достает из своего почтового ящика не менее десятка конвертов. Все расчеты — за квартиру, свет, отопление, телефон, купленную машину — по кредитным картам происходят по почте. Любая просрочка чревата штрафом. В груде конвертов бесконечные напоминания об этих платах, предложения льгот при выборе страховой и телефонной компании, при подписке на газеты и журналы. Состоятельные люди, чтобы не утонуть в этом море бумаг, держат секретарей. У меня — бесплатный — Жанна. За двадцать лет я ни разу не выписал банковского чека. Она делает эту унылую, иссушающую душу работу безропотно и аккуратно.

Я не большой поклонник выходов в гости или в ресторан. Но когда эти выходы совершаются, Жанна напоминает мне ту девочку, которую я впервые увидел у дверей кадровички «Советского спорта», — с розовыми миндалевидной формы ногтями, в нарядах, словно их шил для нее Армани, благоухающая и красивая. И я сам в эти часы не верю, что она утром красила скамейки на террасе и копалась в земле.

И не только выходы в свет пробуждают во мне воспоминания о той девочке. Так же как тридцать пять лет назад, у меня начинает кружиться голова, когда я смотрю на ее длинные стройные ноги. Так же как тогда, у меня пересыхает во рту, когда она появляется на пляже в открытом купальнике.

И сам я, в свои без малого семьдесят, чувствую себя рядом с ней молодым и способным на безрассудные поступки.

Глава 7

ТЕАТР АБСУРДА

На сцене и за кулисами

Долгий, громкий, резкий звонок, наподобие школьного, служил сигналом: всей редакции приказано собраться в конференц-зале. К таким звонкам привыкли. Собрание-экспромт могло быть посвящено чему угодно. То ли готов проект резолюции профсоюзного собрания и надо его принять, то ли требуется одобрить решение очередного пленума ЦК, то ли предложат записываться желающим получить продуктовые наборы к Новому году.

Народ, как обычно по зову звонка, потянулся вниз, в зал. Однако на этот раз сбор всех частей был объявлен по иному поводу — предстоял «стихийный митинг». Секретарь партбюро дождался, когда все расселись, и произнес:

— Товарищи, есть проект письма коллектива редакции и издательства газеты «Советский спорт» в ЦК КПСС. Сейчас я его оглашу. А потом, если не будет поправок и дополнений, каждый подойдет к моему столу и поставит под письмом свою подпись.

Затем оратор раскрыл папку с единственным листком бумаги и приступил к чтению. В соответствии с текстом наш дружный коллектив единодушно клеймил позором академика Сахарова, предающего интересы родины и действующего на руку ее врагам. Заканчивалась резолюция требованием, точный смысл которого я за давностью лет не помню. Мы требовали то ли выдворить Сахарова из страны, то ли изолировать, то ли еще каким-то образом избавить от него советское общество.

Поправок и уточнений не было. У председательского стола выстроилась длинная очередь. Подписавший пере-

давал ручку следующему и шел к выходу. У двери стоял член партбюро Юрий Константинович Бондарь и спрашивал у выходящего:

— Подписал?

Получив утвердительный ответ, Бондарь выпускал исполнившего свой гражданский долг на волю. А тот, поскольку было обеденное время, сворачивал в столовую, которая была здесь же, на первом этаже.

Мне не надо было заглядывать в глаза своим сослуживцам, чтобы определить настроение каждого стоящего в очереди. Я знал наперечет всех, кто выполнял эту процедуру с радостью, близкой к восторгу. Таких было полдюжины. Их настроение было продиктовано не столько возможностью пригвоздить Сахарова к позорному столбу, сколько нетерпеливым желанием лишний раз продемонстрировать на публике свое духовное единство с партией. Они торопились поставить свои подписи в самом верху листа.

Для прочих это было выполнением формальности — неприятной, но от которой не отвертишься. Ход их мыслей был примерно таков: отказ от подписи все равно стал бы гласом вопиющего в пустыне, зато принесет мне и моей семье неприятности, масштаб которых непредсказуем, а моя подпись ничего не изменит — их и без моей миллионы.

Я пристроился в хвосте очереди и немного в стороне и внимательно следил за Бондарем. Наконец дождался, когда кто-то вовлек его в деловой разговор, и он ослабил бдительность. Мое сердце забилося учащенно, ладони вспотели. Я даже на секунду присел на стул, но заставил себя подняться и пошел к двери.

— Подписал? — рассеянно спросил Бондарь.

Я молча кивнул и вышел. В висках у меня стучало.

До самого конца рабочего дня я ждал, не придет ли кто-нибудь из партбюро с листом, заполненным закорючками, чтобы спросить, какая из них моя. Естественно, никто не пришел. Мой маневр остался незамеченным.

Я прекрасно понимал, что совершил поступок не столько героический, сколько жалкий, про какие говорят: «Показал дулю в кармане». Смелые люди шли на

Красную или Пушкинскую площадь и там выражали свое отношение к Сахарову и его единомышленникам громкогласно. Только такая форма протеста имела смысл. То, что сделал я, и не было протестом против травли великого человека — о моем поведении все равно так никто и не узнает. И выручило меня то, что я, скорей всего, оказался одиночкой. Будь нас несколько, это вызвало бы подозрение и виновников все равно бы замели. Не знаю, как я действовал бы и что говорил, если бы считал это предприятие очень уж рискованным.

И все же некоторое удовлетворение я испытывал. Я представлял себе, как долго и беспощадно терзал бы себя, поставив подпись.

Однако я вспомнил митинг в «Советском спорте» не для того, чтобы спустя десятилетия покопаться в своих переживаниях 30-летней давности. Если бы человеку со стороны, не знакомому с тогдашними нравами и обычаями, было доступно увидеть изнанку происшедшего в те полчаса, он отнесся бы к этому, как к сцене из спектакля. Скорей всего, трагикомического, поставленного по мотивам произведений Оруэлла. Поставленного скверным режиссером и исполненного никудышными актерами.

Сами участники не замечали искусственности того, что делали. Они к таким спектаклям притерпелись. Этот театр абсурда заполнял их жизнь с утра до вечера.

Заняв место в метро или троллейбусе, который вез меня на службу, я раскрывал газету и первым делом наталкивался на заметки о таких вот «стихийных митингах», о «едином порыве», который охватывал их участников, о высказываниях «скромных тружеников», их «справедливых требованиях».

Дальше шли статьи о передовиках-животноводах, перевыполнивших свои социалистические обязательства. А первое, что бросалось мне в глаза при выходе из метро «Площадь Ногина», — километровая очередь у магазина «Колбасы».

Едва ли не все, кому удавалось занять в городском транспорте сидячее место, вооружались газетами. И пробегали глазами по заголовкам. Каждый сознавал, насколько стихийными были собрания в учреждениях, насколько един порыв собравшихся, какова цена утверждениям

о перевыполненных обязательствах тружеников села. Это сознавали и авторы статей, и приказавшие их написать, и читатели. И каждый понимал, что ложь, содержащаяся в них, — ни для кого не секрет. Но все относились к этой лжи как к некоему обязательному условию игры, а к себе — как к исполнителям в ней тех или иных ролей. Судя по естественности выражения лиц читателей, они даже мысленно не улыбались. Над чем смеяться, если так положено?

Я, родившийся и выросший в этой среде обитания, как и все, привык к ее аномалиям, и они — так, по крайней мере, казалось мне самому — не вызывали во мне ни протеста, ни раздражения. Хотя по роду службы, сперва в районной газете, потом в «Советском спорте», мне приходилось иногда выступать не только простым статистом этого театра абсурда. Бывало, мне поручалось в его спектаклях произнести: «Кушать подано». Но и к этому я относился как к чему-то само собой разумеющемуся и неизбежному.

Особенно мне почему-то врезалась в память кампания, которую вела газета в начале 60-х годов. Своей чудовищной бессмысленностью она выделялась даже на фоне тех лет. Просуществовала она около года, после чего умерла и была забыта. Возможно, кроме меня, о ней теперь вообще никто не помнит. Называлась она лаконично: «1+2».

Такого рода кампании, связанные со спортом, рождались где-то в недрах ВЦСПС или ВЛКСМ. Их изобретатели докладывали свою идею руководству этими организациями, получив одобрение, придумывали название, служившее одновременно лозунгом, и находили инициатора движения — комсомольскую ячейку передового завода, фабрики, совхоза. Потом на бюро ЦК утверждали лозунг и приказывали средства массовой информации «подхватить почин».

Формула «1+2» подразумевала, что каждый мастер спорта предприятия-инициатора обязуется подготовить двух атлетов такого же класса. Человеку, имеющему некоторое понятие о спорте, не надо говорить, что атлет, выполнивший норму мастера спорта в индивидуальных видах, способен занять довольно высокое место на со-

ревнованиях мирового масштаба. Он занимается этим делом с детства, под руководством специалистов, тренируется ежедневно, ездит на сборы. И вот он вдруг берется за нерешаемую задачу — вырастить двух мастеров спорта.

Но ни один облаченный ученым званием сотрудник института, связанного со спортом, не посмел возразить ни слова против кампании «1+2», а мы, газетчики, принялись за распространение передового опыта, которого не было и быть не могло. И я, заместитель редактора отдела спортивных игр, заказывал и правил статьи на эту тему и просил корреспондентов в республиках выявлять отстающих. От отдела требовалась продукция, и отдел выдавал ее на-гора.

И сколько еще было на моем журналистском веку таких вот всенародных движений!

Пожалуй, неправильно сказать, что мы — мои друзья, с которыми не надо было кривить душой, и я — были совсем уж безучастны ко всему этому. Вечером на кухне за бутылкой водки мы часами упражнялись в остроумии по поводу бесконечных починов. Но утром являлись в редакцию и становились их глашатаями. А один из нас, гораздый на выдумки Миша Марин, забрасывал редакцию предложениями, как повернуть лозунг кампании, чтобы он выглядел реалистичней. Ни одно из таких его предложений не прошло. Кто бы ни занимал пост главного редактора, резолюция была одинаковая: не мудри, а выполняй указание!

Редактор еженедельника «Футбол — Хоккей» Лев Филатов, мой начальник в последние семь лет перед эмиграцией, был не только превосходным журналистом, но и умелым руководителем. Он обладал редким искусством обходить подводные камни и рифы в виде нагоняев и выговоров за недостаточное внимание к «инициативам» и «начинаниям» в футболе и хоккее. Не будучи ни демагогом, ни членом различных бюро и комитетов, он получил орден «Знак Почета» и звание «Заслуженный работник культуры».

В еженедельнике было 16 страниц, таких миниатюрных, будто их вырвали из школьной тетради. А в круг обязательных тем издания входили чемпионаты страны

по обоим видам спорта, жизнь сборных команд, обзор событий в ведущих футбольных державах мира и еще многое другое. Шла постоянная борьба между сотрудниками за место. Проблемы партийного руководства хоккеем и жизни сельских футбольных команд не реферировал, понятно, никто: нас, кроме Филатова и его заместителя Геннадия Радчука, было всего трое. И статьи об этом вечно вытеснялись более животрепещущими, а главное, интересующими читателя. Да и писать на эти темы никто не хотел и придумывал любые причины, чтобы отказаться. А наш мягкотелый редактор находил эти причины уважительными. Начальство пеняло ему на забвение важнейших проблем, пока он не нашел выход, простой и мудрый.

Филатов, как многие интеллигенты, питал слабость к обойденным судьбой и обездоленным. В его кабинет постоянно заходили поделиться своими горестями неустроенные журналисты, одинокие стареющие машинистки, засидевшиеся в девушках секретарши. Так появился у нас выпускник факультета журналистики Минского университета Виктор Асаулов. Он жил в Москве без прописки, снимал какую-то конуру за городом, ходил в пиджачке с протертыми на локтях рукавами. Филатов давал ему мелкие поручения, и гонорары за их выполнение спасали Асаулова от голода.

Но Витя только выглядел слабым и простодушным. Довольно скоро ему удалось запастись какими-то ходатайствами и прописаться. У нас как раз освободилось место. Филатов его немедленно взял и превратил в громоотвод, избавивший «Футбол — Хоккей» от молний, которые время от времени сверкали над нашими, и в первую очередь самого Филатова, головами.

За Витей были закреплены две страницы каждого номера. В начале недели он получал командировочное удостоверение и отправлялся на поиски материалов, которые — как все заранее знали — предназначены не для читателя, а для отдела пропаганды ЦК КПСС. Он, например, ехал в Донецк и за день до выпуска номера привозил интервью, данное первым секретарем обкома партии о том, как вверенное ему учреждение осуществляет руководство массовым футболом области. Филатов

подолгу просиживал над материалом, чтобы придать ему удобочитаемый вид. Интервью публиковалось. Все были довольны: тема «Партия и футбол», говоря на редакционном языке, «закрыта».

В следующий понедельник Асаулов ехал в районный центр Краснодарского края и возвращался с очерком о турнире детских уличных команд. Его, этот турнир, Витя сам успевал организовать и никогда не знал точно, доведено ли состязание сельской детворы до конца или прекратилось в день отъезда нашего корреспондента.

Так «закрывались» требуемые руководством темы, и Филатов был всегда готов, как щитом, укрыться творениями Виктора Асаулова.

Кстати, и сам Виктор не остался внакладе. Его заметили наверху, ввели как общественника в состав руководства профсоюзным спортом, и он стал довольно часто выезжать за границу с командами профсоюзных обществ. Словом, во всенародном театре абсурда его выделали из толпы статистов.

Уехав из России, я потерял Асаулова из виду. Верю, что он сделал карьеру если не на ниве спортивной журналистики, то на ниве профсоюзного движения. Не удивлюсь, если теперь он преуспевает в частном секторе. Это было бы естественно. Человек он практичный, смекалистый и неленивый.

Уже после того, как появился у нас Асаулов, в понедельник прислали практиканта из МГУ Юру Цыбанева. Этот 22-летний молодой человек был полной противоположностью внешне простоватому Виктору — начитанный, владеющий французским, умеющий изящно изложить мысль. Одним своим качеством Юра напоминал мне себя в его возрасте: он был страстным поклонником футбола и хоккея.

Цыбанев заканчивал университет, и его наперебой приглашали к себе заведующие многими отделами. Особенно усердствовал редактор международного отдела Семен Близнюк. Он обещал Юре заграничные поездки и при первой возможности — пост своего заместителя. Но Цыбанев был глух к уговорам. Он давно лелеял мечту работать под началом Филатова, которого боготворил и которому стремился подражать. Однако у нас все вакан-

сии были заполнены. Юра терпеливо ждал. И дождался. Как только освободилось мое место, его взяли.

Но еще до этого Юрин отец пригласил Филатова на семейный обед. Оказалось, что не только Юра, но и Цыбанев-старший, и его жена — давние почитатели нашего шефа. Филатов не сделал секрета из этого приглашения. Вернулся он с обеда в отличном настроении. И хотя не объяснял причину, мы о ней догадались. «Футбол — Хоккей» отныне был обречен на светлое будущее. Должность Юриного папаши называлась так: «Руководитель группы помощников секретаря и члена Политбюро ЦК КПСС тов. Сулова».

Естественно, из своего эмигрантского далека я не мог следить за жизнью еженедельника, но знаю, что Филатов проработал в нем до ухода на пенсию и проводили его на заслуженный отдых с почетом. Его сменил знаменитый футболист Виктор Понедельник. Но тот мог и сам за себя постоять: он был женат на дочери председателя Совета министров РСФСР Соломенцева.

Было начало 70-х годов, когда я ощутил в себе внутреннюю перемену. С каждым днем для меня становилось все большей пыткой делать то, чем я спокойно занимался десятки лет: ходить на работу, где надо было постоянно играть кем-то придуманную роль, сидеть на собраниях, где и ораторы, и слушатели знали, что, произнося речи, голосуя, кого-то поддерживая и кого-то клеймя, втирают друг другу очки, выслушивать указания, в разумность которых не верили ни те, кто эти указания давал, ни те, кому они адресовались. Из таких составляющих складывались рабочие дни, недели и месяцы. Спрятаться от всего этого нельзя было и дома.

О хлебе насущном

Жена Геннадия Радчука, заместителя Филатова, страдала какой-то тяжелой хронической болезнью, и потому сам он был постоянно озабочен поисками дефицитных лекарств и диетических продуктов для нее и просто продуктов для прокорма дошкольника-сына. Обстоятельства

сделали Гену крупным специалистом по добыванию всяческого дефицита.

Однажды после нескольких выходных по случаю 7 Ноября мы сидели в его кабинете и делились впечатлениями от дней безделья. Радчук рассказал о самом ярком. Ему удалось получить спецзаказ на мясокомбинате имени Микояна. Наборы были готовые и упакованные в коробки. Выдававший их человек сообщил, что обладатель талона на набор может приобрести еще по килограмму говяжьих сосисок и докторской колбасы. Радчук сначала отказался: ни то ни другое для праздничного стола, который он собирался накрыть вечером для гостей, не годилось. Однако все-таки купил.

— Утром Седьмого ноября мы с сыном решили на завтрак попробовать по сосиске, — рассказывал он. — И не могли остановиться. Ничего вкуснее я в жизни не ел. Позвонил знакомому, который устроил мне поход на комбинат, и он объяснил: оказывается, эти сосиски и колбасу делают из хорошего мяса и не добавляют всякой дряни. Идут эти продукты в кремлевскую столовую, в стол заказов при Доме правительства и в буфеты для членов коллегий министерств. Срок хранения — две недели. Вышел срок — и непроданное развозят по определенным магазинам. Так что случайно и простому люду эта райская пища может перепасть.

Сотрудников «Советского спорта» тоже трижды в год баловали заказами — к Новому году, 1 Мая и 7 Ноября. Секретарши отделов заранее составляли списки. Записывались все без исключения. Накануне праздника звонок собирал нас в зале. К председательскому столу подходил глава месткома и объявлял всегда одно и то же:

— Товарищи! Наборы получены и сейчас будут розданы. Но их меньше, чем записавшихся. Как поступить, решать вам. Либо устроим лотерею, либо вы объединитесь в четверки, и каждая получит набор, который вы полюбовно разделите.

Делить предстояло одну селедку, полкилограмма венгерской колбасы салями, половину копченого палтуса, а также консервные банки с болгарской баклажанной икрой, фаршированным перцем, сайрой и тресковой печенью.

Некоторые, в том числе я, сразу покидали зал, добровольно сдаваясь в борьбе за четверть набора. Большинство оставалось, надеясь на удачный поворот колеса фортуны.

В общем, получать и те царские наборы, что доставались Радчуку в компании избранных, и те жалкие подачки, которые кидал Всесоюзный спорткомитет своей газете, было одинаково унижительно. Но, как говорится, голод — не тетка. Конечно, «голод» — слишком сильное слово, московский служивый люд не голодал, но продуктовые проблемы занимали слишком много места в жизни рядового человека. А тут яства с барского стола сами идут в руки. Соблазн велик...

Я не обладал искусством Радчука заводить связи с магазинами. По утрам я, отведя сына в детский сад, обходил несколько магазинов из стекла и бетона, выросших на нашей улице-новостройке. Два имели одинаковое название — «Гастроном», третий назывался «Овощи—фрукты».

Этот третий я обычно миновал. В нем торговали обросшей комьями земли картошкой, вялой капустой, репчатым луком, похожим на смазочное масло повидлом и ржавыми банками с молдавским борщом. В нем всегда было холодно и пусто. Подходы к нему оживали лишь в июне. В эту пору у его дверей появлялись три бабки — жительницы соседней деревни Тропарево, от которой получил свое имя наш микрорайон. Деревня умирала. На ее месте планировалось построить какое-то научное учреждение, и крестьян переселяли в городские дома. Бабки, видно, ждали своей очереди. А пока они июньскими утрами рассаживались на асфальте у магазина, расстилали перед собой старые газеты и раскладывали на них пучки молодой редиски, зеленого лука, укропа и салата со своих приусадебных участков. Около них толпился народ. В магазин не заходил никто.

Ну чем не театр абсурда — торговое предприятие с дирекцией, штатом продавцов, кассиров и товароведов не могло конкурировать с тремя нищими старухами из разваливающегося изб деревни Тропарево.

Моей целью было поспеть в ближайший гастроном к моменту открытия. У его двери уже собиралась прилич-

ная толпа. Администратор отпирал замок изнутри, и мы, толкая друг друга, мчались в мясной отдел. Считалось, что утром там еще можно застать съедобное мясо. Иногда мне удавалось занять очередь в первой десятке. опередить всех и встать у прилавка первой всегда почему-то умудрялась представительница слабого пола.

Появлялась продавщица в перчатках с отрезанными пальцами и не знавшем, что такое стирка, переднике. Ее сопровождал мужчина в таком же фартуке. Он нес большой поднос, на котором лежали куски нарубленного мороженого мяса. Стоявшая в очереди первой указывала на лучший кусок. Продавщица кидала его на весы и посыпала сверху горкой костей. Дальше шел диалог, повторявшийся с завидным постоянством.

— Зачем же вы мне кости кладете? — унылым голосом спрашивала покупательница, заранее зная ответ:

— Мяса без костей не бывает. Куда же их девать? Сама я их буду есть, что ли? Тридцать процентов костей по норме положено.

— Так тут больше. И они голые совсем.

В этот момент к разговору обязательно присоединялся кто-нибудь из стоявших неподалеку:

— Ишь какая нашлась — костей не желает! Пусть либо берет что дают, либо уходит. Только работать мешает.

Говоривший это никуда не спешил. Просто он очень хотел угодить продавщице и получить в награду за лояльность чуть меньшую горку костей. Впрочем, этот номер не проходил. Продавщица в защите не нуждалась. Сила была на ее стороне.

Время от времени монотонное движение очереди застопоривалось. Случалось это тогда, когда на подносе оставались последние куски, самые, понятно, неприглядные. Тот или та, чья очередь подошла в этот момент, жалобно просил:

— Девушка, пусть рубщик вынесет новую партию.

— Не вынесет, пока эту не раскупят, — коротко и ясно бросала охрипшим от холода голосом продавщица, которой меньше всего подходило слово «девушка».

— Но тут же одни жилы, — робко возражала покупательница. Однако, поняв несостоятельность своих притя-

заний, обращалась к толпе: — Граждане, я свою очередь пропускаю.

После некоторого общего замешательства находился кто-то, обычно мужчина, стоявший в самом хвосте и, видно, спешивший на работу. Всеми отвергнутый кусок доставался ему. Только тогда продавщица выкрикивала:

— Гриша, выноси! — И на прилавке появлялся новый поднос, на котором скрещивались ревнивые взгляды претендентов.

От этих утренних мытарств меня избавил Радчук. Однажды он сказал:

— Магазин «Мясо» на Ильинском бульваре знаешь? Там есть служебный вход со двора. Спустишься в подвал, спросишь Костю и скажешь ему, что ты из «Советского спорта».

Так я познакомился с рубщиком мяса Костей. Я представился, он вежливо протянул руку для пожатия, снял с полки огромный кусок мякоти, острым, как бритва, ножом отрезал от него порцию и повертел ею передо мной:

— Годится?

«Еще бы!» — мысленно воскликнул я и кивнул головой. Костя бросил ее на весы, сделал какие-то вычисления на листе оберточной бумаги и назвал цену.

— Куда платить? В кассу?

— Мне. Когда понадобится, заходите еще. Я здесь всегда.

Я дал пятерку. Он аккуратно отсчитал сдачу, не взяв сверх установленной цены — 2 рубля за килограмм — ни копейки. «Наверняка — болельщик, — подумал я. — Бескорыстно помогает «Советскому спорту».

Уходил я через общий зал. Там была давка. Чтобы пробить себе путь к выходу, пришлось поработать локтями.

Обдумывая план следующего визита, я решил, что для укрепления дружественных связей с Костей следует пробудить в нем интерес к моей персоне. Пока он отрезал мне новый кусок, я предложил устроить ему подписку на наш еженедельник, которая была еще большим дефицитом, чем мясо. Открытой подписки не существовало вообще, но каждому из сотrudников выдавалось по полусотне подписных квитанций для постоянных и наиболее уважаемых авторов.

— Да я получаю, — просто ответил Костя. — Если у тебя будут с этим проблемы, скажи — я могу достать сколько угодно.

В другой раз я попытался соблазнить его билетом на матч звезд НХЛ со сборной СССР. Ответ был тот же:

— У меня пропуск в служебную ложу на все игры.

Однажды, спустившись в подвал, я с ужасом обнаружил, что на месте Косте стоит кто-то другой, вооруженный Костиным топором, и рубит мясо. Но я напрасно пал духом.

— Вы к Косте? — заметив мою растерянность, спросил проходивший мимо мужчина. Костя как-то сообщил мне, что это директор. Я узнавал его по никогда не снимаемой пыжиковой ушанке и старался не попадаться ему на глаза, чтобы не быть изгнанным из этого рая. — Костя здесь больше не работает. А мясо вам отпустит он. — Директор указал пальцем на парня с топором.

С тех пор я стал ходить к этому парню, имени которого так и не выяснил. Был он так же пунктуален при подсчете цены и выдаче сдачи, как Костя. Как-то он попросил меня:

— Ваши корреспонденты часто бывают за границей. Мне нужны джинсы. Возьму за любые деньги. Но ношу я только «Рэнглер». (Естественно, парень сказал «Вранглер».)

Я терялся в догадках: не за красивые же глаза они продают мне это сказочное парное мясо без костей и не берут ни гроша сверх государственной цены. Мое недоумение развеял всезнающий Радчук:

— Не твои рублевые подачки им нужны, а ты. Больше, чем они тебе. Обвешивают они там, наверху, в общем зале. Но там публика платит в кассу. А им требуется превратить излишек мяса в наличные. Они и продают тебе то, что украли наверху, и навар делят.

У Жанны был знакомый по имени Юра, он работал на складе специализированного магазина польских кухонных гарнитуров у Покровских ворот. Удобные, компактные и дешевые, они были голубой мечтой каждого новосела. Чтобы купить гарнитур честным путем, надо было записаться в очередь, оставить домашний адрес и ждать открытки из магазина. Срок ожидания — от года до двух.

Юра встретил нас приветливо.

— Ну наконец ты себе кухню покупаешь, — обратился он к Жанне. — А то все о приятелях печешься. Как я тебе завидую — в собственной квартире жить будешь. Моя-то семья в подвале ютится.

— Ты бы скопил денег и тоже купил себе кооперативную квартиру, — наивно посоветовала Жанна, — не так уже это и дорого.

— Денег у меня хватит весь наш дом купить, — печально усмехнулся Юра. — Да нельзя мне. У меня ведь зарплата восемьдесят рублей.

Мы уплатили в кассу 120 рублей, вручили Юре тридцатку и на другой день привезли домой на грузовом такси гарнитур, который до отъезда в эмиграцию верой и правдой служил нам, а после — да, кажется, и сейчас еще служит — Жанниным родственникам.

В Нью-Йорке возобновилась моя дружба с Романом Кацнельсоном, который эмигрировал на два года позже меня. В Москве он работал директором кафе «Молодежное» на нынешней Тверской. Некогда оно было прибежищем «шестидесятников» — так называлось движение молодых либералов, рожденное хрущевской «оттепелью». В кафе читали свои стихи молодые тогда Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко. Там выступали джазовые солисты и ансамбли, в том числе до сих пор существующий джаз-рок «Арсенал» во главе с замечательным саксофонистом Алексеем Козловым.

Но Роман тех дней не застал. В его время это кафе не отличалось от других подобных предприятий общественного питания.

Рому всегда окружали приятели — известные спортсмены. Он сорил деньгами, менял автомобили, носился на них с недозволенной скоростью по центру города, уверенный, что, в случае чего, ему с поклоном вернут водительские права, отобранные милицией. На черноморских курортах он жил в гостиницах, куда простых смертных на порог не пускали.

Меня всегда подмывало спросить у него об источниках этого великолепия. Но в Москве такой вопрос был бы бестактен. А в эмиграции я его задал.

— Ты небось думаешь, что я посетителей обкрадывал? — ответил он вопросом на вопрос. — Ошибаешься. Да я, если бы и хотел, не мог. Ни деньгами, ни продуктами я не ведал. На то были материально ответственные лица, заведующие складом и буфетом.

— Тогда откуда же твои доходы?

— Каждый вечер перед уходом с работы оба заведующих вручали мне по пятьдесят рублей. В субботу и воскресенье — тоже.

— Выходит, они публику обкрадывали и с тобой делились?

— И они никого не обвешивали и не обсчитывали. Все делалось по инструкции Министерства торговли. В ней указаны нормы естественной убыли. Например, мы ежедневно получали большие партии осетрины горячего копчения. Осетрина якобы крошится, когда ее режут. На килограмм, который стоит семнадцать рублей, положено убыли чуть не сто граммов. Есть нормы для других сортов рыбы, для ветчины. На эту убыль, которой на самом деле не было, зав. складом составлял акт, его подписывали сам он и представители общественности.

Спиртными напитками в чистом виде кафе торговать не разрешалось. Мы подавали посетителям коктейли. А в них входит коньяк, причем только дорогой. В инструкции говорится: на каждый ящик коньяка допускается одна разбитая бутылка. Шоферу, развозившему ящики по кафе и ресторанам, вручалась бутылка «Столичной», и он подписывал акт о разбитой бутылке коньяка. Так зачем же посетителей обманывать?

Меня этот рассказ скорее позабавил, чем возмутил: я уже не принимал так близко к сердцу то, что творилось в отдалившейся от меня на тысячи километров России. И все же сумма, названная Романом, произвела впечатление: сто рублей ежедневно — это три с лишним Ленинские премии в год!

— Что же ты делал с этими деньжищами? — спросил я. — Их же потратить невозможно.

— С какими деньжищами? Мне от них почти ничего не оставалась. В моем рабочем столе лежал список из сорока семи человек — от начальства ОБХСС, торговых

отделов Моссовета и райкома до участкового уполномоченного и дружинников. Всем я должен был ежемесячно платить, кому больше, кому меньше. Я подал уже заявление об эмиграции, но с работы не уволился, когда меня вызвал из кабинета в зал метрдотель и показал на двух сидевших за столиком старушек. Они, оказывается, общественницы из комиссии по контролю за культурой обслуживания трудящихся при горисполкоме. Мне уже было безразлично, что они запишут в своем акте. Потому в список я их включать не стал, а велел подать им хороший обед — с зернистой икрой, бифштексами, вином — и передать, чтобы на большее не рассчитывали.

Мои сограждане — и я не был исключением — родились, выросли, повзрослели в этом мире кривых зеркал. Так жили наши родители, такая жизнь ожидала наших детей. Поколения моих сограждан с молоком матерей впитали в себя сознание, что, может быть, и есть где-то на Земле иной способ существования, но мы обречены на этот.

Великий пролетарский поэт бросил лозунг, знакомый всем со школьной скамьи: «Надо жизнь сначала переделать, переделав, можно воспевать». Уж не потому ли автор лозунга вскоре застрелился, что понял невозможность ничего в своей стране изменить, и все-таки не отказался от ее воспевания — не переделанной, а придуманной?

Мое поколение о переделках не помышляло. Рассказывать шепотом анекдоты о трудовом подъеме и закрытых распределителях, о Чапаеве и чукчах — вот все, что мы могли себе позволить. И в этом тоже был риск. Не зря говорили, что если на дружескую попойку сходятся более трех человек, один из них наверняка стукач. Кстати, уже в брежневские времена был популярен благодаря своей близости к жизни анекдот:

— За что сидишь? — спрашивает у заключенного сосед по койке.

— За медлительность, — отвечает тот. — Мы с приятелем рассказывали свежие анекдоты. Когда расстались, я пошел в КГБ доносить. Но пришел вторым — приятель успел раньше.

Чем же в таком случае объяснить возникшее во мне чувство неприятия действительности, в которой я прежде плавал как рыба в воде? Я долго не пытался докопаться до причин, относя все на счет каких-то частных, всякий раз других, поводов для недовольства. Лишь много позже я, кажется, нашел объяснение.

Недавно, уже в 90-е годы, вышла книга моего старого друга и коллеги Володи Дворцова, в которой он упоминает обо мне. Он пишет, что уехать из СССР меня заставила травля, устроенная Анатолием Тарасовым: меня сместили с должности редактора отдела, перестали выпускать за границу. Это ошибочное умозаключение.

Никогда мне не жилось так вольготно, как в последние годы перед эмиграцией. Именно в эти годы я понял, что такое настоящая любовь — к женщине и родительская. Я много, продуктивно и с увлечением работал. Я ни минуты не сожалел о смещении с редакторского поста: ни столько писать, ни столько зарабатывать, оставаясь во главе отдела, я бы не мог. Эта отставка привела меня в «Футбол — Хоккей», в котором, хвала Филатову, была обстановка, почти нереальная для советского учреждения — доброжелательная, без окриков и взысканий, без взаимного подсиживания.

Все помнят с детства притчу о китайской пытке: капля воды размеренно падает в одну точку — на темя приговоренного к казни — и, маленькая, легкая, медленно разрушает его черепную коробку. Для меня такой каплей стала возникшая на рубеже 60-х и 70-х годов массовая эмиграция евреев в Израиль и Америку. Но прежде, чем я ощутил, что мысль о ней сверлит мой мозг, прошло почти десять лет, по-своему интересных и памятных. Встречи с людьми и в эти годы, и раньше добавят сомнений и колебаний к тому миллиону терзаний, которые будут отдалять решение об отъезде.

Глава 8

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Трифонов

В пересчете на душу населения больше всего подписчиков у газеты «Советский спорт», а покупателей — у еженедельника «Футбол — Хоккей» было на Красноармейской улице в Москве, в кооперативных домах творческих союзов — писателей, кинематографистов, художников.

Самые заядлые болельщики из этого мира старались не пропускать поездок на крупные турниры за рубежом. Ходатайства «Литературной газеты», «Огонька», «Смены», «Молодой гвардии» позволяли включать их в журналистские группы. И после окончания турниров повсюду появлялись их статьи и путевые заметки.

Совместное пребывание за границей упрощает отношения. Дома мне, возможно, и довелось бы свести шапочное знакомство с такими людьми, как Юрий Трифонов, Лев Кассиль, Юрий Нагибин, Георгий Жженев, Станислав Ростоцкий, неразлучная пара — Мориц Слободской и Яков Костюковский. Зато, побывав вместе в разных странах, я со многими перешел на «ты».

С теми, кто периодически заглядывал в «Футбол — Хоккей», приятельство не прервалось. Заглядывали главным образом писатели. Не ко мне, а к Филатову. И потому, что человек он был обаятельный, и потому, что литераторы видели в нем ровню: он превосходно владел пером, знал поэзию, был интересным собеседником. На правах старого знакомого участвовал в их разговорах и я.

Особенно импонировала мне близость с Юрием Трифоновым. Я почитал его еще с институтских времен. Первая же его повесть, «Студенты», заставила меня запом-

нить имя автора. Она не была лишена слабостей, но ее написал человек, тонко чувствующий язык, обладающий нестандартным мышлением, ищущий. После «Студентов» я следил за этим писателем и прочитал все его вещи. Каждая следующая нравилась мне больше предыдущей.

Мы познакомились, если память мне не изменяет, на первенстве мира по хоккею 1961 года в Швейцарии. Он выглядел человеком довольно хмурым, предпочитавшим в обществе не говорить, а слушать. Слушая, внимательно смотрел на говорящего глазами, спрятанными за толстыми стеклами больших роговых очков. Можно было лишь гадать, как он относится к оратору — с одобрением, осуждением или с иронией. Но при встречах с Филатовым и со мной он становился более открытым и менее скупым на слова.

Спорт Трифонов любил и изредка писал о нем газетные статьи. Для него спорт был интересен как явление, наглядно и полно выявляющее изнанку человеческого характера со всеми его изломами, слабостями и достоинствами. Произведений о спорте у Трифонова не много. Одно из них — прекрасный рассказ «Победитель шведов», герой которого многим напоминал Эдуарда Стрельцова, другое — сценарий художественного фильма «Хоккеисты». Из-за этого сценария у нас с Юрой получилась первая размолвка.

Перед выходом картины на экран был просмотр в Доме кино. Пригласили тренеров, хоккейных деятелей, спортивных журналистов. После просмотра было обсуждение. Вышедшие на сцену фильм хвалили. Общий смех в зале вызвала одна фраза из выступления хоккейного судьи Ильи Файнберга. Он сказал совершенно серьезно:

— Не секрет, что в образе тренера выведен наш замечательный хоккейный педагог Анатолий Владимирович Тарасов.

Комизм ситуации заключался в том, что сюжет «Хоккеистов» построен на конфликте сугубо отрицательной личности — тренера, которого играл Николай Рыбников, — и столь же положительной — капитана команды в исполнении Вячеслава Шалевича.

В рецензии мы тоже похвалили картину, но более сдержанно, чем участники дискуссии на просмотре. Нам никто не разрешил бы прямо написать о смелости авторов и назвать в этой связи имя Тарасова. Но это читалось между строк. В ту пору — на рубеже 50-х и 60-х годов — могли положить на полку готовый фильм о колхозе, если его концепцию сочтут ошибочной в Министерстве сельского хозяйства, или о шахтерах, если начальство, ведающее угольной промышленностью, найдет героя недостаточно героическим. В ЦК комсомола или в Спорткомитете вполне могли быть недовольны тем, что «Хоккеисты» развенчивают двойника Тарасова, при жизни признанного великим и непогрешимым. В этом случае труд создателей картины пошел бы насмарку.

Но мы и о том, что казалось нам недостатками, не умолчали. Сам конфликт: герой-спортсмен — злодей-тренер — был не нов. Да и нарисовал сценарист их двумя красками — белой и черной.

Трифонов ничего не сказал мне о рецензии. Но по холодности, которую он выказал при очередной нашей встрече, я понял: Юра крайне мною недоволен.

То охлаждение было недолгим, но вскоре кошка пробежала между нами еще раз. О книге Бориса Майорова «Я смотрю хоккей», литературную запись которой сделал я, прослышали в журнале «Октябрь» задолго до выхода ее из печати. Мне позвонил ответственный секретарь журнала Юрий Идашкин и предложил прислать им рукопись, с тем чтобы они выбрали отрывки и опубликовали семь-восемь авторских листов из десяти, которые были в книге. Я, с разрешения Бориса, согласился. Отрывки печатались в нескольких номерах «Октября».

Когда вышел первый из них, Трифонов сделал мне резкий выговор:

— Тебе должно быть стыдно за то, что твое имя фигурирует в журнале Кочетова. Ты делаешь недоброе дело — способствуешь росту читателей самого черносотенного издания страны. Ведь имя Майорова в оглавлении — приманка.

Я пытался возражать. Говорил, что я спортивный журналист и не имею отношения к литературной борьбе. Что

для меня почетно стать автором первого произведения на спортивную тему, появившегося в толстом журнале. Что журнальный гонорар, по моим представлениям, целое богатство, и это для меня тоже не последнее дело. Что, конечно, если бы у меня была возможность выбирать между «Октябрем» и «Новым миром», я без раздумий отдал бы книгу в «Новый мир», но ни он, ни другие литературные ежемесячники никаких предложений нам с Майоровым не сделали.

— Позвонил бы мне, — сказал Юра. — Я член редколлегии журнала «Москва». Мы бы с удовольствием напечатали главы.

Упрек в сотрудничестве с «Октябрем», исходивший от глубоко почитаемого мною писателя, сначала вызвал у меня угрызения совести. Но, услышав о связи Трифонова с «Москвой», я успокоился. И прямо сказал ему:

— Не кажется ли тебе, что лучше напечататься в «Октябре», чем состоять в редколлегии «Москвы»? Чтобы определить, какой из этих двух правофланговых в «черной сотне», нужны аптекарские весы. По-моему, хрен редьки не слаще.

Спорить Юра не стал. То ли не нашел аргументов, то ли счел, что дальнейшая дискуссия бесполезна.

Ну а на самом деле, разве это — не абсурд, рожденный той действительностью: честный писатель, который смело мог бы сказать о себе: «Не торговал я лирой...», интеллеktуал и либерал, соглашается войти в редколлекцию «Москвы», — журнала, воевавшего с малейшим проявлением либеральных настроений? Зачем Трифонову эта синекюра? «Не помешает» — другого ответа я не нахожу.

До отъезда в эмиграцию у меня не было случая узнать, простил ли мне Трифонов «Октябрь». Выяснил я это, уже живя в Нью-Йорке. Глава эмигрантской газеты «Новое русское слово» Андрей Седых был одновременно руководителем благотворительной организации «Литературный фонд». Раз в год редакция вместе с «Фондом» устраивала собрание для сбора пожертвований нуждающимся литераторам-беженцам из Советского Союза. На одном из них, в 1982 году, писатель Василий Аксенов подвел ко мне миловидную молодую женщину.

— Женя, это вдова Юры Трифонова. В Нью-Йорке она проездом по дороге в Канаду. Она услышала ваше имя и хочет вам что-то сказать.

Я был польщен. И уж совсем возгордился, когда она сообщила, что Юра рассказывал ей обо мне и относился ко мне с симпатией.

Евтушенко

Другой писатель, общение с которым не могло оставить меня равнодушным, — Евгений Евтушенко. Для меня он был ближайшим и единственным прямым наследником любимого мною Маяковского.

Нет, далеко не все нравилось мне ни у того, ни у другого. Но я с детства преклонялся перед виртуозным стихотворным мастерством Маяковского — его искусством выбирать слова, его поэтическим слухом, его несравненным талантом находить неожиданные и вместе с тем единственно точные размер и ритм стиха, его аллитерациями. Вспомните хотя бы строчки: «Бумаги гладь оплевывая. Пером, концом губы. Поэт, как блядь рублевая, Живет с словцом любим». Написать так не сумел бы больше никто на свете. У Маяковского и при жизни, и после смерти было много эпигонов. Евтушенко — не подражатель, он — наследник.

С ним меня познакомили четыре раза. В первый — когда ему было лет восемнадцать. Двоюродный брат, поэт Анисим Кронгауз, пригласил меня поиграть на бильярде в Центральном доме литераторов. Там азартно сражался с кем-то в пинг-понг длинный парень в голубой тенниске с белым воротничком. Анисим представил нас друг другу:

— Молодой поэт Евгений Евтушенко, молодой журналист Евгений Рубин.

Мне, еще не сотруднику, но постоянному читателю газеты «Советский спорт», это имя было известно. Тогда мы обменялись рукопожатиями и разошлись.

Позже я раза два видел его, когда он заходил в конце рабочего дня к моему начальнику Николаю Тарасову и они вместе покидали редакцию. Евтушенко уже был

знаменит. Меня он не узнавал, и это было естественно: мимолетная встреча и не должна была оставить след в его памяти.

С той встречи минуло лет, наверное, десять, когда брат познакомил нас снова. Мы пришли пообедать все в тот же ЦДЛ. Через несколько минут в ресторане появился Евтушенко, оглядел зал и подсел к нашему столику. Брат показал на меня и сказал:

— Это — Евгений Рубин из «Советского спорта».

— О! — воскликнул Евтушенко. — Я вас постоянно читаю и давно мечтал познакомиться. Мне хотелось бы о многом вас расспросить.

— Пожалуйста, — с готовностью ответил я.

Однако вопросов не последовало. Поэт недавно вернулся из Мексики и стал рассказывать о том, как ехал в машине с красавицей актрисой в загородную резиденцию великого художника Сикейроса. За машиной гнались неизвестные и ее обстреляли. К счастью, все обошлось.

— Они думали заставить нас повернуть обратно. Они не хотели моей встречи с Сикейросом, — заключил Евтушенко. И тут же, без паузы, продолжил: — А до этого я был в Испании. В Мадриде меня пригласили на крупнейший стадион Испании. Был митинг, и выступал сам генерал Франко. Он говорил о том, что испанским властям надо поучиться у советского руководства, которое не допускает многопартийности, и что страной должна управлять одна партия. Он говорил это явно для меня. На следующий день мне предложили покинуть Мадрид.

В таком духе беседа шла до тех пор, пока Евтушенко не распрощался с нами, сославшись на занятость.

Третье наше знакомство состоялось в 75-м году. Той осенью Советский Союз посетила вторая команда звезд канадского хоккея, но не НХЛ, Национальной хоккейной лиги, а новой — Всемирной хоккейной ассоциации, или ВХА.

Друг Евтушенко, Тарасов, уже работал в журнале «Физкультура и спорт», и поэт изредка посещал Филатова. Дважды он приносил стихи о футболистах — раз о Боброве, другой, кажется, о Хомиче, — которые мы с радостью печатали. В одно из таких посещений он застал у Филатова меня. Тот назвал мои имя и фамилию.

— Как удачно, что я могу именно сейчас познакомиться с вами, — обрадовался Евтушенко. — У меня пропуск в ложу прессы для меня и моей спутницы на матч звезд. Нельзя ли так сделать, чтобы мы сидели рядом с вами, самым уважаемым мной знатоком хоккея?

Я обещал это устроить и по мере сил быть на матче гидом при поэте. В Лужниках мы встретились как старые приятели и обращались друг к другу по имени. Я приготовился к вечеру вопросов и ответов. Однако на протяжении всего матча, включая антракты, Евтушенко говорил сам. И о канадском хоккее, и о советском, и на другие темы. Врезалась в память тирада, обращенная к спутнице-англичанке, позже ставшей его женой:

— Обрати внимание — присутствие на таких матчах, как этот, становится делом престижа. Здесь сегодня весь свет. И публика как на премьеры в Большом...

А все же не такая, как была на матчах всех звезд НХЛ. Жаль, что ты не видела. Тогда трибуны выглядели... — Он замешкался, подыскивая сравнение, которое, впрочем, быстро нашел, и сказал без ложной скромности: — ...Ну, как на моих выступлениях здесь, в Лужниках.

Пробежало еще полтора десятилетия. Я уже был нью-йоркским старожилом и каждое утро ездил на «Радио Свобода» делать свои передачи. И там в один прекрасный день в общем зале, уставленном письменными столами, за которыми трудились мои коллеги, носом к носу столкнулся с выходящим из студии Евтушенко.

— Здравствуй, Женя, — сказал я.

Он смерил меня взглядом, который не выражал ни интереса, ни удивления, — должно быть, привык к таким выходкам узнававших его в лицо поклонников. Я растерянно пояснил, что зовут меня Евгений Рубин, и напомнил, где и когда мы виделись в последний раз.

— А, Женя... — неуверенно вымолвил он. — Мне кажется, у вас и Америке изменилась прическа. В Москве вы были короче пострижены.

На том мы и разошлись. Но через неделю он позвонил мне домой. Он работал над романом, среди действующих лиц которого были футболисты, и ему нужно было проверить то ли факт, то ли дату. Потом был еще звонок:

он разыскивал нью-йоркский телефон нашего общего друга, поэта Александра Межирова.

Больше наши дороги не пересекались. Подозреваю, что, если пересекутся, мне опять придется объяснять ему, кто я такой.

Ничего в моем отношении к Евтушенко это не меняет — великим людям свойственна рассеянность.

За себя и за того парня

Количество написанных мною книг невелико — пять. Все пять вышли после того, как мы стали жить вместе с Жанной. Создавая мне идеальные условия для работы дома, она не подозревала, что делает это себе во вред.

Во мне решение эмигрировать созревало долго и мучительно. Я терзался сомнениями: не омрачит ли будущее моих детей от первого брака обязанность упоминать об отце-эмигранте в анкетах? Я опасался грядущей неизвестности. Меня угнетала перспектива остаться без старых друзей. Я томился мыслями о расставании навсегда с делом, которое люблю. А она, молодая и бесшабашная, не обремененная обязанностями перед оставленной семьей, полагающаяся, как многие женщины, не столько на рассудок, сколько на интуицию, ежедневно убеждала меня, что этот шаг не просто необходим, но единственно верен.

Между тем книги, которые я писал и собирался писать, тоже привязывали меня к России и Москве. Научиться изъясняться на чужом языке способен даже старый человек. Заниматься писательством или журналистикой можно лишь на языке, которым владеешь с детства.

Книгами в полном смысле слова можно было назвать далеко не все, что я написал. Среди этих пяти была брошюрка «70 свистков» о сложных моментах в правилах хоккея, которую мы сделали вместе с художником Леонидом Немировским, и небольшой буклет «Хоккей» со множеством иллюстраций, и среди них Жаннины снимки. К ним и слово-то «книга» не очень подходило.

Стоило мне предложить какому-нибудь издательству свою настоящую книгу о спорте, из той категории, ко-

торые выходили в сотнях тысяч экземпляров и раскупались в считанные дни, я получал встречное предложение: «Сделай литературную запись».

За неимением выбора я соглашался. И нашел это занятие пусть и не приносящим записчику славы, но увлекательным. Возможно, потому нашел, что мне повезло с людьми, соавтором которых я стал. Из них до начала совместной работы я был знаком лишь с хоккеистом Борисом Майоровым. Футболистов Валентина Иванова и Льва Яшина я прежде видел только с трибуны.

Литературная запись — жанр хотя и распространенный во всем мире (журналисты пишут книги звезд спорта и искусства, крупных хозяйственников и военачальников, даже президентов вроде Брежнева и Ельцина), но вызывающий у записчика много вопросов, не имеющих точных ответов. Должен ли журналист сохранять строй языка того, чье имя стоит на обложке? Может ли выходить за рамки изложенного ему автором и что-то домысливать? До каких пределов распространяется самостоятельность записчика в отборе фактов из жизни автора?

Одновременно со мной Толя Пинчук работал над книгами пятиборца Игоря Новикова и баскетболиста Армена Алачачяна. Мы с ним спорили часто, до хрипоты и безрезультатно. Он видел в литературной записи возможность для собственного самовыражения. Он доказывал:

— Нам ведь с тобой не дают писать книги Рубина и Пинчука. Так где же еще в таком случае высказать то, что я думаю? Тем более, что я, пишущий о спорте двадцать лет, накопил больше размышлений о жизни и проблемах спорта, чем так называемый автор.

— А если у него иной взгляд на эти проблемы, чем у тебя, пусть, как ты считаешь, и ошибочный?

— Так переубедить его, доказать ему свою правоту я сумею.

Допускаю, что переубедить спортсменов ему удавалось. Меня — нет. Для меня суть этой работы заключалась в том, чтобы прочитавший книгу Бориса Майорова узнал, что он за человек — о чем и как думает, почему поступает так, а не иначе. Я считал, что моя задача — заставить себя, пока пишу, смотреть на мир глазами того, чью книгу ждут читатели.

— А если он просоветский болван? Или просто примитивная личность? — возражал Пинчук. — Если я стану рассуждать по-твоему, я окажу ему медвежью услугу. И спорту тоже: он ведь для читателя непогрешимый спортивный герой, которому следует подражать.

— Не пиши. Или предложи издательству другую фигуру. Но обманывать читателя нельзя. Он покупает книгу Майорова или Алачачяна потому, что хочет знать, чем дышат они, а не журналист Пинчук. Ты же себя считаешь умным, интеллигентным, мыслящим и хочешь их превратить в мыслителей.

Увлечись, мы, как это вообще свойственно русским людям, каким бы ни был пятый пункт их анкет, переходили на личности.

— Тебе, известному лентяю и халтурщику, твоя концепция удобна. Записал, что тебе говорят, — и книга готова! — кипятился Пинчук.

— А твоя — от комплекса неполноценности и мании величия, — парировал я. — Ты всюду норовишь вставить свое имя и таким способом намекнуть: это я, Толя Пинчук, такой умный. Ты боишься, что из других источников этого никто не узнает.

Наши перепалки не приводили к ссорам, но и к сближению точек зрения — тоже. Каждый оставался при своем мнении.

Майоров

Книгу Бориса Майорова мне заказало издательство «Молодая гвардия» для серии «Спорт и личность». А если бы предложило самому назвать того, с кем я хочу сотрудничать, это тоже был бы Майоров. Нас с ним связывали дружеские отношения, что облегчало работу. Но даже не это главное. Больше меня привлекало в нем как соавторе то, что он представлял собой редкий в мире большого спорта человеческий экземпляр.

Российскому — тем более московскому — спортивно-му болельщику не требуется расшифровывать понятие «спартаковский дух». Оно подразумевает набор опреде-

ленных качеств: клубный патриотизм, доходящий до фанатизма, полную самоотдачу в игре, готовность к самопожертвованию ради победы «Спартака», почти религиозную веру в возможность этой победы независимо от силы противника и еще многое.

Ни динамовского, ни торпедовского, ни армейского духа нет в русской спортивной терминологии. Есть только спартаковский. И это не случайно.

До войны в футбольном «Спартаке» играли братья Старостины. Их было четверо, причем двое, старший — Николай, а потом младший — Андрей, носили капитанские повязки. Все они — кроме, пожалуй, Петра — обладали перечисленными качествами сами и умели заразить ими команду. Они-то и есть основоположники спартаковского духа.

Однако я не уверен, что термин этот не забылся бы, не появись в «Спартаке» конца 50-х годов три хоккеиста — братья Майоровы и Вячеслав Старшинов. Это их игра и их отношение к делу и своему клубу позволили поддержать разожженный некогда Старостинскими огонь. Из тройки, которая может считать себя наследницей Старостинных, самым горячим, самым азартным, самым фанатичным был Борис Майоров. И, как его великие предтечи, именно он, пока играл, долго носил повязку капитана «Спартака» и сборной СССР.

Было бы несправедливо, говоря о спартаковском духе, забыть еще о Николае Озерове, верном и бескорыстном хранителе этого огня, который его заботами не угас и поныне.

Знаменательна одна черта, роднящая носителей спартаковских традиций. Они, в отличие от подавляющего большинства людей, достигших в спорте вершин, выходцы из того слоя общества, который принято называть интеллигенцией.

Старостины — известные театралы, не пропускавшие ни одной премьеры, завсегда в московских творческих клубах, дружившие с ведущими артистами Художественного и Малого театров, писателями, художниками. Николай Петрович и Андрей Петрович сами были яркими журналистами. Андрей одной из своих статей дал загла-

вие, и сегодня повторяемое как афоризм: «Все потеряно, кроме чести».

Озеров — сын Николая Озерова, знаменитого баритона из Большого театра, выпускник театрального училища и актер МХАТа, младший брат крупного кинорежиссера Юрия Озерова. Да и прославился он в теннисе — спорте, которым занимались дети интеллигентных и обеспеченных родителей. Мамы и папы приводили своих чад на корт не для того, чтобы те, повзрослев, стали зарабатывать ракетками на жизнь.

Майоровых рафинированными интеллигентами не назовешь. Их отец — рядовой бухгалтер. Росли они не зная ни недостатка, ни уж тем более излишеств. Но, в отличие от почти всех своих сверстников, ставших крупными футболистами и хоккеистами, они не были детьми улицы. Родители заботились о том, чтобы близнецы прилежно учились в школе и получили настоящее образование.

Я употребил слово «настоящее» вот к чему. Среди мастеров футбола и хоккея выпускников высшей школы пруд пруди. Но едва ли не все они сперва выдвинулись в спорте, а потом, не без протекции и ходатайств «сверху», получили в школах рабочей молодежи аттестаты зрелости, были — без такой формальности, как приемные экзамены, — зачислены в вузы и, не перелистав ни одного учебника, окончили их. Львиная доля классных спортсменов имела дипломы выпускников физкультурных институтов. А, например, известный футболист Валерий Воронин — Инфизкультула Грузии, где никогда не жил.

Майоровы, как и Старшинов, окончили Московский авиационно-технологический институт. В нем нельзя было сдавать зачеты и экзамены, переходить с курса на курс и написать дипломную работу, пользуясь спортивным именем. Этот вуз не был подведомствен Всесоюзному спорткомитету. Его преподавателям было безразлично то, что три их студента составляют лучшую тройку обожаемой всей Москвой хоккейной команды «Спартак».

Зачем было Майоровым разрываться между спортом и вузом, если они с юности отдавали себе отчет в том, что их жизнь — хоккей? Борис никогда не объяснял мне это. Но я и без его объяснений понимал: так они воспи-

таны в семье, где само собой разумеется, что молодому человеку следует иметь высшее образование, так положено. И ей же, семье, обязаны они тем, что выросли равнодушными к таким типичным забавам молодежи сокольнической окраины, как выпивка и дуракавалянье на заднем дворе.

Нехарактерность такой идеологии для мира большого спорта очевидна. Но феномен Бориса Майорова заключается не в ней, а в том, что при всей его нетипичности именно ему выпала роль хранителя спартаковского духа, роль капитана, вожака, атамана.

Он не был чужаком в спортивной стае, он был в ней своим, хотя не подстраивался под остальных. С ним дружили, ему доверяли, на него полагались, уверенные — он не выдаст. Эта уверенность подкреплялась его поведением на льду. Он выходил на матч как на битву: не наделенный ни крупным ростом, ни особой силой, он без раздумий кидался в кулачные бои с противниками, оскорблял судей, изгонялся с поля, наказывался дисквалификацией.

Он не чурался компаний, но не участвовал в выпивках. Он вместе со всеми слушал истории о проделках хоккеистов, убежавших со сборов через окно и возвращавшихся к утру через то же окно, добираясь до него по водосточной трубе, но сам по ночам крепко спал, чтобы подготовиться к рабочему дню. Он гулял с толпой остальных игроков по улицам заграничных столиц, но не искал в этих городах товар на продажу. Борис рассказывал мне:

— Один-единственный раз ребята уговорили меня купить манто из мутона и загнать его в Москве. Ничего из этого предприятия не вышло. Мне неловко было нести его в комиссионку и выглядеть спекулянтом. Так оно и висело дома несколько лет. Больше я на уговоры не попадался.

Это уже выходило за пределы понимания людей большого спорта. Скажи любому из заслуженных мастеров, что ему не удастся заниматься скупкой и перепродажей заграничного барахла, он бы просто-напросто бросил спорт — не жертвовать же лучшей порой жизни ради 300-рублевой стипендии.

Я не утрирую. В те годы — 50-е, 60-е, 70-е — существовали у спортсменов неофициальные, но точные расценки поездок за рубеж. Приличной считалась та, в которой можно заработать три тысячи рублей. Все знали, где есть спрос на отечественный товар — водку, зернистую икру, фотоаппараты «Зенит» — и что надо покупать там, за кордоном, чтобы с максимальной прибылью сбыть дома. Поездка в Китай, Монголию и на Кубу считалась чуть ли не ссылкой, в страны Восточной Европы — пустой тратой времени, государства «третьего мира» по этой шкале котировались выше социалистических, но значительно ниже развитых.

Два «трехтысячных» путешествия приносили достаточно денег на приобретение «Волги», которые чемпионам продавали вне очереди из какого-то лимита Всесоюзного спорткомитета. «Волгу» эту подручные чемпиона отгоняли в Ташкент или Тбилиси. Там она шла втридорога.

Были в большом спорте люди, пунктуально следовавшие завету Ленина: «Учитесь торговать!» Они гордились своей ловкостью. Хотя быль, о которой вы прочитаете в следующих абзацах, отвлечет вас от рассказа о Борисе Майорове, но она характеризует нравы спортивных звезд его поколения.

Фехтовальщик Умар Мавлиханов вернулся с Олимпиады 1968 года чемпионом. Проездом из Мексики домой он задержался в Москве. Остановился он в гостинице «Россия» и пригласил нас с Жанной зайти: пусть она выберет себе мексиканский сувенир. В его номере на кровати лежал рулон ткани, похожей на кружево. Жанна сразу определила: гипюр. Я спросил, зачем ему это в таком количестве, и еще пошутил: не собирается ли он швейную фабрику открывать? Он объяснил: для выпускных балов девушки шьют из гипюра туалеты и, поскольку в магазинах его не достанешь, платят любые деньги. Вот Умар и привез триста метров.

Должно быть, чтобы развлечь гостей, он рассказал, как обвел вокруг пальца владельцев маленькой еврейской лавчонки в Мехико-Сити, у которых закупил партию гипюра. Стороны долго торговались. Я не спросил, на каком языке они это делали, но завершился торг, по словам Мавлиханова, так:

- Неужели вы своему скидку не дадите?
- Да какой ты свой?
- Могу доказать.
- Пожалуйста.

Умяр, тогда уже капитан Советской армии, расстегнул брюки и показал свой детородный член. Хозяева лавки не только сбросили цену, но еще добавили десяток метров гипюра. Они не смекнули, что мусульмане в России тоже делают своим детям обрезание.

Мавлихановскими методами — кто более, кто менее изобретательно — пользовались все советские атлеты, едва пересекали границу. Борис не порицал их за это ни вслух, ни мысленно. Но для него лично, как и для Майорова Евгения, такой образ поведения не существовал.

Они во многих отношениях были в своем мире белыми воронами.

Спортивные знаменитости постоянно окружены шепчущими стайками хорошеньких девушек. Из этой среды обычно рекрутировались их жены. Чаще всего в те годы это были либо тоже спортсменки, либо модели, либо танцовщицы ансамбля Моисеева, «Березки», мюзик-холлов Москвы и Ленинграда.

Не многие из этих союзов выдержали испытание временем. Одних раньше, других позже, но печальная необходимость расставания со спортом подстерегала всех. Не было больше командировок за границу. Не было превращавшихся в праздник явлений на день-другой домой со сборов. Гость, приезжавший с дорогими подарками, с программой развлечений, превращался в постоянного сожителя, для которого надо готовить обед, с которым не о чем поговорить, который, оказывается, громко храпит во сне. Фактически только тогда супруги знакомились друг с другом, и это знакомство приносило им чаще всего не радость, а взаимное раздражение. Недаром же многие из браков больших спортсменов не выдерживали испытания временем.

Борис Майоров долго встречался с будущей женой Галей, своей ровесницей, работавшей редактором в издательстве, которое выпускало научную литературу, заезжал за ней на службу, провожал домой. Я постоянно

общался с ними — и тогда, когда они встречались, и тогда, когда стали мужем и женой, — и чувствовал, что она — скорей всего, безотчетно — смотрит на их брак как на некий мезальянс, в котором она снизошла до супруга, смотрит сверху вниз. Борис это отношение воспринимал как должное: книги редактировать — не шайбу гонять. В свои выходные он отвозил дочку Юто в детский сад, привозил обратно, успевал слетать за мясом на рынок, произвести осмотр окрестных гастрономов. Если оставалось время, мыл посуду и готовил еду. Все это — чтобы Галя могла отдохнуть с книгой после трудового дня.

Кстати, и Женя Майоров женился на женщине примерно его возраста, вскоре после замужества защитившей диссертацию и ставшей кандидатом химических наук.

Вот такие это были молодые люди, превратившие «Спартак», который влачил жалкое существование на хоккейных задворках, в команду чемпионского калибра. Совершили они это превращение втроем, вместе с Вячеславом Старшиновым, который был на два года моложе их и на год позже окончил тот же самый МАТИ. За то и окрестили «Спартак» с их приходом «командой одной тройки».

О том, какая нерушимая дружба связывает игроков спартаковской тройки, много писали в годы, когда она творила на льду свои чудеса. Казалось, иначе быть не может: сверстники, студенты одного института, игроки одной команды и одного звена. На самом деле братья всегда относились к Старшинову прохладно. Потом, как в жизни происходит часто, женитьба развела и их. Взаимопонимание тройки на льду, готовность ко взаимной выручке и отсутствие игрового эгоизма — следствие их одинакового понимания своего спортивного долга, увлеченности игрой, неумения и нежелания мириться с поражениями. Правильнее назвать их отношения не дружбой, а содружеством.

Но и в нем, этом содружестве столь нетипичных для большого спорта личностей, Борис выделялся даром зажечь плавающим в нем внутренним огнем всю команду, будь то «Спартак» или сборная.

Работать с ним над книгой «Я смотрю хоккей» было проще, чем со следующими соавторами. Мы улавлива-

лись по телефону о встрече и о теме беседы. Первую половину сеанса занимал монолог Майорова, вторую — некое подобие пресс-конференции: я спрашивал, он отвечал. Через неделю-полторы я приносил готовую главу, и, прежде чем приступить к очередному монологу, он прочитывал написанное, и мы вносили в главу поправки.

Портативных диктофонов в редакциях тогда не выдавали, а собственный был для меня непозволительной роскошью. И во время первого рабочего свидания Борис, прервав вдруг свою речь, удивленно и даже с некоторым раздражением спросил:

— Почему ты ничего не записываешь?

— Все, что интересно, я и без записи запомню, — ответил я. — А о том, что неинтересно, и писать не стоит.

Получилась ли книга, судить не мне. Напечатали ее тиражом сто тысяч экземпляров, и разошлась она за несколько часов. Но это не свидетельствует ни о чем, кроме популярности хоккеиста Бориса Майорова, чьи имя и портрет красовались на переплете.

Еще до моего отъезда из России Майорова назначили на какую-то ответственную должность в управлении хоккея Госкомспорта (так с некоторых пор стал именоваться Всесоюзный спорткомитет). В Америке я узнал, что он пошел на повышение и теперь — начальник этого управления. Я был рад за Бориса и уверен, что вот-вот он двинется дальше по номенклатурной лестнице — станет заместителем председателя комитета, то есть практически заместителем министра, или инструктором сектора спорта ЦК КПСС. Мне казалось, что он обладает для этого всем необходимым — молодой, энергичный, образованный, известный всей стране, умеет толково и грамотно говорить.

Мой прогноз оказался ошибочным. Я не учел его очевидных недостатков: неумения угодничать, лебезить, смотреть в рот начальству, соглашаться с тем, что считает неправильным, порядочности, которая диктует ему поведение и поступки.

Зимой 1978 года в Нью-Йорк прилетала сборная СССР по хоккею. Майоров, еще возглавлявший хоккейный департамент, был ее главой. Я пришел в Мэдиссон-сквер-Гарден на тренировку.

Советская делегация была многолюдна, и все в ней — тренеры, игроки, администраторы — мои давние знакомые. Никто, кроме хоккеиста Валерия Харламова, который подошел ко мне расспросить о жизни и передать бутылку «Столичной» и баночку икры от молодого моего коллеги Лени Трахтенберга, не позволил себе меня узнать. Я не имел к ним претензий, сознавая, что это — не проявление отношения ко мне, а совсем не лишняя предосторожность.

Тренировка окончилась. У выхода я столкнулся с Борисом. Он радостно заключил меня в объятия. Мимо нас, как войско мимо принимающих парад, двигались члены советской делегации и дружно косили на нас глазами. Наконец кто-то рискнул подойти к Майорову:

— Борис Александрович, автобус подан. Ждем только вас.

Он ответил:

— Ну, потерпите, товарищи, дайте с соавтором поговорить...

Нет, не годился Борис Майоров для номенклатурного поста. И вскоре его перевели на работу в ВЦСПС, а потом в тренеры.

В 97-м году братья Майоровы, правда порознь, побывали в Нью-Йорке и навестили меня. За обедом и тот и другой с аппетитом опрокинули по несколько рюмок. Они могли себе это позволить: завтра им не нужно было выходить на лед.

Иванов

Следующей была книга Валентина Иванова. Почему его? Иванова я выбрал сам, скорей всего по наитию.

В издательстве «Физкультура и спорт» придумали еще более пышную, чем в «Молодой гвардии», рубрику для книг популярных — действующих и сошедших — атлетов: «Сердца, отданные спорту». Мне позвонили из редакции и поинтересовались, нет ли у меня на примете футболиста, с которым мне хотелось бы сделать книжку. Я находился в приятельских отношениях с несколькими

футбольными асами, но без колебаний назвал Иванова, хотя у меня с ним даже общих знакомых не было. Впервые я увидел его вблизи и услышал его голос в день, когда мы подписывали договор в издательстве. Он приехал на эту процедуру с женой Лидией.

Я пригласил Ивановых в гости. Через неделю мы с Жанной нанесли ответный визит. Неожиданно быстро мы сблизились настолько, что уже не представляли себе праздничных вечеров и семейных торжеств друг без друга. Мы стали своими у них дома, они — у нас.

Трудились мы с Валентином обычно в нашей квартире. Перед тем как закрутиться, звонили Лиде. Та приезжала. Стол уже был накрыт. Трапеза затягивалась допоздна. К минуте расставания в бутылках не оставалось ни капли.

Книга вышла, но ничего в наших отношениях не изменилось. Да и теперь, когда мы с Жанной изредка и ненадолго появляемся в Москве и успеваем повидать только самых близких людей, Ивановы в их числе.

Зимой 1981 года, в разгар холодной войны, у нас в нью-йоркской квартире как-то вечером раздался телефонный звонок. Я взял трубку.

— Я в Нью-Йорке, звоню по автомату из Мэдиссон-сквер-Гардена, — услышал я взволнованный женский голос.

— Кто это?

— Лида Иванова.

— Лидочка! — радостно прокричал я.

— Потом, потом! — скороговоркой ответила она. — Обо всем поговорим при встрече. Где и как нам повидаться без свидетелей?

Я назначил ей свидание на улице у служебного входа в Мэдиссон-сквер-Гарден. Она назвала час.

Лида вышла к нам, несмотря на мороз, без пальто и пугливо оглядываясь по сторонам. На ней была форма советской делегации, участвовавшей в турнире по гимнастике. На клубном коричневом пиджаке с золотыми пуговицами красовался Герб СССР.

Мы юркнули в ближайшую дверь и оказались в заполненном тысячами людей зале ожидания огромного же-

лезнодорожного вокзала, присели на лавочку. Лида успокоилась и рассказала, что в Нью-Йорке она, по должности государственный тренер, работающий с девичьей сборной страны по гимнастике, возглавляет советскую команду, которая участвует в розыгрыше Открытого кубка США.

— Я сижу за столом жюри, и рядом — Василь Васильич в юбке. И живу с ней в одном номере. Она не отпускает меня от себя ни на шаг. Еле удалось оторваться, чтобы позвонить вам.

— А телефон как нашла?

— Поболеть за нас приходит много эмигрантов из СССР. У выхода со стадиона выстраивается очередь за автографами. Я рискнула спросить: не знает ли кто-нибудь телефон Евгения Рубина? Тут же кто-то протянул мне записную книжку, раскрытую на букве «Р».

Лида была удивлена моей известностью в эмигрантской среде. На самом деле таким способом она могла бы найти едва ли не любого соотечественника. Эмигрантский Нью-Йорк тех лет по численности и национальному составу населения напоминал какую-нибудь Жмеринку, где все либо знакомы лично, либо наслышаны друг о друге.

Меня же поразила смелость Лидии Ивановой, женщины осторожной и твердо знавшей, какими служебными неприятностями грозит ей встреча с не просто эмигрантом, а сотрудником «Радио Свобода». Ее поступок был проявлением подлинной дружбы.

Уже ради этого одного, приобретения настоящих друзей, стоило браться за работу с Ивановым. Однако, называя в издательстве его имя, я не мог предвидеть, как будут развиваться наши отношения. Мною в тот момент руководили совсем другие побуждения.

С малых лет я был преданным поклонником футбольной команды московского «Динамо» и, пока не занялся спортивной журналистикой, сохранял ему верность. Однако в середине 50-х годов у него появился соперник. К раздвоению моих симпатий привело появление в «Торпедо» Эдуарда Стрельцова и Валентина Иванова. Я уже не мог сказать, кому больше желаю удачи — «Динамо» или двум этим футболистам.

Никогда — ни прежде, ни после — не доводилось мне испытывать такого удовольствия и удовлетворения от спортивного зрелища, какое я получал от лучших игр пары Стрельцов—Иванов. Из-за них я старался не пропустить ни одного московского матча «Торпедо». Я не был оригинален: возможность полюбоваться искусством этого дуэта привлекала на стадионы десятки тысяч людей.

Создавалось впечатление, что на поле Стрельцов и Иванов вооружены настроенными на одну волну невидимыми передатчиками. «Торпедо» завладевало мячом, и партнеры старались вручить его Иванову. Тот вел его вперед с высоко поднятой головой, а Стрельцов тем временем набирал скорость и вклинивался в оборону противника. И какое бы пространство их ни разделяло, Иванов находил Стрельцова и отправлял ему мяч, отправлял так, что напарнику не требовалось снижать скорость, — мяч удобно ложился ему на ногу.

У Стрельцова был страшной силы удар, и он пользовался любым мало-мальски удобным моментом, чтобы его нанести. Если же не удавалось, он откидывал мяч в сторону, вроде бы куда попало, но там обязательно — никто, включая их самих, не мог бы объяснить, почему — оказывался Иванов.

Само собой подразумевалось, что ведущий в их паре — Стрельцов. Глаз невольно вырывал из толпы игроков этого изумительно сложенного богатыря, обладателя эффектного белого чуба, стремительного бега и могучего удара. Хрупкий, среднего роста, Иванов внешне не выделялся ничем. В их мини-команде Стрельцов был бомбардиром, Иванов — подносчиком снарядов. Стрельцов — коренником, Иванов — пристяжным. Стрельцов исполнял сольные партии, Иванов подавал ему реплики.

Незаурядность Иванова была различима только зрителям, более или менее разбиравшимся в тонкостях игры.

Советский футбол никогда не испытывал дефицита на хороших разыгрывающих. Все они, предшественники и современники Иванова, были полузащитниками, то есть управляли операциями команд из тылов, располагаясь позади форвардов, на пунктах, с которых открывалась вся панорама поля и где у них был запас пространства и времени для выбора направления развития атаки.

Иванов, сам форвард, распределял пасы между партнерами, находясь на линии огня, в самом пекле. Секундное промедление — и на него кидались защитники, как собачья стая на одинокого волка. Они не стеснялись в выборе средств отбора мяча. Потому он обязан был принимать самые неожиданные для противника решения в мгновение ока и так же молниеносно их исполнять. Зато его успешные маневры таили в себе куда большую опасность для чужих ворот, чем дальние пасы полузащитников. Никто не умел в этих условиях вести игру так, как он. И командный оркестр во главе с солистом Стрельцовым под управлением дирижера Иванова звучал стройно и красиво.

Пока Стрельцов был рядом, Иванов считался непревзойденным, но узким специалистом-диспетчером. Никто не представлял себе, какие высоты доступны ему в других разделах футбольной науки. Это стало ясно, когда с его другом стряслась беда.

Сборная готовилась к чемпионату мира 1958 года в подмосковной Тарасовке. Незадолго до ее отбытия в Швецию к дому, где жили игроки, подкатил легковой автомобиль с незнакомыми людьми. Вскоре они уехали и увезли с собой Стрельцова. На тарасовскую базу Стрельцов уже не вернулся. Потом были суд и приговор — 12 лет лишения свободы за покушение на изнасилование. Не стану приводить подробности того громкого дела, о нем и сегодня пишут футбольные историки и мемуаристы.

Уже без Стрельцова, но с Ивановым сборная стала первым чемпионом Европы и заняла второе место на следующем европейском первенстве. Еще более показательна впервые в 1960 году завоеванная «Торпедо» золотая медаль чемпиона СССР. Иванову пришлось играть «за себя и за того парня». Тогда-то во всей полноте обнаружилось, каков масштаб его таланта. Его имя поныне фигурирует в списках советских футболистов, отличившихся наивысшей результативностью.

Хоккейная статистика регистрирует не только забитые голы, но и пасы, позволившие эти голы забить. По их сумме определяется продуктивность игрока. Сейчас такой подсчет принят и в футболе некоторых стран. Если

бы он использовался раньше и в СССР, Иванову принадлежал бы недостижимый ни для кого вечный рекорд.

Обладатель такого футбольного интеллекта не мог не быть в других отношениях личностью неординарной. Исходя из этого и своего давнего пристрастия к футболу, чья игра была для меня загадочна и привлекательна одновременно, я назвал в ответ на предложение издательства «Физкультура и спорт» имя Иванова. И не раскаялся.

Иванов родился в рубашке. Как и Стрельцов, он вырос в семье, жившей на границе между бедностью и нищетой. Он с матерью, братьями и сестрами ютился в одной комнате. Воспитывала его улица. И, как и Стрельцова, воспитала в соответствии со своими понятиями о жизненных ценностях.

Футбольная одаренность, которой наградила того и другого природа и которую удалось распознать искателям талантов, когда оба едва переступили порог совершеннолетия, дала им материальный достаток, о каком не могли мечтать их сверстники. Деньги сами сыпались на них в виде приличной зарплаты, валюты при выездах за рубеж, регулярных премий за выполнение плана Московским автозаводом имени Лихачева, которому принадлежало «Торпедо»: его игроки были включены в списки ударников коммунистического труда, хотя видели заводские цеха только во время экскурсий. Двум холостякам, им не надо было думать об иждивенцах.

Куда их девать, эти деньжищи, ребятам, не имевшим возможности в детстве полакомиться леденцом и не обремененным минимальными духовными запросами? Конечно, прогуливать, да поскорей: ведь завтра будут новые премии, заграничные вояжи, зарплаты.

Гуляли они без оглядки, сознавая, что исправно забиваемые голы служат советскому футболисту индульгенцией при любых неприятностях, даже столкновениях с законом. У них было достаточно поводов для уверенности в том, что им можно все.

Летом 1957 года сборной СССР предстоял матч с поляками. В отборочном турнире к первенству мира команды набрали поровну очков и теперь должны были встретиться на нейтральном поле в Лейпциге. Право выступить на чемпионате получал один из двух — победитель.

Экспресс в Лейпциг отправлялся с Белорусского вокзала. Футболисты побросали свои пожитки на полки купе и приникли к окнам. До третьего звонка оставались считанные минуты, а Иванова и Стрельцова все не было. Вот раздался и он, состав тронулся, набрал скорость. Команда уехала без них, двух игроков, на которых возлагались в матче особые надежды и без которых нечего было рассчитывать на победу.

В книге «Центральный круг» я привел то объяснение, которое дал тому опозданию Иванов. По его словам, заболела его сестра и друзья поехали ее навестить. Покинули они больную своевременно, но долго ловили такси, долго пробирались сквозь автомобильные пробки на улице Горького к вокзалу и, когда выбежали на перрон, увидели лишь хвост состава, миновавшего платформу.

Я и сегодня подозреваю, что Валентин сказал мне тогда не всю правду и что истинная виновница происшедшего — его сестра, вовремя не убравшая со стола бутылку, в которой еще булькали остатки жидкости. Но это — мое предположение.

Дальше события развивались так. На перроне приподнившуюся пару встретил ответственный работник Всесоюзного комитета Антипенков, усадил их в служебный «ЗИМ», шофер включил с места четвертую скорость, и машина рванулась вдогонку за поездом. И догнали.

Когда они остались одни, Стрельцов тихо сказал:

— Кузьма, в Лейпциге надо забить гол. Иначе — пропали... — (Кузьма — прозвище Иванова, которому он обязан своим отчеством — Кузьмич.)

Иванов вспоминает тот матч:

— Игра только началась, когда польский защитник изо всех сил ударил Стрельцова по ноге. Эдик свалился, попытался встать, но не мог, и его унесли с поля. Вернулся он, хромая и кривясь от боли. Но свой гол все-таки забил. Такой он был игрок: если решил забить, помешать ему не могло никто и ничто.

И я мог тогда забить, — продолжает Иванов. — Был момент, когда я остался с мячом в ногах перед пустыми воротами — вратарь валялся в другом углу. Я ударил тихо, чтобы не промазать, и угодил в штангу. Я мог, да не

забил, а Эдик не мог, но все равно забил. Для него не было в футболе ничего невозможного. Если бы не просидел он шесть лет, а все эти годы играл, все убедились бы, что не Пеле, а Стрельцов — величайший футболист всех времен.

(Главу о Стрельцове в книге мы назвали «Он был сильнее всех на поле и слабее всех в жизни».)

Итак, гол они — пусть один на двоих — в Лейпциге забили, а сборная СССР матч выиграла. И по возвращении в Москву никто не заикнулся об их наказании за опоздание на поезд — опоздание, которое едва не стоило советскому футболу участия в первом за всю его историю чемпионате мира.

С того матча в Лейпциге прошел год. Следующим летом Стрельцова увезли из Тарасовки в наручниках. Исчезли со сборов еще двое — нападающий Борис Татушин и защитник Михаил Огоньков. Исчезли и тоже больше не вернулись. Их дисквалифицировали пожизненно.

Незадолго до отъезда сборной на первенство мира приятель дал им ключи от своей пустовавшей дачи. Они запаслись закуской и выпивкой, погрузили все это, а также трех девиц в машину и на ночь глядя отбыли из города. Об их загородной поездке никто бы не узнал, если бы дама, предназначенная Стрельцову, не заявила на другое утро в прокуратуру, что он покушался на ее девичью честь. Ее подруги, видно, были сговорчивей и претензий к своим кавалерам не имели.

Я сомневаюсь в том, что Стрельцов совершил уголовно наказуемое деяние. По своему адвокатскому опыту я знаю: доказать факт изнасилования, если у потерпевшей нет свидетелей, чрезвычайно трудно, доказать покушение на изнасилование вдвое трудней.

Однако то, что все трое совершили моральное преступление перед футболом и командой, бесспорно. Сборная завершала подготовку к важнейшему в жизни каждого игрока и тогдашнего советского футбола в целом событию. В такой период от всех требуется повышенное чувство ответственности за свою спортивную форму, и нарушение спортивного режима — предательство по отношению к общему делу и товарищам по оружию, веду-

шим аскетическую жизнь и изнурявшим себя на тренировках.

Не исключено, однако, что всем троем это предательство сошло бы с рук, если бы не стечение обстоятельств. Во-первых, они попали под колеса развернувшейся кампании по борьбе с так называемой звездной болезнью. Во-вторых, вершители судеб советских граждан, от которых зависело казнить или миловать футболистов, не отдавали себе отчета в том, как высок уровень профессионального футбола в мире. Уже были побеждены в товарищеских матчах чемпион и второй призер прошлого первенства — сборные ФРГ и Венгрии, уже выиграна Олимпиада в Мельбурне. Так почему бы и чемпионат мира не выиграть? Даже специалисты еще не принимали всерьез бразильцев. Вот и вооружилось начальство сталинской мудростью: «Незаменимых у нас нет».

Через несколько лет Татушина и Огонькова простили, но пора расцвета обоих миновала, и ценности как футболисты они уже не представляли. Стрельцов и после шести лет, проведенных в неволе, сумел доказать, что он по-прежнему велик. Но на то он и гений.

Какое, однако, отношение имеет к этому происшествию Иванов?

Когда из фельетона в «Комсомольской правде» стало известно о ночном загуле футбольных звезд, пошел слух, что Иванов в нем тоже участвовал. «Как же иначе? Эдик поехал, а Валька — нет? Быть такого не может», — приводили довод завсегдатаи футбольных трибун. «Почему же тогда его не замели?» — возражали сомневающиеся. «Кузьма — хитрая лиса, вот и выкрутился», — резонно отвечали уверенные — а их было большинство — в том, что без Иванова поездка не обошлась.

Нет, Иванов в ней не участвовал. Хотя его приглашали и даже уговаривали стать четвертым. У машины он расстался со Стрельцовым и его партнерами. Они поехали в одну сторону, он — в другую, домой.

Никто из посторонних не знал о том, что Иванов только внешне оставался человеком, каким был прежде 23 года, прожитые на свете.

Начало перемене положил случай — тот самый, что посещает счастливых, родившихся в рубашке. Перед

отправкой советской делегации в Мельбурн на Олимпийские игры 1956 года ее привезли в полном составе, более пятисот человек, в Ташкент. Там на городском стадионе был устроен митинг — с напутствиями и пожеланиями удачи.

Иванов находился на трибуне вместе с остальными футболистами. Они перебрасывались шутками с сидевшими рядом выше девушками из команды гимнасток. Валентин присоединился к общему разговору. Митинг закончился, и компания распалась.

Та мимолетная встреча вряд ли оставила бы след в жизни Иванова, если бы не совместное возвращение делегации отсюда. В Австралию участники летели самолетами. В олимпийской деревне каждая команда жила по собственному расписанию, зависевшему от графиков соревнований и тренировок. Домой олимпийцы плыли на теплоходе «Грузия». Там-то, гуляя по палубе, Иванов встретил одну из гимнасток, которых видел на стадионе Ташкента, — самую юную, с белыми бантиками в косичках. Ей тогда было 18 лет, ее звали Лида Калинина, в Мельбурне она стала олимпийской чемпионкой.

В тот день, когда друзья и коллеги, вместе с ним завоевавшие золотую олимпийскую медаль, уговаривали Валентина присоединиться к их увеселительной прогулке на дачу, Лидия Калинина уже была Лидией Ивановой и ждала мужа, отпущенного, как и другие, на сутки со сборов, дома. И он торопился к жене.

Уже будучи замужем, Лида сумела выиграть первенство страны по гимнастике и в 1960 году на Олимпийских играх в Риме получила свою вторую золотую медаль. Ко времени нашего знакомства она была матерью двоих детей, видной гимнастической деятельницей, заслуженным тренером СССР, судьей международной категории. Эти награды и эти служебные посты удостоверяют ее выдающиеся качества спортсменки и деловой женщины.

Нет, однако, таких мандатов, которые удостоверили бы ее самый, на мой взгляд, главный талант — искусство управления семьей. Она не пользуется командными методами — не повышает голоса, не требует, не предьявляет ультиматумов, не угрожает разводом. Просто ей удалось создать в семье и постоянно поддерживать климат,

в котором все — и домочадцы, и гости — чувствуют себя уютно и вольготно. И друзья у членов семейства общие. И гостей полон дом. И стол ломится от угощений. И засиживаются пришедшие до утра.

Как-то я созвонился с Лидой и приехал к ней в отсутствие мужа. Мы проговорили часа два. Так родилась в «Центральном круге» глава о женах спортсменов, о причинах неудачных браков и ранних разводов. Мне кажутся эта и другая глава — о Стрельцове — лучшими в книге.

Тот разговор убедил меня: Иванов, чей природный талант к футболу, обеспечивший ему в молодости легкую жизнь и не обязывавший задумываться о будущем, превратился в серьезного, надежного человека и думающего, требовательного тренера благодаря Лиде. Между тем старинный афоризм «муж и жена — одна сатана» вполне уместен по отношению к их союзу: оба выросли в бедности, в окружении бездуховности и пьянства.

В общении с Лидой развились дремавшие в Иванове умение мыслить не только на поле, пользоваться в работе уроками своего прошлого, своих ошибок и своих футбольных учителей, внимательность к людям, с которыми ему приходилось работать. Ничего этого не обещала ему его футбольная молодость.

Иванов всегда преклонялся перед Стрельцовым-футболистом и любил его как человека. Навещал в тюрьмах Кирово-Чепецка и Электростали. Став главным тренером «Торпедо», взял своим ассистентом. Когда тот прощтрафился на этой работе, устроил в торпедовскую футбольную школу.

Но, видно, Стрельцову не так повезло со спутницами жизни — первой, дотюремной, и той, с которой он сошелся после освобождения. Ни одна, ни другая не заслуживают укора. Разве их вина в том, что они не обладали качествами Лиды? Да и кто знает, как сложилась бы эта семья, окажись на месте Валентина Иванова Эдуард Стрельцов.

В разгар нашей дружбы с Ивановым мне довелось побывать у Стрельцова. Он жил в большом доме на Чкаловской, в двухкомнатной квартире, которую получила его вторая жена, зав. секцией ЦУМа. Мы заранее договорились об интервью, и я пришел к нему между 11 и

12 часами дня. Жена была на работе. Эдик сидел у кухонного стола в обществе людей много моложе его. В одном я узнал известного футболиста команды «Локомотив» Давида Паиса. На столе стояли наполовину опустошенная бутылка водки, кастрюля с вареной картошкой, тарелка с нарезанной селедкой.

— Наливай себе и садись с нами, — сказал Стрельцов. — Поговорить успеем после.

Интервью не состоялось.

Так все дальше расходились пути двух, казалось когда-то, неразлучников. Младшего его дорога в пятьдесят лет привела к могиле. Старший вырастил сына и дочь, обзавелся внуками, достиг в тренерской профессии уровня своих выдающихся футбольных педагогов — Виктора Маслова и Константина Бескова.

Мы с Жанной улетали в эмиграцию 8 марта 1978 года. Проводы были за день до отбытия. А еще одним вечером раньше неожиданно, без звонка явился Иванов. Впервые — без Лиды, которая была в командировке. Думаю, он этой командировкой воспользовался для визита к нам. Осмотрительная жена уговорила бы его воздержаться от посещения людей, которых отъезд автоматически превращал во врагов народа и общение с которыми грозило отлучением от поездок за границу. Явился он с тремя бутылками коньяка, спрятанными в большом портфеле. Ни он, ни я не могли предвидеть, что когда-нибудь встретимся снова, и просидели за, как мы считали, последним разговором до четырех утра. Надо ли добавлять, что, когда мы поднялись из-за стола, в бутылках не осталось ни капли.

Если бы «Центральный круг» создавался сейчас, в книге осталось бы только название. Многое открылось мне в Иванове значительно позже ее выхода из печати.

Яшин

Лев Иванович Яшин после ампутации ноги лежал в московской больнице. Я давно находился в эмиграции и узнавал о его состоянии из приходившей в нью-йоркскую редакцию «Радио Свобода» газеты «Советский спорт».

Корреспонденты постоянно навещали его. Как и положено было в советской печати, когда она рассказывала о положительных личностях, их отчеты звучали бодро (в современной России так звучат лишь заявления пресс-секретаря Ельцина, когда тому приходится объяснять, почему его патрон попал в больницу). Но эта фальшивая бодрость не могла скрыть факта, что жить Яшину осталось недолго.

Основное место в отчетах занимали интервью. Яшина просили делиться воспоминаниями о выступлениях в сборной, о встречах с иностранными звездами, спрашивали о его взглядах на футбол. Он, судя по газетным корреспонденциям, отвечал на вопросы терпеливо и обстоятельно.

Я приносил эти газетные номера домой, снимал с полки книжечку «Записки вратаря» и находил в ней главы на те темы, которые он обсуждал с журналистами «Советского спорта». При сверке текстов выяснялось, что они абсолютно идентичны. Интервьюеры переписывали из книги абзац за абзацем, не меняя ни единой запятой.

Пока мы трудились над «Записками вратаря», я узнал Яшина достаточно хорошо, чтобы представить себе, как проходили его беседы с репортерами. Измученный мыслями о смерти, запрещением курить, лежанием, равнодушный ко всему, кроме не отпускавших его болей, Яшин давал пришедшему книжку:

— В ней есть ответы на все твои вопросы. Возьми с собой, найди и перепиши, — просил он.

Чтение собственноручно написанных когда-то фраз, под которыми стояла чужая подпись, вызывало во мне не раздражение, а, напротив, удовлетворение: раз Лева разрешает использовать куски из книги на газетных полосах, значит, доволен моей работой. Его одобрение было для меня особенно важно вот почему.

Из предыдущих глав вы знаете, что для книги «Я смотрю хоккей» нас с Борисом Майоровым выбрали издатели, а для следующей, «Центральный круг», Валентина Иванова выбрал я. Для третьей, «Записки вратаря», Лев Яшин выбрал меня. Видно, о своем выборе он не жалеет.

Сошлись мы с ним вот при каких обстоятельствах.

Главный редактор журнала «Огонек» Анатолий Софронов захотел сделать старое и популярное издание «Библиотека «Огонька» еще более популярным и для этого включить в него книги о спорте. Помимо страсти к чинам, орденам и постам в руководящих партийных органах, у Софронова были еще две, пламенные и накрепко связанные между собой: к футболу, а в нем — к московскому «Динамо». Этим, я думаю, вызвано его категорическое требование: автором первой книги огоньковской «Библиотеки» должен быть Лев Яшин, и никто другой.

Приказ такого начальника, как Софронов, — закон для такого подчиненного, как пожилой беспартийный еврей Виктор Яковлевич Злачевский (его псевдоним — Виктор Викторов), ведущий в журнале спортивный отдел. Он тут же позвонил Яшину и изложил предложение «Огонька», которое соблазнило бы не только забывшего, как держать ручку, спортсмена, но и большинство маститых писателей. Позвонил и получил отказ.

Мотив отказа может создать впечатление о Яшине как о человеке нескромном, самовлюбленном и самодовольном. Яшин объяснил, что за ним уже много лет охотятся желающие сделать запись его воспоминаний и он сам заинтересован в их публикации. Но если на обложке стоят слова «Лев Яшин», книга должна быть хорошей. А он не уверен в том, что кто-нибудь, кроме Льва Филатова, способен сработать без брака. Филатов же литературными записями не занимается, у него от заказов на собственные книги отбоя нет.

Так получился замкнутый круг: все хотят, но не могут, один может, но не хочет.

Я, когда писал «Записки вратаря», имел много поводов убедиться в редкой скромности Яшина. Его отказы рвущимся сотрудничать с ним не были проявлением мании величия. Отказывая, он исходил из факта, что — справедливо это или нет — превращен в красу и гордость, в знамя советского спорта и что, признанный в мире величайшим вратарем всех времен, не имеет права допустить, чтобы книгу, на обложке которой стоит его имя, люди читали и недовольно морщились.

Виктора Яковлевича безвыходность ситуации привела в отчаяние. Он дрожал от страха прогневить Софронова,

не привыкшего, чтобы перечили его желаниям. Злачевский поделился горем с журналистом «Советского спорта» Виктором Понедельником, некогда большим футболистом, соратником Яшина по сборной.

От Понедельника я и узнал обо всех этих перипетиях с книгой. Он хотел помочь огоньковскому коллеге и позвонил Яшину. Тот повторил доводы, которые привел Злачевскому. Понедельник стал его уговаривать, перечислял имена журналистов, которые имеют опыт признанных удачными литературных записей.

— Наконец, я упомянул твое имя, — продолжал Виктор. — Упомянул так, на всякий случай, не питая ни малейших надежд. И вдруг он говорит: «Делать книгу с Евгением Рубиным я бы согласился». А как ты, согласен?

Конечно, я был согласен. Во-первых, Яшин есть Яшин. Во-вторых, эта работа обещала большие — во всяком случае, по нашим с Жанной доходам — деньги: «Огонек» обязывался до выхода книги напечатать ее целиком в журнале, одном из самых гонорарных в стране. Сама книга объемом в пять печатных листов (или 120 машинописных страниц) оплачивалась отдельно из расчета 300 рублей за лист.

Наше шапочное знакомство состоялось в приемной Софронова, который назначил нам свидание в своем просторном, как футбольное поле, кабинете. Хозяин кабинета — лауреат едва ли не всех существовавших в стране литературных премий, секретарь Союза советских писателей, выпустивший, в отличие от Булгакова и Платонова, полное собрание своих сочинений, — гостеприимно поднялся из-за стола, пошел нам навстречу и тепло пожал руки. С этого момента я превратился для него в неодушевленный предмет. Говорил он только с Яшиным. Лишь прощаясь, вспомнил обо мне и кивнул головой.

Меня не уязвило это безразличие к моей особе. Я ведь тоже не прочитал ни одной его вещи, не смотрел написанных им пьес и выключал телевизор, когда шли filmy по его сценариям.

Для более близкого знакомства я приехал к Льву Ивановичу домой. Меня ждали к обеду. Семья — жена Валентина Ивановна и две взрослые дочери — была в сборе.

Ни икры, ни лососины, ни свежей зелени, так ласкающей глаз весной, ни прочих деликатесов, без которых не обходилась ни одна трапеза, у Яшиных на столе не было. Селедка, политая постным маслом и, словно одеялом, укрытая слоем крупно нарезанного репчатого лука, ломтики полукопченой колбасы, винегрет — вот и вся закуска. Не отличались изысканностью и остальные блюда. Потом пили чай с кексом из соседней булочной.

Был март. Через два-три дня футболисты московского «Динамо» улетали на предсезонный сбор в Гагры, и Яшин, начальник команды, — с ними. Я договорился с Филатовым о том, что передам несколько репортажей с Черноморского побережья, где едва ли не все команды высшей лиги в это время готовились к чемпионату. Он выхлопотал мне командировку, и я отправился вслед за Яшиным. Там, в своей комнатухе на территории какой-то здравницы МВД, он рассказывал мне о своей жизни и карьере.

Сравнительно легко далась нам биографическая часть. Мы почти ровесники (я на полгода старше). И хотя его военное детство было несравненно тяжелее моего — он пережил и голод, и жизнь зимой в палатке, — такие понятия, как эвакуация, бомбежки, затемнение, эшелоны, отоваривание продуктовых карточек, вызывали у нас одинаковые ассоциации.

Однако когда мы отступали от разговоров о его военном детстве и юности, мне приходилось учинять Яшину самые настоящие допросы. Не знаю, как чувствовал себя после них он, я в свой гостиничный номер возвращался измученный.

Из трех моих соавторов только Майоров отдавал себе ясный отчет в том, что хочет узнать о спортсмене читатель. Оба других охотно вспоминали эпизоды чемпионатов, матчей, поездок по разным странам, но для меня гораздо важнее было проникнуть в их внутренний мир, понять, чем они дышат, как выбирают друзей, каков круг их интересов. До всего этого надо было докапываться, проявляя настойчивость и терпение, прибегая к окольным (или, как сказал бы редактор «Советского спорта» Киселев, «околоточным») путям.

Труд этот хоть и изнуряющий, но стоящий каждого потраченного часа и израсходованных сил. Копание в чужой судьбе обогащает представлениями о жизни вообще и собственной в частности. Обогащает, пожалуй, тем больше, чем меньше эти представления у него и его соавтора совпадают.

В этом смысле я был дальше от Яшина, чем от Майорова, с которым дружил до совместной работы, и от Иванова, с которым мы сошлись, едва познакомившись. Люди, с которыми Яшин близко общался — ставшие дипкурьерами бывшие динамовцы Виктор Шабров и Георгий Рябов, возглавлявший общество «Динамо» Москвы Лев Дерюгин, — меня не привлекали. Я был далек от его внефутбольных увлечений — охоты, рыбной ловли, сауны. Сами эти увлечения предполагают мужскую компанию и практически исключают общение семьями. Я же в те годы охладел к холостяцким сборищам. Если Жанны не было рядом, меня тянуло домой.

Один семейный вечер у нас с Яшиными все же состоялся. Лева относился почти с отеческой нежностью к Кузьме, хотя был старше всего на пять лет. Но, занятые своими делами, они встречались редко, только на матчах, где успевали кивнуть друг другу и перекинуться двумя-тремя фразами. Вот я и устроил после выхода из печати «Записок вратаря» прием для Яшиных и Ивановых.

Ивановы явились с коньяком и шоколадным набором. По своему обыкновению, оба, нарядные и надушенные, выглядели светскими людьми. Лева в передней достал из авоськи и вручил мне бутылку водки:

— Поставь пока в холодильник.

Затем из той же авоськи он вынул что-то завернутое в старую газету. Я сначала подумал: вобла. Но это оказались две пары домашних туфель, в которые Лева и Валя тут же, не входя в комнаты, переобулись, а обувь, в которой пришли с улицы, аккуратно, рядом поставили у входной двери.

Вечер получился приятный, настроение у всех хорошее. Просидели мы допоздна и договорились снова собраться тем же составом. Но когда, повстречавшись, вспоминали о договоренности, выяснялось, что кому-то из

шести, а то и всем недосуг, и откладывали новую встречу на неопределенное время.

Яшин был мне симпатичен своей добротой, откровенностью, простотой, естественностью. Я чувствовал, что симпатия у нас взаимная. Уже после выхода книги, столкнувшись случайно за кулисами динамовского стадиона, мы подолгу болтали, иногда садились вместе на трибуну, чтобы продолжить разговор. Наверное, самое уместное слово для определения такого характера отношений — «приятельство».

Однако, обмолвившись о том, что близкое знакомство с чужим опытом и подходом к жизни обогащает, я вроде бы перекинулся на другую тему. Нет, это был не отход, а подход с целью помочь вам понять характер наших отношений с Яшиным и степень нашей близости, рожденной работой над его книгой.

Чем же обогатила эта работа мои представления о жизни и людях?

Мало кому из нас, простых смертных, удается стилизоваться в быту, на коротке с людьми, которых одарила своей ослепительной улыбкой слава — настоящая, всемирная, прижизненная. Должно быть, отсюда довольно распространенное мнение, будто она, слава, приходит к своему избраннику не одна, а в сопровождении неразлучных с ней спутников — счастья и удачи. Собирая материал для книги Льва Яшина, я убедился в том, что это — заблуждение.

Нет и не было в истории спорта — советского или российского — человека, который получил бы такую известность и такое признание, как Яшин. Наверняка найдутся желающие возразить: а как же Роднина, или Корбут, или Бубка? Разве они не самые, каждый для своего времени, великие? Споры нет — самые. Однако Яшин возвышается над всеми названными и неназванными спортивными гигантами уже хотя бы потому, что он достиг вершины в том единственном спорте, чьи герои известны в любом уголке Земли.

Не забудем и то, что в данном случае величайшим впервые признали атлета из СССР без деления спорта на любительский и профессиональный. Остальных совет-

ских корифеев сравнивали с иностранными любителями, хотя были они скрытыми профессионалами.

Но был ли прославленный футболист Лев Яшин счастлив и сопутствовала ли ему в жизни Госпожа Удача?

«Величайший футболист века» — определение, которым удостоен, кроме Яшина, один футболист — Пеле. Но о том же Пеле мир узнал и увидел в нем футбольного гения, когда тому было 17 лет. Фамилия Яшин ничего не говорила уму и сердцу соотечественников и тогда, когда ее носитель был пятью годами старше. Он пробивался к славе долго и трудно, спотыкаясь и падая.

«Динамо» захватило его, уже 20-летнего, на весенний сбор для пробы: в команде было два вратаря, причем оба знаменитые — Алексей Хомич и Вальтер Саная, — и третий не требовался.

Ходульная, использованная многими авторами литературных произведений о спорте завязка: знаменитость заболела и поневоле пришлось доверить ее место новичку, а тот парировал все «мертвые» мячи, да еще, как Антон Кандидов у Кассия, сам гол забил и прославился.

У Яшина все получилось как раз наоборот. Для него первой пробой стал матч дублеров «Динамо» и сталинградского «Трактора». В середине игры вратарь противника выбил мяч, и тот полетел, гонимый попутным ветром с моря, Яшин вышел ему навстречу, но не заметил, что к мячу устремился игрок его же команды. Столкнувшись, оба они упали, а мяч ударился перед ними об землю, высоко подпрыгнул и опустился в воротах. Если и случался подобный вратарский конфуз еще когда-нибудь не в дворовом, а в настоящем футболе, история этой игры его не сохранила.

В перерыве Яшин начал переодеваться, уверенный: для него, как игрока команды мастеров, этот матч не только первый, но и последний. Однако его не прогнали, и он постепенно закрепился в дублирующем составе.

Скоро стало ясно, что Яшин — зрелый мастер и что «Динамо» получило в его лице достойного преемника легендарного Хомича. Однако покровитель команды, представлявший подчиненное ему ведомство, Лаврентий Павлович Берия судил иначе. Приехав на стадион и по-

знакомившись с динамовским составом на игру, он произносил одно слово: «Саная». Есть ли иные предложения, он, разумеется, не спрашивал.

Все же через полтора года после матча в Гаграх Яшину вновь представился случай отличиться. Накануне игры «Спартак» — «Динамо» Саная заболел, и Леву включили в состав запасным. Но во время игры получил травму Хомич, Яшину пришлось занять его место, занять впервые в жизни на стадионе «Динамо» и в матче на первенство СССР.

Хомич покинул поле, когда играть оставалось около 15 минут. Никаких чудес Яшин до финального свистка не совершил, зато успел опростоволоситься. Гагринская ситуация повторилась почти в точности. Только мяч, который он собирался поймать, летел к нему от ноги спартаковца Алексея Парамонова, а столкнулся он с динамовским полузащитником Всеволодом Блинковым. Счет стал 1:1. Вместо победы «Динамо» получило ничью.

Пройдет 12 лет с того злополучного матча. В Чили, на второе свое первенство мира, Яшин поедет олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, кавалером ордена Ленина, заслуженным мастером спорта.

Если приключения на стадионах Гагр и Москвы, при всей своей огорчительности для Яшина, относятся к трагикомическому жанру, то в Чили его подстерегала самая настоящая трагедия.

Старт у сборной СССР сложился благополучно — она заняла первое место в своей группе. Неудача постигла ее в матче с чилийцами, победитель которого выходил в полуфинал, то есть обеспечивал себе как минимум бронзовую медаль. Его советская команда проиграла со счетом 1:2 и выбыла из чемпионата.

Поражение тяжело переживали все. Но никто не мог предположить, во что выльется оно для Яшина.

Телетрансляций из Южной Америки в начале 60-х годов не было. О выступлениях своей команды и о подробностях игр советские футбольные болельщики узнавали из газет. На матче советской команды, который состоялся в г. Арика, присутствовали три корреспондента из СССР, а возможность передавать репортажи в Москву

имел один, собственный корреспондент «Правды» в Чили Олег Игнатъев. Он и отстучал в свою газету телеграмму примерно такого содержания: «В неудаче сборной виноват Яшин. Он пропустил два легких гола, обрекших команду на поражение».

О том, что он — единственный виновник неудачи, Яшин узнал в московском аэропорту, где приземлился самолет, которым футболисты прилетели из Сант-Яго.

Узнал, но не предпринял ничего, что сделал бы в его положении любой из нас — скажем, призвал в свидетели партнеров по сборной, тренеров, которые в те дни давали многочисленные интервью на телевидении и в газетах, выступали перед публикой с рассказами о чемпионате. Более того, он сказал: «Да, в том матче я мог сыграть лучше».

В этом, на мой взгляд, феномен Яшина. Единственное, что он всегда готов, хотел и умел защищать, — футбольные ворота. Во всем остальном он был беззащитен. Ему никогда не хватало ни желания, ни воли, ни характера постоять ни за себя, ни за свою семью. Когда я поделился этим наблюдением с его женой, она со мной согласилась.

— Когда он и его дружки — а может, не только дружки — собираются где-нибудь в парной — а может, и не в парной — и берут с собой ящик водки, — разоткровенничалась обычно сдержанная Валя, — не мудрено загулять и до утра. Ты сам мужик, понимаешь, что к чему. Откуда я знаю, где он был и что делал? А у него пиджак измазан чем-то вроде помады. Ну, соври: мол, задержался на работе, выпили, заснул... Ему даже оправдание выдумать неохота. Молча раздевается и ложится спать.

Погляди на нашу мебель, — продолжала она, — скоро развалится. Я — ему: давай съездим в магазин, посмотрим новую, Яшину вне очереди продадут. А он: сходи сама, скажи, что ты моя жена...

Все это Валя рассказывала, когда я, решив повторить опыт разговора с Лидой Ивановой, приехал к ней в отсутствие мужа. Но ее рассказ, как вы понимаете, было невозможно использовать для мемуаров Яшина.

Сама Валентина — человек сильный и самостоятельный, полная противоположность мужу — окончила Выс-

шую партийную школу при ЦК КПСС и работала в Московском областном радиовещании редактором. И Лева стремилась помочь, чем могла. Она и его втащила в ВПШ. Яшина приняли туда, по-моему забыв спросить, есть ли у него аттестат зрелости, и через положенный срок выдали диплом.

— Другой бы с такими бумагами уже сам в Щ. работал, а его из начальников команды турнули, — продолжала Валя. — И правильно сделали. У меня со времен ВПШ остались связи с известными учеными — экономистами, международниками. Я ему обещала, что договорюсь, чтобы они перед динамовцами выступали. Не хочет. Говорит, незачем все это. Его назначали начальником за имя. Яшин и прописку футболисту выбить может, и квартиру, и устроить его в институт, жену на работу, и детей — в садик. Для любого начальника это целое событие: сам Лев Яшин пришел. Но он ни в одном учреждении, которые всем этим ведают, не появился.

Естественно, я не мог передать Лева содержание разговора с Валею, но все же попытался выудить у него объяснение этой пассивности. Я, будто случайно, по пути, заехал к нему на службу. Подполковника МВД Яшина только что назначили (якобы с повышением — Яшина иначе нельзя) заместителем начальника управления спортивных игр общества «Динамо». Он сидел за своим столом, на котором не было ни одной бумажки, в большой комнате, где стояло еще полдюжины таких же столов, в то время пустовавших.

— Обеденный перерыв?

— Да нет, совещание у начальника управления.

— Почему же ты не там?

— Мне там делать нечего. Они обсуждают вопросы, которые меня не касаются.

— Ты-то чем в этом управлении занимаешься?

Лева печально посмотрел на меня, вздохнул, задумался и сказал:

— А чем я должен заниматься? Я же футбольный вратарь. Больше я ничего не умею. Только штаны здесь протираю. Ты себе можешь представить Пеле за таким столом? Или Бобби Чарльтона? А я сижу...

И он покорно сидел. И в этой комнате, и в президиумах бесчисленных торжественных заседаний и общественных комиссий, куда его, снова обласканного начальством и публикой, возвратившими ему неофициальный титул «Лучшего Всех Времен», избирали. И когда просили, произносил речи. Все это — за триста рублей, положенных ему по штатному расписанию.

Вот и тогда, в 62-м, после Чили, сам Яшин, верный себе, не ударил пальцем о палец, чтобы снять с себя обвинения в проигрыше сборной. Все произошло без его участия.

То первенство мира окончилось, чемпионат страны продолжился, и он опять встал в динамовские ворота. Первый после перерыва матч «Динамо» был в Москве. По радио, как всегда, объявили составы команд. Имя «Яшин» трибуны встретили оглушительным свистом. Он стал еще громче, когда Яшин вышел на поле. Потом, когда он в первый раз поймал мяч, повторился. И не умолкал до конца игры. Изредка этот свист перекрывался воплем: «С поля!», «На пенсию!», «Иди внуков нянчить!»...

На втором матче ничего не изменилось. И на следующем. Публика, для которой он месяц назад был иконой, теперь остервенело топтала эту икону подошвами. В почтовом ящике он находил оскорбительные письма, на стеклах машины — издевательские надписи. Несколько раз в окнах его квартиры выбивали стекла.

Яшин попросился в отпуск. Тогдашний тренер «Динамо» Александр Семенович Пономарев охотно дал согласие: играть в условиях такой обструкции трибун было мукой для всей команды. Лева собрал пожитки и уехал в деревню, надеясь на успокоительное действие свежего воздуха, одиночества, охоты и рыбалки.

У здорового, полного сил 33-летнего мужчины отпуск не может быть бессрочным. Безделье на природе — прекрасное занятие в перерыве между работой. Яшин затосковал. Но никакой другой работы, кроме вратарской, делать он не умел. А вратарскую не только умел, но и любил. В деревне ему снилось пахнущее пылью футбольное поле, мяч, который он ловит, полка с его амуницией и кепкой в тесной динамовской раздевалке.

И в один прекрасный день ранней весны 1963 года Яшин сел в свою «Волгу» и, не заезжая домой, явился на «Динамо».

— Хочу играть, — признался он Пономареву.

— Что ж, попробуй. Но только не в Москве, здесь тебя не примут.

Все для Яшина началось сначала. Как много лет назад, тряский автобус вез дублеров по дорогам Подмосковья и сгружал их у стадиончиков с деревянными лавками вместо трибун, с лишенными травы полями, с раздевалками, в которых нельзя было помыться после игры из-за отсутствия душа и горячей воды.

Играл Лева хорошо, и его стали вводить в основной состав, но только когда «Динамо» играло в других городах. Сезон шел к концу. И вдруг в разгар осени на головы миллионов советских футбольных болельщиков обрушились сразу две новости: Лев Яшин — лауреат приза, которым награждается лучший европейский футболист года, и он же, Яшин, приглашен выступить в «матче века» между сборными мира и Англии, посвященном столетию английского футбола.

Запад признал Яшина, и чилийского грехопадения будто не было: соотечественники тут же открыли сердца вратарю республики. И когда накануне матча в Лондоне обнаружилось, что обвинения Яшина в поражении на чемпионате мира напрасны, публика отнеслась к этому как к факту, в котором никогда не сомневалась.

Реабилитировал его человек по имени Фернандо Ривера, который на первенстве мира возглавлял сборную Чили и которого назначили тренером сборной мира. Уже в Англии, накануне «Матча века», он дал интервью, где назвал Яшина лучшим вратарем мира и сослался, в частности, на злополучный матч СССР — Чили. Там, сказал Ривера, Яшин играл великолепно, и два мяча, что влетели в его ворота, не взял бы ни один вратарь на свете.

Вот вам и звездный час, час исполнения желаний, час триумфа. Разве это не счастье?

Но счастлив лишь тот, кто чувствует себя счастливым. А как Яшин?

Да, Яшин пережил этот час. Или, может быть, точнее — месяц от сборов в поездку до возвращения домой.

А потом вновь и со все большей настойчивостью боли в животе стали напоминать о приобретенной за последний год язве желудка и головные боли — о низком кровяном давлении и старых травмах от сотрясений мозга после ударов головой о штанги ворот. Он курил с детства, и чем дальше, тем больше (ему, единственному советскому спортсмену, было разрешено курить в раздевалке, даже в перерыве между таймами). И теперь, в 34 года, это обостряло его недуги.

О днях, проведенных в обществе суперзвезд, съехавшихся на «матч века», Лева вспоминал с удовольствием. По улицам британской столицы их возили в роскошном автобусе, который сопровождал эскорт: впереди неслась похожая формой на сигару машина, а за ней и позади автобуса — мотоциклы с полицейскими в белых мундирах. Автобус трогался, и взывали сирены, умолкшие лишь на остановках. Прохожие провожали кавалькаду изумленными взглядами.

— Так возят королей и премьер-министров, — рассказывал Яшин.

А парни, которых вез этот автобус, как только входили в раздевалку, уже ничем не отличались от наших динамовских дублеров: завязывали друг другу шнурки на бутсах двойными узлами, забрасывали чужие гетры на люстру и громко хохотали, довольные собственным остроумием.

Однако и тогда, в Лондоне, атмосфера абсолютной безоблачности царила в сборной мира для всех, кроме Яшина. Были минуты, когда соратники по команде невольно, сами того не желая, заставляли его почувствовать: он, Яшин, не совсем ровня остальным.

Как-то он остановился на лестничной площадке отеля поболтать с двумя партнерами по сборной, знаменитыми форвардами — испанцем ди Стефано и бежавшим в Испанию венгром Пушкашом. Все участники матча только что получили в подарок швейцарские наручные часы, каких Лева никогда прежде не видывал: плоские, как пятак, сверкающие в лучах люстр, как бриллианты. Ди Стефано вынул свои из кармана и сказал, что надо испытать их на прочность. Он подбросил часы в воздух и подьемом правой ноги нанес ими такой удар в стену, что на ней оста-

лась вмятина. Закончив тест, ди Стефано даже не нагнулся поглядеть на рассыпанные по полу винтики. А Пушкаш усмехнулся и пригласил собеседников в бар.

— Там, у стойки, — вспоминал Лева, — Пушкаш достал толстый бумажник, набитый долларами. Я такого количества за всю свою жизнь не только не получил, но даже издали не видел.

Яшин не был ни завистливым, ни корыстным. И сознание, что «у советских собственная гордость», было воспитано в нем с детства. Но он невольно смотрел на буржуев из сборной мира не свысока, а как бедный родственник. И особую болезненность этому чувству придавало сознание, что в их компании он во всех остальных отношениях не просто равный, а первый среди равных.

Так что звездный час тоже был не без червоточины.

Приниженность бедных родственников советские футболисты ощущали всегда, едва оказывались за границей. Тщетно старались они скрыть эту приниженность. Известный в свое время антрепренер швед Ланца, устраивавший зарубежные гастроли клубных и сборных команд СССР, на случай встреч с советскими гостями держал во внутреннем кармане пиджака пачку конвертов. В каждом лежало двести долларов.

Обнаружив в группе прибывших кого-то из звезд, Ланца доставал конверт и молча вручал.

— Я уже давным-давно перестал играть и приезжал за границу как торпедовский тренер, — говорил мне Валентин Иванов. — И все равно конверт получал. Ланца это делал автоматически. У него рефлекс выработался на знакомые лица.

Яшин этих конвертов не брал, полагая, что ему, человеку-знамени, не пристало брать у чужака подачки. Между тем в сравнении с другими известными соотечественниками-спортсменами он не был зажиточным человеком. Как и Борис Майоров, он не занимался в поездках коммерческой деятельностью. Но если Майорова оттаивала брезгливость, то Яшина та же самая причина, что долго мешала ему найти литзаписчика: полпред советского спорта не может «уронить лицо». Впрочем, не было бы этой причины, нашлась бы другая, способная

оправдать лень и непрактичность, покидавшие его только на футбольном поле.

То ли от условий, в которых прошла его юность, то ли таким уж он родился, но Яшин был безразличен к комфорту, модной одежде, дорогим ресторанам. Из наших долгих разговоров я уяснил: огорчала и раздражала его не стесненность в средствах, а несправедливость. Он привел мне в пример одну давнюю поездку «Динамо»:

— За границей каждому советскому игроку по инструкции положен процент из того, что получает клуб, но не больше восьмидесяти долларов. Нам в Австралии, где мы провели две недели, столько и заплатили. Всем поровну, мне и Юре Авруцкому одинаково. А в контракте черным по белому записано: если Яшин на матч не выйдет, «Динамо» получает вместо 50 тысяч долларов — 8 тысяч.

Лева почему-то выделил Авруцкого. Тот подавал в молодости надежды, но ничего путного из него не вышло, и, рано сойдя, он устроился обслуживать карусели в детском парке. А пока играл, и дома, и за границей его включали в основной состав эпизодически. Авруцкий — тот наверняка был сторонником принципа всеобщего равенства.

Еще один яшинский звездный миг — его прощальный матч в Лужниках. Играли московское «Динамо» и сборная мира. Прощание было трогательным. В перерыве между таймами он вручил свои вратарские перчатки молодому динамовцу, Владимиру Пильгую.

Когда соратники выносили Яшина за кулисы на руках, по его щеке поползла слеза. Филатов поручил мне сделать маленький репортаж с последнего матча великого вратаря, и я, стоя у кромки поля, видел эту слезу собственными глазами. И подумал, что вызвана она этой трогательной процедурой.

Лишь позднее, познакомившись с Яшиным лично, как следует его узнав и научившись улавливать невидимые миру движения его души, я понял: в ней, душе, скребли кошки. С той минуты у него было отнято дело, без которого он терял интерес к жизни, отныне ему предстояло до пенсии прозябать в какой-нибудь канцелярии, чтобы не потерять подполковничьи погоны и 300-рублевое жалованье.

Нет, ни счастливчиком, ни удачником не был этот человек, превзошедший славой едва ли не всех своих соотечественников.

Даже с записчиком мемуаров ему не повезло. Закончив работу для «Библиотеки «Огонька», мы условились, отдохнув, продолжить труд и превратить тоненькую книжечку в большую, с иллюстрациями. Но я понял: нельзя ставить отъезд из СССР в зависимость от заказов на книги. И подал заявление в ОБИР.

Не знаю почему, но другого партнера для работы над книгой Лева не подыскал.

За несколько недель до смерти Яшина наградили Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, хотя к тому времени он давным-давно не трудился. Эта награда не могла уже принести ему ни радости, ни облегчения телесных страданий. Способно ли осчастливить лакомство человека, чей желудок не принимает ничего, кроме манной каши?

Яшин знал, что его дни сочтены и что Золотая Звезда украсит лацкан пиджака, в который его обрядят перед похоронами.

Глава 9

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ

Сон в руку

Я стою на верхней площадке пятиметровой вышки над выгороженным в озере плавательным бассейном и стараюсь не смотреть вниз. Стою долго, потом отхожу, разбегаюсь и опять останавливаюсь у края. Снова отхожу и возвращаюсь уже не бегом, а медленно. Остается сущий пустык — оторвать сначала левую, потом правую ногу от дощатого настила. И левая уже повисла в воздухе. А с правой я ничего не могу поделать. Она не хочет подчиниться приказу и прилипает к полу.

Внизу с блокнотом в руке ожидает, когда я наконец прыгну, женщина в купальном костюме. Она то покрывает на меня, то жалостливо просит пощадить ее, уставшую от ожидания и опоздавшую на обед. Мне неловко выглядеть трусом перед этой молодой, стройной, привлекательной блондинкой, но я ничего не могу с собой поделать...

Это — воспоминание полувековой давности. Членов сборных команд по разным видам спорта Московского юридического института отправили на три недели в летний оздоровительный лагерь, находившийся на окраине небольшого подмосковного города Глухово, рядом с Ногинском. Меня взяли не за спортивные заслуги — их у меня не было, — а как заслуженного болельщика, не пропускавшего институтских соревнований.

Кроме участия в тренировках, которого от меня, понятно, не требовалось, каждый из прибывших обязан был сдать нормы на значок ГТО-2. С грехом пополам я сдал почти все: бег на разные дистанции, стрельбу из малокалиберной винтовки, лазание по канату, отжима-

ние от пола. Оставались прыжки. Сдающий мог выбирать из трех — в длину, в высоту или с пятиметровой вышки. Ни в первом, ни во втором я не дотянул до нормы. И полез на вышку. И простоял там несколько часов.

Меня подбадривали, надо мной подтрунивали, меня даже пробовали столкнуть в воду. Потом интерес ко мне пропал, меня оставили в покое и, когда настал час обеда, ушли в столовую. Все, кроме меня и молодой блондинки — преподавательницы кафедры физкультуры, которая принимала зачеты по прыжкам.

Наступило время послеобеденного отдыха, когда я прыгнул — самым уродливым способом, «солдатиком». На какую-то долю секунды сердце мое замерло, а затем я с удовольствием ощутил, как ступни коснулись прохладной воды, разрезали ее поверхность, и я медленно погрузился на глубину. Выплыв, я облегченно вздохнул.

Все оказалось так просто и даже приятно. Если бы не угроза остаться без обеда, я бы прыгнул еще. Я подумал: «Отложу на завтра». Однако назавтра желание почему-то пропало.

Наверно, никогда не вернулся бы я памятью к этому пустяковому эпизоду, если бы однажды он мне не приснился. Через какое-то время сон повторился. И так — на протяжении многих лет. Но если тогда, наяву, я долетел до цели, то ночью я просыпался, когда находился в полете.

Как пел Булат Окуджава, «ни кукушкам, ни ромашкам я не верю». И никогда не верил. Но этот сон о прошлом — по случайному, вполне возможно, совпадению — оказался для меня вещим.

Так — в нерешительности, в безмолвной борьбе со страхом перед ожидающей меня неизвестностью — прошли последние годы моей московской жизни. Как тогда, когда взобрался на вышку, я сделал для себя вывод: иного пути, кроме прыжка — прыжка в эмиграцию, — у меня не может быть. Но для этого надо было оторвать ноги от платформы — от привычной жизни, от профессии, от круга друзей и близких.

Однако если, прыгая в озеро, я понимал, что приводнение в худшем случае грозит мне ушибами, то этот

прыжок в неизвестность был чреват опасностью куда более тяжелых последствий, и не для одного меня, а для Жанны и Жени, за которых я несу ответственность.

Я не признавался себе в том, что боюсь сделать последний шаг, — теоретически все было нами решено единоголосно, даже с участием маленького Женечки, которого мы однажды спросили, хочет ли он переехать в Америку, на что он сразу ответил:

— Да! — и вразумительно обосновал свое желание: — Там сколько угодно жевательной резинки.

(Из каждой заграничной поездки Ивановы привозили ему любимую жвачку, и наш сметливый ребенок наматал это на ус.)

Себе я объяснял свои колебания возникавшими одна за другой уважительными причинами, требующими отложить отъезд. Среди них была и та, о которой я уже упоминал: работа над литературными записями и обещаемые этой работой гонорары.

Сборы в эмиграцию действительно требовали непомерных для нас расходов. Не менее трех тысяч рублей надо было оставить на содержание дочери от первой жены с тем чтобы она могла нормально существовать до совершеннолетия. Полагалось заплатить — не помню точно, сколько, но много — за отказ от гражданства. По тогдашнему правилу эмигрирующий обязан был возместить государству выразавшиеся в тысячах рублей расходы на свое высшее образование. Наконец, со дня подачи заявления об эмиграции я автоматически становился безработным, а ожидание разрешения могло затянуться на годы.

И я говорил Жанне:

— Вот сделаю книжку, соберем денег и — вперед...

Зарабатывать деньги трудно, экономить еще трудней. Забота о пополнении денежного запаса носила у нашего семейства перманентный характер и оправдывала в собственных глазах мое малодушие.

Долгое время было и другое, действительно существенное, обстоятельство, диктовавшее необходимость повременить с последним шагом. Мой старший сын Алексей не захотел после окончания школы поступать в вуз и,

естественно, угодил на военную службу. Было очевидно, что в случае моего бегства из СССР его по возвращении из армии неминуемо ждет безработица. Я считал своим долгом встретить сына и помочь ему устроиться. Когда он заполнит «Листок по учету кадров» и будет принят на работу, вопрос о том, куда девался отец, никто ему задавать не станет.

На трудоустройство сына ушло года полтора. Мой молодой коллега Леонид Трахтенберг заведовал отделом спорта в газете «Московский комсомолец». Сын, с моей и Божьей помощью, написал несколько заметок на спортивные темы, которые газета напечатала. (Наличие опубликованных статей было обязательным условием для поступления на факультет журналистики МГУ.)

Один мой близкий приятель, преподаватель факультета Слава Аникеев, позаботился о том, чтобы приемные экзамены обошлись без двоек. Жена другого, великого хоккеиста Анатолия Фирсова, Надя, работавшая секретарем все того же факультета, сама отнесла председателю приемной комиссии бумаги Алексея Рубина — члена ВЛКСМ, демобилизованного воина, русского (сын унаследовал 5-й пункт анкеты от своей матери), Надя и сообщила мне по телефону о том, что сын принят. А я явился с этим известием на его свадьбу. Совесть моя была чиста: «все, что мог, я уже совершил». Правда, сын бросил МГУ, не добравшись до третьего курса, а затем и сотрудничество в «Московском комсомольце». Но удержать его от этих шагов я был бессилён.

Всюду родимую Русь узнаю

Никогда прежде не удавалось мне путешествовать с таким комфортом. Маленьким мальчиком я представлял себе, что двухместное купе, белоснежное белье, предупредительные проводники — доступно только какому-нибудь американскому мистеру Твистеру, толстяку в цилиндре и с сигарой.

Мы с Жанной ехали в Чехословакию по приглашению моего старого друга Владо Малеца — заместителя

редактора братиславской газеты «Чехословенский спорт», с которым трудились бок о бок на многих хоккейных турнирах. Владо заблаговременно предупредил:

— Присылай мне сколько сумеешь материалов к месячнику советско-чехословацкой дружбы и за все получишь в Братиславе гонорар.

Я спросил, когда начинается и заканчивается месячник. Владо просто ответил:

— Начался давно, не заканчивается никогда.

Словом, в Братиславе нас с Жанной, которая сделала к моим заметкам фотографии, ожидали приличные деньги, и мы могли позволить себе и саму поездку, и это купе в вагоне для буржуев.

После нескольких часов пути мы — главным образом Жанна, которая впервые пересекала границу родной страны, — чувствовали себя интуристами. Это впечатление развеяла остановка на пограничной станции Чоп.

На платформе, едва освещенной тусклыми фонарями, было столпотворение. Из конца в конец состава, огибая горы корзин, мешков и чемоданов, метались люди. К каждому вагону был приставлен милиционер. Мужчины размахивали перед ними какими-то бумагами. Жены стояли рядом. Многие держали на руках орущих детишек.

Наконец проводники впустили пассажиров в вагоны. Толпа хлынула в наш, как прорвавшая плотину вода, и быстро заполнила все купе. Вслед за отъезжающими вошли пограничники, таможенники, проводники и милиционеры. Кто-то скомандовал: «Всем занять свои места в купе и освободить проходы от вещей». Коридор опустел. Представители власти приступили к проверке и пересчету людей и багажа. Лишнее требовали оставить. Вопли стали еще оглушительнее. Перспектива потерять часть скарба заставила матерей присоединиться к своим ревушим чадам. Но таможенники были неумолимы. Вещи летели на перрон через окна. Те, что не успевали поймать провожающие, падали в грязь. Из раскрывшихся узлов и чемоданов вываливались кастрюли, тряпки, подушки.

Когда проверяющие без стука заглянули к нам в купе, проводница коротко объяснила:

— Сюда не надо. Это — наши.

Дверь затворилась. Мы еще ходили в «наших», хотя сами в душе уже приобшились к людям, заполнившим на станции Чоп полупустые вагоны поезда Москва — Вена. Это был маршрут, по которому уезжало из СССР большинство эмигрантов — жителей Украины, Белоруссии, разных городов России.

Мы сошли в Братиславе. У остальных конечным пунктом была Вена, служившая перевалочной базой для всех эмигрантов из СССР. Оттуда они потом разъезжались по нескольким направлениям — кроме США и Израиля в Канаду, Австралию, Германию.

Помимо Братиславы мы побывали в Таллине и Праге. С «Пражской весны» минуло семь лет, и внешне ничто о ней не напоминало. Пожалуй, в Братиславе и Долине не только внешне. В Жшине я встретил уже ушедшего по возрасту из большого хоккея Йожефа Голонку — того самого, что на первенстве мира 1969 года был капитаном сборной Чехословакии и плевал в Анатолия Владимировича Тарасова. Теперь он дал мне интервью, в котором говорил, что питает к советским хоккеистам самые добрые чувства.

А вот в Праге каждое произнесенное по-русски слово вызывало раздраженные взгляды исподлобья. В ресторанах не ставили, а швыряли тарелки на стол. В магазинах делали вид, что не понимают русского. В отелях забывали менять постельное белье.

Я, поездивший по заграницам, это замечал. Жанне, пребывавшей в состоянии эйфории от безграничного выбора товаров, обилия продуктов, чистоты на улицах и всего прочего, что за рубежом приводит советского человека в восторг, эти проявления неприязни казались мелочами. Я понимал: отныне ее требования ускорить наше прощание с родиной станут еще энергичнее, чем были до сих пор.

На работе Филатов поздравил меня с тем, что я снова выездной. Я возразил, что с таким выводом лучше повременить, и напомнил ему старую пословицу: «Курица не птица — Финляндия не заграница». Теперь вместо Финляндии, которая стала заграницей, следует называть Чехословакию, или Болгарию, или Польшу.

— Давайте проверим, так ли это, — сказал Филатов. — И именно на Финляндии. Вы знаете, еженедельнику не положены зарубежные командировки. А мне хотелось бы, чтобы на первенстве мира будущего года по хоккею в Финляндии мы имели корреспондента. Оформляйтесь в туристическую группу. Расходы мы вам компенсируем гонорами.

В знак благодарности я вручил своему редактору интервью с Голонкой. В ближайшее воскресенье оно было напечатано, а уже в понедельник разразился скандал. Киселев приехал от комитетского начальства убитый и передал Филатову решение коллегии. Оба они получили взыскания. Филатов — за публикацию интервью с человеком, который неоднократно демонстрировал свою неприязнь к нашей стране, Киселев — за утрату контроля над еженедельником.

Филатов пытался объяснить: мы потому и поместили интервью, что оно опровергает мнение, будто Голонка — враг советского хоккея. Киселев лишь развел руками: решение состоялось и обсуждать его бессмысленно. И велел носить ему еженедельники на просмотр перед выпуском. Он был дисциплинированным солдатом партии.

Все необходимые характеристики для поездки в Финляндию я получил без промедления. Оставалось пройти инструктаж и уплатить за путевку. Но ни то, ни другое не потребовалось. Моего имени в списке туристов не оказалось. Филатова это огорчило больше, чем меня. Он признался, что связывался с новым тренером хоккейной сборной Борисом Кулагиным, тот обещал привести в действие свои связи, но, видимо, подвел.

В тот же вечер Кулагин позвонил мне домой:

— Я все выяснил, но это не телефонный разговор. Приезжай завтра на тренировку в «Кристалл», там поговорим.

Я приехал, когда тренировка была в разгаре. Кулагин поручил ее продолжать своему помощнику, отвел меня в сторонку и прошептал:

— У меня в КГБ есть хороший знакомый генерал. Он все разузнал. Ты в прошлом году провозжал кого-то улетавшего из Шереметьева в Израиль?

— Провожал. Старого друга Гену Житловского.

— Там тебя и засекли. И за это выкинули из поездки. Больше того, попало за халатность тем, кто допустил твой выезд в Чехословакию. Сейчас исправлять положение поздно. Но я взял с него слово, что к следующему чемпионату все будет в порядке. Только ты не высовывайся понапрасну.

— Боря, — ответил я Кулагину, с которым дружил и мог быть откровенным, — ты зря хлопотал. Следующего раза не будет. Если я не могу общаться, с кем хочу, мне поездки за рубеж не нужны.

Он хотел что-то возразить, но, подумав, только и сказал:

— Что ж, я тебя понимаю.

До эмиграции я больше не побывал ни в одной географической точке западнее Москвы. Зато исколесил многие места, расположенные северней, восточней и южней. Об этих путешествиях я собираюсь рассказать потому, что каждое из них лило воду на мельницу Жанны.

За 17 прожитых с первой женой лет я воспользовался отпуском, чтобы отдохнуть, лишь однажды: после свадьбы мы провели три недели в курортном местечке Леселидзе на берегу Черного моря. Жанна считала, что мне, ежедневно и подолгу сидящему за пишущей машинкой, надо время от времени менять обстановку и образ жизни. И мы с ней в отпускное время уезжали куда-нибудь обаятельно.

В первый раз это была деревня Бородино в Калининской области, неподалеку от города Осташкова. Соблазнил нас порыбачить на озере Селигер мой старый друг и коллега Толя Коршунов, человек на редкость одаренный: мастер спорта по современному пятиборью, яркий журналист, искусный кулинар, страстный рыболов и собиратель грибов.

Почти два десятилетия, с середины пятидесятых годов, когда я служил в газете «Колхозная правда», не приходилось мне сталкиваться с деревней. За это время ничто не изменилось в ее жизни к лучшему.

Мы сняли комнату в избе-пятистенке. Хозяйка — семидесятилетняя бабка по имени Настя — выделила нам

две кровати и кушетку в сенях. Усталые с дороги, мы легли спать. И через несколько минут одновременно проснулись. Мы не могли понять, в чем дело, пока не зажгли свет. Стены, потолок, простыни на наших ложах покраснели от нашествия клопов. Ночь ушла на неравную битву с ними. Утром, едва живые, мы отправились за провиантом. Хозяйка объяснила:

— Магазин сельпо в соседней деревне, верстах в трех от нас. Там и водки возьмете. А раз в неделю к нашей пристани причаливает пароход с экскурсантами. Там в буфете и масло сливочное, и повидло, и колбаса бывают.

В сельпо, к которому вела дорога, покрытая толстым слоем жидкой, как тесто для блинов, глиной, продавали слипшиеся конфеты «подушечки», черный непропеченный хлеб, постное масло и водку местного разлива в запечатанных коричневым сургучом бутылках с синеватым отливом.

Мы пожалели, что не запаслись консервами, но успокоили себя: у Насти или ее соседей будем покупать зелень, огурчики, редиску, молоко, ловить рыбу, собирать грибы и проживем полмесяца на вегетарианской диете. Наши благие намерения уничтожило сообщение хозяйки: ничего, кроме картошки, капусты и лука, здешние крестьяне не сажают, а коровой владеет только председатель колхоза, но он молоком не торгует.

Дома нас уже поджидал, видно, спавший, когда мы приехали, но уже успевший опохмелиться Настин сожитель Митя. Он был в пиджаке, явно предназначенном для размещения трех военных медалей. Как мы вскоре установили, пиджак он не снимал даже на ночь. Но не потому, что хотел и во сне выглядеть кавалером боевых наград. Просто к вечеру Митя напивался до бессознательного состояния. И почти ежедневно, прежде чем отойти ко сну, бегал по избе и участку с большим кухонным ножом за Настей.

Нюх на выпивку у Мити был собачий. Как ни прятали мы от него водку, Митя, если где-нибудь оставалась хоть капля, от нас не отходил. По мере опьянения он все громче и многословней объяснялся нам в любви, говорил, что отныне не сможет жить без нас, людей, которые ему

ровня, с которыми у него, городского человека, есть много общего и который пропадает, имея дело с «этой деревенской дурой». Так он называл Настю, иждивенцем которой был, хотя та сама жила впроголодь, и с которой не хотел регистрировать брак.

Настя числилась в колхозе, но там давно уже никому не платили, а пенсия колхозникам не полагалась. Митя ездил за своей военной пенсией в Осташков, но возвращался домой лишь после того, как всю ее пропивал. Тем не менее за две недели, которые мы провели у Насти, мы ни разу не видели его трезвым. Степень его опьянения зависела от времени суток. Где он добывал деньги на водку — загадка, которую мы так и не разгадали.

И она, эта загадка, не единственная. Где и как они умывались — другая. В избе не было даже обычного жестяного умывальника. Когда мы спросили Настю, она ответила:

— Хожу на озеро.

— А зимой?

Она неопределенно пожала плечами.

Была, правда, у нее замечательная банька по-черному. Но прежде чем ее истопить, надо было наносить с Селигера сорок ведер воды, притащить с берега, распилить и расколоть на дрова большое бревно, разжечь печку. У нас, трех здоровых мужчин, уходило на это полдня. Ей такое было вообще не по силам, а убежденный бездельник Митя столько работы за все свои шестьдесят с лишним лет не переделал.

Только в самые первые дни, до того как распробовали местную водку, мы дивились Митиной жестокости по отношению к сожительнице. Если бы пришлось ее отведать тысячу лет назад князю киевскому Владимиру Великому, не слетели бы с его уст бессмертные слова: «Веселье Руси есть пити».

Эта жидкость не могла вызвать ничего, кроме головной боли, учащенного сердцебиения и депрессии. Один из участников нашей поездки Игорь Образцов, молодой журналист, только что женившийся на красивой девушке Лене, выпив несколько рюмок, разбил о спину своей новобрачной гитару.

Я спросил Настю, чем они с сожителем питаются, кроме картошки, если денег она не зарабатывает. Настя ответила:

— Хожу по грибы. Всю зиму едим только их, сушеные. У нас в лесу грибов пропасть. Я их в Осташков вожу продавать. На то и хлеб покупаю.

Клопов мы кое-как одолели — спали не выключая свет, ножки кроватей поставили в жестянки, наполненные водой. Однако днем им на смену выходили полчища тараканов. Сражаться с ними мы даже не пытались.

Так жила вся деревня, кроме семьи колхозного председателя. Его жена была единственной молодой женщиной, ее недавно родившийся первенец — единственным на всю округу ребенком.

По утрам мы поднимались ото сна вместе с хозяйкой и тоже отправлялись собирать грибы. Белые в эту пору уже отошли, но мы охотились за черными и белыми груздями, лисичками, рыжиками. Коршунов их виртуозно солил, и все мы привезли в Москву по полному ведру.

Ночью мы занимались браконьерством. Настин сосед дал нам невод напрокат. Мы раздевались у озера и входили в ледяную — была середина сентября — воду. Двое тащили невод вдоль берега, а я двигался с шестом им навстречу, загоняя рыбу в сеть. Закончив операцию, мы, лязгая зубами от холода, выскакивали на сушу. Там Жанна накидывала на нас прихваченные с собой одеяла и наливала по полстакана водки для обогрева. В сеть попадались щуки, язи, жерехи.

Никогда — ни до, ни после того отпуска — не бывал я в местах такой красоты. Бородино стояло спиной к лесу — могучему, густому и девственному, — в подобном, должно быть, прятался, поджидая свои жертвы, Соловей-разбойник. Лицом деревня выходила на Селигер. Я видел и Байкал, и Женевское озеро. На мой вкус, Селигер, с его островами-клумбами пастельных тонов, с его тихой, отражающей светло-голубое небо водой, прекрасней.

И в обрамлении этой сказочной прелести доживали свой век полсотни нищих, никому не нужных, забытых Богом и людьми стариков и старух.

Следующим летом знакомый, ехавший на своих «Жигулях» в Коктебель, предложил захватить нас с со-

бой. Мы приняли предложение без колебаний. Крым, Черное море, музей Чехова, дом Волошина, Дом творчества писателей — чего еще желать? Привлекало и то, что у Коктебеля репутация места, куда в курортную пору съезжаются интересные люди — литераторы и живописцы, а некоторые живут там постоянно. И это не удивительно. Теплое море, покрытые плоской галькой пляжи, заросшие мягким мхом склоны гор — все должно пробуждать в художнике вдохновение.

По сравнению с прочими «дикарями» — так называли людей, рискнувших явиться на морской курорт без путевок, — мы устроились по-царски. Нам сдали отдельную, хотя и проходную, комнату. Таких в доме было еще две, а также маленькая терраска. И каждый клочок пространства, как в солдатской казарме, заняли узкие кровати. В палисаднике стояли раскладушки. Как и владельцы других домов, наша хозяйка брала деньги не за комнаты, а за койки. Их, этих коек, было штук двадцать. Водопровод отсутствовал. Удобства — рукомойник и уборная — находились во дворе. Чтобы пробиться к ним, надо было постоять в очереди, первой из многих очередей, которые ждали нас, «дикарей», ежедневно.

Утром, позавтракав привезенными из Москвы рыбными консервами и дарами щедрой крымской природы, которые продавались на местном базаре, мы собирались многолюдной компанией и шли на пляж. По дороге кто-нибудь сворачивал к столовой и становился в очередь. В отличие от так называемых «живых» очередей, эта состояла из представителей компаний вроде нашей. Дежурили в ней посменно, и к середине дня последний дежурный приносил на берег судки с обедом для всех. Столовая, единственная в поселке, не баловала клиентов разнообразием блюд. На первое давали щи и суп с картофелем, на второе — серебристый хек с макаронами и гуляш.

Пляж делился деревянным забором на две части. На одной, неогороженной половине, к десяти утра негде было даже присесть. Но мы ее миновали и шли к другой, принадлежавшей Дому творчества. Наша спутница Наташа Винокурова, отдыхавшая в Коктебеле с дочкой каждое лето, обзавелась прочными связями в писательской

здравнице, и мы, вручив привратнице вместо курортных книжек по рублю с человека, проходили на пляж для избранных. Правда, время от времени администрация устраивала облавы с проверкой мандатов, и нас выдворяли за порог. В таких случаях требовалось дожидаться конца облавы и раскошелиться еще на рубль.

Помещение душевой, одной на весь поселок, находилось на территории Дома творчества. Посторонним вход был воспрещен и туда. Но Наташа, пользуясь все той же бумажной купюрой, как отмычкой, открывала нам доступ к горячей воде. Ходили мы в душ раз в неделю и тратили на сидение в предбаннике целый день: людей со стороны вроде нас набиралось много и все мы должны были ждать до тех пор, пока не закончат мыться отдыхавшие по путевкам.

Уже после нашего отъезда в доме, где мы снимали комнату, произошла трагедия. Хозяйка в гигиенических целях вымыла бензином пол и стены уборной. Пятилетняя девочка, чтобы скоротать время пребывания там, прихватила с собой спички. От первой же деревянная будка вспыхнула. Пока ломали дверь, закрытую на засов изнутри, девочка сгорела.

Я благодарен судьбе, приведшей меня в Коктебель. Там встретил я людей, которые стали мне близкими и с которыми я сохранил дружбу, несмотря на то что, разделенные многими часовыми поясами, государственными границами и «холодной войной», мы не виделись полтора десятка лет, да и теперь видимся урывками, во время редких моих наездов в Москву.

Пристрастие к карточным играм не считается достоинством. Но именно оно, увлечение преферансом, познакомило меня с двумя из тех, с кем я подружился в Коктебеле. Поиски партнеров навели меня на Сережу Долина. Мы сошлись сразу.

Такой тип интеллигента свойствен только России: бескорыстный, деликатный, все понимающий, равнодушный к карьере, терпимый к человеческим слабостям, уважающий чужое мнение, но имеющий обо всем собственное. Дети не ошибаются в выборе взрослых друзей. Сергей окружен детворой всегда. Мальчишки и девчонки до-

школьного возраста тут же переходят с ним на «ты» и беспощадно его эксплуатируют, заставляя водить себя в зоопарк, в детские театры, просто катать на машине.

Талантливый физик, защитивший кандидатскую диссертацию совсем молодым, он так и не проявил своей научной одаренности. Нищенское жалование научного сотрудника заставляло Сергея откладывать серьезные планы и размениваться на рефераты, внутренние рецензии, проверку чужих экспериментов. Характеристика, которую дал себе Остап Бендер — «джентльмен в поисках десятки», — подходила Сергею и прежде. А теперь, когда российские ученые бедствуют, подходит тем больше.

Сергей познакомил меня с другим преферансистом, актером Театра Вахтангова Михаилом Воронцовым. Сейчас он заслуженный артист России. Но, насколько я понимаю, присвоено это звание Воронцову за выслугу лет. Ни одной крупной роли в театре, где служит и сегодня, он не сыграл. Хотя, по-моему, рожден артистом.

Лопе де Вега говорил, что настоящий артист должен уметь петь, танцевать, фехтовать и скакать на лошади. Не уверен, что Миша владеет искусством выездки, но остальным требованиям великого испанского драматурга Воронцов соответствует. Пением под собственный аккомпанемент на гитаре он и сейчас зарабатывает деньги в концертах. В «Принцессе Турандот» он выделял на сцене такие кульбиты, что ему мог бы позавидовать акробат, и отплясывал так ловко, что его приняли бы в ансамбль Моисеева.

Кстати, Воронцов и сам драматург. Это он инсценировал для своего театра бабелевскую «Конармию». И уже в 90-е годы у Вахтангова пользовалась успехом обработанная им для сцены классическая сказка. Ее мне посмотреть не удалось: я бываю в Москве летом, когда театры на каникулах. А вот сделанный Мишей спектакль по мотивам рассказов Зощенко я видел. Вместе со своим всегдашним напарником в концертах Вячеславом Шалевичем и вахтанговской актрисой Марианной Вертинской и Аллой Ларионовой Воронцов показал его русскоязычной публике в США.

В том, что Воронцов не стал знаменитостью, думаю, сказалось невезение — он постоянно был в натянутых

отношениях с тогдашним главой театра Рубеном Симоновым. Но главное — занят он был вечно, как Сергей Долин, «погоней за десяткой»: телевидение, озвучивание мультфильмов, концерты, инсценировки чужих произведений давали прибавку к стопятидесятирублевой зарплате, положенной по штатному расписанию артисту первой категории академического театра, но отнимали энергию и время. Как написал в стихотворении «Юбилейное» Маяковский: «Но ведь надо заработать сколько! Маленькая, но семья».

В Коктебеле мы задолго до подхода к морю определяли, там ли Воронцов. Если на месте — отгороженный участок пляжа превращался в концертный зал под открытым небом, в театр одного актера. Взгляды всех загорающих были обращены на Мишу. Слышался только его голос, прерываемый взрывами хохота.

Ничего, кроме невыдуманных историй, он не рассказывал. Он не готовил своих сольных выступлений. Просто брошенная кем-то фраза наводила его на случай из жизни. Эти случаи цеплялись друг за друга, и получался концерт.

Вот образчик устного творчества Михаила Воронцова. Вахтанговцы приехали на гастроли в Одессу. Был февраль и редкие для этого города холода. Владимир Этуш и еще кто-то из актеров зашли в парикмахерскую на Дерибасовской побриться.

— О, какая честь! — воскликнул пожилой еврей-парикмахер, усаживая в кресло Этуша и принимаясь за работу. — Товарищ Этуш, скажите, пожалуйста, как вам нравится наш прекрасный город?

— Да, город прекрасный, — без всякого энтузиазма подтвердил Этуш. — Но мы погибаем от холода: в гостинице, куда нас поселили, не работает отопление.

— Это ужасно! — воскликнул парикмахер. — Но я вас научу, что делать. Ваш руководитель товарищ Симонов должен срочно написать заявление на имя директора гостиницы.

Он помедлил секунду и продолжал, не прекращая бритье:

— Да, и у вас в театре пять народных артистов СССР. Они тоже должны написать заявления. Каждый в отдель-

ности. Вы и другие народные артисты СССР — тоже. Но не коллективные, а свои. И вообще все работники театра должны написать заявления директору.

Этушу надоела болтовня парикмахера:

— Да какой толк от этих заявлений!

— Как — какой? Очень большой. Директор соберет их, и ему будет чем топить.

Закончив повествование, Воронцов шел купаться, и пляж пустел: все кидались в море вслед за ним, чтобы не опоздать ко второму отделению.

Накануне нашего отъезда в эмиграцию Миша явился попрощаться. Мы оба были уверены: это прощание — навсегда. К счастью, мы ошиблись. Пусть редко, но мы видимся. По возрасту Воронцов теперь пенсионер. И животик появился. И седина в его черных и курчавых, как у цыгана, волосах. Но он так же неутомим, как четверть века назад, когда мы познакомились, так же неистощим в рассказах, так же всегда готов перепить за столом молодых и здоровых собутыльников.

Слепаки

В какой-то день мы вместо нашего пляжа пошли на другой, песчаный. Он называется «Мертвая бухта» и находится в пяти километрах от поселка. В наше отсутствие Миша отыскал двух преферансистов. И вечером, когда мы встретились, рассказал очередную быль, правда совсем не смешную.

Игра была в разгаре, когда к его партнерам подбежал какой-то человек. Они пошептались, поднялись и объявили, что должны срочно уходить. На Мишин вопрос, куда спешить людям, отдыхающим в солнечном Коктебеле, последовал ответ:

— Мы здесь не отдыхаем, мы в командировке. — И в нарушение служебного долга ввели Воронцова в курс своих обязанностей: — Нас послали следить за Слепаками. Куда они, туда и мы. Пока они дома, можно и искупаться, и в карты поиграть. Но они, гады, непоседливые. Сейчас вот в горы собрались...

Впервые я увидел людей, ради которых прилетели в Коктебель три чекиста, на базарной площади, у конечной остановки симферопольского автобуса. Из него вышли четверо: красивый мужчина с молодым лицом, большой седой бородой и того же цвета густой шевелюрой, женщина в очках с такими толстыми стеклами, какими пользуются очень близорукие люди, и два парня — высокий юноша и хрупкий кареглазый подросток. Это были Владимир и Мария Слепаки и их взрослые дети Сашка и Ленька. Приятель, чьей машиной мы воспользовались, чтобы добраться из Москвы в Коктебель, прямо на площади нас познакомил.

Кто такой Владимир Слепак, я знал и раньше. Среди соратников академика Сахарова по диссидентскому движению он представлял ту ветвь, которая боролась за свободу выезда советских евреев на их историческую родину — в Израиль. Его имя появлялось на страницах партийной прессы в статьях, разоблачавших сионистов.

Я и вообразить не мог, что когда-нибудь познакомлюсь с Владимиром Слепаком лично. Его облик совсем не соответствовал моему представлению о том, как должен выглядеть человек, отважившийся выйти на неравный и безнадежный бой с советским режимом. Он был румян, улыбчив, носил модный в ту пору джинсовый костюм и провожал заинтересованным взглядом каждую обладательницу стройных ног и смазливового личика.

Для меня и теперь загадка, как может сохранять такой оптимизм, такое умение наслаждаться жизнью, такое душевное здоровье человек, за которым 24 часа в сутки следит недреманное око власти, отрядив для этой цели все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая КГБ. И ждет любой промашки этого человека, чтобы расправиться с ним так, как умеет только она, советская власть.

Собственно, власть и превратила Владимира Слепака в борца и героя. В 50-е годы он, молодой инженер, работал на строительстве оборонных сооружений. Через двадцать лет эта работа послужила поводом к отказу Слепаку в его праве на эмиграцию. Борясь против произвола по отношению к себе, он стал правозащитником всех отказников — евреев и не евреев.

Началась эта деятельность Слепака на рубеже 60-х и 70-х годов, когда ему не было сорока. Согласись Володя ее прекратить, перед ним открывалась возможность спокойного существования. Но компромиссов в вопросе о принципах для этого веселого, на вид легкомысленного человека не могло быть. И он обрек себя на жизнь под колпаком КГБ, колпаком, который это учреждение не позаботилось даже закамуфлировать.

Как-то в Коктебеле у нас зашел общий разговор о кинофильмах. Маша высказала свое мнение об одном, не помню теперь названия.

— Маша, — прервал жену Володя, — мы же с тобой эту картину не видели. Или ты бегаешь в кино тайком от меня?

Маша наморщила лоб, пытаясь что-то вспомнить. Вспомнила и удовлетворенно сказала:

— Я видела этот фильм, когда ты сидел по первому Никсону. — Она имела в виду первый визит бывшего тогда вице-президента США Никсона в Москву.

Слепака сажали и «по второму Никсону», и «по Киссинджеру», и «по съезду КПСС», и «по пленумам ЦК». Сажали без предъявления обвинений, без санкции прокурора. А когда мероприятие оканчивалось или гость покидал Москву — выпускали. И били не раз для остротки. И постоянно напоминали: «Каждый твой шаг, каждое движение просматриваются, каждое слово прослушивается нами».

...У набережной, отделяющей пляж от Дома творчества, в один прекрасный вечер остановились, скрипнув тормозами, два «жигуля». Из обоих вышли мои давние приятели. Из головной машины — известный журналист Александр Авдеенко, из другой — известный артист Игорь Кваша.

Ехали они в Ялту, а к нам завернули на денек-другой, как теперь говорят, потусоваться. Им нужна была комната. Я повел их по известному мне адресу, они быстро сторговались. Бросив пожитки, Саша помчался к родителям, отдохавшим в писательском Доме. Игорь остался его ждать. Ожидание затягивалось. Вечер уходил впустую.

— Сейчас мы его мигом найдем, — вдруг осененный какой-то идеей, объявил Кваша и извлек из кармана

прибор, известный под названием «уоки-токи». Они захватили с собой по такому передатчику, чтобы переговариваться в пути.

Не успел Игорь настроить свое приспособление, как дверь отворилась и на пороге встали двое военных с зелеными погонами пограничников. Оба были вооружены автоматами. Без объяснения причин они потребовали, чтобы Кваша следовал за ними. Тому ничего не оставалось, как отдать себя в руки властей.

На набережной он появился взволнованный происшествием и довольный его исходом. Он рассказал, что его отвели на пограничную заставу. Берег Черного моря — граница с Турцией, и всякий, кто в этой зоне включает радиопередатчик, подозревается в том, что он агент иностранной разведки. Его могут продержать взаперти как угодно долго для расследования. Кто знает, чем бы закончилось все это невинное приключение, если бы Кваше не пришли в голову спасительные слова:

— Ну что вы, ребята, какой я шпион? Я же артист, я играю роль Карла Маркса в картине «В середине века».

Его узнали и немедленно освободили: человек, который играет Маркса, не может быть врагом Страны Советов — для пограничников это было истиной, не требующей доказательств.

Расстались они друзьями. На прощанье Игорь обратился к своим новым поклонникам с вопросом:

— Ребята, а как вы меня запеленговали? Случайно?

И получил исчерпывающее объяснение. В доме, который я подыскал для Кваши и Авдеенко, было две комнаты. Я потому и знал о наличии незанятой, что другую снимали Слепаки, которые во время нашего визита находились на набережной. А у пограничников приказ — не спуская глаз следить за домом, где разместились Слепаки. И не только глаз, но и антенн: вдруг те захотят передать шпионскую информацию туркам.

Пограничники не взяли с Игоря слово держать эту информацию в секрете. Его рассказ стал в тот же вечер известен Слепакам. Но, слушая, они и бровью не повели. Они к такому давно привыкли.

Курортная дружба возникает с такой же легкостью, как и умирает. При расставании новые друзья обменива-

ются телефонами, два-три раза созваниваются, но, занятые служебными и домашними заботами, откладывают свидание. А потом впечатления от совместно проведенных дней тускнеют и взаимная тяга исчезает.

Наша дружба со Слепаками в Москве продолжалась. Там мы, понятно, общались не так часто, как в Коктебеле, но регулярно. Они предпочитали встречи у нас дома. Не хотели никого подводить: каждого, кто переступает порог их квартиры, говорили они, берут на заметку.

Не было случая, чтобы они явились к нам в условленный час. К их приезду картошка обычно остывала и водку приходилось возвращать на ее место в холодильнике. Причину опоздания мы знали: Слепаки вышли из дому, заметили, что за ними тянется «хвост», и петляют по городу, пересаживаются из метро в троллейбусы, из трамваев в такси, пока не сочтут: сопровождающие потеряли их след. Бывало, правда, что я выглядывал из окна и видел праздношатающуюся вдоль тротуара парочку и припаркованный в неположенном месте у мостовой автомобиль.

Обычно Слепаки приезжали не с пустыми руками. Книг, которые они привозили, мне хватало до их следующего посещения. Благодаря им я задолго до эмиграции прочитал солженицынские «Архипелаг ГУЛАГ» и «Август 14-го», выпуски самиздатовской «Хроники текущих событий», работы Амальрика, Шафаревича, Федосеева, попавшие в СССР номера журнала «Континент» и еще множество произведений, за каждое из которых читающий мог поплатиться. А уж распространитель литературы такого рода — тем более.

Но Слепаки не боялись никого и ничего. Сомневаюсь, что я носил бы им запрещенные книги, если бы мы поменялись местами — Володя был бы членом КПСС и принадлежал к цеху, представителей которого Хрущев назвал подручными партии. Слепаки верили в изначальную порядочность людей, которых выбрали себе в дружбу, и не желали видеть в них двурушников. И интуиция никогда их не подводила.

Мы с Жанной были в гостях у Слепаков всего раз, да и то потому, что настояли на этом визите. Жили они в

самом центре Москвы — в доме на нынешней Тверской, смежном со зданием Моссовета, том самом, где первый этаж занимал книжный магазин «Дружба», который специализировался на торговле литературой социалистических стран.

Мы поднялись на шестой этаж. У двери в квартиру Слепаков стоял стул, на нем лежала подушечка. Круглосуточный дежурный отлучился куда-то, должно быть, по естественной надобности.

— Когда спуститесь вниз, — сказал Володя, — обратите внимание на «Волгу» у подъезда. Она тоже там всегда и сопровождает нас во всех прогулках.

Мы засиделись допоздна. Ужинали, выпивали, болтали. Зашел по поручению Анатолия Щаранского его младший брат. Выйдя из квартиры, мы нашли обитателя стула на посту. «Волгу» — тоже. В ней горел свет. Двое на переднем сиденье мирно читали газеты.

Так жили Слепаки все 17 лет, что им отказывали в разрешении на выезд. Жили, точно зная, что каждый их шаг просматривается, каждое слово прослушивается и даже ночью в постели они не остаются наедине: вмонтированные в стены комнат микрофоны обеспечивают слavnым чекистам полную осведомленность не только об их правозащитной деятельности, но и о частной жизни.

Кто, находясь непрерывно на протяжении долгих лет в такой атмосфере, не превратился бы в ипохондриков, неврастеников, мизантропов? Кто не заболел бы манией подозрительности? Душевное здоровье Слепаков не сумели подорвать никакие испытания.

Я поделился с Володей и Машей своими планами эмиграции и попросил совета: как раздобыть необходимый для подачи заявления вызов из Израиля от родственников, которых у меня там нет? Володя ответил, что заботу об этом он берет на себя. Через полгода после того разговора я нашел в своем почтовом ящике конверт с обратным адресом: «Израиль».

Уверен, что многолетние надругательства государства над этой семьей преследовали, кроме всего прочего, цель показать всем потенциальным беженцам, какое будущее

уготовано упряму, отбить у них охоту к перемене мест. Если так, власти допустили роковую ошибку: пример Слепаков имел обратный эффект. Я исхожу из собственного опыта. Близкое знакомство с ними положило конец моим колебаниям. Оно показало мне, что к человеку, поступившему так, как он считает правильным, внутренняя свобода приходит даже тогда, когда физически он этой свободы лишен. Я увидел, как украшает человека твердость в следовании к своей цели и бескомпромиссность перед лицом ожидающих его на избранном пути невзгод.

Приглашение из Израиля лишь ускорило наш последний шаг. С момента его получения мы были уже не жильцы в своей стране. Не одни мы, все знали, что послания такого рода из Израиля перлюстрируются и те, кому они адресованы, берутся на заметку.

Уже живя в Америке, мы получили известие о том, что Володю снова арестовали. На сей раз, кажется, в связи, или, пользуясь терминологией Слепаков, «по Московской Олимпиаде». Но по окончании этого события Володю не отпустили домой, как после прошлых арестов, а препроводили в сибирскую ссылку. Маша последовала в ссылку за мужем, и там они провели около двух лет, до того самого дня, когда его выдворили — с пересадкой в Москве — из СССР. Сыновей Сашу и Леню отпустили раньше.

Как я был артистом

Большой десант, в котором находились мы с Жанной, высадился в сочинском аэропорту. Идея нашего гала-представления родилась в мозгу Евгения Кравинского, эстрадного конферансье по профессии и футбольного болельщика по призванию. Все свободное от пребывания на подмостках время он думал о футболе, говорил о футболе и даже писал о футболе в издания, которые соглашались печатать его эссе.

Кравинский взял в соавторы писателя и режиссера Марка Розовского, и вдвоем они создали нечто гранди-

озное, в чем Женя пригласил участвовать меня. Называлось это пышно:

БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ. ЭСТАФЕТА МАСТЕРОВ ЭСТРАДЫ, СПОРТА И КИНО

Гастроли занимали весь август, и, соблазненный возможностью за счет Росконцерта провести неделю бархатного сезона в курортной столице страны, я согласился на время очередного отпуска стать артистом. Кроме Сочи, нас ожидали Хоста, Краснодар, Ставрополь, Нальчик и Луганск.

Открывал концерты оркестр под управлением Анатолия Кролла, заключал любимец публики певец Юрий Антонов. В промежутке между ними выступали исполнитель роли Остапа Бендера в фильме «12 стульев» Арчил Гомиашвили, участники популярной телепередачи «Кабачок 12 стульев» Зиновий Высоковский и Рудольф Рудин и еще полторы дюжины артистов, не обладавших такой известностью.

В пути мы теряли одних спутников — тех, у кого кончался отпуск или начинались другие гастроли, повыгодней, — и обзаводились новыми. В Ставрополе в наш дружный коллектив влился Сергей Мартинсон, в Днепропетровске — Иван Переверзев.

Я выступал в чрезвычайно ответственной роли. Я выходил на эстраду во втором отделении, приглашал туда и интервьюировал по очереди футбольных ветеранов Эдуарда Стрельцова, Виктора Понедельника, Игоря Численко, Владимира Кесарева, которые участвовали в нашем турне и были главной приманкой для публики.

Трудно сказать, почему наше представление называлось так, а не иначе. Должно быть, объединяющим началом служила единственная декорация — деревянный пьедестал почета, установленный в левом от зрителей углу эстрады. На его вершину время от времени взбегал шустрый молодой человек Раф Могилевский — привезенный из Белоруссии конферансье.

Не скажу, что два уважаемых автора создали шедевр эстрадного искусства, но залы на полторы-две тысячи мест и даже трибуны городских стадионов заполнялись.

Наш предводитель Кравинский постоянно пребывал в состоянии близком к истерике. Гомиашвили умудрялся за день выступить в трех сочинских залах, и никто не знал, поспеет ли он к своему номеру. То и дело исчезал Антонов. Кравинский дежурил у входа в концертный зал и всматривался в даль. Завидев взмыленную от бега звезду, он давал сигнал, и Кролл взмахивал дирижерской палочкой. На подмостках Юра появлялся в момент, когда оркестр заканчивал вступление к его песне. Нам он потом по секрету сообщал, что летал самолетом местного рейса на свидание. Улетал и Мартинсон — на утренние концерты в соседние города.

Страшный удар постиг Кравинского в самый разгар турне. На концерт в Хосте пришла отдохавшая в тамошнем санатории сотрудница Госкомспорта. На утро в Москву полетела телеграмма: «Стрельцов выходит на сцену в пьяном виде и этим позорит советский спорт». Ответная телеграмма, на имя директора группы Бескина, содержала требование немедленно отправить Стрельцова в Москву. Женя плакал. Стрельцов был его идолом, его божеством. Без Стрельцова все предприятие теряло для него привлекательность.

Впрочем, донесшая на Эдика дама была не так уж далека от истины: вполне трезвым товарищи по путешествию не видели его ни разу. Ежевечерне перед началом концерта Кравинский произносил одну и ту же фразу:

— Стрельцов дал мне слово, что сегодня не примет ни капли. Так что можно не волноваться.

И при этом дико волновался. Когда Эдуард появлялся за кулисами, Женя заглядывал ему в глаза, обнюхивал, вслушивался в его речь: достаточно ли она тверда — и по совокупности всех признаков решал, выпускать ли его на эстраду или поручить мне сделать объявление о том, что Стрельцов захворал.

В Сочи по утрам труппа полным составом стягивалась к пляжу при гостинице «Жемчужина», на который нам как знатным гостям города выдали пропуска. Опоздавших было двое — Высоковский и Стрельцов. Совместное сеяние разумного, доброго, вечного сдружило этих прежде незнакомых людей. Не знаю, проводили ли они вместе

вечера, но на пляж прибывали парочкой после полудня. Они двигались нетвердой походкой, каждый для верности опираясь на плечо шедшего между ними подростка Кости — сына Кравинского. Они останавливались у нашей группы, и Высоковский голосом пана Зюзи обращался к моей жене:

— Жанка, сколько ни стараюсь, не могу понять, почему ты загорела с головы до пят, а у меня только руки от локтей и ниже.

Не дожидаясь ответа, друзья в сопровождении Кости отбывали под навес на краю пляжа, где находился бар.

Каждому артисту полагался помимо оплаты проезда, гостиницы и суточных гонорар «за выход», размер которого определялся званием выходящего. Существовала специальная шкала. Я не подходил ни под одну графу. Пришлось министру культуры издать специальный приказ, которым я, как член Союза журналистов СССР, приравнивался к той категории, чей выход на сцену стоил 11 рублей. Это было примерно столько, сколько платили лауреатам республиканского конкурса молодых мастеров эстрады.

Однако когда я пришел за первой получкой, меня ждал сюрприз: администратор бригады не только не дал мне денег, но еще потребовал с меня. Он объяснил, что расходы на переезды и жилье Жанны превышают заработанное мною. Такой оборот дела не входил в наши планы. Я понимал: без меня слово «спорт» надо из афиши вычеркивать, а это убивает замысел авторов и лишает все мероприятие изюминки. И встал на путь шантажа. С администратором препираться я не стал, а потребовал у Кравинского, чтобы нам взяли авиабилеты в Москву.

Соглашение было достигнуто в считанные минуты. Директор издал распоряжение о назначении Жанны помощником режиссера со всеми вытекающими финансовыми последствиями. Вернее, мы полагали, что со всеми. Не может быть, чтобы служащему не причиталась зарплата и командировочные. Мы их так и не увидели, а спросить постеснялись. Директор, надо полагать, решил, что бесплатных переездов и проживания в отелях с нас достаточно, и был прав: расходы покрыты, а на доходы мы не претендовали.

Сомневаюсь, чтобы не выданные Жанне деньги возвратились в казну. Не таковы были нравы в советских концертных организациях. Между прочим, через несколько месяцев после возвращения в Москву мы получили известие: наш директор Бескин сидит.

В таком турне, как наше, помреж — прислуга за все. Жанна следила, чтобы не нарушался порядок номеров, чтобы участники были готовы к выходу на сцену, помогала солисткам натягивать платья, подставляла плечо Мартинсону, когда он, тогда уже старенький, кряхтя и охая, взбирался по скрипучим ступенькам на подмости, сколоченные у края футбольного поля стадиона в Краснодаре. Глядя на Мартинсона, я понял, что такое настоящий артист. При первых звуках аккомпанемента он молодец и порхал по эстраде, как мотылек.

Жене работа нравилась; будила в ней воспоминания детства, когда она колесила по городам и весям России с родителями и их партнерами, среди которых были медведь и обезьяна. Кстати, в книжном магазине Луганска я набрел на «Цирковую энциклопедию», содержащую заметки о ее родителях и брате отца — их постоянном спутнике в аттракционе «Семья Морено». По приезду в Москву я подарил «Энциклопедию» своей теще Александре Кузьминичне.

Заявление об уходе

21 августа 1977 года я вручил Филатову заявление об уходе с работы по собственному желанию. Он прочитал, растерянно посмотрел на меня и после паузы спросил, чем вызван этот странный шаг. Я ответил, что перегружен заказами издательств и журналов и, чтобы не нарушить сроки договоров, должен запереться на полгода дома и писать не покладая рук.

Ничего лучше я выдумать не мог. Филатов не стал растолковывать мне, что для такой работы можно взять отпуск за свой счет. Он наверняка все понял. Оставил меня в своем кабинете, взял заявление и торопливо вышел. Вскоре вернулся и сообщил, что Киселев удовлет-

ворен названной мною причиной и с завтрашнего дня я свободен. А я пошел очищать от бумаг рабочий стол, за которым просидел семь лет и за которым теперь предстоит сидеть моему преемнику.

Этот труд прервал заместитель Филатова Геннадий Радчук, попросивший зайти к нему. В своем кабинете он запер за мной дверь на английский замок, достал из сейфа начатую бутылку коньяка, налил его в стаканы, придвинул один мне, другой себе и только тогда нарушил молчание:

— В Израиль едешь?

— В Америку.

— Филатов сам не свой. Сидит мрачный и подавленный.

Мы чокнулись и выпили. Радчук разлил остаток и продолжал:

— Ты не обижайся, но на твои проводы я не приду. И если встретимся там, за кордоном, не знаю, как буду себя с тобой вести. Ты меня пойми. Это вы с Филатовым — писатели. Мой заработок — заграничные поездки. Ну, разопьем мы с тобой на проводах или там бутылку, кто-нибудь обязательно стукнет, и стану я невыездным. А мне семью кормить.

Радчук явно преувеличивал мою литературную одаренность, ставя меня на одну доску с Филатовым, а свою занижал: профессионал он был высокого класса. Но за свое будущее тревожился не без оснований. Радчук окончил Институт международных отношений, свободно говорил по-английски, и его два-три раза в год посылали переводчиком со спортивными делегациями. Из-за границы он привозил большой астмой жене лекарства, которые у нас можно было достать разве что в аптеке кремлевской поликлиники.

Я сказал Радчуку, что вполне его понимаю, во всем с ним согласен и для меня он навсегда останется порядочным и добрым человеком.

Так завершилась моя служба в «Советском спорте», служба, которая продолжалась 19 лет и 1 месяц.

Я мог бы продлить ее на неопределенное время — до тех пор, пока не получу разрешение на эмиграцию. В таком случае моя фамилия сохранилась бы в ведомости на

зарплату, что было для нас с Жанной, не имевших сбережений, немаловажно.

Но я не хотел ставить в неловкое положение ни себя, ни сослуживцев. Представлял себе, что прихожу утром в редакцию и они, не будучи мне ни врагами, ни недоброжелателями, не знают, как себя вести — здороваться ли, разговаривать ли? Присаживаться ли за один столик в буфете? Садиться ли рядом на собраниях? Спрашивать ли, как продвигаются мои дела с отъездом? Может, никакими неприятностями им общение со мной не грозит, а может, в подходящую минуту поставят кому-то это лыко в строку.

И уж совсем трудно пришлось бы сотрудникам еженедельника. В крошечной комнатке нас трое. Сидим мы к плечу плечо. Как быть им? Игнорировать меня, с которым вчера вместе ходили на стадион, дежурили по номеру, пили водку? А мне? Участвовать в общих беседах или молчать восемь часов? Каким бы ни был ответ на любой из этих вопросов, возникала натянутая, искусственная ситуация. И в этой атмосфере нам пришлось бы проводить все рабочие дни.

Да и что мне было делать в редакции? Поручить поставившему себя вне общества и во всеуслышание заявившему об этом лицу писать свои и редактировать чужие материалы для советской газеты — нельзя. Но писание и редактирование и есть моя работа. Сидеть сложа руки в окружении по горло занятых людей было бы для меня сущей мукой. И я предпочел сидеть в ожидании решения своей судьбы дома.

В редакции больше не показывался. За справкой о том, что у «Советского спорта» нет ко мне материальных претензий, ездила Жанна, еще одно заявление: «Прошу исключить меня из рядов КПСС в связи с выездом на постоянное местожительство в Государство Израиль» — я послал почтой, а партбилет, тоже почтой, отправил в райком. Не поехал я и на партийное собрание, несмотря на напоминания по телефону и на то, что редакция — впервые за все 19 лет — прислала за мной машину к подъезду.

О том, как Жанна повстречалась в отделе кадров с Виктором Васильевым, с которым мы считались друзья-

ми, и Дмитрием Ивановым, с которым были во вражде, я писал. Об открытом партсобрании мне сразу доложил много лет помогавший мне вести в еженедельнике хоккей Гена Ларчиков.

Председательствующий, редактор международного отдела Семен Близнюк, огласил мое заявление, назвал меня человеком с двойным дном, волком в овечьей шкуре и попросил Филатова дать оценку моей работы. Тот сказал, что не имел ко мне претензий по службе, а какой я журналист, каждый может судить сам.

Затем сотрудник отдела массовых видов спорта Виктор Колядин внес предложение исключить меня из партии не в связи с мотивом, который указан в заявлении, а за измену родине. Ставить на голосование это предложение не стали. Близнюк объяснил, что измена — уголовное преступление, факт которого может быть удостоверен только приговором суда.

На том прервался мой 24-летний партийный стаж.

Не имей сто рублей

Среди бумаг, которые ОВИР требовал от просителей разрешения на выезд, было и целое произведение — о его родственных связях с приглашавшим, о том, достаточно ли этот приглашавший обеспечен, удовлетворительны ли его жилищные условия. Так родное государство проявляло заботу о будущем благополучии своих бывших граждан.

Допускаю, что у меня были какие-то дальние родичи в Израиле, бежавшие от погромов начала века, или от петлюровцев, или от махновцев, или от большевиков. Да и у кого из евреев, родившихся на территории, образовавшей СССР, их нет? Но кто они, где живут, происходят ли от предков отца или матери, я понятия не имел. И не обладал достаточной фантазией, чтобы изобрести новую ветку на своем генеалогическом древе и посадить на нее женщину, которая подписала бумагу о нашем приглашении в Израиль, — ее имени я теперь не помню.

Однако эта трудновыполнимая, как я думал, задача оказалась на удивление простой. Мы поехали по данному нам знающими людьми адресу. Дом, двухэтажный и деревянный, находился на углу Трубной площади и Рождественского бульвара. В комнатухе, такой тесной, что в ней едва помещались стол с пишущей машинкой и два стула, нас радушно приняла немолодая дама. Мы представились, сослались на направившее нас к ней лицо, дали прочитать приглашение и вручили тридцатку. Она спрятала деньги в кошелек и без лишних слов взялась за работу. Машинка стрекотала полчаса непрерывно. Легенда о женщине, любимой кузиной которой была моя мама, которая осталась без близких и которая из-за преклонного возраста и нездоровья нуждается в постоянном уходе, не содержала ни единой опечатки.

На наше счастье, правило, обязывающее эмигранта возвращать деньги, истраченные государством на его высшее образование, отменили. Но это не снимало необходимости добывать средства к жизни. Тем более, что я не спешил нести бумаги в ОВИР, стремясь хоть как-то отдалить себя от «Советского спорта» и избавить редакцию от нареканий за близорукость, которая помешала коллективу своевременно разглядеть во мне идеологического врага.

Не зря говорится: была бы шея — хомут найдется. Есть у Жанны младший брат Станислав, или попросту Стасик, который и сейчас живет в Малаховке. По-моему, такие рождаются только в России. Не существует на свете ручной работы, которая была бы ему недоступна. Он умеет построить дом, оснастить его электропроводкой, собрать радиоприемник из разрозненных деталей, выточив недостающие, перебрать автомобильный карбюратор, починить часы.

Стасик трудился на оборонном заводе, а по выходным подрабатывал тем, что шабашил у себя в поселке: ремонтировал электричество, красил крыши, рыл колодцы, ставил столбы, строил заборы. У него не было отбоя от заказов малаховских домовладельцев. Помимо репутации мастера своего дела он имел еще более редкую для шабашника советских времен: заказчик не

опасался, что Стасик напьется до положения риз в первый же обеденный перерыв и появится, лишь когда пропьет до последнего гроша аванс.

Человек Стасик не религиозный, однако верный той из десяти заповедей, что призывает помогать ближнему. Думаю, исходя не из собственных интересов, а из этой заповеди он и предложил мне, немолодому и неумелому, стать своим подручным и работать исполу. Я, понятно, согласился.

В пятницу мы приезжали всем семейством в Малаховку, ночевали там и рано утром вдвоем со Стасиком отправлялись трудиться. Он, этот двухдневный труд на свежем воздухе, приносил нам достаточно денег, чтобы дожить до следующего уик-энда.

Появились у меня и другие источники дохода.

Году, наверное, в 65-м — я заведовал тогда отделом спортивных игр «Советского спорта» — ко мне явился довольно молодой человек в черном вытертом до металлического блеска костюме. Звали его Александр Рошаль, и был он заслуженным тренером РСФСР по шахматам — спорту, который реферировал наш отдел. Он хотел сменить тренерскую профессию на журналистскую. Мы проговорили часа полтора, я попросил его сделать какую-нибудь статью на пробу, он обещал, но не принес.

Через некоторое время я встретил его в редакции снова. Мы поздоровались как старые знакомые, и он сообщил, что принят в новое приложение к «Советскому спорту» — еженедельник «64».

Рошаль и сейчас, через 35 лет, работает в «64». Только еженедельник давным-давно отпочковался от газеты, а Алик, кажется, еще раньше, стал его главным редактором. Но в пору своего журналистского дебюта он имел обыкновение приносить мне материалы, которые сам считал значительными. Он доверял моему вкусу и не возражал против прикосновения к своим статьям моего редакторского карандаша.

Перед нашим отъездом Рошаль был уже одним из наиболее известных и авторитетных шахматных журналистов страны и писал первую свою книгу. Его соавтором был любимец партии и правительства чемпион мира Анатолий Карпов, и за ходом работы над книгой наблю-

дал сам Тяжелников — зав. отделом пропаганды ЦК КПСС, лично опекавший Карпова. Он требовал, чтобы рукопись была сдана к сроку, а Рошаль, занятый служебными делами, поездками на турниры, свиданиями и бракоразводным процессом, запаздывал.

Однажды вечером Алик приехал к нам домой с предложением:

— Займись редактированием книги. Я буду доставлять тебе куски, а ты готовь их к печати. Я выяснил, что в издательствах такая работа стоит тридцать рублей за печатный лист. Я бы рад платить тебе больше, да мне не по карману.

Поначалу я отказался: какие могут быть денежные расчеты между друзьями? Я напомнил ему, что охотно возился с его рукописями даже тогда, когда был занятым человеком, а теперь для меня, бездельника, это будет развлечение. Рошаль, однако, настаивал на своих условиях решительно.

— Либо будет так, как я сказал, либо никак, — заключил он.

Мне стало ясно: он потому и явился, что хочет дать мне в трудный час подработать — редакторы нашлись бы в издательстве и платило бы им государство.

Меня это проявление дружеских чувств растрогало. Однако еще больше — смелость Рошаля. Мало того, что ему придется навещать меня, которому работающие в «Советском спорте» побаивались даже звонить. Если тайна нашего сотрудничества откроется, ему наверняка не избежать очень серьезных неприятностей.

Он стал регулярно привозить мне новые отрывки и брать готовые. Но как-то пропал на неделю. Когда явился, я ему выговорил:

— Вот получим разрешение на выезд, и останешься без редактора.

— Не бойся, не останусь, — ответил он. — Попрошу Тяжелникова, и тебя до окончания работы над книгой задержат.

Другую запомнившуюся мне навсегда остроту он изрек 12 лет спустя. Редакция «Радио Свобода» послала меня сделать интервью с кем-нибудь из участников Открытого чемпионата Нью-Йорка по шахматам. Я вошел в зал,

где на 20-ти или 30-ти досках играли участники, и сразу увидел расхаживающего между столиками Рошала. Он тоже заметил меня, и мы кинулись друг другу навстречу. Однако, не дойдя до меня двух шагов, Алик притормозил, протянул руку и сказал:

— Наша страна находится сейчас на таком этапе, когда позвать тебе руку я уже могу, а обнять еще нет.

Теперь прогресс в России зашел так далеко, что мы не только обнимаемся прилюдно, но при наездах в Нью-Йорк Рошаль с женой останавливаются у меня, а я, когда бываю в Москве, живу у них в большой квартире многоэтажного и многоподъездного дома на набережной Тараса Шевченко.

Приезжая в Москву, я обязательно вижу и с другим своим тогдашним работодателем — Леонидом Трахтенбергом. С ним я познакомился еще раньше, чем с Аликом.

Мне позвонил в «Советский спорт» из Люберец старый приятель Федя Подорский. Когда я служил в «Ухтомском рабочем», он выпускал многотиражку люберецкого совхоза «Поля орошения», а после моего ухода перешел в районную газету.

— У нас, за твоим столом и на твоём стуле, сидит теперь семнадцатилетний мальчик, — сказал Федя, — выпускник средней школы. Получает полставки — тридцать рублей. Спорт любит до самозабвения и мечтает стать спортивным журналистом. Не возражаешь, если я пришлю его к тебе?

Мальчик, влюбленный в спорт и спортивную журналистику, — все, как было у меня в детстве. Да еще и сидит за моим столом. Мог ли я возражать против его прихода?

На следующее утро Леня Трахтенберг, длинный, сутуловатый юноша с печальными, чуть навывкате темными глазами и длинным с горбинкой носом, стоял передо мной. Я спросил, о чем он хотел бы написать для «Советского спорта». Он без ложной скромности ответил, что готов вечером поехать на стадион и сделать репортаж о футбольном матче «Спартак» — «Динамо». Я сразу понял, насколько Леня зелен в нашем деле, если не знает, что писать о центральном событии чемпионата

доверяется лишь журналисту с именем и репортерским опытом, а дебютант, если хочет вызвать к себе интерес, должен приносить свою, другим недоступную и неведомую тему.

Леня, оказавшийся смекалистым парнем, скоро стал своим человеком в отделе. Но я сознавал: в обозримом будущем ему трудно рассчитывать на постоянную работу в «Советском спорте»: за спиной всего десять классов, да и другие анкетные данные не те. И я порекомендовал его в газету «Московский комсомолец». Там он прижился и был через некоторое время принят в штат редакции, сохранив при этом связи с «Советским спортом». Сейчас он — маститый журналист, желанный автор в любом издании, публикующем материалы о спорте. Уверен, что нет в России футбольного болельщика, которому не было бы знакомо имя Леонид Трахтенберг.

Когда мы готовились к отъезду, он уже был достаточно известен. Тогда и начался новый этап нашего сотрудничества. Однажды он привез ко мне домой хоккейного тренера Николая Эпштейна. Лене поручили взять у того интервью. Сделал это вместо него я. Леня попросил напечатать без подписи интервьюера. Гонорар вручил мне. И так он поступал многократно.

И еще в этой связи должен упомянуть одного человека — Анатолия Чайковского, главного редактора журнала «Физкультура и спорт», в котором Жанна служила внештатным фоторепортером. Его перевели в журнал из «Советского спорта», так что мы давно друг друга знали, однако это были отношения сослуживцев, и не более того. Но когда Жанна после подачи нами заявления в ОБИР прекратила являться в журнал, резонно посчитав, что ныне она там *persona non grata*, Толя позвонил ей:

— Ни о чем не беспокойся и продолжай работать, как работала. Только снимки будем публиковать без твоей подписи. Но в самом главном месте — в бухгалтерской ведомости — она останется.

Чайковский теперь практически на покое. Пост консультанта в журнале, который он долго редактировал, оставляет ему много свободного времени для разъездов по миру вслед за женой, знаменитым тренером по фигурному катанию Еленой Чайковской.

И Леня Трахтенберг, и Толя Чайковский, и Алик Рощаль встали на небезопасный путь, дав работу и заработок нам с Жанной. Я рад тому, что мне их отблагодарить нечем — они хорошо живут и продуктивно трудятся.

В ноябре 1977 года мы отнесли собранные бумаги в районный ОВИР. Теперь от нас ничего уже не зависело. Оставалось ждать повестки с приглашением в городской ОВИР, где нам сообщат, пан я или пропал.

Про людей, ведущих такой образ жизни, какой вели в Москве мы с Жанной, говорят: «У них открытый дом». К нашему быту это определение подходило почти буквально: мы запирали входную дверь только на ночь. Все остальное время визитеры открывали ее без звонка, входили, раздевались и разбредались по комнатам. Преферансисты шли на кухню, любители игры «Эрудит» — в столовую, сражаться с Жанной, некоторые устраивались в спальне у моего письменного стола и болтали в ожидании ужина.

После нашего похода в ОВИР гостей не стало заметно меньше, но некоторые завсегдатаи исчезли, зато появились новички, с которыми мы общались и прежде, но которым было некогда или лень таскаться на нашу окраину.

Оказавшись в неординарных обстоятельствах, открыли в старых знакомых черты, прежде незнакомые. Я не даю этим чертам оценку. Не даю еще и потому, что не знаю, как сам повел бы себя в их шкуре. К чему рвать на груди тельняшку, если этот жест — не более чем демонстрация и не сулит ничего тому, ради которого ее рвут, зато чреват опасностями самому владельцу тельняшки?

Мои многочисленные друзья по «Советскому спорту» даже звонить перестали. Лишь Геня Ларчиков аккуратно информировал меня по телефону о жизни родной газеты и том резонансе, который получила моя акция. Из его докладов до сих пор помню один. Он подвозил в своих «Жигулях» на стадион чиновника из управления хоккея Госкомспорта Андрея Старовойтова, занимавшего еще и важный пост в Международной хоккейной федерации. По дороге Старовойтов сказал Ларчикову:

— Передай своему учителю, чтобы не распускал там язык. А то мы ему дыхание-то перекроем.

Андрей Васильевич как в воду глядел: уже на третий месяц американской жизни я вел передачи по «Радио Свобода». Тем не менее рука Москвы лично меня не коснулась. Работая, я испытывал те же помехи, что и все журналисты «Свободы»: наши голоса доходили до России искаженные мощными глушилками.

Другую любопытную информацию принес мне Рошаль. Его вызвал по шахматным делам заместитель председателя Госкомспорта Ивонин. В его кабинете Алик застал все того же Старовойтова. Они о чем-то тихо совещались и при появлении Рошалья замолкли. До него долетел лишь обрывок последней фразы Старовойтова:

— Да черт с ним, пускай едет. Никаким компроматом он не располагает и навредить нам ничем не может.

Рошаль не сомневался в том, что речь шла обо мне. Думаю, так оно и было. Видимо, решая, давать ли добро на выезд людям, не причастным к государственным секретам, КГБ запрашивал мнение учреждений, которым подчинялся подавший заявление.

В ноябре зачастили к нам два человека, к которым я издавна питал самые лучшие чувства, — два Александра, Нилин и Марьямов. Спортивных журналистов их класса теперь почти не осталось. Они принадлежат к тому, и в мое время довольно редкому, типу пишущих о спорте, кто хочет и умеет разглядеть за голами, рекордами, победами и поражениями их творцов. Разглядеть и объяснить себе и миру, чем они интересны и как преломляются в спорте их человеческие качества. Оба превосходно владеют пером. Саша Нилин и тогда писал не только о спорте, но и о театре, и о книгах. Саша Марьямов уже сделал первые свои сценарии для кино. Теперь он лауреат Государственной премии, которой награжден за фильм «Футбол нашего детства». Нилин сейчас шеф-редактор ежемесячника «Спортклуб».

До того, как стало ясно, что мы в этой стране больше не жильцы, мы тоже виделись постоянно, но на нейтральной почве — на стадионах, в Доме журналиста, в «Советском спорте», в других редакциях. Отныне эти адреса были для меня заказаны. И два Александра стали приезжать ко мне. Это не было бравадой. Просто им хоте-

лось продлить наше общение на то время, что осталось нам сидеть на чемоданах.

С директором кафе «Молодежное» Ромой Кацнельсоном меня познакомили года за два-три до нашего отъезда в эмиграцию. Он принадлежал к племени яростных болельщиков, не пропускал ни одного московского матча, будь то футбол или хоккей, дружил со спортивными звездами, принимал их у себя в кафе. Он часто подвозил меня, «безлошадного», в своей машине на стадион, доставлял после игр домой. До поры до времени мне казалось, что привязан Ромка не столько ко мне, сколько к моему положению в спортивном мире.

Я понял, что заблуждаюсь, когда моя связь с этим миром прервалась. Роман стал приезжать к нам чуть ли не ежедневно. Дверь он открывал ногами — руки были заняты пакетами с едой. Не знаю, как прокормили бы мы без него постоянно толкующуюся у нас, вечно голодную и жаждущую выпивки ораву гостей.

Наша разлука с ним была недолгой. Он помог, чем мог, собраться в эмиграцию матери и младшему брату с семьей, жившим в Бобруйске, и, когда они осели в Нью-Йорке, присоединился к ним. От Бруклина, где они поселились, до нашего Квинса дорога неблизкая — на машине, если нет пробок, минут сорок. Так что видимся мы довольно редко. Зато по телефону разговариваем не менее трех раз на день.

Художник Леонид Немировский, с которым я сделал когда-то небольшую книжку «70 свистков», напротив, заглядывал к нам часто, благо жил неподалеку. Не изменил он себе и перед нашим отъездом. Но теперь его путь к нашей двери стал сложен и долог. Прежде чем ее открыть, Леня по часу выстаивал, спрятавшись за деревом, на другой стороне улицы. Он всматривался в окна нашей квартиры, нет ли посторонних, и внимательно наблюдал за входящими в подъезд: не к нам ли это общие знакомые. Лишь уверившись, что мы одни, набирал в легкие побольше воздуха, перебежал через дорогу и врвался к нам.

Я бы так и не узнал, как проделывал все эти манипуляции Леня Немировский, если бы он не рассказал о них сам. Свою боязливость он объяснял так:

— Мои родные провели столько лет в лагерях, что я напуган на весь свой век.

Не так-то просто ответить на вопрос, кто заслуживает большего уважения: не знающий страха или заставивший себя его преодолеть?

Мой ныне покойный сосед по дому Витя Рабинович был режиссером на студии в Останкино (его псевдоним Виктор Викторов). Совершая ежевечерние прогулки со своей красавицей эрдельтерьером Дези, он либо заглядывал к нам на огонек, либо останавливался у окна поболтать. Едва ли не в каждом разговоре звучал его вопрос: когда же мы наберемся храбрости отнести бумаги в ОВИР? Наконец я сумел его успокоить:

— Все в порядке — сегодня отнесли.

С этой минуты сосед забыл наш адрес. Я часто наблюдал, как они с Дези идут мимо нашей квартиры и умная собака собирается завернуть к окну привычным маршрутом, а Витя тянет ее в другую сторону и отворачивается, чтобы не встретиться взглядом со мной или Жанной. Его обаятельная жена Ляля изредка звонила справиться, как дела. С Витей за четыре последних наших московских месяца мы не обмолвились ни словом.

Казенные хлопоты

Повестку из ОВИРа мы получили в середине февраля. В ней указывались день и час нашей явки за ответом и номер комнаты дома в Колпачном переулке, где мы этот ответ получим. Вторая цифра в номере, вписанном от руки, была рукой же и исправлена. Как ни старались, мы не могли разглядеть, в какую комнату должны прибыть — 21-ю или 22-ю. Мы изучали открытку с лупой, давали ее на экспертизу гостям. Все лишь неопределенно пожимали плечами.

Эта мелкая помарка привела нас в состояние, близкое к панике. Дело в том, что каждый ждущий от ОВИРа решения своей участи знал: если тебя вызывают в комнату № 21 — ответ положительный, если в комнату № 22 — отказ. Мы строили домыслы. Хорошо, если это простая

опечатка. А если нет? Если некто, имеющий на то полномочия, отменил разрешение, данное его подчиненным, и потому клерк внес поправку?

Жанна раскидывала карты, пыталась угадать наше будущее по хорошим и дурным приметам. У нее, вечной оптимистки, получалось, что «сердце успокоится дальней дорогой». Я вспоминал сказанное Старовойтовым в присутствии Рошаля и Ларчикова и допускал, что он — не последняя инстанция в определении моего будущего.

Жанна оказалась, как почти всегда, права. В комнате № 21 женщина в милицейской форме с погонами старшего лейтенанта вручила нам бумагу с указанием, что мы должны через 20 суток покинуть страну, и инструкцию о том, какие ценности разрешено и какие запрещено вывозить из СССР.

Власти милостиво разрешали людям, проработавшим всю жизнь и законопослушным гражданам, взять с собой на семью 400 граммов серебра, по две бутылки водки, по 125-граммовой банке черной икры и обменять в банке на валюту советские деньги, с тем чтобы получить на каждого члена семьи по 130 американских долларов. На черном рынке доллар шел за три рубля, но гордое Советское государство установило свою котировку, согласно которой он стоил 78 копеек, и, к нашему удовольствию, продавало нам доллары по этой цене.

Запрещалось брать с собой бриллианты, изделия, представлявшие художественную ценность, даже если их автор — сам эмигрант (вопрос о художественной ценности решало Министерство культуры РСФСР), антикварные изделия, книги, вышедшие до 1948 года, и еще многое другое.

Запрещающие пункты инструкции касались нас едва-едва. За десять лет совместной жизни мы ни картинами, ни предметами старины не обзавелись. Жанна сдала в комиссионку бриллиантовое колечко — подарок матери. Я отнес оставшуюся после смерти мамы камею из слоновой кости работы скульптора Голубкиной в музей ее имени и получил 500 рублей. Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» в издании Academia, вышедший в 30-е годы, — единственная вещь, потеря которой меня огор-

чила. Книгу купил у меня за 80 рублей приятель-коллекционер.

Расставаться с вещами без жалости я научился у мамы во время войны, когда она, чтобы все мы были сыты, тащила на барахолку свои самые любимые украшения и посуду. Нам же с Жанной без этих продаж просто не хватило бы денег на отъезд. 2800 рублей, причитавшихся мне от кооператива за возвращенную квартиру, нам не принадлежали — они предназначались на содержание дочери от первого брака. А заплатить мы должны были за отказ от гражданства, за авиабилеты до Вены и за положенные нам на троих 390 долларов.

После всех расплат выяснилось, что мы не так уж бедны — еще оставалось 1300 полновесных советских рублей, которыми мы имели полное право распорядиться по собственному усмотрению. Не будучи оригинальными, мы, как все эмигранты до и после нас, решили истратить их на вещи, которые можно подороже продать в одном из перевалочных пунктов на пути к конечной цели — в Вене или Риме.

Что в ходу на рынках европейских столиц, было общеизвестно. Беженцы, добравшиеся до Израиля и США, передавали свой опыт отъезжавшим. В их письмах содержался перечень товаров, которые следует брать на продажу. Письма зачитывались вслух в уличных очередях перед ОВИРОм и голландским посольством — оно представляло Израиль, не имевший с СССР дипломатических отношений. Слушатели наскоро конспектировали послания.

Удивительный и обширный это был перечень: ружья для подводной охоты и прищепки для сушки белья, фотоаппараты и спички, кораллы и простыни, крепдешин и палехские шкатулки.

Мы остановили свой выбор на немецком фотоаппарате с тремя дополнительными объективами. Все вместе как раз и стоило столько, сколько мы могли истратить. (Жанна продала их на вещевом рынке Американо в Риме, и на вырученные итальянские лиры мы съездили во Флоренцию и Венецию.)

В эти последние недели перед отъездом мы торопились — успеть бы сделать все в отпущенный срок. По

утрам к нашему подъезду подкатывали «Жигули» Толи Пинчука, который отдал себя на это время в мое полное распоряжение, и мы дотемна разезжали по городу, улаживая свои дела. К вечеру сходились гости, которые засиживались до рассвета.

Спешка оказалась напрасной. В дорогу мы тронулись даже немного раньше указанной в повестке даты. В кассе на Фрунзенской набережной мне предложили несколько рейсов на выбор. Я не мог отказать себе в удовольствии вручить Жанне билеты как подарок к Международному женскому дню и остановился на 8 марта.

Сам по себе сбор вещей почти не отнял времени. Мы были чуть ли не единственной эмигрантской семьей из тех, что покидали Советский Союз в 70-е годы, которая не воспользовалась услугами багажной конторы. Нам нечего было сдавать. Все наше добро уместилось в два больших, два маленьких чемодана — Жанна упаковала в каждый по подушке — и в две коробки с книгами и посудой.

Почти под занавес этих сборов произошел случай, который мы до сих пор вспоминаем как анекдот, но который мог иметь печальные последствия.

Мне никак не удавалось запереть один чемодан, и я заглянул внутрь — нельзя ли уплотнить его содержимое. На самом верху лежала небольшая стопка книг: журнал «Континент», «Доживет ли Советский Союз до 1984 года» Амальрика, миниатюрные фотокопии со страниц вышедшего где-то издания «Архипелага ГУЛАГ». Стопку эту я отложил для возврата Слепакам, обещавшим прийти попрощаться. Мать Жанны — большая любительница чтения, но женщина, не осведомленная о существовании самиздата, — заметила книги и, решив, что мы их берем, упаковала их в чемодан. Представляю себе, как позабавила бы эта маленькая библиотечка таможенников!..

Но это еще не все. Проходя поближе к вечеру мимо другого настерж раскрытого чемодана, я обнаружил в нем те же книги. Александра Кузьминична всегда отличалась упрямством.

8 марта в 6 часов утра от нашего дома на улице 26 Бакинских комиссаров отчалил караван из 8 легковых машин. «Ил»-18 улетал в час дня, но группе пассажи-

ров, отныне терявших советское гражданство, приказали явиться к семи. Возможно, сделано это было для того, чтобы расставание с родиной показалось нам менее болезненным: бригада служащих таможни приступила к досмотру наших вещей за 40 минут до вылета, и пять часов мы бессмысленно слонялись по аэровокзалу. Вопрос, что будет с нами, если обыск затянется, витал в воздухе. И когда у стойки появился молодой мужчина-бригадир, кто-то задал ему этот вопрос вслух.

— Тогда не полетите, — просто ответил он.

— И что? Будем ждать следующего?

— Нас это не касается. А сейчас прошу всех раскрыть чемоданы.

«Всех» оказалось немного — восемь человек. Кроме нас с Жанной и Женей-младшим, этим рейсом отбывали в эмиграцию две супружеские четы и одинокая молодая женщина.

Глава одной из маленьких семей, как выяснилось уже в самолете, отставной полковник, не выпускал из рук авоськи, из которой торчал гриф завернутой в газету балалайки. Его жена, одетая в тяжелое зимнее пальто, отороченное по бортам черно-бурыми лисами, поминутно жаловалась на высокое кровяное давление и головную боль.

Трудились таможенники довольно споро, пока не добрались до одинокой дамы. В ее клади нашли сотню спичечных коробок, принялись неторопливо раскрывать коробки и высыпать спички на стойку. Дама опешила.

— Зачем? — робко спросила она.

— Чтобы выяснить, нет ли в этих коробочках чего-нибудь, кроме спичек, — услышала она в ответ.

Моторы нашего лайнера заработали, он стронулся с места, и в нем воцарилась напряженная тишина. Видно, в тот миг мозг каждого пассажира пронзила мысль, высказанная мне шепотом на ухо Жанной:

— Женя, нас, кажется, повезли не на запад, а на восток.

Передний салон самолета пустовал, в хвостовом на трех рядах разместились друг за другом восемь человек. Никто, кроме маленькой группы эмигрантов, этим рейсом в Вену не летел. Неужели машина с опознавательными знаками СССР, заправленная тоннами бензина, с

экипажем и стюардессами поднялась в воздух ради того, чтобы вывезти из страны кучку отщепенцев? Необычность ситуации привела в уныние даже всегда уверенную, что все будет в порядке, Жанну.

Долетели мы, однако, без происшествий. Нас даже накормили обедом и два раза угощали лимонадом.

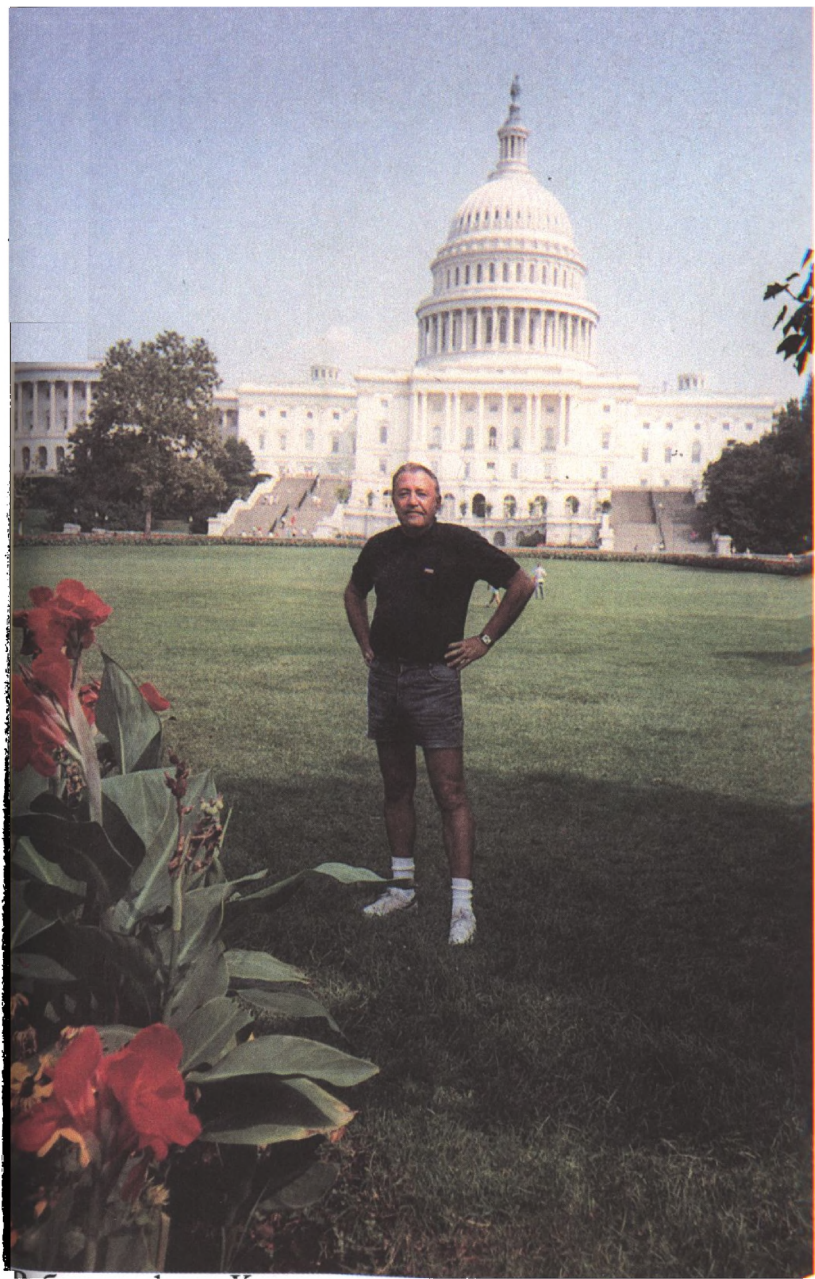
От трапа до входа в здание венского аэропорта мы двигались сопровождаемые полудюжиной солдат в темных мундирах и с автоматами наперевес. В соответствии с международными конвенциями мы имели статус перемещенных лиц, а государство, где такие лица находятся, обязано проявить заботу об их сохранности.

Конвой подвел нас к длинной стеклянной галерее, которая вела в здание аэропорта. При входе в нее мы вздрогнули от неожиданности: двери отворились сами. Тут наше шествие остановили и попросили обождать, пока явится представитель организации, которая занимается нашим устройством в Вене.

В общем молчании жена отставного полковника зянула всем надоевший еще в Москве мотив: ей плохо, у нее высокое давление, скверное самочувствие. Эти жалобы прервал веселый голос владелицы спичечных коробков, имя которой — Лидия Семеновна — мы узнали во время полета:

— Милочка, освободите свою шею от кораллов и сразу почувствуете облегчение. Здесь у вас их уже никто не отберет.

Все рассмеялись, в том числе полковница, тут же последовавшая совету Лидии Семеновны. Глядя на дюжину коралловых ниток, только что своим весом пригibasших ее к земле, на лисьи хвосты, пришитые к обшлагам ее пальто, я вспомнил Остапа Бендера, который, по выражению Ильфа и Петрова, «построил» себе шубу на соболях, спрятал на животе тяжелые драгоценности и так пытался нелегально перейти румынскую границу. Ильф и Петров придумали эту историю, чтобы развенчать Великого Комбинатора. Наша спутница по путешествию в Вену не заслуживала ни осуждения, ни издевательств. Остап был аферистом, а она и ее муж с балалайкой на продажу хотели сохранить хоть малую толику того,



Рубин на фоне Капитолия



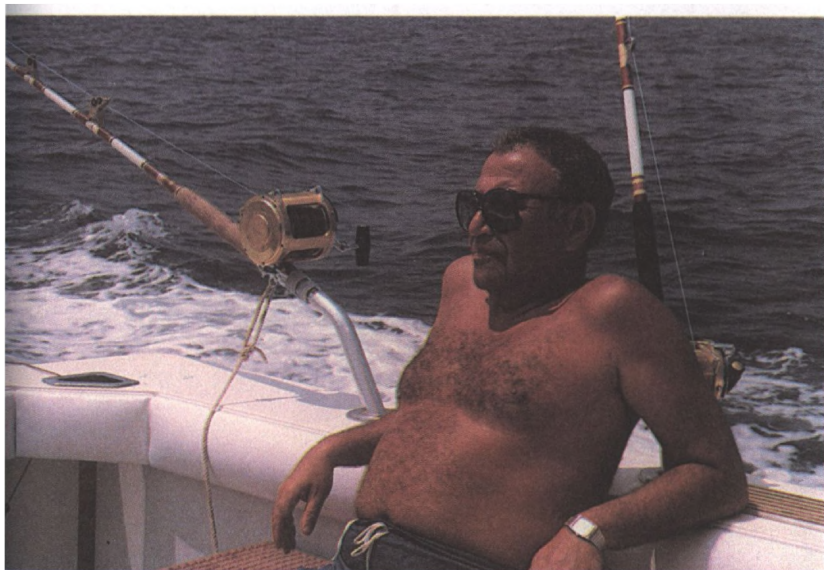
С Сергеем Довлатовым в редакции «Радио Свобода», Нью-Йорк, 1980



Евгений Рубин и Павел Палей. На этом совещании рождалась «Новая газета», 1980



С женой и сыном



На рыбалке в Атлантическом океане



В пресс-центре Сеула



С Жанной



Сын окончил школу



С хоккеистом Сергеем Немчиновым, 1998



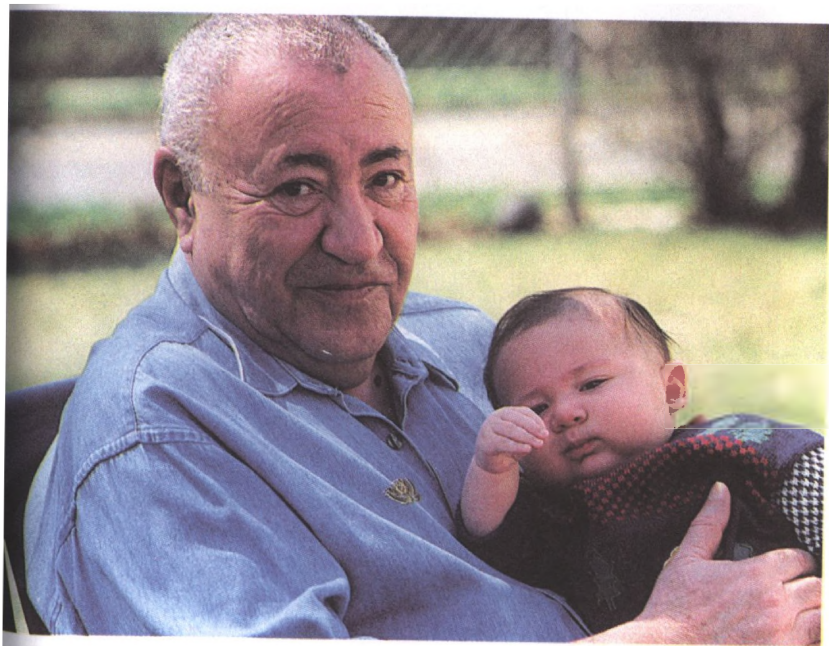
На пароходе в Мексике



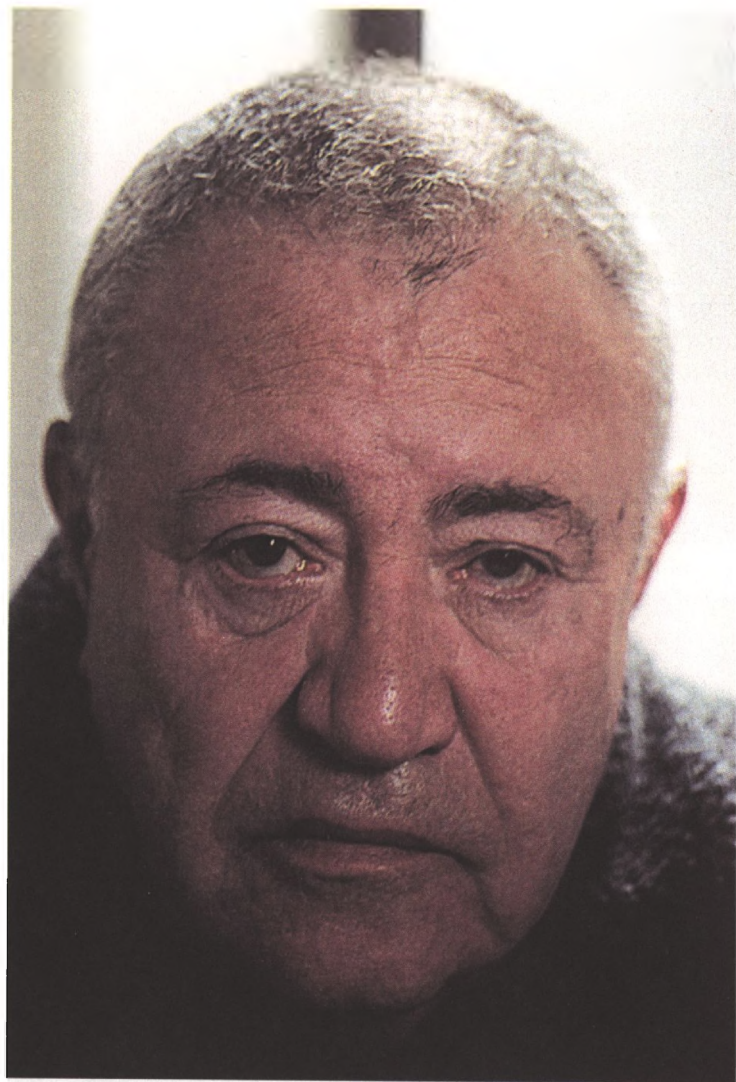
С женой сына Моникой и Павлом Буре



Дома



С внуком



что нажили честным трудом и что хотело отнять у них, не совершивших никаких преступлений, государство.

Все снова затихли. И вдруг как по команде вздрогнули от звука взрыва, огласившего галерею. Одновременно в руках инженера, прилетевшего в нашей группе, что-то вспыхнуло. Солдаты вскинули и направили на него свои автоматы. Инженер побледнел, растерянно огляделся и молча поднял вверх руку с дымящимся спичечным коробком.

Природа взрыва прояснилась сразу и для всех, включая солдат. Инженер закурил и, не найдя, куда бросить спичку, решил прибегнуть к популярному в России способу — запихнул ее, горящую, обратно в коробку. От ее пламени синхронно вспыхнула сера на остальных.

Хорошее настроение вернулось к обитателям галереи.

— Я бы не против, чтобы так здесь заканчивались все наши потрясения, — сказала Жанна.

— Вот давай и будем считать это приметой, — предложил я.

Вена без вальса и Рим без каникул

Пахло щами, постным маслом и пеленками. По длинному коридору бродили женщины в стоптанных шлепанцах и засаленных халатах, надетых, хотя была середина дня, на мятые ночные рубашки. Над их головами покоились сооружения из бигуди. В этот антураж очень естественно вписались бы примусы и керосинки, какие стояли на кухонных столах в нашей довоенной коммунальной квартире. Здесь, однако, кухни не было. Пищу готовили прямо в комнатах. Там же сушилось белье. Примерно так выглядела ночлежка в спектакле МХАТа по пьесе Горького «На дне».

На самом деле это была никакая не ночлежка, а, судя по вывеске на парадном подъезде, отель «Цум Тюркен». Он находился неподалеку от центра одной из самых умытых, ухоженных и нарядных европейских столиц — Вены.

Мы и пять наших спутников по полету, готовившиеся пополнить население отеля, примостившись на жестких

диванчиках в вестибюле, ожидали женщину, чье имя знал каждый из сотен тысяч советских эмигрантов 60-х, 70-х и 80-х годов. Это имя фигурировало в каждом письме и каждом телефонном звонке на родину уехавших. В тоне произносивших его вслух звучали нотки неприязни и уважения, иронии и зависти. Словом, мы ожидали легендарную мадам Бетину.

Бурный эмигрантский поток тек через Вену. В венском аэропорту едущих в Израиль отделяли и отправляли в пригород, в замок Шенау. Подавляющее большинство остальных попадало в распоряжение Бетины. У венского филиала всемирной еврейской организации ХИАС, взявшей на себя заботу и расходы по доставке евреев-беженцев из СССР к месту назначения, был — по моему, бессрочный — контракт с Бетиной. Ей выделялись ассигнованные на наше проживание средства и поручались функции квартирмейстера. Разница между тем, что разрешал тратить на наем жилья для каждого ХИАС и что тратила Бетина, составляла ее доход.

Бетина родилась в Одессе и была вывезена на Запад ребенком. Она разбогатела на подрядах ХИАСа и для нас, неофитов, была первым соотечественником, преуспевшим в мире частного предпринимательства. Это вместе с ее уверенной, но не слишком грамотной русской речью и внешним обликом — маленькая, коренастая, невзрачная женщина неопределенного возраста — и вызывало ту гамму чувств, которая легко различалась у произносивших ее имя. Эпитет «мадам» очень ей подходил. Но не в том смысле, в каком употребил его Вертинский: «Мадам, уже падают листья...», а в том, который подразумевал, когда речь идет о хозяйке публичного дома.

А пока мадам Бетина опаздывала, мы коротали время в беседе с портье — бледным, худосочным человеком лет тридцати, — бывшим ленинградцем. Он прилично говорил по-немецки и задержался в Вене, соблазненный возможностью подработать. Получал нищенское жалованье, снимал дешевую комнатушку и подумывал о том, чтобы остаться здесь совсем, рассудив, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Для нас он олицетворял иное, менее привлекательное, чем у Бетины, существование, которое могло ожидать нас в эмиграции.

Явившись, Бетина не извинилась за опоздание. Она оглядела нас быстрым взглядом и сказала, что в этой гостинице есть только два свободных номера, в других отелях, с которыми она связана, нет вообще ни одного, а посему она сняла частную квартиру и добровольцы могут ехать туда, но им придется жить всем вместе в одной комнате. Едва она закончила, жена владельца балалайки поднялась с диванчика и протянула ей листок бумаги.

— Это заверенная печатью поликлиники справка, — пояснила она слабым голосом. — По состоянию здоровья мне требуется отдельная комната.

Бетина не сочла нужным отвечать на это заявление болезненной дамы и даже не посмотрела в ее сторону. А мы переглянулись с Лидией Семеновной, с которой успели сойтись в дороге, и выразили готовность ехать на частную квартиру. Перспектива поселиться, пусть и ненадолго, в этой клоаке, называемой отелем, была настолько безрадостна, что мы предпочли ей общежитие.

Мы еще распаковывали вещи, когда в комнату без стука вошел посетитель. Он не поздоровался и не назвал себя, а сразу взял быка за рога:

— Что везете на продажу?

Мы перечислили свой товар, Лидия Семеновна забыла про прищепки для белья. Этот предмет посетителя не заинтересовал, за остальные он назначил смехотворную цену и, как положено купцу, приготовившемуся к долгой торговле, добавил:

— В Риме и того не дадут. Там сейчас столпотворение наших и рынок завален этим добром.

Он еще сидел в комнате, когда явился следующий перекупщик. Потом пришли еще. Должно быть, Бетина или члены ее свиты за определенную мзду снабжали этих людей адресами только что прибывших. Их, этих людей, было много. Ежедневно нашу квартиру осаждали новые лица. Возвращались и уже побывавшие — узнать, не передумали ли мы. Друг друга они не стеснялись, все были между собой знакомы.

Никому из них мы ничего не продали. Не только потому, что боялись продешевить. Очень уж непривлекательно они выглядели — сумрачные лица, злые глаза,

скверная одежда, запах пота. В каждом их слове, жесте и взгляде читалось откровенное желание обогреть своих соотечественников, своих товарищей по эмиграции. С такими не хотелось иметь дело.

Как и почему задержались они в Вене? Как получили вид на жительство в Австрии, где им не полагалось оставаться дольше чем на несколько недель? Не могу сказать. У меня они вызывали ассоциацию с саранчой или мелкими паразитами вроде клопов и крыс.

В квартире было две комнаты. В отведенной нам все пространство занимали двухэтажные койки. В другой Бетина тоже поселила две семьи. С одной из них мы были вместе позже отправлены в Рим, вместе летели из Италии в Нью-Йорк и хорошо познакомились. Я тогда думал, что история их бегства, откровенно рассказанная главой семьи, веселым и бесшабашным 32-летним парнем Димой, уникальна. Но уже в Риме понял, что Дима — фигура во многих отношениях типичная для нашей эмиграции.

У него многозначительная фамилия — Подлог. Едут они из Львова. Отец жены Люды — бывший партизан. Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета Украины и член бюро обкома КПСС, сам работал директором трикотажной фабрики, а зятя пристроил в управление местной промышленности заместителем начальника отдела сбыта.

Попастся на жульничестве Дима до отъезда не успел. Тюрьма ему грозила за избиение в пьяном виде лейтенанта милиции, который пытался задержать его за слишком быструю езду на автомобиле. Тесть выручил Диму из-под ареста и обещал, что дело будет прикрыто. С этой целью народный избранник собрал все сведения об избитом милицейском офицере, выяснил, что тот давно стоит в очереди на улучшение жилищных условий, и явился к нему с предложением: лейтенант берет назад свою кляузу, а за это получает вне очереди трехкомнатную квартиру в новом доме. Потерпевший правдоискатель отказался от сделки. Димин тесть по этому поводу сказал ему сочувственно:

— Ну и дурак. Димку я все равно вытащу, а ты так и померешь в своем подвале.

В отношении Димы Людин папа слово сдержал. Однако его не покидала тревога — как бы легкомысленный зять не набедокурил снова. К тому же начали всплывать финансовые проделки Подлога на службе. Эмиграция, рассудил папаша, для Димы единственный верный способ избежать заключения. Действительно, в Риме Дима получил письмо с родины, в котором перечислялись фамилии его бывших сослуживцев, взятых под стражу и ожидавших суда.

Дав добро на эмиграцию дочери, лишившей его всякой надежды увидеть ее когда-нибудь снова, папаша для перестраховки поставил в известность сотоварищей по руководству областной парторганизацией в такой форме:

— Мой еврейский зять поддался на удочку сионистской пропаганды. И Людка за ним едет, боится остаться матерью-одиночкой.

Начальник местного УВД в разговоре наедине предложил Диминому тестю выход:

— Хочешь, мы им откажем?

— Пусть едут, — ответил тот. — Гнать их надо отсюда, чтобы я его, негодяя, никогда больше не видел и о нем не слышал.

Не успели Дима с Людой и детьми пересечь границу, как ее отца посадили. Обвинили в крупных хищениях государственной собственности. Во Львов приехал заместитель Генерального прокурора СССР. Выступая по телевидению, он сказал:

— Факты хищений доказаны. Мы не посмотрим на то, что во главе преступной группы стоял народный герой, мы его расстреляем, чтобы другим неповадно было. Хозяйственные преступления в республике приняли небывалые масштабы.

(В Риме Дима узнал, что Людин папаша приговорен к условному наказанию и отправлен на пенсию. И вскоре в Нью-Йорк, в гости к дочери, приезжали по очереди мать и отец.)

Дима в Италии был очень занят. Два-три раза в неделю ему приходили по почте посылки из Америки. Тесть-благодетель, пока дочь с мужем готовились к отъезду, снабжал получивших разрешение на эмиграцию земля-

ков, чем-либо ему обязанных, нитками кораллов высшего сорта в не вызывающих подозрений количествах. И те, прибыв в Нью-Йорк, по его сигналу отправляли эти кораллы в Рим.

Субботы и воскресенья Дима проводил на рынке «Американо». Его запястья и шею украшали связки крупных кораллов. Он поигрывал своим товаром, как цыганка монистами, и покрикивал на чистом итальянском:

— Коралло-натурало! Коралло-натурало!

Дима жаловался на римскую почту: она якобы переполовинивает нью-йоркские посылки. Тем не менее в Америку он улетел, заработав на кораллах пятьдесят тысяч. Долларов.

В Нью-Йорке мы однажды приехали к Подлогам в гости в Бруклин. Дима показал мне открытый им рядом с домом небольшой магазин русских продуктов. (Мы застали там покупателя-эмигранта. По словам Димы, тот женился на американской еврейке, которая строго соблюдает религиозные обряды и того же требует от супруга. И он, дома во всем подчиняясь жене, каждое утро тайком от нее забегает в магазин — полакомиться любимыми охотничьими сосисками.) Дело у Димы пошло, и он открыл в сердце русскоязычного Нью-Йорка, на улице Брайтон-Бич, другой магазин с шикарным названием «Привоз» и коптильню при нем. Но это произошло в пору, когда мы перестали встречаться и презваниваться.

Однако в эмигрантском Нью-Йорке все знают все обо всех. Узнал и я, что Дима разошелся с Людой, стал завсегдатаем Атлантик-Сити, одной из американских столиц азартных игр, и эта страсть разорила его до нитки.

А в начале 90-х годов я прочитал в газете большую статью о Подлоге. В ней говорилось, что он приговорен за торговлю наркотиками к 26 годам заключения. Лет через пять-шесть его имя промелькнуло в печати еще раз. Сообщалось, что ходатайство Димы о снижении срока наказания отклонено, что в неволе он стал рьяным адептом иудаизма и что в тюрьме ему обеспечили возможность выполнения требуемых верой многочисленных обрядов и дают кошерную пищу.

Я задаю себе вопрос: не сокрушается ли Дима теперь о своем бегстве из СССР как о роковой ошибке, загубившей его жизнь? Если бы удалось мне с ним поговорить, я бы ему сказал:

— Не кори себя, Дима, это был правильный шаг. Если уж сидеть в тюрьме, то лучше в американской.

Слова «эмиграция» и «эмигранты», которыми в Советском Союзе определяли это явление — легальный выезд из страны евреев и самих уезжающих, — неверны. И государства, которые нас принимали, и международные организации, которые оказывали нам материальную помощь при переселении, видели в нас беженцев от режима.

Америка предоставляла нам, пользуясь ее официальной терминологией, *refuge*, убежище. То самое убежище, которое, по своей традиции, превращенной в закон, она дает всем, кто подвергается на родине гонениям по политическим или религиозным причинам. Разница между нами и беженцами из других стран состояла в том, что — и это было подтверждено законодательно — каждому отдельному советскому еврею не требовалось доказывать, что он гоним из-за своей национальности, веры или политических убеждений. Была принята презумпция: каждый еврей в СССР подвергается дискриминации из-за своего еврейства.

До столкновения с соотечественниками в Вене и Риме я наивно полагал, что всех устремившихся на Запад людей заставили сняться с насиженных мест, оставив там родственников и бросив имущество, именно эти причины. Дима и кучка атаковавших нас перекупщиков казались мне исключениями.

Однако со временем я понял: подлинно политических беженцев в нашей среде далеко не большинство. Куда больше таких, кто просто воспользовался своей принадлежностью к еврейству, чтобы сбежать из России. Но сбежать по причинам, далеким от тех, по которым давала нам приют Америка.

Собственно, многие тоже были гонимы: кто страхом перед тюрьмой за дела, на которых они уже, подобно

Диме, успели попасться, кто памятуя старую истину, гласящую: как веревочка ни вейся, конец будет, кто в уверенности, что уж коли преуспели они, занимаясь частным предпринимательством в стране, где оно карается, то в Америке, где частная инициатива поощряется, их ждет богатство.

Были в этом потоке люди, соблазненные надеждой разыскать на Западе уехавших когда-то в начале века родственников, которые, согласно семейным легендам, стали миллионерами, и получить толику от их миллионов. Некоторые даже умудрились записаться адресами этих родственников, хотя никогда с ними прежде не переписывались и в анкетах на вопрос: «Имеются ли родственники за границей?» — отвечали «нет». Правда, как сказал поэт, «надежда разбилась о быт» едва ли не у всех. В Америке я постоянно слышал жалобы на родичей-скупердяев, дарящих приезжим предназначенные на выбор черно-белые телевизоры и снабжавших их бесплатными советами на тему, как надо жить в Америке.

Тысячи погнала в путь мечта о мире товарно-продуктового изобилия, которого они никогда не видели в своей стране. Эту струю в эмигрантском потоке тоже следует, пусть с некоторой натяжкой, отнести к категории искателей свободы, особенно женщин. Что же это, как не ограничение свободы, если человек скован обязанностью посвятить себя гонке за дефицитом, чтобы накормить, одеть и обуть свою семью? А что сказать о доле женщины, обреченной всю жизнь таскать тяжелые корзины и носить уродливые, не идущие к лицу наряды — иными словами, делать то, что сулит ей самое страшное для представительницы прекрасного пола последствие — преждевременную старость? Так можно ли укорять ее за желание покончить с этим унижительным существованием и испытать, что такое жизнь без непрестанных, иссушающих тело и душу забот о том, как раздобыть — нет, не меха и бриллианты для себя — предметы первой необходимости для своих детей?

Помню, как мать моего соседа по дому на улице 26 Бакинских Комиссаров в телефонном разговоре с дочерью-эмигранткой, находившейся в Риме, спрашивала,

купила ли та своему ребенку джинсы. Когда она повесила трубку, сосед выговорил ей:

— Мама, ты задаешь глупые вопросы. Кому нужны в Риме джинсы? Они же продаются там на каждом шагу.

Словом, с пестрой публикой столкнулись мы, еще не доехав до Америки. Потребовалось много времени уже после того, как мы осели в Нью-Йорке, чтобы вырваться из этого кольца окружения.

Но пока мы провели 11 суток в Вене, ожидая, когда дойдет до нас очередь перебираться в Рим, заполняя требуемые бумаги и часами просиживая у кабинетов официальных лиц, которым надлежало по долгу службы побеседовать с каждым эмигрантом лично.

В ХИАСе нас приняла приветливая женщина — заместительница директора венского отделения. Она внимательно изучила мою анкету и сказала с сожалением:

— Конечно, честным быть похвально. Но как бы вам не пожалеть о своей откровенности. Штаты, как правило, отказываются принимать бывших членов КПСС, если они исключены из партии не за инакомыслие, а в связи с выездом в Израиль. Скорей всего вас туда не пустят.

Она не открыла для меня Америки. Об этой линии иммиграционных властей США было общеизвестно. Мы с Жанной обсуждали, как быть: сказать правду или скрыть, что я — бывший коммунист. Я понимал: если я слушаю, мысль о возможности разоблачения и его неизбежном последствии — депортации — будет преследовать меня до конца дней и навсегда лишит покоя. С общего согласия я написал правду и никогда не имел повода в этом раскаяться.

Вечерами мы гуляли по опрятным улицам и площадям Вены, глазели на витрины промтоварных магазинов, съездили трамваем на Пратер — так называется один из крупнейших луна-парков Европы. И однажды, захватив с собой Лидию Семеновну, были в кино. Восемилетнего Женечку мы оставили на попечение соседки Люды и расщедрились на билеты. Хотя этот расход нам, не привыкшим обращаться со свободно конвертируемой валютой, казался непозволительным, соблазн вкусить запрет-

ного плода побуждает к расточительности. Словом, мы пошли посмотреть порнографический фильм.

В большом зале набралось, включая нас, полторы дюжины зрителей, и все, кроме моих дам, мужчины выше среднего возраста. Фильм был с макетом — погонями, пытками, убийствами, пистолетами и кинжалами. Одному герою отрезали половой орган, одной героине вспороли живот.

Только воспоминание об уплаченных за вход шиллингах заставило нас досидеть до конца. За два с лишним десятилетия последующей жизни на Западе я больше ни разу не смотрел картины этого жанра, хотя бесчисленные кинотеатры, специализирующиеся на порнофильмах, многие годы занимали несколько кварталов 42-й улицы Нью-Йорка и только недавно их стали выселять оттуда под предлогом реконструкции.

Наше пребывание в Вене было коротким. Через 11 дней нас отправили в Рим. Видно, я чем-то приглянулся сотруднице ХИАСа, предупредившей, что нас могут не впустить в США. Дима попросил замолвить за него словечко и отбыл со своими домочадцами в Италию тем же поездом, что и мы.

В том длившемся одну ночь путешествии мы имели повод вспомнить о нашем официальном статусе перемещенных лиц. На обеих площадках вагонов, где ехали эмигранты, дежурили автоматчики. В ста километрах от Рима поезд сделал короткую остановку и в вагоны вбежал десяток молодых людей. Столько же выстроилось по другую сторону окон. Вбежавшие быстро бросали стоящим на перроне наши вещи, а те перегружали их в автобусы. Затем по автобусам рассадили нас. Так, по шоссе, мы въехали в Вечный город и по его улицам добрались до гостиницы.

Вся эта операция была, как нам объяснили в римском ХИАСе, для обеспечения нашей безопасности. На многолюдном столичном вокзале оберегать приезжих от возможных покушений и провокаций много трудней, чем в изолированном от посторонних автобусе.

В автобусах нас сопровождали те же загорелые мускулистые парни, что занимались нашим багажом. Нам ска-

зали, что они из мафии, которая взялась — естественно, за вознаграждение — доставить нас в отель целыми и невредимыми.

Римская гостиница не шла ни в какое сравнение с апартаментами мадам Бетины. У нас были нормальные комнаты и двухразовое бесплатное питание. К тому же ХИАС-кормилец выдал небольшое денежное пособие. Все было бы совсем хорошо, если бы срок пребывания в отеле не ограничивался несколькими днями, в течение которых каждой семье предписывалось снять квартиру. На это тоже полагались определенные денежные суммы.

Однако найти сносную комнату на выделенные деньги можно было два-три года назад. К концу 70-х цены в Ладисполи и Остии — приморских городках под Римом, где селились эмигранты из СССР, — подскочили втрое. Эмиграция росла количественно, и пропорционально рос спрос на квартиры. Они дорожали, и с каждым месяцем все трудней становилось находить свободные.

Мы постучались в двери десятка домов Остии, но всюду получили от ворот поворот: свободных комнат не было. Пришлось идти на площадь перед почтой — маклеры собирались там и поджидали клиентов. Комната немедленно нашлась.

Остия — город на берегу Тирренского моря — делилась на три части, которым местное население придумало выразительные названия: «фашистский район», где жил народ состоятельный, «коммунистический» — с обшарпанными домами и квартирами похуже, и между ними — «нейтральный». Комнаты в первом были нам не по средствам. Провести два-три месяца ожидания решения своей судьбы во втором очень уж не хотелось. За 90 тысяч лир в месяц мы сняли комнату в «нейтральном».

В другой комнате нашей квартиры жила молодая пара с маленьким ребенком. Они были из Черновцов, эмигрировали в Израиль, сбежали оттуда и подали заявление консулу США в Риме на американскую визу. Ожидали в Остии виз десятков их родственников и еще множество выходцев из СССР, эмигрировавших в Израиль и покинувших его. ХИАС их не опекал. Этим людям надо было как-то зарабатывать на жизнь, и из них главным образом

рекрутировались маклеры и римские коллеги венских перекупщиков.

Еще были среди них владельцы легковых машин, купленных на вывезенные из Израиля деньги. Они катали желающих в Неаполь, где экскурсантов из СССР интересовали не столько развалины Помпеи, сколько инкрустированные столики, которые производились на тамошней фабрике и которые, по слухам, можно было выгодно продать в Америке.

Ежевечерне наша соседка по квартире, тезка моей Жанны, долго выбирала туалет, прихорашивалась, наряжала трехлетнего сынишку и они всем семейством шли к почте на тусовку. Собственно, эмигранты толпились там с утра до полуночи. Они собирались кучками и часами что-то горячо и шумно обсуждали, помогая себе для убедительности жестами. Тут же шла торговля всякой мелочью вроде сигарет «ТУ-134» и «БТ», посуды, расписных платков. Сюда же сходились спекулянты, квартирные жучки, владельцы машин. Сюда же являлись какие-то темные личности, приезжавшие в Остию из Германии. Этих людей по разным причинам не приняли США, они одним из ведомых способами проникли в ФРГ и жили там нелегально. В Остии у них остались дела, тоже нелегальные.

На площади возникали и разрывались деловые связи, вспыхивали ссоры, порой переходившие в рукопашные бои, и заключались перемирия.

В итальянских магазинах довольно дешево продавались кожаные куртки и пальто, по каким в СССР определяли людей состоятельных и бывавших за рубежом. Всегдашняя площадь у почты — и мужчины и женщины, — стремясь выглядеть респектабельно, оделись в кожу. Местное население дало всем нам за это кличку «комиссары».

Мы тоже сначала посещали эти сборища. А затем Жанна наложила на эти походы запрет и так его обосновала:

— Если мы не прекратим сюда ходить, ты станешь антисемитом.

В ее шутке была немалая доля правды. Не говоря уже о многочисленных родственниках, с которыми мои родите-

ли поддерживали тесные отношения, у них — а когда я подрос, и у меня — легко завязывалась дружба с евреями. Принадлежность к нации, которая чувствует себя неравноправной с другими, рождает солидарность, облегчает возникновение близости. Это не значит, что я был готов заключить в объятия каждого еврея. Были среди них люди, к которым я испытывал неприязнь, с которыми не ладил, враждовал. Но все они были из моего мира, со всеми я разговаривал на одном (русском, естественно) языке.

С массой евреев того сорта, с каким свела меня эмиграция, я прежде не сталкивался. И сделал для себя открытие, которое воспринял болезненно: советское еврейство состоит далеко не из одних интеллигентных и милых людей.

По воскресеньям жизнь на площади до вечера замедлялась. Народ с чемоданами и баулами нестройными рядами валил к первой электричке. Каждый надеялся опередить всех и занять лучшее место на римской барахолке «Американо», функционировавшей только по воскресеньям. В Остии из русскоязычного населения оставались лишь кормящие матери с грудными детьми и один отец с ребенком — я с 8-летним Женей.

Если бы я мог предвидеть, что когда-нибудь буду писать книгу воспоминаний, обязательно посетил бы рынок «Американо», через который прошли все соотечественники, занесенные эмигрантской судьбой в Рим. По рассказам Жанны, зрелище это было живописное и незабываемое. Но писать с чьих-то слов, пусть даже собственной жены, — все равно что раскрашивать нарисованную другим картину.

Жанна была нашим представителем на «Американо». Она трудилась в одиночестве, окруженная шумной оравой мужчин, расталкивавших конкурентов локтями. Тем не менее она не только успешней всех сбывала свой товар, но и проявила себя тонкой физиономисткой.

Несколько воскресений Жанна потратила впустую: желающие купить фотоаппарат объявлялись, но давали за него гроши. Соотечественники-спекулянты ей говорили:

— Вот видишь, надо было сбыть аппарат мне. А теперь и захочешь — не возьму.

Наконец однажды к ней обратился человек в сутане, осмотрел аппарат и спросил, сколько стоит фотокамера. По неписаному, но свято соблюдаемому рыночному правилу Жанна заломила тройную цену. Однако аббат, в нарушение этого правила, и не подумал торговаться. Но у него не было с собой наличных, и он предложил выписать чек. Назвал банк, который носит название «Банк Святых Духов». Мы видели такую вывеску в Остии. Жанна согласилась. Аббат вручил ей чек и попросил быть на этом месте через неделю: он принесет деньги и купит объективы.

Бывалые соотечественники, видевшие, чем расплатился с моей женой священник, подняли ее на смех. Ей предлагали пари сто к одному, что она никогда не увидит ни его самого, ни денег. Мы с ребенком, встречавшие Жанну на вокзале, застали ее в смятении.

В понедельник банк был закрыт до обеда, что еще продолжило терзания моей жены. Когда дверь банка наконец открылась и Жанна вручила клерку чек, тот попросил показать удостоверение личности. Таковые перемещенным лицам не полагались, и чек ей вежливо вернули без оплаты. Однако моя упрямая жена не сдалась. Она обратилась к первому попавшемуся посетителю банка и попросила его предъявить чек. Тот без колебаний согласился и вручил ей указанную в чеке сумму. Жанна была так растрогана, что попросила своего спасителя зайти к нам домой и презентовала ему бутылку шампанского, которую мы хранили, чтобы отпраздновать отъезд в Америку.

Полный триумф ожидал ее в следующее воскресенье. Служитель культа оказался человеком слова. Он явился на «Американо» и купил объективы. Скептики были посрамлены.

Мы же, не откладывая дело в долгий ящик, купили бесплацкартные билеты на поезд и втроем отправились по маршруту Рим — Флоренция — Венеция — Рим. Не стану описывать эти города — «и почище нас были витии». Поездка произвела на нас такое впечатление, что мы твердо решили, как только вернемся, совершить другую, на юг Италии, в Неаполь и на остров Капри. Но этот план сорвала повестка из ХИАСа, которая ждала

нас в Остии. Меня вызывали, чтобы вручить авиабилеты в США и американские визы.

Несмотря на мое партийное прошлое, меня впустили в Америку. Еще до поездки во Флоренцию и Венецию нас принял консул США. Предварительно в ХИАСе сделали перевод на английский написанного мною объяснения причин, заставивших меня стать членом КПСС. Консул с ним ознакомился и счел причины уважительными.

После посещения консульства неясным оставалось одно — в какой город нас направят. Мы просились в Нью-Йорк: мне, родившемуся и выросшему в Москве, трудно было представить себя живущим в провинции, пусть и американской. Но мой голос был совещательным. Решающий принадлежал ХИАСу, который руководствовался множеством соображений, и желание эмигранта было далеко не самым главным.

Явившись за билетами, я повел себя довольно глупо: получил все необходимое, искренне поблагодарил клерка, который меня принимал, попрощался и только на полпути к вокзалу вспомнил, что на радостях не удосужился узнать, где же мы обоснуемся в США. Пришлось идти обратно. У двери к моему клерку была такая же длинная очередь, как та, которую я уже сегодня раз выстоял. Меня не хотели пропускать вне очереди. Но когда я сказал, что уже был здесь, но не спросил, в какой город нас посылают, толпа расступилась. Общий смех свидетельствовал о том, что меня приняли за юридивого.

Обратную дорогу к поезду в Остию я проделал веселым аллюром: нас направили в Нью-Йорк.

В полночь с 31 мая на 1 июня мы приземлились в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Эта полночь четко разделила мою жизнь две части и положила начало ее новому летосчислению.

Глава 10

НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ

Привыкнуть и/или примириться

Такая ли уж это абсолютная истина, что сказка — ложь?

Кажется, только сказочный простака царь Салтан, у которого первыми советницами были «ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой», мог поверить гонцу, донесшему:

*Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь,
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку.*

Или прав не Пушкин, а современный мудрец, провозгласивший: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»?

Перед этой дилеммой встает каждый переселившийся в Америку.

Европеец ее открыл. Европейцы, бежавшие сюда из своих стран, положили начало всем ее институтам, обычаям, писаным и неписаным правилам жизни. Словом, Европа — ее родительница. Но, едва переступив порог Америки, начинаешь думать, что Старый Свет произвел нечто, совсем на себя не похожее, «неведому зверюшку», и что разделяет два полушария не океан, а космос, и ты попал не на другой континент, а на другую планету.

Как разумно объяснить, почему вода здесь замерзает при +32 выдуманнных неким Фаренгейтом градусах и кипит при 212, хотя промежуток между точками таяния и кипения от 0 до 100 так логичен и естествен для определения этих состояний?

Или зачем усложнять себе жизнь, беря за единицу длины дюймы, футы и мили? Ну ладно, фут можно разделить на двенадцать дюймов, что тоже, согласитесь, куда сложнее, чем метр на десять сантиметров. Но миля вообще не содержит в себе целого числа этих самых унций и футов, а значит, без калькулятора не разберешься. То же самое с мерами веса и объема. И все попытки заменить их мерами десятичной системы терпят крах.

В языке, на котором пишет Америка, главное предложение не отделено от придаточного знаком препинания. Зато само это главное, или простое, часто разрезается запятой. Почему? Ведь устная речь требует в первом случае интонационного разделения двух частей фразы, а во втором — нет.

Начертанием букв американский алфавит не отличается от латинского. Зато произношением!

Самолет, который весь мир называет «Дуглас», здесь — «Даглас», хотя в этом слове вторая буква «у». Она же стоит в фамилии Бурк. Значит, он по-американски Барк? Ничего подобного. Здесь он — Борк.

Есть в США штат Арканзас. Так и пишется — ARKANSAS. И так его называют во всем мире. Кроме самой Америки. Пишется это слово здесь так же. А произносится «Аркансо». Никакие логические построения не приведут нас к разумному ответу на вопрос: почему?

Верно, произношение и пунктуация — из английско-го, на котором говорят американцы. Но есть звуки, которые они выговаривают на свой лад, не так, как британцы. А ту часть языкового наследства древних латинян, которую сохранила вся Европа, кроме Англии, они сбере-чь вообще не пожелали.

А где могла Америка почерпнуть свою, почти патологическую, страсть к аббревиатурам? Американцы норовят сократить не только все названия и имена, но и целые фразы до первых букв составляющих их слов. Нет ничего удивительного, когда эти сокращения касаются названий учреждений. На родине мы тоже ежеминутно ломали себе язык бесконечными КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ, ИМЯ, КГБ. Америка заткнула нас тут за пояс. Американец живет не в Лос-Анджелесе, а в «Эл Эн». Он

водит машину не по шоссе имени Рузвельта, а по «Эф Ди Ар». Самолет, на котором нас доставили в США, приземлился не в аэропорту имени Кеннеди, а в «Джей Эф Кей».

Я иду по своему переулку и вижу соседа. Он приветственно машет рукой и восклицает: «Хай!» Когда я услышал это странное слово впервые, у меня мелькнуло подозрение: наверное, переделали на свой манер гитлеровское «Хайль!». Но я ошибся. Вместо «Здравствуйте!» в английском пользуются выражением: HOW ARE YOU? В переводе это — «Как вы?» или «Как поживаете?». ХАЙ — первые буквы трех слов, из которых состоит приветствие. Что сказали бы вы, если бы услышали вместо «Как живешь?» — «КЖ» или вместо «Добрый день!» — «ДД»? Я и теперь иногда попадаюсь на эту удочку, услышав «Хай», я, польщенный участливостью соседа, начинаю лихорадочно подбирать английские слова для ответа, но когда хочу произнести первый звук, вижу его спину. Проробмотав «Хай», он просто выполнил долг вежливости. Узнать, как я живу, совсем не входило в его планы.

Не менее половины выходных — а летом едва ли не все — американцы проводят на вечеринках. В теплые дни владельцы собственных домов устраивают их на своих лужайках. Популярны и пикники. Я стараюсь под любым предлогом увильнуть от приглашений на эти сборища. Они проходят по одной схеме. Угощение размещается на двух столах. Один занят закуской — не приготовленной хозяйкой, а купленной в супермаркете и всюду, в общем, одинаковой. На другом — бутылки.

Гость подходит к первому столу, берет вилку и нож из белой пластмассы, бумажную тарелку и накладывает на нее снесь. Сделав осмотр бутылок на другом, он выбирает выпивку. Потом окидывает взглядом разбившееся на группы общество и присоединяется к одной.

Так они могут стоять часами, изредка покидая собеседников, чтобы пополнить содержимое тарелок и стаканов или послушать, о чем толкуют в других группах. Ни общих тостов, ни общего застолья на этих собраниях не бывает. Каждый жует свою пищу и потягивает свое питье в одиночку. Даже темы бесед в группках — и те

стандартны: о планах на отпуск, о выгодных и невыгодных страховках, о взносах за купленные в рассрочку дома, об акциях, которые следует или не следует покупать.

Ассортимент спиртного достаточно велик, водки — несколько сортов. Но я прикасаюсь к стеклу бутылок, и желание налить себе пропадает: все бутылки теплые. Я в замешательстве. Это видит радушный хозяин, который озабочен тем, чтобы гости были довольны. Я робко спрашиваю, нет ли холодной водки. Вместо ответа он показывает мне на заполненную кусочками льда хрустальную вазу. Я, еще не пригубив и даже не налив, ощущаю на кончике языка вкус разбавленной водки, вкус не менее отвратительный, чем водки теплой, и отхожу от стола.

Недавно я разменял третий десяток лет американской жизни, но все еще не привык к этим градусам, футам, галлонам и унциям, к буквам, которые пишутся так, а произносятся этак, к теплой водке и веселью без застоля. Видно, уже и не привыкну: лет жизни вообще, а не американской я разменял восьмой десяток.

Слова «привыкнуть» и «примириться» — не синонимы. Примирился я со всем этим давно и, в общем, безболезненно. А в первый после 15-летнего отсутствия приезд в Москву, прочитав в газете, что сегодня ожидается 20 градусов тепла, поймал себя на мысли: сколько же это получится по Фаренгейту?

Но на старте новой жизни все это ошарашивает, и чувствуешь себя в чашобе непривычных понятий и явлений заблудшей овцой. Кажется, что без поводыря из нее не выбраться. А где его взять, поводыря, если ты не можешь различить ни слова в потоке английской речи, обрушивающемся на твою бедную голову, и живешь в окружении таких же овец, как ты сам? Бывалые эмигранты уверяют, что верный и самый быстрый способ адаптироваться в этих условиях — завести любовницу-американку.

Раньше или позже приспособливаешься к новым условиям и не разделяв постель с представительницей коренного населения. Есть, однако, в натуре и американцев, и самой этой страны противоречия, которые обнаруживаются не сразу. Удовлетворительного объяснения

им за два десятилетия, проведенные в Америке, я так и не сумел найти.

В сознании, поведении, образе жизни американца, по крайней мере среднего — с людьми из высших слоев здешнего общества мои дороги не пересекаются, — доминирующее место принадлежит деньгам. Я не видел аборигена, который, заработав хоть 100 тысяч, хоть 100 миллионов, сказал себе: «Стоп! Теперь поживу в свое удовольствие». Не сказал потому, что всегда живет в свое удовольствие, которое состоит для него в том, чтобы удаивать, утраивать, удесятерять свой капитал.

При покупке дома он первым делом ставит перед собой вопрос: «А сумею ли я его продать с выгодой?» Если нет, все остальные достоинства обесценены. Не купит он ни драгоценный камень любимой жене, ни понравившуюся самому картину, если не придет к выводу, что на них можно в случае чего заработать.

При виде витрины французского продовольственного магазина и у только что сытно пообедавшего человека просыпается аппетит. Сама витрина смотрится как произведение искусства — так подобраны сочетания лежащих за сверкающим стеклом продуктов, такой естественной свежестью веет от них, что тянет отведать все. И сочетание цветов и линий в витринах магазинов одежды, белья, обуви такое, что просто невозможно пройти мимо. И это — не только в Париже, а в любом маленьком городке, каких попало мне множество во время автомобильного путешествия по Франции. Я видел витрины Брюсселя, Рима, Лондона, Стокгольма, Хельсинки, Амстердама. Раз они так привлекательны в столицах, то наверняка хороши и в других городах этих стран.

Ничего похожего нет даже на 5-й авеню Нью-Йорка — улице самых модных и дорогих американских магазинов. Их витрины так же унылы, убоги и однообразны, как и советских продмагов. Но не потому, что их хозяевам не на что нанять искусного дизайнера, а потому, что они знают психологию своего покупателя. Для него главное — хорошая цена, все остальное — потом. И окна магазинов сплошь заклеены бумажными плакатами, на которых написаны цены тех товаров, на которые сегодня скид-

ка. Взор американца ласкает реклама, обещающая ему экономию, зовущая купить вещь или продукт, на который сейчас скидка есть, а завтра не будет. На такую рекламу американец клюнет скорей, чем на являющую собой чудо эстетики.

Мне не приходилось встречать американца-гурмана. Сейчас по всему миру расплодилось забегаловки под вывесками McDONALD'S, BURGER KING, WENDY'S. Произвела на свет все эти заведения Америка. И дала общее прозвище — «быстрая еда». Кормят в них невкусно. Хлеб какой-то ватный, кофе жидкий, чай чуть теплый. Зато пообедать в них можно за четверть часа. Потому они привились и стали в Америке самыми посещаемыми предприятиями общественного питания, особенно в обеденные перерывы. Американец не хочет просидеть лишнюю минуту за обеденным столом. Он спешит к своему рабочему месту: а вдруг в эту минуту ему удастся заработать лишний доллар?

Эти доллары американец не тратит, он их инвестирует. Он охотно отдаст сына в самое дорогое учебное заведение, но — лишь в случае, если диплом этого заведения обещает его чаду перспективу службы, доход от которой превысит расходы папаши на учение.

В России о людях такого склада говорят: «скряга, скупердяй». На рынках Архангельской области я не раз слышал ворчание по поводу жадности покупателей: «Торгуеться, как жид». Чтобы избежать упреков в скаредности, россиянин прикрывает заботы об экономии мотивами, ничего общего с денежными не имеющими. Американец не видит в этих заботах ничего постыдного. Напротив, в его глазах расчетливость — достоинство, признак деловой сметки и практичности.

Есть в этой стране обычай: делать на Рождество подарки родным и близким. Следующий после Рождества день — единственный, когда в магазинах выстраиваются очереди сдающих сувениры, которые здесь принято вручать с чеками, чтобы получивший подарок мог без проблем поменять его или сдать в магазин за наличные.

Американец понимает слово «гулять» исключительно в буквальном смысле. Таких слов, как «гульнуть» или «за-

гул», в его обиходе нет. Купеческие замашки, в глазах соотечественников украшающие русского человека (о таких с одобрением говорят: «рубаха-парень»), чужды американцу. Швырять деньги на ветер, по его понятиям, безумие.

Не будем вдаваться в обсуждение вопроса, положительное или отрицательное это свойство американского характера. Но то, что он полная, диаметрально противоположность характеру, почитаемому в России, где его обладателя любовно называют «широкая русская натура», — очевидно.

Так в чем же тут требующее объяснения противоречие? Вроде бы, напротив, все сказанное свидетельствует о цельности натуры среднего американца. Однако к этому противоречию мы только подобрались.

Люди и звери

Беженец, покинувший свою родину из-за гонений, вызванных его национальностью, религиозными или политическими убеждениями, вступает на землю Америки. Ничего он для этой страны не сделал, и неизвестно, сделает ли когда-нибудь. Но она открывает ему, чужаку, не только свою дверь и свои объятия, но и свой кошелек. Она дает ему дом, кормит и поит до тех пор, пока он не обживется в незнакомой стране. Деньги на это она дает беженцу не в долг, а навсегда. И это — при ее практичности и умении считать каждый цент.

За 70-е и 80-е годы население США пополнилось многими сотнями тысяч эмигрантов из СССР. И каждый из них первые месяцы жизни на новом месте получил денежное пособие в размере прожиточного минимума, средства на приобретение мебели, талоны на оплату покупок в продуктовых магазинах. Его в это время бесплатно лечили, обучали английскому языку и подыскивали ему работу. Для нетрудоспособных и стариков льготы сохранились до конца их дней.

И никто не попрекнул нас за выброшенные на нас миллиарды долларов. Ни от кого не слышали мы, что

облагодетельствованы чужой страной. И никто не кричит на всех перекрестках, что человек человеку в США — друг, товарищ и брат.

Вскоре после приезда в Нью-Йорк я встретил своего московского коллегу Юрия Шаламова. На родине он был фотокорреспондентом «Комсомольской правды», потом журнала «Советский Союз». Мы с ним бок о бок трудились на спортивных соревнованиях во многих городах и странах. В Москве мы были приятелями, в Нью-Йорке подружились. Он познакомил меня со своей матерью Верой Филипповной, которой было изрядно за семьдесят. Ее американская жизнь прошла у меня на глазах. О прошлой я узнал от Юры.

Вера Филипповна — ленинградка. Ее муж погиб на фронте, сын тоже воевал, но остался жив. Блокаду она провела в родном городе. Эта уже тогда не молодая женщина дежурила во время авиационных налетов на крыше своего дома, тушила зажигательные бомбы и удостоилась медали «За оборону Ленинграда». Когда сына пригласили в «Комсомолку», Вера Филипповна переехала с ним, его женой Леной и их маленьким сынишкой Мишей в Москву.

«Комсомолка» выхлопотала им комнату в коммунальной квартире. Юра с Леной работали, бабушка воспитывала внука и жила на их иждивении.

Наконец на улицу Шаламовых пришел праздник — в жилом доме «Правды» им выделили двухкомнатную квартиру. Но они — о, эти неблагодарные лица еврейской национальности! — захотели оставить прежнюю свою комнату Вере Филипповне. Однако бдительные жилищные органы своевременно пресекли шаламовские козни. Так и не получила эта женщина собственного угла в родной стране.

В Америке она сразу перестала быть иждивенкой сына. Ее взял на полное довольствие штат Нью-Йорк. Кроме всего прочего, ей, как всем ее сверстницам, бежавшим из СССР, прислали бесплатную сиделку. Та проводила у Веры Филипповны полный рабочий день — водила гулять, убирала, стирала, ходила за продуктами, следила за тем, чтобы она вовремя принимала лекарства.

Часть своей пенсии Вера Филипповна тратила на подарки родным, другую хранила в банке и в трудные для семьи Шаламовых периоды помогала им деньгами, разумеется без отдачи. А когда они покупали дачу, внесла свою треть ее цены.

Дожила Вера Филипповна до 93 лет. Я вспоминаю ее каждый раз, когда думаю о стране, которая нас приняла. Думаю и стараюсь понять, как совмещается в ней и ее населении расчетливость и бескорыстие, стремление использовать деньги так, чтобы они приносили новые деньги, и готовность делиться своим богатством с чужестранцами, которые палец о палец не ударили для ее блага.

Средства на содержание беженцев — и не только из страны победившего социализма, а отовсюду — Дядя Сэм черпает из налогов, которые платят его подданные. Черпает, урезывая расходы на полицию, которая оберегает их жизнь и имущество, на ремонт школьных зданий, где учатся их дети, на содержание парков, где они дышат свежим воздухом, и еще на тысячу вещей, которые они считают необходимыми для своего благоденствия. А в случае с беженцами изменяют себе, не получая за это никакой компенсации.

Останки Веры Филипповны покоятся на одном нью-йоркском кладбище. На другом Шаламовы похоронили тоже члена своей семьи, собаку Дашу. Даша скончалась почти такой же старой — по собачьим, разумеется, меркам, — как Вера Филипповна: ей было 17 лет. На могиле Даши — гранитная плита, на ней выгравированы ее имя, даты рождения и смерти.

Такие почести собаке — обходятся они довольно дорого — можно принять за капризы обеспеченного сословия. Как и специальные отели, где состоятельные люди оставляют четвероногих домочадцев, отлучаясь из города, и где есть номера однокомнатные и двухкомнатные, с телевизорами и без. Такие гостиницы действительно доступная не каждому роскошь. Но хоронить собаку на кладбище — обычай. Делают это люди всех состояний.

В Америке нет бездомных псов. Есть заблудившиеся. Их помещают в собачьи приюты. Сюда приходят желающие обзавестись собакой. Телевидение время от времени

дает репортажи из этих общежитий, выбирая те, в которых собаки содержатся в собачьих условиях — в плохо вымытых клетках, скученности, голоде. Такие разоблачения чреватые для виновников крупными штрафами.

Что же до хозяина, бьющего своего пса и застигнутого свидетелем на месте преступления, его могут отдать под суд и наказывать по закону, карающему за жестокое обращение с животными.

В летний день, какие изредка выдаются в Нью-Йорке — 40-градусная жара и от влажности воздуха нечем дышать, — я был свидетелем такой сцены. Полицейскому что-то не понравилось в стоявшей у тротуара машине. Он заглянул внутрь, подергал за все дверные ручки и убедился, что автомобиль заперт. Полицейский замешкался на полминуты. Потом достал из кобуры пистолет, взял его за ствол и на глазах у ошеломленной публики разбил ручкой боковое стекло. Он, оказывается, разглядел, что в раскаленном автомобиле изнывает пес. Голова собаки — тяжело дышащей, с вывалившимся языком — показалась из окна. Полицейский дождался владельца машины, сделал ему строгое внушение и удалился с сознанием выполненного долга. Собачий мучитель погладил животное по голове и включил зажигание.

Есть с некоторых пор собака и у нас — золотистый лабрадор. Сын купил ее в 2-месячном возрасте за 800 долларов, принес домой на ладони и представил его нам.

— Мойша. Я назвал его так сразу, как только увидел его печальные, чуть навывкате карие глаза, — сказал он.

Дело было вечером на даче, когда Мойша занемог. Он подходил ко всем нам по очереди, сиротливо прижимался к каждому, тяжело вздыхал, взглядом просил о помощи. Он то присаживался на секунду, то нервно бежал взад-вперед. Моя жена, до зубов вооруженная познаниями в области народной медицины, врачует нас сама. Но поставить диагноз бессловесному существу, которое не может сказать, что у него болит, она не решается. Мы поняли: нам предстоит бессонная ночь.

Положение казалось тем более безвыходным, что от дачи до Нью-Йорка, где можно постучаться в знакомую

дверь с вывеской «Ветеринар», 100 километров. Казалось нам с Жанной, но не сыну, ставшему к 25 годам настоящим американцем. Он выбрал из телефонной книги номера окрестных ветеринарных лечебниц. В одной ответили.

Туда мы добрались на машине за 15 минут. Куда дольше пришлось ожидать очереди на прием. Впереди нас были собака и кошка, сидевшие на коленях у своих хозяев.

Дежурный врач установил, что Мойша, размахивая в приступе восторга хвостом, ударил его обо что-то и повредил, и дал успокаивающее. Пес проспал до утра. Но в воскресенье его мученья возобновились, и сын решил везти больного в город, к лечащему врачу. Позвонил в поликлинику. Секретарша ответила, что факс с диагнозом Мойшиного недуга они уже от принявшего ночью собаку доктора получили и что постоянного врача Мойши нет на месте, но его найдут по пейджеру, и он позволит нам на дачу.

Мойшу вылечили. С тех пор он здоров, и все было бы хорошо, если бы не одна беда: он девственник. Он слишком деликатен, чтобы напасть на первую встречную сучку, да и не знает, с какой стороны к ней подойти. В специальном клубе породистому псу подберут невесту тех же кровей, что течет в нем, и инструктор поможет вступить с ней в интимную связь. Но прежде Мойше должны сделать усыпляющий укол и во сне взять вытяжку из спинного мозга, чтобы определить, нет ли у него передающихся по наследству заболеваний. Мы никак не решимся на эту жестокую операцию, хотя понимаем — рано или поздно придется.

Мойше стукнуло 3 года.

Все это: наблюдающие за собакой ветеринары, которые не только лечат ее, но и следят за соблюдением сроков положенных ей прививок, ассистенты при случаях, витамины в таблетках, ошейники, избавляющие от нападения клещей, — не для избранных четвероногих и не только для собак, а для всего домашнего зверья. Все это — то, о чем мы в СССР и помыслить не могли.

Америка не знает изречений типа: «Собаке — собачья смерть» или «Злой как собака». Любовь к животным — такая же черта нации, как практичность и расчетливость, хотя, по идее, это качества несовместимые.

Эта любовь вошла в генетический код американца. Она передается от поколения к поколению. Здешние дети не боятся животных. У нашей двери на даче перманентная очередь малышей, желающих погулять с Мойшей. Американский ребенок готов отдать собаке или кошке любимую игрушку и любимое лакомство.

Звери платят людям тем же. Белки расхаживают парами по нью-йоркским тротуарам, как по глухому лесу. Увидав приближающегося человека, они не убегают, а встают в знак приветствия на задние лапы. В палисадниках у домов им всегда припасены орехи, сухари и прочие яства.

И ведь никакой пользы от всех этих четвероногих на хлебников; одни хлопоты и расходы. Собаки, привыкшие к хорошему обращению со стороны человека, не способны охранять дома. Кошки, избалованные обильным, специально кошачьим питанием, не ловят мышей. Из уличных белок не шьют шуб.

Пристрастие населения к животным доходит до того, что по улицам городов дефилируют демонстрации с требованием запретить производство и ношение мехов.

Мелочи жизни

Приехав после 15-летнего отсутствия в Россию, я понял: упрощающие быт удобства, которые существующий на скромную зарплату американский провинциал считает мелочами жизни и без которых эту жизнь себе не представляет, не снились «новому русскому» с его миллионными, загородными домами и навороченными машинами. Верно, теперь «новые русские» — и не только новые — запросто пользуются всеми достижениями технического прогресса. Но многого из того, что заставляло меня широко раскрывать глаза в первые американские дни и чего сами здешние жители даже не замечают, большинство русских — хоть новых, хоть старых — еще (?) не имеют.

Мне приходится иногда совершать довольно далекие рейсы на своем автомобиле — в Вашингтон, в Филадельфию, в Бостон, в Балтимор. Первый был Монреаль: команда ЦСКА приехала туда играть с местным клубом

«Монреаль Канадиенс». Изрядная часть дороги проходит по штату Нью-Йорк. Она пересекает лесные массивы и бескрайние поля, на которые, кажется, не ступала нога человека. Перебегает автостраду непуганое зверье — еноты, ондатры, олени, зайцы. Ничто не указывает на близость человеческого жилья.

Едешь, едешь, и за каким-то поворотом вырастает, будто из воздуха, площадь, залитая асфальтом. На ней — автомобильная стоянка и несколько сооружений.

Одно — бензоколонка. Рабочие, заливающие бензин, протирающие мокрыми тряпками и щетками стекла остановившихся заправиться машин, могли бы вместо серых носить белоснежные комбинезоны.

Другое здание, одноэтажное, похожее на коттедж, — ресторан. В вестибюле — киоск с сегодняшними газетами, свежими журналами, сигаретами, жевательной резинкой. Тут же — телефоны-автоматы, готовые соединить вас с любым городом мира. В уборных — стерильная чистота, холодная и горячая вода. Пахнет, как в яблоневом саду. В ресторанном зале вас накормят за пять минут, а если спешите, установят заказанные блюда в специальные картонные контейнеры — берите в машину, ешьте и пейте без отрыва от руля.

Эти зоны отдыха выглядят оазисами в пустыне. Но оазисы создала природа, а здесь к местам, отстоящим за сотни километров от жилья, кто-то провел воду, электричество, протянул телефонные провода. Откуда являются в эти круглосуточно функционирующие заведения официантки, продавцы, повара, заливщики бензина? Куда деваются после смены?

Через два-три месяца после приезда в Нью-Йорк я случайно встретил знакомого по Москве преферансиста и пригласил к нам поиграть. Засиделись мы за картами допоздна. Гость проиграл, полез было в карман за деньгами, но вспомнил, что днем ходил за покупками и поиздержался.

— Если не лень, прогуляемся, — предложил он. — Зайдем заодно в банк, и я рассчитаюсь.

Я подумал: заигрался человек и перепутал день с ночью — в такое время банки посещают только взломщики. Однако он знал, что говорил.

У двери банка оказалась щель, в которую он вложил маленькую твердую карточку из пластика. Дверь отворилась. За ней находилось штук пять автоматов, и при каждом — такая же щель, как рядом с дверью. Приятель повторил свой маневр с карточкой, и автомат проснулся. На его экране загорелись набранные зелеными буквами слова: «Сообщите Ваш личный код». Убедившись по набранным приятелем цифрам, что имеет дело с клиентом банка, автомат спросил, на каком языке хотел бы тот объясняться — на английском или испанском? Ответ был дан путем нажатия нужной кнопки. Дальнейшая беседа проходила на английском.

«Что Вам нужно — взять деньги, положить деньги, переложить их с одного счета на другой?» — спросила умная машина.

«Взять», — ответил клиент, и на экране выскочили числа: 20, 50, 100, 200, 500. Клиент потребовал сотню. Автомат выплюнул пять двадцаток, поинтересовался, не нужно ли клиенту от него других услуг, поблагодарил за визит и пригласил заходить в любой момент.

Я рассудил: автомат предложил выбор из двух языков в связи с тем, что испаноязычное население — второе по численности в Америке. Я тогда не подозревал, что банковские автоматы на Брайтон-Бич и в его окрестностях владеют еще и русским. В Джексон-Хайте, где живем мы и где уже в мое время поселилось много выходцев из Китая, их научили объясняться и по-китайски, в районе, который называется «Маленькая Италия», — по-итальянски.

Задолго до изобретения мобильных телефонов произошла у меня неприятность — я опаздывал на работу. Я представлял себе картину: студия свободна, звукорежиссер и диктор ждут сигнала к началу передачи, а ведущего нет. И никто не знает, что он, ведущий, сидит в неподвижном поезде метро, который может оставаться в таком состоянии еще долго, до тех пор, пока не явится врач, вызванный к потерявшей сознание пассажирке, не освидетельствует ее и не прикажет вынести на носилках.

На перроне телефоны-автоматы. Я подхожу к одному, чтобы позвонить в редакцию «Радио Свобода», и обна-

руживаю, что мелочи у меня нет. Я беспомощно озираюсь. И тут появляется мой спаситель, по моему растерянному взгляду догадавшийся, в чем дело. Он просит меня назвать фамилию и номер нужного мне телефона. Затем снимает трубку, нажимает на автомате кнопку «0», произносит то и другое и вручает трубку мне. В ней я слышу голос секретарши, которой рассказываю о своих бедах.

Оказывается, «0» — код телефонного оператора. Тот набирает указанный вами номер и спрашивает ответившего, согласен ли он оплатить разговор с мистером Рубиным. Если да — вас соединяют.

Позже я выяснил, что можно таким способом позвонить из автоматной будки в любую точку земного шара. Правда, в другую страну надо звонить за свои деньги. Опустите в автомат столько монет, сколько прикажет оператор, и беседуйте — хотите с Токио, хотите с Рейкьявиком, хотите с Сингапуром. Кончилось ваше время, оператор попросит либо прощаться, либо подбросить монет.

Банковские и телефонные автоматы, возникающие из небытия автоколонки и рестораны и еще многое в этом роде поражало мое воображение так же, как в юности цирковые фокусы Кио, разрезавшего пилой живую женщину и выпускавшего из ружейного дула стаю голубей.

Я приходил с работы и пересказывал увиденное Жанне. Она, в свою очередь, делилась своими открытиями. Вспоминая сегодня о впечатлении, которое производили они на нас, мы смеемся: так реагировал наш ребенок, когда ему показали качели и подарили заводного мышонка.

Вот несколько из запомнившихся мне рассказов жены о вещах, поражавших ее в далекие и близкие времена и вызывавших в ней наплыв положительных эмоций:

— Сегодня у нас включили газ. Явился молодой негр, повозился у плиты и говорит, что все в порядке. Я хотела проверить, так ли это, но не нашла спичек. Спросила, нет ли у него. Он смекнул, зачем они мне, повернул ручки, и конфорки вспыхнули. Улыбнулся, подарил коробку спичек и ушел.

— На окне магазина рядом с нами повесили объявление: «Цыплята — 4 фунта на доллар». Это вдвое дешевле, чем везде. Вхожу, а полка, где они должны лежать, пустая. Я пожаловалась кассирше на невезение. Она утешать

меня не стала, а вручила бумажку — «рейн чек» называется. По ней я могу купить цыплят за эти деньги когда угодно, пусть они стоят хоть десятку.

— Помнишь, мы весной купили дачные стулья в магазине «Калдор»? Они стоили по двенадцать долларов за штуку, а теперь, когда лето кончилось, их распродают по шесть долларов. Хорошо, что я была там с соседкой-американкой. Она мне объяснила, что если чек на ту покупку у меня сохранился, я могу его предъявить сейчас и получить разницу между теперешней ценой и тогдашней. Чек я нашла. Так что тридцатка нам будто с неба свалилась.

— Наша приятельница Мила еле сводит концы с концами, а игрушки у ее сына такие, будто его мать миллионерша. Оказывается, она купила первую, когда Митьке было три годика, в очень дорогом фирменном магазине игрушек. И с тех пор каждые полгода возвращает, а вместо старой, которая ему надоела, выбирает за ту же цену новую. Парню уже двенадцать лет, а Милка все меняет, и все без доплаты. И собирается делать это до его совершеннолетия.

Да что Мила! Она мне рассказала, что наши российские дамы с Брайтон-Бич таким способом покупают себе платья в модных магазинах перед каждым походом в ресторан или в гости. Наденут раз и сдают. Говорят, размер не подошел или мужу не понравилось.

— Я давно присмотрела на Пятой авеню ту замшевую куртку, что подарила тебе на день рождения. Спросила, сколько стоит, и поняла: нам не по карману. И призналась в этом продавщице. Она сказала, что к началу весны будет распродажа замшевых изделий за половину теперешней цены. Но не могу же я ежедневно ездить на Пятую авеню узнавать, началась ли распродажа и не раскупили ли куртки. «И не надо, — говорит продавщица. — Оставьте мне свой телефон, я вам накануне снижения цен позвоню». И сдержала слово.

— На днях позвонили из телефонной компании и предложили перейти к ним из той, которая нас обслуживает. Пообещали, если согласимся, прислать в награду чек на сто долларов. Вот он. Сегодня нашла в почтовом ящике.

— Помнишь, мы поменяли телефонную компанию? Теперь мы снова в прежней. Премия за возвращение —

сто долларов. И никаких обязательств пожизненной верности...

Но — стоп. Иначе эта часть книги грозит превратиться в бесконечный перечень достижений на ниве бытового обслуживания населения.

Всякое ли начало трудно?

Из аэропорта нас отвезли в бруклинский отель «Сент-Джонс». Его квадратное многоэтажное здание, занимающее целый квартал, похоже на средневековую крепость, только без бойниц. В 20-е годы это, говорят, была самая фешенебельная гостиница Нью-Йорка. Теперь дом пришел в ветхость, как и основная масса его обитателей — доживающих свой век на иждивении города пенсионеров.

Нам отвели номер на втором этаже. Грязно-серые стены оживляли рыскающие по ним во всех направлениях рыжие тараканы. По наружной стороне оконных рам бегали маленькие шустрые мышки. Изредка они присаживались и с любопытством оглядывали нас, вторгшихся на территорию, которую считали своей. Ни вентиляторов, ни тем более кондиционеров в номерах не было, и их обитатели задыхались в душной, влажной жаре, какая выдается, наверное, только в Нью-Йорке.

Здесь предстояло прилетевшим в Америку нашим рейсом эмигрантам прожить месяц, ожидая вызова в учреждение, именуемое НАЙАНА.

НАЙАНА — аббревиатура, обозначающая название еврейской организации в Нью-Йорке. Среди ее функций — распределение между прибывшими из СССР беженцами государственных пособий, помощь в поисках квартир и устройстве на работу. В этом учреждении довольно большой аппарат служащих, которых оплачивает штат Нью-Йорк. Близнецы НАЙАНА, только под другими именами, существуют в тех штатах, где скопление эмигрантов особенно велико.

Это вообще свойство Америки: всякая крупномасштабная филантропия начинается созданием учреждения,

ведаящего отпущенными средствами, — с директорами и ассистентами, инспекторами и консультантами, секретаршами и курьерами, кабинетами и приемными, компьютерами и телефонами. Служащим устанавливается приличное жалование. У всех оплачен отпуск. На всех отчисляются суммы в фонды безработицы и медицинского страхования.

Впрочем, еще в большей мере, чем благотворительных, это сверхъестественное раздувание штатов касается государственных учреждений. Внешний вид всех одинаков: гигантские, как футбольные поля, залы, уставленные тесно прижавшимися друг к другу письменными столами, за которыми сидят клерки, а где-то с краю приютилась клетушка надзирающего за ними средней руки управляющего.

В этой готовности мириться с мириадами лишних служащих есть и некое рациональное зерно. Таким образом увеличивается количество рабочих мест. Лучше платить зарплату человеку, занятому хоть каким-то трудом, чем пособие неработающему бездельнику.

И все же есть ненормальность в том, что расходы на надзор за распределением пособий и пожертвований филантропов больше, чем траты на эти пособия и саму благотворительность.

Но такова Америка. Числом бюрократов на душу населения она могла бы потягаться разве что со страной, в которой мы выросли и которая некогда объявила себя государством победившего социализма. Те и здешние бюрократы похожи, как родные братья, погруженностью в бумажную лавину и медлительностью. Разница между ними в том, что американские оснащены компьютерной техникой, которая обновляется с появлением любого усовершенствования в этой области, и внешне чрезвычайно предупредительны. Сочетание медлительности и стремления отказать просителю с отменной вежливостью подчас вызывает еще большее раздражение, чем хамство мелких российских чиновников.

Всякое соприкосновение с американским бюрократическим миром пробуждает желание дойти до самого высокого начальства и раскрыть ему глаза на бессмыс-

ленность миллиардных трат. Но понимаешь, что пробиваться к начальству надо сквозь весь этот многослойный аппарат, и утешаешь себя старинной мудростью о чужом монастыре и своем уставе.

Однако я отвлекся. Вернемся в отель «Сент-Джонс».

«Всякое начало трудно» — любимое изречение моего покойного друга Михаила Марина (в миру — Миши Меллера), почерпнутое, по его словам, в трудах Карла Маркса. Мы с Жанной часто повторяли его на первых порах американской жизни. Правда, не для того, чтобы друг друга подбодрить. В нашем исполнении этот афоризм звучал несколько иронически: мол, и классики не всегда изрекают абсолютные истины.

Мелкие бытовые трудности не портили воцарившегося в нашей семье хронически хорошего настроения. Мы не могли позволить себе прогулок по красе и гордости Нью-Йорка Манхэттену — поездка вдвоем на метро в оба конца стоила 2 доллара, — но по утрам шли в парк рядом с отелем, откуда открывается вид на реку Ист-Ривер, на Бруклинский мост и ту часть Манхэттена, где Уолл-стрит и небоскребы прозванного «Близнецами» Международного торгового центра.

Мы не могли раскошелиться на изысканные продукты, но Жанна умудрялась из куриных ножек и сосисок творить шедевры кулинарного искусства.

Изредка за нами заезжал мой московский друг Геня Дятловский и катал нас по 5-й авеню и Бродвею. Он оказался в Нью-Йорке на полтора года раньше нас, готовился к экзамену на врача, а пока работал санитаром. Геня успел купить подержанный «бьюик» величиной с танк, в котором мы и совершали свои ознакомительные прогулки. Возвращались мы поближе к ночи. Жанна и Женечка ложились спать, а мы с Геней до утра играли в разновидность преферанса для двоих, которая называется «с болваном». Может быть, именно непомерная страсть моего друга к управлению автомобилем и преферансу привела к тому, что медицинский экзамен он сдал лишь с девятой попытки.

Мы как раз собирались в очередную поездку по Манхэттену, когда в номер постучался портье и велел мне

следовать за ним. Он отвел меня вниз к своему столу, показал на снятую с телефонного аппарата трубку и произнес одну из немногих понятных мне тогда английских фраз:

— Take it («Возьмите это»).

В трубке я услышал незнакомый голос:

— Моя фамилия Юрасов. Я — сотрудник «Радио Свобода». У нас есть обычай приглашать на встречи с русскоязычными журналистами редакции более или менее известных людей, прибывших из Советского Союза. нас интересуют впечатления очевидцев. Вы поговорите, ответите на вопросы и получите за это сто долларов. Согласны?

Разумеется, я согласился: 100 долларов были для нас по тем временам целым состоянием.

Провожая меня после беседы к выходу, Владимир Иванович Юрасов — крупного роста и могучего сложения пожилой человек, после войны служивший в советской военной комендатуре Берлина, носивший полковничьи погоны и сбежавший в Америку — сочувственно сказал:

— Жаль, что наше мюнхенское руководство считает, будто спорт — дело несерьезное, не имеющее право на место в наших передачах. А то вы могли бы вести у нас эту тему.

— Не беда, — ответил я. — Я ни минуты не тешу себя иллюзией, что найду работу по специальности. Если бы не упрямство жены, я бы и пишушую машинку в Москве оставил.

Эти слова вызвали неожиданную реакцию у моего собеседника.

— Раз вы не строите иллюзий и не претендуете на место, равное тому, какое занимали в своей стране, вам будет здесь хорошо.

На том мы и распрощались. Но, как вскоре выяснилось, не навсегда. Дня через два служащий отеля снова вызвал меня к телефону. Опять звонил Юрасов.

— Женя, — уже тоном давнего приятеля сказал он, — я переправил запись вашей беседы в Мюнхен. Им это показалось интересным. Не хотите ли приехать к нам еще раз? Я буду задавать вам вопросы в студии, а вы на них

отвечать. Передача пойдет на Советский Союз. Ваш гонорар — сто долларов.

После нового посещения вместе с Юрасовым меня провожал Юрий Гендлер, бывший ленинградец, эмигрант с четырехлетним стажем, который через несколько лет возглавил русскую редакцию в Нью-Йорке, а потом и в Мюнхене, а тогда — рядовой репортер. Он удивил меня, почти слово в слово повторив при прощании сказанное Юрасовым:

— У вас будет все в порядке. И заниматься будете журналистикой. Америка — страна, где каждый профессионал занимается своим делом.

Я расценил это почти дуэтом произнесенное обещание светлого будущего как принятую среди старых эмигрантов форму утешения и ободрения новых, но все же возразил Гендлеру:

— Боюсь, вы заблуждаетесь. Все потребности Америки в пишущих по-русски журналистах удовлетворены. Ни в газете «Новое русское слово», ни у вас вакансий нет. А больше наш брат нигде не требуется. Мне рассказывали, что один мой коллега работает в Нью-Йорке швейцаром, другой устроился в Чикаго рассыльным.

— Я не знаю людей, о которых вы говорите, — сказал Гендлер, — но подозреваю, что им, по уровню их профессионального мастерства, и в СССР полагалось бы делать то, что они делают здесь. Если вы помните, что они там писали и о чем, то согласитесь со мной.

Спорить я не стал, но про себя подумал: когда человек сам устроен, ему тем более приятно подбодрить неустроенного, что это ничего не стоит и за ошибку с него никто не взыщет.

В общем, их прогнозы звучали неубедительно. Да я и не хотел им верить. Жизнь научила меня, что лишние обольщения — это лишние разочарования и что превращение первого во второе — болезненный, оставляющий на душе шрамы процесс.

В третий раз Юрасов позвонил мне уже по домашнему телефону.

— Женя, наш разговор в студии понравился Мюнхену. Вас просят дать десять заголовков к передачам о спорте. Там выберут одну тему, и вы сделаете материал на де-

вать минут. Это три страницы. Гонорар сто семьдесят пять долларов.

Четвертый, и последний, звонок (с тех пор мы общались уже без посредника-телефона) состоялся после того, как передачу прослушали и одобрили в Мюнхене. Юрасов радостно передал мне задание готовить остальные девять и начитывать их в студии раз в неделю.

С той поры спортивная рубрика получила на «Радио Свобода» права гражданства, которые сохраняет по сей день.

Так я — неожиданно если не для Жанны, то для себя — и с легкостью необыкновенной преодолел первый и самый трудный для всякого обживающегося в чужой стране барьер: я работал. Сознание, что отныне занимаюсь делом, которое знаю, что могу распрощаться с ненавистными мыслями о курсах счетоводов, санитаров или клерков, что ко мне возвратилось бывшее положение кормильца своей семьи, делало меня в собственных глазах триумфатором.

Жанна, которая уверяла всех наших московских знакомых, что я буду в Америке заниматься журналистикой, преисполнилась гордости за свою проницательность и пользовалась любым поводом поиздеваться надо одной моей, по ее характеристике, бредовой идеей.

Я прочитал в «Новом русском слове» объявление о том, что требуется семья для ухода за кортами в штате Нью-Джерси, что семья эта обеспечивается бесплатной квартирой при кортах.

— Немедленно, пока нас никто не обогнал, едем в Нью-Джерси, — потребовал я.

Жанна посмотрела на меня как на сумасшедшего и не удостоила ответом. Вместо этого она позвонила в НАИАНА и изложила женщине, которая называлась нашей ведущей, мое требование. Та попросила передать мне трубку и сказала:

— Мистер Рубин, сидите спокойно дома и пишите. Если у вас будут денежные трудности, мы дадим вам пособие еще на два-три месяца. Вы — единственный из всех, кого приняла с начала нынешней эмиграции НАИАНА, напечатались в «Нью-Йорк таймс». Мы за вас спокойны.

Я и поныне не уверен, что напрасно не попытался устроиться уборщиком на кортах. Меня соблазняла в этой работе возможность бесплатных занятий сына теннисом. Нам платить за такое обучение своего — по-моему, спортивно одаренного — ребенка было бы не по карману. Вот и думаю я иногда: стал бы наш парень теннисным профессионалом, его папа и мама превратились бы в миллионеров, и я вернулся бы к спортивной журналистике...

Мечты, мечты, где ваша сладость?

Но тогда я поблагодарил мисс Робинс — так звали нашу ведущую, свободно говорившую по-русски, — пообещал впредь не делать опрометчивых шагов, но от дальнейшей материальной поддержки отказался. Тут я целиком полагался на свою жену. Никто на свете, кроме нее, не смог бы обеспечить нам сносное существование на те 175 долларов в неделю, которые платили мне за спортивные передачи. Из телерепортажа о людях, собирающих милостыню в вагонах метро, я узнал, что их недельный заработок втрое превышает мой.

Однако довольно скоро Жанна смогла вздохнуть по-свободной. В Нью-Йорк приехал Алексей Левин (вторая буква в его фамилии не «е», а «ё»), занимающий в редакции «Свободы» какой-то высокий пост. Он вызвал меня к себе и, хотя видел впервые и был моложе меня, обратился запросто:

— Старик, а ты бы мог делать раз в неделю шоу на полчаса, чтобы было в нем три части с музыкальными перебивками: одна о советском спорте, другая об американском, третья — на твое усмотрение. Введем диктора, чтобы был второй голос. Можешь давать интервью со спортсменами или журналистами. Платить будем по 275 долларов. И старая твоя передача остается.

Так, на исходе первого же года эмиграции, я ворвался в нижний слой самого многочисленного в американском обществе среднего класса. Этот факт удостоверяла карточка «Сити банка», открывавшая мне днем и ночью доступ к его автоматам и собственным сбережениям, которые умудрилась сделать Жанна.

Мисс Робинс упомянула о появлении моей статьи в «Нью-Йорк таймс», самой авторитетной и уважаемой в США газете, с просмотра которой, говорят, начинается свой рабочий день каждый американский президент. История этой статьи такова.

Когда я еще работал в еженедельнике «Футбол — Хоккей», на ежегодный розыгрыш приза «Известий» приехала молодая журналистка из американской газеты «Нью-Йорк таймс» Робин Герман. Переводчиком при ней был сотрудник «Советского спорта» Павел Дембо. Он представил нас друг другу и сказал, что делает это по просьбе Робин. Она и ее коллеги, объяснила Робин, читают в переводе мои статьи, и это помогает им лучше узнать советский хоккей. Я пригласил Пашу и его подопечную к нам домой на обед.

Ранней осенью 78-го года я разыскал в Нью-Йорке Робин, и теперь уже она повела нас с Жанной обедать в ресторан, а оттуда в кафе — пить кофе и есть мороженое. Когда-то она выучила несколько русских слов, у меня был такой же запас английских. Расхрабрившись, я с помощью Жанны произнес монолог, прерываемый долгими паузами, во время которых подыскивал нужные слова. Говорил я вот о чем:

Москва готовится к Летней Олимпиаде 1980 года. Власти делают все для того, чтобы пустить миллиону зарубежных гостей пыль в глаза, показать, что в СССР царит свобода, наличие которой — обязательное условие для страны-хозяйки Олимпийских игр. А во избежание ненужных контактов иностранцев с лицами, которые могут заронить в гостях подозрение, что им втирают очки, из столицы на время Игр вышлют инакомыслящих, алкоголиков, психических больных, судимых. Запланировано усилить московскую милицию подразделениями из провинции, подтянуть воинские части, ограничить движение частных автомобилей по центральным улицам, впускать иногородних в Москву только по специальным пропускам.

Для всего мира, развивал я свою мысль, само собой разумеется, что Олимпиада немыслима, например, в Южной Африке, Китае, Чили или Камбодже. Но поче-

му-то никто не протестует против ее проведения в СССР, таким образом молчаливо признавая, что это демократическое государство, в котором соблюдаются права человека.

По тому, что Робин молча, не возразив ни слова, выслушала эту речь, я рассудил, что она ничего не поняла из сказанного мною на чудовищном английском. Однако через день она позвонила и передала предложение заместителя заведующего спортивным отделом «Нью-Йорк таймс» Френка Лидски написать о том, что я ей рассказал. Материал, переведенный редакцией, появился в субботнем номере на той полосе спортивной секции, где публикуются проблемные статьи.

Кампания, приведшая к бойкоту Московской Олимпиады многими странами, открылась через год с лишним после публикации моей статьи, и вызвало ее вторжение советских войск в Афганистан. Но как бы там ни было, первым произнес в прессе слово «бойкот» я.

Упоминаю я об этом без всякой гордости. Тогда мною руководили горечь и обида, естественные для каждого, кто чувствует себя отторгнутым своей страной. Мои рассуждения о том, что в Советском Союзе нет свободы и что устройство там Олимпиады поможет затушевать этот факт, были верны. Но я не подумал об интересах спортсменов. Игры проводятся раз в четыре года, а спортивный век короток. Только тем из лучших, кто оказался долгожителем, может посчастливиться попасть на Олимпиаду дважды. Остальным шанс увековечить свое имя в истории спорта выпадает один раз. Гуманно ли лишать их этого шанса?

Но я еще был под свежим впечатлением от того, что творилось на моей родине, и «сердца горестные заметы» мешали «ума холодным наблюдениям».

В редакции «Нью-Йорк таймс» статью приняли хорошо. Я понял это по тому, что Лидски заказал мне еще одну — о сборной СССР по хоккею, которая вскоре должна была прибыть в Нью-Йорк. Робин передала его слова: если бы я умел писать на английском так, как пишу на русском, «Таймс» пригласила бы меня на работу. Но на английском я не умел никак. И теперь не умею. И не жа-

лею об этом. Говорить можно на многих языках. Писать — если это твоя профессия, — по-моему, только на родном.

Заплатила мне богатейшая газета мира сушие копейки — по 200 долларов за статью. Робин объяснила:

— Если бы под статьями стояла подпись не «Рубин», а, например, «Киссинджер», гонорар был бы раз в тридцать больше.

О другой причине, понятной мне, Робин не догадывалась. Невежественные владельцы американских газет понятия не имеют о ленинском наказе: «Газета должна делаться руками рабкоров». В этой стране все материалы пишут штатные сотрудники за зарплату. В авторах со стороны, если их имена не станут приманкой для читателей, а значит, не помогут увеличить тиражи, соответственно — доход, здесь никто не заинтересован.

Еще одну статью о советской сборной я написал для теперь уже не существующего журнала «Хоккей», который принадлежал Национальной хоккейной лиге.

Тем мои контакты с американской прессой и ограничились. С русскоязычной — в лице единственной тогда на территории США газеты «Новое русское слово» — не возникло вообще никаких. Она выглядела жалкой и провинциальной, имела ничтожный тираж и платила такой гонорар, который не мог привлечь журналиста, если он не умирал с голоду. А я уже прилично зарабатывал, и мои передачи слушали, несмотря на глушилки, миллионы людей в России, как еще совсем недавно слушал такие передачи я сам.

В общем, у меня были основания считать, что, если я не потеряю своих первых завоеваний, мечтать мне в новой жизни больше не о чем. Но, видно, недуг, которым больна вся Америка, поразил и меня.

Изречение «Все мы довольны своим умом, но никто не доволен своим положением» распространяется на каждого американца. Нет в этой стране кустаря-портного, который не рвался бы превратить свою мастерскую в модное ателье для звезд кино. Владелец бензоколонки копит деньги, чтобы обзавестись второй и со временем стать многополистом в своей округе. Депутат городской легислатуры — по-нашему, горсовета — только и ждет случая,

чтобы выдвинуть свою кандидатуру в Конгресс США. Сенатор одержим мечтой перебраться из Капитолия в Белый дом. Глава компании «Микрософт» Билл Гейтс, который зарабатывает несколько миллионов долларов в сутки, трудится не покладая рук, чтобы расширить сферы своего влияния, проглотив родственные фирмы.

В условиях Америки такой образ жизни и образ мыслей вызван не столько корыстолюбием или карьеризмом, сколько необходимостью. Здесь нельзя не стремиться расширить свое дело и сферы своего влияния. Здесь — либо прогресс, либо регресс, третьего не дано. Или ты потеснишь конкурента, либо он сделает это с тобой.

Я мог не опасаться быть проглоченным или отступить. Но эпидемия не выбирает свои жертвы.

«Новый американец»

— Если бы нам удалось раздобыть в долг немного денег, — сказал я Алексею Орлову, — мы могли бы открыть спортивный еженедельник такого формата, как «Футбол — Хоккей». Потребитель нашей продукции нашелся бы. Среди эмигрантов много болельщиков.

До эмиграции Орлов был литсотрудником маленькой газеты «Ленинградский рабочий», и я часто заказывал ему отчеты о футбольных и хоккейных матчах в Ленинграде. В Нью-Йорк он прилетел на год раньше меня и работал в научно-исследовательском медицинском учреждении, где кормил подопытных кроликов и чистил их клетки.

Его ответ на предложение стать газетными магнатами потряс меня до глубины души:

— Не спеши. Боря Меттер носится с идеей, чтобы мы вдвоем открыли не спортивную, а общую еженедельную газету, и какой-то бизнесмен из Нью-Джерси обещал ему помочь получить в банке ссуду.

С Борисом Меттером — племянником писателя Меттера, автора сценария популярного фильма «Ко мне, Мухтар!» — я познакомился в Италии. Мои координаты он, тоже ленинградец и старый приятель Орлова, получил у

Толи Пинчука. На родине он где-то служил и, по его словам, подрабатывал, делая передачи для телевидения. В Америке готовился к экзамену на почтальона, а пока кормила семью его жена Таня, работавшая, как и в СССР, фармацевтом.

Вот тебе и Боря Меттер! Меня привели в восхищение его умение мыслить масштабно, не размениваясь на мелочи вроде спортивной газетки, и практичность — он способен не только мечтать, но и знает, как бороться за эту мечту.

Я больше всего опасался, что Борис откажется от своего плана, если сдаст экзамен на право разносить письма за 7 долларов в час, и попросил Гендлера, чтобы тот заказал Боре что-нибудь для «Свободы». Правда, после двух испытаний Меттера забраковали, но, к счастью, это не прибавило ему желания таскаться по улицам в дождь, холод и солнцепек «с толстой сумкой на плече».

Битва Меттера за заем длилась почти год. Сражался он в одиночку — мы ничем помочь ему не могли. И победил. Пусть его успех был не полным: вместо обещанных 30 тысяч долларов дали 16 тысяч, — мы преклонялись перед деловой сметкой нашего партнера и без колебаний отвели ему роль главного редактора газеты, которой он и название придумал — «Новый американец».

В первых числах января 80-го года мы сняли комнату в доме на углу 14-й стрит и 5-й авеню Манхэттена и нашли издательство, владельцы которого согласились за скромную цену набирать наш 32-страничный еженедельник, делать корректуру и готовить номера к печати. Издательство это под названием «Энифототайп» живо и теперь. Тогда оно принадлежало трем молодым эмигрантам из Черновцов и пожилому американцу, добывавшему для него заказы.

Жалованье мы себе положили 15 тысяч долларов в год, но решили, что будем получать его, когда газета станет прибыльной. Тогда и за свои нынешние труды задним числом рассчитаемся. Жанне мы вручили пост ответственную за рекламу, но зарплату не установили.

Мы собирали материал для первого номера и грезили о будущем. О том, как преобразуем «Новый американец»

в ежедневную газету. Оно, это будущее, казалось нам недалеким. Мы были уверены: читатель — эмигрант нашей волны быстро поймет, что его газета — современный, знающий его запросы и говорящий с ним на одном языке «Новый американец», а не провинциальная старушка «Новое русское слово», которая пишет о собраниях бывших казачьих офицеров и «балах институток» и забыла о таких жанрах, как репортажи, очерки, интервью, то есть о живом разговоре с читателем.

...Пройдет немногим больше 3 лет со дня рождения «Нового американца», и он прикажет долго жить. А «Новое русское слово» процветает: его тираж с 70-х годов вырос вдвое и, когда-то едва набирающее заметок на 4 полосы, оно теперь перед уик-эндом выходит на 70-ти страницах.

Да, мы оказались плохими пророками. Мы, кажется, учили все, кроме собственной ментальности, рожденной и развитой в нас прошлой жизнью. Но я пойму это не скоро, а мои соучастники того начинания, кажется мне почему-то, не поняли этого и сегодня...

Выпуск первого номера мы отложили на конец февраля. «Радио Свобода» формировало бригаду для освещения зимней Олимпиады 80-го года в Лейк-Плесида. Русская редакция включила в ее состав меня. Таким образом, «Новый американец» становился единственным в истории неанглоязычных изданий США, которое будет получать информацию с Олимпийских игр из первых рук. Над моими репортажами будет красоваться: «От нашего специального корреспондента в Лейк-Плесида». Это сразу покажет потенциальному читателю: мы — не чета бедняге «Новому русскому слову», не имеющему средств послать своего корреспондента даже на метро в Бруклин. А о том, что слова «наш корреспондент» — блеф, так как оплатила мою командировку «Свобода», никто в Америке не узнает. И мы решили: мой репортаж из Лейк-Плесида должен быть гвоздем первого номера.

Все было сделано так, как задумано. Моя телесная оболочка находилась в Лейк-Плесида, а душой я был в Нью-Йорке, где сейчас эмигранты рвут из рук киоскеров «Новый американец» и поздравляют друг друга с рождением своей, близкой и понятной им газеты.

Отрезвил меня звонок Жанны.

— Ты даже представить себе не можешь, что они тут натворили! — не сдерживая бешенства, кричала она. — Получился какой-то уродец. Когда приедешь, сам увидишь. Кстати, никто даже не позаботился развезти его по киоскам. Так и валяются в редакции груды первого номера. А о том, что будет со вторым, я и думать боюсь. В редакции сплошное застолье. К середине дня собирается толпа гостей и начинается фиеста. Никто ничего не делает. Я на них ору, а они смеются. По-моему, они и сами понимают, что без тебя не обойтись, и отложили следующий выпуск до твоего возвращения.

Что мне было делать? Бросить работу и уехать в Нью-Йорк я не мог. Обсуждать с партнерами жалобы Жанны бесполезно. Оставалось терпеливо дожидаться окончания Игр и надеяться, что моя жена гиперболизировала масштабы бедствия.

Нет, она не преувеличивала. Мне это стало ясно при первом взгляде на газету, которую я принялся листать, едва переступив порог своей квартиры и прежде, чем после полумесячного отсутствия обнял жену и сына. Заголовки набрали таким же мелким шрифтом, как текст. Нельзя было понять, где начинаются и где кончаются заметки. Сами эти заметки были разбросаны по страницам в хаотическом беспорядке. Номер выглядел так, будто это его назвал Остап Бендер жертвой аборта. Меня даже немного утешило, что его не развезли по киоскам: купивший его брезгливо отдернул бы руку от следующего.

Когда ко мне вернулась способность трезво оценивать ситуацию, я понял, что мои соратники, возможно, умеют сочинять статьи и заметки, но не имеют ни малейшего понятия о том, как делается газета: что такое макет, как выбираются шрифты для заглавий, как распределять по полосам крупные материалы и мелкую информацию.

Корить мне за случившееся следовало не их, а себя. Это я не позаботился выяснить, знакомо ли им газетное дело. Не пришло мне в голову и то, что хозяйева издательства — хорошие полиграфисты, но никогда не занимались производством газеты. Радуюсь тому, что я отбываю в командировку, мои партнеры положились на «Энифото-

тайп», а с его владельцев какой спрос? Они набрали и откорректировали номер, показали сделанное заказчику, а тот работу принял.

В восьмистраничном «Советском спорте» был заведен раз и навсегда порядок — каждый отдел сам готовит отведенные ему страницы: выбирает для материалов и заглавий шрифт, ширину строк, указывает места всех замечаний на полосе, делает необходимые сокращения, заказывает фотографии соответствующего размера. В наших письменных столах лежали пачки макетных бланков, брошюры с образцами шрифтов, наборы цветных карандашей, ножницы, металлические строкомеры. Из поколения в поколение журналистов «Советского спорта» переходила эпитафия, созданная в 50-е годы сотрудником международного отдела Володи Адуевским:

*Трудно нам без строкомера
Делать вовремя газету,
Можно б строчки мерить хером,
Да на нем делений нету.*

В общем, я осознал, что отныне мое рабочее место не в редакции, а в типографии. Туда я отправлялся из дому, туда мне привозили материалы, оттуда я поздним вечером уезжал домой.

Номера приобрели нормальный вид. Меттер связался с одной из компаний, которая занималась развозкой по киоскам и магазинам периодики, и мы заключили с ней контракт. Все приходило в норму. Если не считать того, что очень уж неравномерно распределились у нас нагрузки.

Подготовка к печати 32 страниц не снимала с меня обязанности заполнять какую-то их часть своими материалами. Плодовитый Леша Орлов добросовестно обеспечивал отведенные ему разделы. А Боря Меттер не делал вообще ничего. Он появлялся в редакции во второй половине дня, после того как приводил из школы сына. Нанятая им секретарша, добродушная дородная женщина лет тридцати пяти по имени Ляля, эмигрировавшая с сыном из Ленинграда, должна была заменять его по утрам, отвечать на звонки, разбирать почту, переправлять мне готовые заметки.

Приходя в редакцию, Меттер неторопливо набивал табаком трубку, становился у окна и задумчиво смотрел вдаль. Есть снимки Сталина примерно в такой позе. Боря и усы носил кончиками книзу, как покойный вождь. Правда, были они пшеничные, и напоминал он благодаря этим усам казачьего атамана. Меттеру они служили оружием покорения женских сердец — делом, в котором он мнил себя большим докой. Если верить его рассказам, в каждой комнате Ленинградского телецентра была дама, с которой он переспал.

Мне думается, что это в известной мере плод Бориней фантазии. Трудно допустить, что человек с гнилыми, издававшими скверный запах зубами пользовался у женского пола таким уж стопроцентным успехом. Во всяком случае, покорить секретаршу Лялю ему не удалось. Мне она однажды пожаловалась:

— Я совсем не недотрога. Но Боря, когда мы остаемся в редакции наедине, хочет обязательно овладеть мной на раковине умывальника. А мне это неприятно.

Тем не менее сам Меттер верил в свою неотразимость. Эта вера едва не погубила «Новый американец» сразу после рождения. Однажды владельцы типографии решительно показали мне на дверь.

— Чтобы ноги вашей не было у нас! — заявил Толя, старший из хозяев-эмигрантов.

Я попросил объяснить, что произошло, и услышал:

— Вчера вечером Галя пришла с обеденной перерыва бледная и со слезами на глазах. Меттер вызвал ее на свидание, приставал, уговаривал бросить нас, обещал работу и хорошее жалованье в редакции. Мало того, что вы вечно нам должны, вы еще пытаетесь соблазнять наших работников. Забирайте свои бумажки и ищите другое издательство.

Меня не удивил их меморандум. Молоденькая аппетитная наборщица Галя обладала качеством, которое наш редактор особо ценил в слабом поле, — большим бюстом, и он просто не мог удержаться от попытки ее обольстить. В растерянности я пролепетал что-то о склонности Меттера к розыгрышам и шуткам. Возмущенные Толя, Юра и Нолик ничего не хотели слушать.

— Тогда дайте мне хоть позвонить от вас, — взмолился я и, получив разрешение, набрал номер редакции. Меттера, как обычно в первой половине дня, не было. Я рассказал обо всем, что произошло, Орлову, предложил единственный, на мой взгляд, при сложившихся обстоятельствах выход и заручился его согласием. Затем призвал всю тройку и попросил спокойно выслушать меня.

— Вы правы на сто процентов. Мы заслужили изгнание. Но даю вам честное слово, что вы больше не увидите Меттера на своей территории. Он снят с поста редактора.

Для убедительности я взял со стола вторую страницу еще не вышедшего номера, в левом верхнем углу которой мы печатали состав редакции. Я вычеркнул фамилию Меттера под словами «Главный редактор» и поставил вместо нее свою.

Толя, Юра и Нолик еще немного поупрямились, но постепенно успокоились, сочтя, что получили достаточную сатисфакцию за моральный ущерб.

Вечером я снова позвонил Орлову. Он сказал, что свое свержение с трона Боря воспринял с грустью, но без возражений.

А через месяц был новый взрыв.

Я получил письмо из Москвы. Тот самый Паша Дембо, который был переводчиком при Робин Герман, писал, что вступил на мою стезю и ОВИР уже назначил дату его отбытия в эмиграцию. Дембо — рижанин. Начинать он свою газетную карьеру в местной «Советской молодежи», работал, перебравшись в Москву, в институтской многотиражке, а потом — в секретариате «Советского спорта». Газетный процесс он изучил досконально. Для меня появление такого помощника было бы спасением: я чувствовал, что взвалил на свои плечи непосильный груз. Мне ведь еще, чтобы зарабатывать на жизнь, приходилось ночами делать передачи для «Свободы». Я показал письмо Дембо своим соратникам, и они одобрили идею взять его к нам на службу.

Я сообщил об этом Паше и указал сумму его будущей зарплаты — 130 долларов в неделю. Она, писал я, меньше, чем получает приличный рабочий за день, но перебиться в ожидании лучших для «Нового американца»

времен им — он ехал с женой и дочерью — позволит. Дембо ответил, что счастлив опять трудиться со мной и готов сколько угодно долго ждать наступления поры процветания «Нового американца». Через неделю после приземления в Нью-Йорке Дембо явился на службу.

Между тем до процветания нам было еще дальше, чем перед рождением первого номера. Доход от газеты не покрывал расходов. Покупали «Новый американец» неплохо, но нам оставались крохи от той тысячи долларов в неделю, которые приносила продажа. 20% выручки забирали киоскеры, другие 20% — компания, развозившая газету. А надо было еще оплачивать помещение, платить издательству, типографии и т. д.

Пресса США благоденствует за счет предприятий, которым продает свои страницы под объявления. Американские рекламодатели в нас не нуждались — рынок русскоязычных потребителей был тогда ничтожен. А бизнесмены-соотечественники мыслили разумно: к чему тратиться на рекламу в еженедельнике тиражом 5 тысяч экземпляров, если ее может распространять ежедневная газета, тираж которой вшестеро больше? Успевшие разбогатеть владельцы магазинов, ресторанов, страховых контор, врачи говорили нам: «Читать вас приятней, чем «Новое русское слово», а рекламировать свой товар выгоднее там». Кое-какие объедки с барского стола стараниями Жанны нам подбирать удавалось, но они лишь немного замедляли процесс уплыwania 16-тысячного займа.

Он уплыл бы весь, до последнего цента, если бы не наш отказ получать зарплату до тех пор, пока не придут лучшие времена. Мы даже авторов заманивали не гонорами, а обещаниями будущей службы.

И когда после какой-то пустяковой размолвки с Дембо Меттер с Орловым явились в типографию и объявили, что решением, принятым большинством голосов, Паша уволен, я подумал: заботятся об экономии. Но они тут же развеяли мое заблуждение.

— На его место идут двое — Петя Вайль и Саша Генис из «Нового русского слова», — сказал Меттер. — Они согласились работать у нас за те же 250 долларов в неделю, что получают там.

От негодования я на миг потерял дар речи. Возмутило меня даже не то, что новый расход ускорял наше падение в финансовую пропасть, а то, что увольнение ставило Пашу и его семью в катастрофическое положение. Он, как устроившийся на службу, потерял право получать пособие от НАЙАНА, а иных средств к существованию у него не было.

В бешенстве я вскочил со своего стула и заорал:

— Вы — мерзавцы! Если вы тронете Дембо, я немедленно ухожу!

Дома, придя в себя от шока, я сумел проанализировать ситуацию и действия сторон в этом конфликте. Мои партнеры сделали ставку на мою вспыльчивость и избрали Дембо в качестве спички, которая должна вызвать взрыв. Они добились того, чего хотели: я пригрозил уходом. Меттер был обижен смещением с редакторского кресла, Орлов, как мне рассказывал один из наших авторов, жаловался на то, что я слишком строг и не даю никому дух перевести. Потому оба, предвидевшие, как развернутся события, в ответ на мою угрозу промолчали и спокойно дали нам с Пашей и Жанной проследовать к выходу.

Наверное, догадайся я сразу, какова подоплека демарша Орлова и Меттера, я заставил бы себя сдержаться и начать дискуссию — мне совсем не улыбалась перспектива лишиться дела, в которое я вложил столько труда и которое полюбил. Но я считал: моя угроза смертельно напугает устроителей нового дворцового переворота — ведь только мы с Пашей и владеем профессией газетчиков — и они пойдут на попятный. Однако я промахнулся. Вайль работал в «Новом русском слове» ответственным секретарем, Генис — метранпажем. Все газетные премудрости были им известны не хуже, чем мне.

Так или иначе, последствия моего ухода были необратимы: мои пути с «Новым американцем» разошлись навсегда. Я воспринял это как трагедию. Не представляю себе, долго ли пребывал бы я в состоянии депрессии, если бы поздно вечером Жанна не позвала меня к телефону. Звонили владельцы «Энифототайп»: они хотели бы завтра навестить меня, чтобы обсудить кое-какие предложения.

Три гостя привели с собой четвертого, незнакомого мне Юрия Штейна — человека известного в эмиграции благодаря жене Веронике — родственнице Александра Солженицына. В Нью-Йорке она ведала книжным коллектором, который должен был переправлять в СССР запрещенные там книги и журналы.

Предложение было одно, сформулированное коротко и ясно:

— Давайте вместе откроем свою газету. Бензин (материальное обеспечение и издательская техника) — наш, идеи (литературная часть) — ваши. Обязательное условие: вы берете своим заместителем нашего друга Юру Штейна. На зарплату он не претендует. Если возражений нет, мы сегодня же изгоняем «Новый американец» и завтра приступаем к работе над новой газетой.

Возражений у меня не было, и мы ударили по рукам. На радостях я тут же придумал название — «Новая газета»...

Я не посвящал бы вас в подробности возникновения «Нового американца» и моего с ним разрыва, если бы эта газета не стала заметным фактом истории не только эмигрантской печати, но и российской печати вообще. Заметным его сделало участие Сергея Довлатова — писателя, возведенного после смерти в ранг классика современной русской литературы. Он присутствовал и при рождении газеты, и при всех событиях первых месяцев ее жизни.

Не упоминал я его имя до сих пор умышленно. Довлатов — фигура, о которой надо рассказывать отдельно.

Довлатов

Было лето 1979 года. Запись моей передачи закончилась. Я собирался домой, но меня остановила секретарша русской редакции Берта.

— Юрасов пригласил на три часа появившегося в Нью-Йорке ленинградского писателя Довлатова, — сказала она. — Не хочешь его послушать?

Я остался. Мне, одному из немногих в Нью-Йорке, было уже тогда известно это имя — Сергей Довлатов.

Мой однокашник по Московскому юридическому институту Виктор Перельман основал в Израиле ежемесячный журнал «Время и мы». Он, когда приезжал в Америку, попросил меня сделать для журнала статью и предложил быть его представителем, или, попросту говоря, помогать распространять здесь журнал. Статью «Корчной и Карпов», материал для которой я почерпнул, редактируя книжку Рошала, Перельман быстро напечатал. Уезжая, он оставил мне свежие номера журнала для продажи. В одном были отрывки из «Записных книжек» Довлатова. Уже хотя бы поэтому я считал себя обязанным познакомиться с ним лично.

Когда слушатели собрались в конференц-зале, из-за стола, обращенного лицом к публике, поднялся баскетбольного роста красавец в голубом джинсовом костюме, жгучий брюнет с небольшими аккуратными усиками и карими, отливающими бархатистым блеском грустными глазами. В нынешние времена обладателей такой внешности называют «лицо кавказской национальности».

Он показал собравшимся сжатую в кулак ладонь и сказал:

— Могу спорить, что вы не отгадаете, какой предмет спрятан у меня в руке. Это — микрофотопленка, на ней все, написанное мною. Знакомая француженка вывезла ее за границу и передала кое-что в «Континент» и «Время и мы».

Бархатный баритон Довлатова вполне соответствовал его внешнему облику. Он заставлял себя слушать, хотя его обладатель, казалось, не делал для этого ничего. Он вел рассказ, не выделяя ни слова, в одной тональности, в которой угадывалась скрытая ирония — по отношению к себе и к тому, что он говорил. А говорил он о нравах, царивших в ленинградской писательской организации, о том, как, изгнанный с литературной службы, работал сторожем на барже, как его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в Израиль, а на замечание: «Но во мне же почти нет еврейской крови», — ответили: «Пусть вас это не беспокоит, мы позаботимся о том, чтобы вы получили визу».

Все — и содержание сказанного, и манера говорить — выдавало в Довлатове яркую личность.

После беседы был традиционный для таких встреч а-ля фуршет. Вышли из редакции мы вместе. Выяснилось, что ехать нам на метро в одну сторону. По дороге успели перейти на «ты» и, расставаясь, обменялись телефонами.

Еще в метро я решил, что Довлатов — тот человек, который нужен будущей газете, и при встрече с Меттером и Орловым предложил взять его к нам четвертым партнером. Орлов согласился без раздумий, а Меттер решительно возразил:

— Ни в коем случае. Зачем нам делить прибыль на четверых?

После долгого спора, в котором я доказывал, что бессмысленно делить шкуру неубитого медведя и что сейчас главная задача — привлечь одаренных людей, Меттер сдался. С того момента, как я изложил суть дела Довлатову, наша тройка превратилась в четверку.

Нас с Сергеем связало еще одно занятие. Мои ровесники по эмигрантскому стажу московский писатель Марк Поповский и киевлянин Вадим Консон, который — так он, во всяком случае, говорил — до переезда в Америку писал репризы для эстрадной пары Тарапунька—Штепсель, затеяли устный журнал «Берег» и привлекли нас с Довлатовым участвовать в его выпусках.

Еврейские центры и синагоги в тех местах Нью-Йорка и его окрестностей, где поселилось много наших соотечественников, отдавали нам на несколько часов свои помещения, и мы развлекали собравшихся беседами на вольные темы. Поповский делился воспоминаниями о своих московских встречах с академиком Сахаровым, Консон шутил, Довлатов читал выдержки из позже ставшей знаменитой «Невидимой книги», пробовавшая сочинять рассказы Юлия Троль проверяла их качество на слушателях, я рассказывал о спортивных звездах, о закулисной стороне советского спорта, отвечал на вопросы любопытных болельщиков.

Послушать нас собиралось человек по сорок—пятьдесят, главным образом пожилых людей. Билет стоил 3 дол-

лара. Предполагалось, что, за вычетом расходов на микроавтобус, доставлявший нашу команду к залу, и прочих расходов, деньги будут делиться между всеми поровну.

Прожил журнал недолго. Недавно мне попала статья Поповского, где он пишет о своем детище и упоминает, что всего было 15 выпусков. Мы с Сергеем отчалили от «Берега» после четвертого, не получив за свои труды ни гроша. Ушли в знак протеста, причем Довлатов встал на защиту моих прав. Учредители, рассказал он мне, призвали его, чтобы вручить первую получку — долларов около тридцати, а он спросил, учли ли они при распределении гонорара меня. Ему ответили, что и без Рубина заработок ничтожный, а он, Рубин, не та фигура, которая могла бы служить приманкой для зрителей. И Довлатов заявил, что в знак солидарности со мной отказывается от денег и от дальнейшего сотрудничества с «Берегом». Я, как главная жертва эксплуатации человека человеком, разумеется, присоединился к бойкоту.

Довлатовский жест потряс меня до глубины души. Это теперь эмигрант нашего призыва платит 200 долларов за билет на концерт Киркорова только для того, чтобы, увидав его в первом ряду, дальние и близкие знакомые дивились, а враги зеленели от зависти. В те далекие времена жена Сергея Лена, работавшая наборщицей в «Новом русском слове», 8 часов в день гнула спину, чтобы заработать тридцатку за смену. (Сам Довлатов тогда не приносил домой ни гроша.)

Меня не растрогал бы поступок Довлатова, если бы он жертвовал собой ради друга. Но таких знакомых, как я, у него было в Нью-Йорке с десяток. Не мог я считать его поступок проявлением уважения к некоторой моей известности. Правда, он уверял, что еще в Ленинграде слышал мою фамилию, но, по-моему, говорил это, желая сделать мне приятное: спортом Сергей не интересовался совершенно.

Словом, по мере приближения дня, когда Меттер приказал нам явиться для подписания документов о том, что мы получили банковский кредит, Довлатов все рос в моих глазах и к самому этому дню поднялся на недостижимую высоту.

Наконец этот исторический день наступил. Собираясь звонить Довлатову, чтобы передать праздничную новость, я предвкушал удовольствие от его счастливого смеха, от буйной радости, которую он не станет сдерживать. Но услышал я в трубке скучный голос, произнесший слова, явно приготовленные заранее:

— Ребята, я с вами во всем, кроме денег. Рисковать деньгами я боюсь. Так что отправляйтесь в банк без меня.

Приехав на процедуру подписания денежных обязательств, я объяснил партнерам, почему со мной нет Довлатова. Орлов, по своему обычаю, промолчал — он вообще предпочитал роль статиста. Меттер тоже отреагировал внешне спокойно, но, думаю, в душе порадовался: не придется делиться будущими миллионами с лишним партнером.

Меня боязливость, неожиданная в этом большом, могучем физически и, судя по многим признакам, бесшабашном человеке, несколько покорила. Однако и уважительные причины для его отказа я находил. Как-никак, мы с Орловым что-то зарабатываем, Меттер заручился поддержкой труженицы-жены, а Лена, возможно, не захотела, чтобы муж влезал в четырехтысячный долг. Словом, я не видел оснований свертать Довлатова с созданного мною же пьедестала.

О бесшабашности Сергея я судил и по его творениям (он всегда вел рассказ от первого лица и был его лирическим героем), и по его поступкам. Довлатову принадлежал до сих пор не побитый никем из сотен тысяч эмигрантов рекорд: перед вылетом из Ленинграда в Вену он напился до такого состояния, что во время остановки в Будапеште свалился с трапа, и самолет продолжил путь без него, оставленного на ночь в вытрезвителе венгерской столицы. Известны мне были ленинградские приключения Сергея, о которых он рассказывал без всякой похвалы и истинность которых подтверждали его знакомые по доэмигрантской жизни. Да и не стал бы трус сочинять произведения, которые грозили тюрьмой.

В общем, по моим понятиям, все в Довлатове выдавало настоящего мужика. Лишь много лет спустя я убедился в том, что он — не исключение, а, наоборот, под-

тверждение истины, которую не уставал втолковывать мне с детства мой дедушка Липман Нисонович Кронгауз, потомок харьковских раввинов: нет на свете абсолютных трусов и храбрецов, безразличных к славе и честолюбцев, умников и глупцов, скромников и наглецов, а каждый из нас наделен всеми качествами — одними больше, другими меньше, — и проявляются те или иные в зависимости от обстоятельств.

Я уже рассказывал, что первый номер «Нового американца» был сделан в мое отсутствие, а ко второму я вернулся из Лейк-Плесида и занимался им сам в типографии. Довлатов завозил мне свои материалы утром по дороге в редакцию. Он сдавал их минута в минуту, как обещал, идеально выправленными, без единой пометки, с подколотыми к рукописям иллюстрациями — часто собственными шутивными рисунками.

С каждым номером он брал на себя все большую нагрузку, но качество заметок от этого не страдало. Кроме написанных им статей он подбирал выдержки из книг знакомых литераторов, живших в других городах США, созвонившись с ними предварительно и получив их разрешение на публикацию.

Я не мог нарадоваться на его работу. Я не представлял себе, что бы мы делали без Довлатова.

Тем более страшным был нанесенный Довлатовым удар. Удар, которого я никак не мог предвидеть, а потому и найти способ защиты от него.

В один из понедельников Довлатов не явился в типографию. Поначалу меня не насторожило его опоздание — мало ли что может задержать человека, пересекающего городским транспортом такой город, как Нью-Йорк. Заволновался я поближе к вечеру, когда узнал у помогавшего нам студента Леши Кафанова, что накануне вечером тот покидал редакцию вместе с Сергеем и они переездом расставанием немного выпили в соседнем баре.

Я позвонил Довлатовым домой. Трубку подняла мать Сергея. На вопросы о том, где ее сын и что с ним, она лаконично отвечала: «Не знаю». Лены тоже дома не было. О ее местонахождении Нора Сергеевна сообщила: она у родственников в Нью-Джерси — и дала номер телефона.

Лена, с которой у меня сразу сложились дружеские отношения, выложила все залпом и без утайки:

— Он в запое. Я ушла от него навсегда. Я хотела сделать это после прошлого, но он поклялся, что никогда не возьмет в рот ни капли. И опять обманул. Больше я ему не верю.

— Не торопись... Подумай ... С кем не бывает... — мямлил я в трубку первые пришедшие на ум слова.

— Тебе легко говорить, — сквозь слезы продолжала Лена. — Ты не видел его в таком состоянии. Он превращается в животное. Он может выкинуть из окна мебель. Может выскочить полуголый в магазин за водкой. Он мечется по квартире, как дикий зверь. Когда он засыпает, мы привязываем его тушу веревками к кровати. Запой у него длится неделями. А потом — депрессия. Когда она наступает, я не знаю, вышел он из дому за молоком, которым лечится, или принесет пиво и начнет куролесить снова.

Мысль о том, что гибнет газетный номер, я отогнал, сказав себе: как-нибудь выкрутимся. Другая мысль, пронзившая меня молнией, показалась мне спасительной. Я повысил голос, чтобы вторгнуться в этот поток слов:

— Лена, прошу тебя, вернись домой. Даю слово, что этот запой у Сережи действительно последний. Я никогда не лгу. Доверься мне. Я все беру на себя.

Лена упиралась долго, но вяло. По ее тону и по тому, что она дала себя уговорить, я понял: ей и самой хотелось вернуться.

Довлатов появился в редакции недели через полторы. Его лицо осунулось и почернело. Он потерял голос и не говорил, а сипел. Однако я не стал дожидаться, когда он окончательно придет в себя, и приступил к выполнению своего плана.

Главная роль в нем принадлежала моему старому другу Гене Житловскому. В Москве он окончил Первый медицинский институт и перед эмиграцией работал врачом-наркологом в диспансере на Смоленской площади. Жалованье он получал, как все рядовые советские доктора, пустяковое, но всегда был при деньгах и еще помогал растить двух племянников — детей брата. От меня

у него не было секретов: источником его материального достатка служила подпольная частная практика. В иностранном медицинском журнале он нашел статью о методе лечения алкоголиков, не входившем в число тех, которые санкционированы Министерством здравоохранения СССР.

В Америке алкоголическая болезнь — не позор. Да и посвящать окружающих в свой недуг никто не обязан. В США существует даже организация под названием «Общество анонимных алкоголиков». Решил выздороветь — обратиться к эскулапу. Он выяснит, желаешь ли ты стать трезвенником, лежа в больнице, или предпочитаешь амбулаторный путь.

В СССР хронических пьяниц лечили принудительно и обязательно в стационаре. О водворении в клинику человека с диагнозом «алкоголизм» положено было доводить до сведения общественности и его служебного начальства. Все это вместе взятое сулило пациенту такой лечебницы верный волчий билет. Потому алкоголики старались держать свое заболевание в глубокой тайне, а люди, приведенные жизнью к пониманию необходимости вернуться на стезю трезвости и одновременно страшившиеся огласки, искали частных целителей.

И некоторые находили Геню. Он врачевал клиентов на дому и не меньше их заботился о сохранении тайны: ему этот промысел грозил крупными неприятностями. Управлялся он в один сеанс. Он являлся к больному с партнером-реаниматором, на случай, если после укола, сделанного Геней, человеку станет так худо, что его придется возвращать с того света. Перед инъекцией пациенту давали немного выпивки, а после с него бралась подписка, что он предупрежден об ужасных последствиях, которые ему грозят, если еще раз пригубит рюмку. Впрочем, укол отбивал у человека эту охоту, и ему становилось дурно даже от запаха спиртного.

В Москве я свел Геню с тремя моими друзьями — журналистом, тренером и театральным режиссером. Накануне отбытия Гени в эмиграцию вся тройка устроила ему проводы в Доме журналиста: был заказан шикарный обед и много выпивки. Обед ели сообща, а бутылки про-

фессиональный борец с пьянством Геня опустошил в одиночку.

Теперь он, считал я, единственный, кто способен спасти самого Довлатова и помешать разрушению его семьи. Обращение Сергея к легальной медицине исключалось: ее вмешательство требовало таких денег, каких у всех основоположников «Нового американца» вместе не было в помине. А Геню я попросил осуществить операцию бескорыстно.

Серьезные колебания вызвало у Гени то, что он еще не сдал положенный для получения американского диплома экзамен. Он не имеет права заниматься врачебной практикой и, если о сделанном им уколе узнают лица, наблюдающие за соблюдением законов, угодит за решетку. И как санитар, он не сможет ни пригласить реаниматора, ни расплатиться с ним.

Тем не менее мой человеколюбивый друг согласился посетить Довлатова. Меня же он предупредил, что шприц наполнит безобидным новокаином, от которого не умирают, а все остальное — рюмка водки до инъекции и подписка насчет вероятности жуткого исхода после — будет настоящим. На этот трюк, сказал Геня, попадают-ся многие.

Довлатов, в котором сильно было чувство вины за то, что он подвел газету, беспрекословно подчинился моему требованию пригласить Геню. Я познакомил их, и они договорились о времени сеанса.

В условленный час я сидел у телефона, ожидая вестей об исходе операции. Ждал долго. А когда дождался, в первый миг не поверил своим ушам.

— Сережи нет дома, и неизвестно, когда придет.

Однако Геня не разыгрывал меня. Сергей сбежал и попросил домашних передать гостю, что придет нескоро.

На следующее утро он смущенным голосом сказал мне:

— Ты попроси у Германа извинения. У меня страх перед медиками наследственный, от Доната — так, по имени, он называл отца. — Когда его направили на рентген, он смертельно испугался и спросил у медсестры: «Скажите, это очень больно?»

— Новый запой тебя меньше пугает? — возразил я.

— Его не будет. Я все обдумал. Меня губит то, что не могу остановиться после первой рюмки. Но от первой-то я могу отказаться без Гениной помощи.

Через две недели запой у Довлатова повторился. Повторил все то, что пытался сделать при прошлом, и я. Опять сбежавшая в Нью-Джерси Лена дала склонить себя к возвращению. Сергей, приходивший в себя еще дольше, чем в прошлый раз, согласился на новый укол, а обманутый в лучших чувствах Геня — на новый визит.

С некоторыми деталями благополучно, без малейших конфликтов завершившейся второй попытки меня по-прежнему ознакомили довольные собой участники.

Лекарь:

— После укола Сережа сильно побледнел и сказал, что теряет сознание. Пульс у него действительно был учащенный. Когда он себя почувствовал лучше, я дал ему расписаться в бумаге и добавил, что ровно через два года действие укола прекратится и он сможет спокойно выпить. «Но, — говорю, — советую вызвать меня. Так, на всякий случай, для страховки». При расставании он спросил, сколько должен за визит. Я рассудил: человек так устроен, что не ценит бесплатные услуги и не верит тем, кто их оказывает, — и назвал сумму сто долларов.

Пациент:

— Сам-то укол — пустяки. Но почувствовал я себя сразу так, будто вот-вот умру. Все же я успел заметить, как он выбросил какую-то обертку в мусорное ведро. И когда он ушел, достал оттуда эту бумажку. Что в ней написано по-английски, я читать не стал — все равно ничего бы не понял. Но там рисунок — череп, а под ним кости.

Сергей пригласил Геню ровно через два года. Но не за тем, чтобы тот засвидетельствовал прощание Довлатова с жизнью полного трезвенника. Он попросил моего друга, который за этот срок получил на службе повышение и превратился из санитаря в лаборанта, сделать новую инъекцию. И не пил еще несколько месяцев. Но на этот раз двухлетней епитимьи не выдержал.

— Погубил меня Мишка Шемякин, — назвал Довлатов имя известного художника, с которым дружил еще в

Ленинграде, когда я спросил о причинах срыва. — Я был рядом с его студией и зашел. Он сразу полез за бутылкой. Я сказал, что не пью, и объяснил почему. Мишка спрашивает: «А ты не у Гени случайно лечился?» Я кивнул головой. «Так он же шарлатан. Он и меня уколол. Через полмесяца после укола я напился — и жив-здоров». В студии Шемякина я и «развязал».

Я и не знал, что приятный шелест зеленых бумажек в кармане побудит расторопного Геню продолжить свою гуманную деятельность по искоренению пьянства среди соотечественников.

Рассказ Довлатова о причинах своего срыва я услышал несколько лет спустя, при встрече в связи с нашим примирением. До нее мы постоянно виделись на «Свободе», но я делал вид, что не замечаю его попыток поздороваться: Довлатов перестал для меня существовать через две или три недели после Гениного посещения.

Орлов и Меттер предъявили мне ультиматум, касающийся Дембо (тот, что описан несколькими страницами выше), в присутствии Довлатова. Они подошли вплотную к моему столу, а Сергей молча стоял в дверях. Когда Меттер кончил, Жанна подняла на Довлатова глаза и сказала:

— Сережа, эти двое — оболтусы. Но ты же умный и все понимаешь. Так скажи что-нибудь.

Ответа не последовало.

От любви до ненависти один шаг. Я его сделал, прочитав в первом вышедшем после моего ухода номере «Нового американца»:

«Главный редактор Сергей Довлатов».

Я был причастен к возрождению Довлатова как человека и литератора. Пусть это звучит нескромно, но моими стараниями в его семье воцарилась нормальная жизнь, которой Лена, его мать Нора Сергеевна и дочь Катя были лишены годы. За то время, что Сергей не пил, они с Леной произвели на свет сына Колю. И трудился он как никогда прежде продуктивно: создал «Иностранку» и «Невидимую газету», редактировал «Новый американец», делал передачи для «Радио Свобода». Его предательства я никак не ожидал.

Мотивы, которыми руководствовались Орлов и Меттер, были мне известны: они обвиняли меня в диктаторстве, резкости, считали мою требовательность чрезмерной. Но что побудило присоединиться к ним Довлатова, перед которым я благоговел?

Кроме пьянства у него была еще страсть, граничащая с болезнью, — тщеславие. Оно в данном случае и победило порядочность. «Новый американец» приобрел общеэмигрантскую известность не только в США, но и в Канаде, его глава становился заметной личностью в русскоязычной общине. И по мере роста популярности газеты росла мечта Сергея увидеть «Новый американец» с жирной надписью на второй странице: «Главный редактор Сергей Довлатов». И в момент раскола он почувствовал: путь к мечте открыт. И хотя сознавал, что совершает сомнительный поступок, ничего не сумел с собой поделаться.

Думая над природой его предательства, я вспомнил признание, сделанное им в одном из наших бесконечных разговоров. Я как-то обмолвился, что не захватил в Америку, да и не хранил никогда своих книг, вырезок со своими статьями, материалов с упоминаниями о себе в газетах и журналах.

— А я, — возразил Сергей тоном, в котором, как обычно у него при подобных признаниях, сквозила ирония по отношению к себе, — храню каждую заметку, где есть фамилия «Довлатов». У меня уходит уйма времени и сил на их розыск. Я, если узнаю, что где-то названо мое имя, пусть в двадцатистрочной заметке, пишу знакомым и прошу, чтобы нашли и переслали мне статью. Иногда — несколько раз, с напоминаниями. И не успокаиваюсь, пока не разыщу то, что хочу.

В этом специфическом честолюбии проявлялась противоречивость довлатовской натуры. Я употребляю эпитет «специфическое» не случайно. Сергей свято относился к своему писательству, не делая себе скидок, не признавая компромиссов, но не скрывал, что для него журналистика — не более чем способ зарабатывать деньги.

Над литературными произведениями он трудился ежедневно по несколько часов и думал о них постоянно.

Бывали, говорил он, дни, когда ему не удавалось написать больше трех строчек.

Он прекрасно знал русскую классику и умудрялся в Нью-Йорке добывать новые книги ценимых им современных авторов.

— Я не обычный читатель, у меня к чтению корыстный интерес, — не скрывал Сергей. — Я стараюсь у каждого мастера найти отмычку, которой он пользуется, чтобы понравиться публике, и то, что могу в его творчестве почерпнуть для себя. У меня и собственный прием есть. Ты не встретишь у меня фразы, в которой два слова начинались бы с одной и той же буквы.

Преклонение перед словом шло у него от матери Норы Сергеевны — бывшего ленинградского корректора. Прежде чем познакомить меня с ней, Сергей предупредил:

— Внимательно следи за каждым своим словом. Для матери человек перестает существовать, если у него скверный язык. Тут она не признает мелочей. Брякнешь что-нибудь совсем невинное, например «пара дней», или «туалет» вместо «уборная», или «кушать» вместо «есть», и она запомнит это. И ты на всю оставшуюся жизнь станешь для нее человеком второго сорта. Она мне с детства внушала, что «два» и «пара» — несовпадающие понятия. «Парой» можно называть только парные предметы — пару сапог, пару носков, супружескую пару. А пара дней, домов, знакомых не бывает. Их может быть только два.

Кстати, и остроумие Довлатова, и его манера подшучивать над собой, и его умение укладывать свои мысли в форму лаконичную и афористичную — во многом от Норы Сергеевны. Во всем этом она немного напоминала великую актрису, ныне покойную Фаину Георгиевну Раневскую.

Я изредка, а Жанна часто говорили с ней по телефону, и оба получали удовольствие от этих бесед. Жанна, повесив трубку, еще долго продолжала смеяться над рассказами Норы о своей ворчливости, о Лениной забывчивости, о склонности сына покупать себе туалеты на барахолке, об услышанных в магазине словечках из лексикона еврейских местечек.

Последний наш телефонный разговор состоялся недели за две до ее кончины.

— Женечка, разрешите наш спор с Леной. Помните, после смерти Сережи я звонила, чтобы попросить прощения за некоторые его поступки по отношению к вам?

— Отлично помню.

— А Лена твердит, что этого не было. Я всегда говорила, что у нее гнилая память.

Потом трубку взяла Жанна. Начала она с обычного в разговоре с женщиной, которой пошел 92-й год, вопроса:

— Как вы себя чувствуете?

— Уже не двигаюсь, но еще свое говно по стене не размазываю...

Но это — к слову о Довлатове-писателе и о природе некоторых особенностей его стиля. А вот — о Довлатове-журналисте.

Вскоре после нашего примирения мне поручили на «Радио Свобода» составлять и вести 27-минутную передачу «Соединенные Штаты сегодня». Раз в полмесяца Довлатов делал для нее заметку — обычно о том, как чувствуют себя в новой стране и адаптируются к ней эмигранты. Случалось, какая-то формулировка в ней казалась мне неясной или какое-то слово не самым удачным. Я смело обращался с материалами большинства авторов, но прикасаться к рукописям Сергея робел и спрашивал у него: а не лучше ли нам здесь выразиться так, а не этак?

— Да что ты церемонишься? — неизменно отвечал он. — Это же халтура. Делай, как считаешь нужным, я заранее со всем согласен.

И это была не поза. К своим журналистским творениям он относился безразлично и даже несколько презрительно. Заметки его тем не менее служили украшением передач — писать плохо он не умел. Но самому Довлатову реакция людей, которые живут на другом краю земли, которых он никогда не увидит и мнение которых не узнает, была безразлична. Да и неизвестно еще, дойдет ли его голос до этого гипотетического слушателя, или его забьют глушилки.

А читатели «Нового американца» были его соседями по дому, по очереди в магазине «Моня—Миша», который специализировался на торговле русскими продукта-

ми, они ходили к нему в гости. Ему было жизненно важно, гуляя со своей собакой Глашей по 108-й улице, где всегда толпа и русскоговорящих в ней куда больше, чем англоязычных, услышать за своей спиной: «Это Довлатов. Неужели не знаешь? Редактор «Нового американца».

Сразу после моего разрыва с «Новым американцем» в газете появилась рубрика: «Колонка редактора». Ни один номер вплоть до ухода из редакции Довлатова не вышел без его «Колонки». Большинство людей, купив газету, начинали чтение с написанных Сергеем маленьких эссе на самые разнообразные темы. Подкупал доверительный, интимный, моментами даже заискивающий тон заметок. В одной колонке Довлатов так прямо и написал: «Мы доверяем читателю больше, чем себе».

Я читал их с завистью. С одной стороны, был соблазн ввести у себя в «Новой газете» нечто подобное под иной рубрикой. С другой — я отдавал себе отчет в том, что писать заметки с таким изяществом и блеском не сумею. А делать хуже — значит проигрывать конкуренту в борьбе за читателя.

У меня есть изданная в Петербурге в 1996 году книга «Малоизвестный Довлатов», и в ней, в виде отдельного раздела, — все 66 «Колонок редактора» с предисловием автора. Он и название сборнику дал — «Марш одиноких».

Захотелось возвратиться памятью к делам давно минувших дней, и я прочитал их все 66, одну за другой. Это занятие открыло мне глаза на многое, чего я не мог разглядеть, читая заметки каждую отдельно. Я вдруг обнаружил, что эти эссе представляют собой набор банальностей, облаченных в наряд, привлекающий блестками остроумия и красотой точных и одновременно неожиданных фраз.

По-моему, Довлатов-писатель не позволил бы себе выпускать из-под своего пера те мыльные пузыри, которые легко вылетали из-под пера Довлатова-журналиста.

Вот некоторые сентенции, которые выглядели в его изложении так, будто это открытые им, Сергеем Довлатовым, истины. В своих «Колонках» он сообщал, что:

«...читатель «Нового американца» — это обыкновенный человек, простой и сложный, грустный и веселый, рассудительный и беспечный»;

«...газета является независимой свободной трибуной. Эта трибуна предоставляется носителям разных, а зачастую и диаметральных мнений»;

«...есть в советской пропаганде замечательная черта. Напористая, громогласная, вездесущая и непрерывная — советская пропаганда вызывает обратную реакцию»;

«...интеллигентность путают с культурой. С эрудицией. С высшим образованием или хорошими манерами. Даже с еврейским происхождением»;

«...мы восхищаемся Солженицыным и потому будем критически осмысливать его работы»;

«...зовут меня все так же. Национальность — ленинградец. По отчеству — с Невы»;

«...хочется верить, что Соединенные Штаты найдут возможность помочь беженцам и дальше. Потому что Америка — страна классической демократии»;

«...мы выражаем интересы шестидесяти тысяч беженцев из Союза. Наиболее жизнестойкой части советского еврейства. Всех тех, кого благородно приютила загадочная и непонятная Америка»;

«...народ — это совокупность человеческих личностей. История народа — совокупность человеческих биографий. Культура, религия — необозримая совокупность человеческих деяний и помыслов. Повышенное расположение к себе — есть нескромность. Повышенное расположение к своему народу — шовинизм»;

«...обеспечив себя зерном, большевики увеличат военные расходы. Высвободят средства для осуществления милитаристских планов»;

«...истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней правду»;

«...тоталитаризм — это вы. [В интересах объективности должен пояснить: Довлатов обращается в данном случае не к советским вождям, а к владельцу «Нового русского слова».] Тоталитаризм — это цензура, отсутствие гласности, монополизация рынка, шпиономания, консервативный язык, замалчивание истинного дара. Тоталитаризм — это директива, резолюция, окрик. Тоталитаризм — это чинопочитание, верноподданничество и приниженность».

То, что с пафосом пророка провозглашает Довлатов в этих строчках, сгодилось бы и для передовиц «Правды»,

если вместо «США» написать «СССР» и вместо «коммунизм» — «империализм». Это настолько тривиально, что даже Довлатову, с его абсолютным слухом на слова, приходится иногда заимствовать правдинские обороты. Хотя и ими он пользовался творчески — нет в его «Колонках» предложений, в которых два слова начинались бы с одной и той же буквы.

Представляю себе, как скверно было на душе у Сергея, когда он отправлял свои эссе в набор. Он знал, что их увидят его друзья и соратники по газете Петя Вайль и Саша Генис, для которых нет на свете ничего выше литературы, а в ней — выше писательского стиля. Но он превозмогал себя. И скорей всего, находил оправдание в том, что они, прочитавшие каждую строчку повестей, рассказов, «Записок» Довлатова, отнесутся к его заметкам снисходительно.

А может, и не терзала его мысль об избранных читателях, может, он заранее признался им в том, что значит для него газетная работа. И как бы вынес их мнение за скобки, оставив внутри скобок мнение пяти тысяч менее требовательных потребителей своей продукции.

Скорей всего, так оно и есть. Иначе он не решился бы посвятить одну из «Колонок» собаке Глаше, другую — тараканам.

Нельзя требовать от пишущего, чтобы он не выходил за пределы определенного круга тем. У Чехова в бытность его Антошей Чехонте обыкновенная пепельница вызывала рой образов и ассоциаций. Писать можно обо всем, лишь бы это было интересно читать. Но «Колонка редактора» — не «Уголок натуралиста», она выражает позицию газеты по ключевым, принципиальным вопросам. Животный мир — за их пределами.

Впрочем, свое эссе о тараканах Сергей постарался превратить в проблемную статью. И проявил чуждое себе — литератору — и присущее себе — журналисту — легкомыслие. Он пишет, что среди редких преимуществ СССР над США — отсутствие тараканов. Здесь они вездесущи и неистребимы, а в Союзе их нет. Я, как всегда остроумно замечает он, снимал в доме маленького городка комнату, где сквозь щели в полу проникали собаки. А таракан-

нов не видел. Ни там, ни в России вообще. Но — простим этот грех Америке, призывает Довлатов. Во-первых, тараканы — существа безвредные и чистоплотные. Во-вторых, хотя есть они в этой стране, зато не найдешь в ней червивого яблока и гнилой картофелины, «не говоря уже о старых большевиках».

Платон мне друг, но истина дороже! Не мог Довлатов, подолгу живший вне Ленинграда, заблуждаться на счет отечественных тараканов. Не мог не знать, что несметные полчища прусаков — обязательная принадлежность деревенской избы, порожденная вековой грязью, в которой тонет российская деревня, и неизбывной из-за русских печей, отсутствия нормальных уборных и водопровода. Не мог не знать, что «таракан запечный» — чисто русское словосочетание. Не мог не знать, что в Америке, со стерильной чистотой маленьких городков, из которых эта страна в основном и состоит, большинству населения о тараканах известно лишь по газетным статьям про жизнь в тюрьмах и в застроенных многоэтажными зданиями мегаполисах.

К слову, я живу в шестизэтажном здании самого насыщенного небоскребами города мира. Лет десять назад у нас в доме сменились хозяева. И в течение недели вывели тараканов. Те позорно бежали и навсегда забыли обратную дорогу. Нет, Довлатов не заблуждался. Но так велик был соблазн услышать от соседей, от пенсионеров, режущихся в «козла» на набережной у Брайтон-Бич, от домохозяек, толпящихся в магазине русских продуктов: «Во, дает!» — что не мог ничего с собой поделать.

Конечно, он предпочел бы литературную славу, ту, что улынулась ему незадолго до смерти и стала общенародной, когда он умер. Но в 80-е годы его проза не проникла в Россию сквозь железный занавес, а в Америке российский книжный рынок ничтожен — широкие массы эмигрантов к изяшной словесности равнодушны.

Не грело Довлатова и то, что он — единственный после Набокова русский писатель, которого напечатал журнал «Нью-Йоркер». С американцами он не общался, а соотечественники, кроме полудюжины рафинированных интеллектуалов, о таком издании не слыхивали.

И он искал удовлетворения своему честолюбию в «Колонках редактора». И чтобы убедить себя и других в популярности «Нового американца», готов был выдавать желаемое за действительное. Вот выдержка из предисловия к «Маршу одиноких»:

«О нас писали все крупные американские газеты и журналы. Я получал вырезки из Франции, Швеции, Западной Германии. Был приглашен как редактор на три международных симпозиума. Вещал по радио. Пестрел на телевизионных экранах».

Можно признать наличие в этом утверждении некоторой доли истины при одном условии — если заменить «мы» на «я». Но Сережа предпочел местоимение множественного числа, чтобы не вызвать упреков в бахвальстве.

На самом деле не «Новый американец», а его повести были переведены на несколько языков и на них в этих странах откликнулись литературные критики. Не Довлатов-редактор, а Довлатов-литератор приглашался на международные симпозиумы, на которые вместе с русскими писателями съезжались американские слависты.

Что же до телевидения, то русскоязычное ТВ возникло уже после смерти Сергея. По-английски же он мог разве что поздороваться и спросить, который час. Какое уж там «пестрение» на экранах...

В одной довлатовской «Колонке» приводится письмо ленинградских друзей Сережи. До них, оказывается, дошли несколько разрозненных номеров «Нового американца». Друзья хвалят газету — «живую, яркую, талантливую» — и призывают «помнить о нас» — тех, кто остался в Союзе, и о собственном прошлом, «от которого не уйти».

Есть в стилистике письма особенность: не нашел я в нем предложения, в котором два слова начинались бы с одной и той же буквы. Что ж, привычка — вторая натура. Увлечшись работой, Сережа забыл, что не он, а некий анонимный друг — автор этого письма.

Довлатову-писателю не раз приходилось слышать упреки: вот вывел меня Серега в своей повести и половину наврал. Мне, например, он под разными предлогами долго не дарил «Невидимую газету». А когда наконец вручил с автографом, признался:

— Я все тянул из боязни, что ты сочтешь один персонаж списанным с тебя и обидишься: мол, наделил я тебя не твоими чертами. Но я не пишу портреты. Мои образы собирательные, в них взято у всех понемногу. Потому я им и имена даю вымышленные.

Нет, я не был на него в обиде. Право писателя надевать свои персонажи качествами разных людей. У журналиста такого права нет. Профессиональная этика запрещает ему цитировать придуманное самим письмом, утверждать, что редакция ежедневно получает сотни конвертов, когда их на самом деле не больше трех штук, писать о финансовом преуспевании газеты за полтора месяца до ее гибели от отсутствия средств.

Ставшая афоризмом строка великого поэта: «Служенье Муз не терпит суеты» полностью приложима к Довлатову. Суетлив и не требователен к себе он был в журналистике. Но среди семи муз, которые были известны еще древним грекам, музы по имени Журналистика нет.

Я пишу о Довлатове и не могу отделаться от сомнений: не слишком ли прямолинейна концепция, выбранная мною, чтобы объяснить противоречия между двумя Довлатовыми — литератором и журналистом? Мои колебания не беспочвенны. В разговорах он беззлобно подсмеивался над эмигрантами, о которых писал. Но есть в жизни эмиграции одно явление, которое он, справедливо или нет, искренне ненавидел, — газета «Новое русское слово». Ненавидел ее, говорил он, убогий, вышедший из употребления язык, ее провинциальность, ее второсортность. По его глубокому убеждению, это издание душит попытки создать в Америке современную русскоязычную прессу и пользуется грязными приемами, чтобы, как сказано в его «Колонке», «монополизировать рынок» (он имел в виду газетный рынок).

Разве не могло быть так: принимая редакторский пост в «Новом американце», он сказал себе: в моих руках, а не Рубина газета будет способна сразиться с «Новым русским словом» за подписчика? Разве исключено, что, не брезгая подтасовками в своих эссе, лебезя перед читателем, он говорил себе: это — жертвы, приносимые на алтарь борьбы с «Новым русским словом» и оправданные высокой целью?

Да, все могло быть. Человек чаще всего — цельная натура. А этот человек был во многих отношениях шепетильно порядочен и деликатен, бескорыстен и щедр. Он порвал с устным журналом «Берег», когда узнал, что меня обошли при распределении гонорара. Он и из «Нового американца» ушел потому, что купивший его делец по фамилии Дескал пожелал диктовать журналистам направление и линию газеты.

А вот как мы с Сергеем заключили мир. Это произошло в середине сентября 1982 года, накануне превращения еженедельника «Новая газета» в ежедневную газету «Новости». («Новый американец» уже прекратил существование.)

Посредником в примирении стал наш с Довлатовым общий шеф на «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Он позвонил мне домой из редакции.

— Серега просил узнать, не пошлешь ли ты его на три буквы, если услышишь в трубке его голос? — спросил Гендлер, правда не прибегая к иносказаниям, а называя вещи своими именами.

— Не пошлю, — ответил я: как все вспылчивые люди, я давно остыл, а признание довлатовского мастерства и таланта осталось.

Пока мы говорили с Гендлером, Сергей стоял с ним рядом. Я понял это по тому, что между первым звонком и следующим прошло ровно столько секунд, сколько требуется, чтобы набрать номер.

— В нашем конфликте правда была на твоей стороне. Я остро чувствую свою вину и прошу у тебя прощения, — в своей манере, без интонаций, монотонно, говорил Довлатов. — Мне бы хотелось, чтобы мы встретились как можно скорей. Мне надо многое с тобой обсудить. Сразу скажу одно. Ты начинаешь великое дело, и, как бы все ни обернулось, я с тобой.

В назначенный час я ждал его у ближайшей к моему дому станции метро. Он предложил зайти в пиццерию. Но Жанна, осведомленная о нашем свидании, уже накрыла стол, и я повел его домой.

Мы втроем по российской привычке уселись на кухне. Было за полночь, когда я проводил его до метро.

Обсудить со мной Сергей хотел один вопрос: чем он может быть мне полезен в ежедневной газете. Мне уже к тому времени наняли двух переводчиков, двух корректоров, двух наборщиц, метранпажа и всем положили недельное жалованье. Бесплатно должен был работать только я до тех пор, пока газета не перестанет нести убытки. Я предложил Довлатову стать моим замом и назвал сумму зарплаты. Он ответил:

— Я к тебе пойду. Но при одном условии: никаких зарплат. По крайней мере сейчас. А там видно будет.

И снова, как когда-то, он был самым лучшим, самым надежным и беззаветным работником. Писал свои статьи, должно быть, ночами. На работу являлся к десяти утра, домой я его завозил к полуночи, по дороге из типографии, где печатали газету.

Рассказ о том, как и почему я был изгнан из «Новостей», — в следующей главе. Это случилось через три месяца после ее рождения, в канун Нового года. Довлатов остался. И доработал до апреля, когда она закрылась. Забыл, видно, свое телефонное обещание.

Его второе отступничество не пробудило во мне ни возмущения, ни обиды. Страсти по газете уже не жгли мое сердце. С годами мне передалась атмосфера терпимости, которой проникнута американская жизнь. Я знал, что к моему увольнению Сергей касательства не имел, и на мое место поставили не его, а другого человека.

Мы по-прежнему виделись на «Свободе». Он приносил мне заметки для «США сегодня», и я с удовольствием включал их в передачу. Мы оба перестали грезить газетой. Сама собой оборвалась нить, которая нас связывала и не давала разойтись далеко даже при обоюдном желании сделать это.

По профессиональным интересам ему были куда ближе Вайль и Генис. Они настолько же превосходили меня в литературной эрудиции, в знании и понимании литературного процесса, насколько я их — в знании изнанки спорта, к которому Довлатов был безразличен.

Встречаясь в редакции «Свободы», мы с Сергеем иногда подолгу болтали. Изредка пили вместе чай на довлатовской или нашей кухне. Это были отношения добрых знакомых — и не более того.

Когда Сергей исчезал на какой-то срок, я легко заменял его заметку, запланированную для передачи, другой. Однажды причиной его долгого отсутствия была поездка на писательский конгресс в Испанию. Он летал туда в личном самолете какого-то техасского миллиардера вместе с его женой, которая была причастна к устройству конгресса как благотворительница. В других случаях Сергея отрывали от работы на «Свободе» приглашения выступить в отдаленных от Нью-Йорка университетах.

Пропадал он и из-за запоев. Протрезвев, являлся в редакцию и безуспешно пытался начитывать свои заметки в студии — из его горла вырывался только хрип.

Каждый запой оставлял на нем следы, как оставляли их пороки на портрете Дориана Грея. Он грузнел, седел, старел. Недуг прогрессировал. Жанне он как-то пожаловался:

— Самое мучительное в этом состоянии то, что я лишился сна. С некоторых пор, едва задремлю, просыпаюсь от ощущения, будто по мне ползают какие-то отвратительные скользкие существа.

Так чувствовал себя он. А чувства, которые испытывали его домочадцы, не сдержавшись, выразила во время очередного приступа у сына Нора Сергеевна, позволив Жанне:

— Хоть бы он не проснулся! Освободил бы всех нас от мук!

Я сочувствовал и ему, и его семье, но ничем не мог быть им полезен. Сергей теперь был осведомлен о том, что Геня обманывал его, а другими средствами я не располагал.

В середине августа 90-го года Нью-Йорк задыхался от зноя. Было начало недели, когда Довлатов, долго не появлявшийся на «Свободе», пришел почерневший, безголосый, с потухшим взглядом. Так он обычно выглядел, когда выходил из запоя. Поближе к концу дня стал прощаться.

— Серега, ты домой? — спросил я, желая предложить ему себя в попутчики.

— Нет, в Бруклин, — просипел он.

Те, кто слышал этот ответ, поняли: быть рецидиву. Нетрудно было представить себе, как он пьет и теряет

рассудок, как чувствует себя — покрывшийся липким потом и обессиленный этой жуткой жарой, этим воздухом, в котором, кажется, не осталось кислорода.

— Ты с ума сошел! Езжай домой и выпипись. Бруклин обождет, — попытался урезонить его Вайль, а вслед за ним другие.

В похмельном состоянии все мы упрямы и уверены, что протрезвели. Довлатов был глух к уговорам и уехал в Бруклин. Больше на той неделе в редакцию он не заглядывал. Домой — тоже.

В пятницу, придя с работы, я переоделся, захватил свежий «Огонек» — с недавнего времени его стали продавать в киосках районов, где живут эмигранты из России, — вывел из гаража машину и через час с небольшим был на даче.

Журнал я привез для Жанны. В нем были рассказ Довлатова и интервью с ним.

Прочитав, Жанна произнесла тоном, каким объявляют войну:

— В понедельник еду с тобой в Нью-Йорк. И на «Свободу» тоже. Пусть при мне повторит то, что тут написано.

Я и сам заметил абзац в интервью, выведший из равновесия мою жену. Довлатов рассказывал о депрессии, одолевшей его в первые месяцы эмиграции, о том, как, не зная, куда себя деть, целыми днями валялся на диване, и как однажды его осенило: надо создать газету!

Интервьюер называл Довлатова основателем и, с Сережиных ли слов или нет, первым редактором «Нового американца».

В Нью-Йорк Жанна и в самом деле поехала вместе со мной. Не в понедельник, а в воскресенье. И не в редакцию «Радио Свобода», а в похоронный дом «Парк Сайд», на панихиду.

Сергей лежал с подогнутыми коленями в коротком и тесном гробу. После панихиды длинная вереница автомобилей проследовала за гробом на кладбище.

Умер в пятницу утром в Бруклине, в квартире какой-то женщины.

«Новая газета»

16 лет спустя после того, как окончилась моя газетная одиссея, позвонил из пражской редакции «Радио Свобода» журналист Иван Толстой. Он занимается историей послевоенной русскоязычной прессы в Америке и коллекционирует эмигрантские периодические издания. У него есть почти полное собрание «Новой газеты». Меня он просит написать и прочесть по радио семиминутную заметку о том, как эта газета возникла и как жила.

Заметку я написал и легко уложился в отведенное время. Мог, думаю, если бы потребовалось, сократить ее минуты на две. А мог бы сотворить целый том.

Когда восстанавливаешь в памяти неблизкое прошлое, события и люди рисуются не совсем такими, какими казались тогда, когда видел их крупным планом. Детали всплывают не сразу. Сначала — общий план.

На нем я отчетливо вижу согбенную фигуру, бредущую по ухабистой дороге. Его, побирušку, выкинули из приюта. Кто-то подаст хлебную корку. Кто-то пустит переночевать. Утром калика переходящий, еле переставляя ноги, плетется дальше в смутной надежде, что там, у горизонта, его ждут и готовят ему стол и кров. Кто ждет? Бог знает.

Этот нищий — я. Совладельцы издательства «Энифототайп» Юра, Толя и Нолик терпели мое присутствие довольно долго. Я и мое дело им нравились. Ради меня они обманули своего партнера-американца. Сказали, что я клиент их типографии, хотя приняли меня в долю. Естественно, обман рано или поздно должен был раскрыться: на банковский счет издательства не поступало от «Новой газеты» ни цента. Когда американцу это надоело и он потребовал гнать меня в шею, им не оставалось ничего другого, как выполнить волю партнера.

Впрочем, они не очень-то и сопротивлялись. Они ведь хотели объединиться со мной не для того, чтобы вместе сеять разумное, доброе, вечное. Они верили, что газета будет приносить приличный доход, который позволит им избавиться от американца. И когда уразумели, что ей

предстоит длительная борьба за выживание и до доходов дело, возможно, не дойдет никогда, попросили меня поискать партнеров побогаче и потерпеливей.

Наш альянс длился года полтора. Расстались мы без взаимной вражды. Более того, Юра, Толя и Нолик выказали нечастое для бизнесменов благородство. Я пообещал им оплачивать набор газеты, а они за это согласились какое-то время не выселять меня из той комнатухи на территории издательства, где я трудился над номерами.

Позже, когда оплачивать стало совсем уж нечем, нам — Жанне, мне и присоединившемуся к нам Павлу Палею — пришлось собирать пожитки. Но еще до этого меня покинул единственный наемный служащий Паша Дембо. Он устал гоняться за Синею птицей в виде работы по специальности и существовать на 130 долларов в неделю, он поступил на курсы программистов. Приданный «Энифототайпом» мне в замы Юрий Штейн ушел так же, как пришел, — вместе с парнями из Черновцов.

Как и «Новый американец», мы жили впроголодь, еле дотягивая до очередного чека за проданные в киосках номера. Иной раз нечем было оплатить почтовые расходы за отправку газеты подписчикам. Почта — учреждение государственное, в долг она не верит. И Жанна, ворча и тяжело вздыхая, лезла в сумочку, где лежали деньги на продукты для нашей маленькой, но не страдающей отсутствием аппетита семьи.

Эмигрантам последнего десятилетия трудно поверить, что в эпоху «Нового американца» и «Новой газеты» два еженедельника на всю русскоговорящую Америку не могли свести концы с концами и постоянно балансировали на грани жизни и смерти. Сегодня в Нью-Йорке выходят десятки таких еженедельников.

Неподалеку от моего дома, на углу 82-й стрит и 37-й авеню в Квинсе, есть магазин, торгующий прессой этнических меньшинств. Одна его полка занята выходящими в Нью-Йорке газетами на русском языке. Все это, кроме «Нового русского слова», еженедельники. Вот названия, которые мне удалось запомнить: «Курьер», «Русская реклама», «Русский базар», «В новом свете», «Интересная газета», «Печатный орган», «Новый меридиан».

В киосках на Брайтон-Бич — столице эмиграции — этих газет, журналов и журнальчиков гораздо больше. В Лос-Анджелесе, Филадельфии, Чикаго, Атланте, Балтиморе тоже есть своя русскоязычная пресса.

Мы из кожи вон лезли, выпуская газеты на тридцати двух страницах. Я перелистал нынешние и глазам своим не поверил: в «Курьере» и «Русской рекламе» по 130 — 140 полос, в других — по 50—60. Газеты забиты платными объявлениями.

Возможно, нынешние еженедельники не купаются в долларах — работающие в них жалуются: платят мало. Но и не умирают.

Разное говорят о причинах их относительного благополучия. Одних будто бы содержат местные богачи, чтобы убытки от газетного бизнеса позволили им уменьшить облагаемые налогом суммы дохода от своих преуспевающих предприятий. Другие, согласно сплетням, созданы с целью отмывать деньги новых российских миллионеров. Какую-то газету кормит «Московский комсомолец», какую-то — Аэрофлот.

Я сейчас далек от местной русскоязычной газетной кухни и не берусь судить, велика ли доля правды и есть ли она вообще в этих слухах. Для меня очевидно одно: та волна, что докатилась сюда из СССР в 70-е годы, несравнима с девятым валом, нахлынувшим на берега Нового Света в послеперестроечный период. Несравнима не столько количеством, сколько материальным положением.

Язык не поворачивается назвать нынешних пришельцев беженцами. Покидавших родину тогда она выпускала, предварительно ограбив до нитки. Единицам вроде Димы Подлога, с которым вы уже знакомы, удавалось утаивать от государственного грабежа и переправлять в Америку кое-какие крохи. Остальным приходилось, чтобы не стоять на улице с протянутой рукой, считать каждый цент.

В Нью-Йорке при уборке домов и квартир пришедшие в ветхость вещи не выбрасывают на помойку, а выставляют на улицу. Их собирают в определенные дни специальные грузовики и увозят на загородные свалки. Наши

ровесники по эмигрантскому стажу облегчили труд мусорщиков. Они добирались заблаговременно до этих груд хлама, разгребали мусорные кучи и все, что развалилось не окончательно — кушетки, столики, тумбочки, торшеры, настольные лампы, испещренные трещинами тарелки и поломанные телевизоры, — уносили домой.

Хотите верьте, хотите нет, но в моей квартире до сих пор стоит найденная на улице тумба для белья. Правда, знакомый столяр, постучав по ее бокам, установил, что сделана тумба из красного дерева.

«Новое русское слово» выходило прежде шесть раз в неделю. В будни номер стоил 25 центов, воскресный — полтинник. Беженец средней руки подсчитывал годовой расход, и получалось, что он образует заметную дырку в семейном бюджете. Тратиться еще на одну газету представлялось необязательной роскошью.

Но у «Нового русского слова», которое постарше ленинской «Правды», был еще постоянный круг подписчиков — люди, покинувшие Россию в начале века, после октябрьского переворота, в годы войны. Ни язык, ни тематику двух еженедельников-высочек, выползших из чрева презираемой ими еврейской эмиграции, они не только не признавали, но брезговали взять в руки.

У эмигрантов 80-х и 90-х годов власть не отнимает ни денег, ни ценностей. Нужду в Америке испытывает лишь тот из них, кто нуждался там, в России, да и те приехали, списавшись со вставшими давным-давно на ноги родственниками.

Мой старинный знакомый и коллега, прежде чем получить добро на эмиграцию, посетил США с женой — выяснял, хорошо ли им тут будет на заслуженном отдыхе. Когда власти дали ему разрешение, отправил в Нью-Йорк жену, а сам же застрял в Москве еще на год — продавал квартиру, дачу, «Волгу», картины, старинную мебель, которую любил и коллекционировал. Думаю, привез он в Америку несколько сотен тысяч долларов.

Другой знакомый вообще не хотел эмигрировать — ему, адвокату, и дома жилось хорошо, — но сделал это по настоянию сына. Сын — как теперь называют принадлежащих к его сословию, «крутой» или «новый русский»

— потребовал, чтобы отец с матерью и внуком уезжали. Он объяснил причину: в России наступили времена, когда такие же, как сам он, «крутые» могут убить или сделать заложниками членов семьи соперника. Сын лично доставил родителей и свое чадо в Нью-Йорк, снял и оставил дорогую квартиру, купил хороший автомобиль. Если ностальгия начинает уж очень одолевать пожилых супругов, они оставляют внучонка с няней и летят на родину — навестить сына, пообщаться с друзьями, посетить новые спектакли московских и петербургских театров.

Оба моих пожилых знакомых получают как нетрудоспособные пособие от штата. А те, кто помоложе, покупают химчистки, прачечные, пекарни, кафе, обзаводятся лицензиями на право торговать недвижимостью, страховать имущество, водить лимузины. Словом, заниматься делами, которые позволили тысячам их предшественников, приехавших одновременно с нами, расстаться с нуждой и встать на ноги. А некоторые неофиты окунулись в новый, неведомый их предтечам бизнес — поставляют дефицитные товары в Россию, где наладили деловые связи заблаговременно, до отъезда в США.

Приятельница Жанны насчитала в Нью-Йорке девяносто два русских ресторана. Чтобы устроить в любом из них торжество на двадцать—тридцать персон, надо резервировать места за два-три месяца. Цена — от 150 до 300 долларов с пары, в зависимости от великолепия шоу, которое предлагает ресторан. Самый шикарный и самый поэтому дорогой — «Распутин», рассчитанный на полтысячи гостей. Желающие устроить там банкет должны внести аванс за полгода.

«Новое русское слово» теперь стоит 60 центов по будням и доллар по воскресеньям. Большинство еженедельников — полтинник. Две-три десятки в неделю, выброшенные на ворох газет, для эмигранта 90-х годов — пустяк. Покупает он все, что попадется под руку, и несет престарелым родителям. Те не умеют читать по-английски и скучают, нянча его детишек.

В пору появления на свет прежних еженедельников владелец «Нового русского слова», опасавшийся конкуренции, заявил своим рекламодателям:

— Запретить давать рекламу в «Новую газету» не могу, но предупреждаю: увижу там ваше объявление, отменю скидку на него у себя. Будете платить в полтора раза дороже.

Сегодня его угрозы никто бы не убоился: у еженедельников тоже приличный тираж. А желающих привлечь своими объявлениями внимание русскоязычной публики столько, что хватило бы еще на дюжину газет.

Помню, моя наивная жена добилась приема у администратора сети продовольственных магазинов «Вальдбаумс». Она думала: раз магазины эти торгуют кошерными продуктами и к еврейским праздникам готовят особый ассортимент — значит, должны проявить интерес к такому покупателю, как еврей-эмигрант из СССР. Приняли Жанну любезно. Сказали, что рады были бы помочь новорожденной газете, но, как говорят французы, «положение обязывает» — обязывает крупную корпорацию воздерживаться от помещения рекламы в этнические издания, чтобы не уронить свой престиж.

«Вальдбаумс» — козьявка рядом с опутавшей своими сетями всю планету телефонной компанией AT&T. Она теперь покупает в русскоязычных газетах полосы, чтобы сообщить о льготных ценах на звонки в Россию и другие бывшие советские республики. Русский рынок стал приманкой для крупнейших фирм.

А мы задыхались от безденежья. И никогда не были уверены в том, что номер, который мы готовим, не станет последним.

Наверное, самым разумным для нас с Жанной, брошенных авторами и соратниками-волонтерами, было бы прекратить это сражение с ветряными мельницами. Но прекратить — значило признать себя побежденными и оставить поле боя конкурентам. И мы, как гвардия, которая умирает, но не сдаётся, продолжали борьбу.

Ангел-хранитель, принявший облик Павла Давыдовича Палея, слетел ко мне в момент почти полного отчаяния.

Я стоял у подъезда дома, в котором мы живем. Из машины, притормозившей рядом с подъездом, вышел худощавый седой мужчина, поздоровался и, уловив в

моем взгляде недоумение, сказал, что мы уже однажды встречались. Он подрабатывает, фотографируя гостей большого русского ресторана в Бруклине. Пока те насыщаются, выпивают, танцуют, он успевает отпечатать снимки и продает их желающим увидеть свое изображение на фоне бутылок и яств. В этом самом ресторане Палей заметил и запомнил меня.

Дальше он сообщил, что был другом Владимира Высоцкого, много знает о нем и хотел бы, чтобы это узнали все. Он обращался к журналистке Людмиле Кафановой, с которой давно знаком. Она пишет статьи в «Новом американце». Кафанова сказала, что газета может отвести Высоцкому не более страницы, и согласилась записать воспоминания Палея. Когда приступили к работе, какие-то странные звуки заставили его прервать рассказ. Он поднял глаза на Кафанову и понял, откуда они исходят. Та похрапывала во сне.

— Сейчас, — продолжал Палей, — увидев вас, я подумал: может, «Новая газета» моими заметками о Высоцком заинтересуется? Денег мне не надо. Для меня это дань памяти друга.

Я ответил то, что и должен был: да, заинтересуется и отдаст повествованию о Высоцком столько места, на сколько хватит у Павла воспоминаний.

Оказалось, что живет Палей с женой, сыном и дочерью в двух кварталах от нас. Он стал приходить к нам почти ежевечерне.

Рассказчиком он проявил себя превосходным. Мы расставались далеко за полночь. Следующую ночь я посвящал записи рассказанного. Затем мы эту запись прочитывали и устранили неточности.

Павел ПАЛЕЙ ПОВЕСТЬ О ВЫСОЦКОМ

— двумя этими крупно набранными строчками открывались центральные развороты «Новой газеты» шестнадцатая неделя подряд.

Палей теперь заезжал за нами по утрам и отвозил в редакцию. Там задерживался — помочь упаковать газету для рассылки подписчикам, отнести на почту мешки с

очередным номером, подбросить Жанну в Бруклин за чеком от рекламодателя. И все это — бескорыстно.

Я чувствовал себя неловко, не зная, чем отплатить Павлу за оказываемые нам бесконечные любезности. И однажды, когда он вез нас, тогда еще «безлошадных», в своем «бьюике» на работу, сделал ему предложение, родившееся здесь же, в машине, и потому неожиданное не только для него, но и для меня:

— Паша, хочешь быть моим партнером? Только не отвечай сразу, а подумай как следует. Учти, что, во всяком случае в ближайшие месяцы, это партнерство не сулит тебе ничего, кроме нервного трепки.

Палей моему совету не последовал. Он согласился сразу. И продемонстрировал на поприще менеджера неимущей газеты чудеса ловкости и изворотливости.

Эта его ловкость, его дружба с великим бардом, его бессеребренчество, вся его жизнь, о которой он поведал мне своим чуть хриплым, будто раз и навсегда простуженным голосом, какие я слышал в Северодвинске от бывших зеков, сделали для меня Палея чем-то вроде иконы. Я верил в него и верил ему беспредельно.

Для его жизнеописания, переданного с сохранением его слов и его оборотов речи, без всяких авторских домыслов подошло бы заглавие: «Повесть о настоящем человеке».

Эпизоды из своего прошлого он приводил как бы к случаю:

— А вот я, когда пошел в тридцать девятом в армию добровольцем...

Из этих разрозненных отрывков у меня сложилась цельная картина его необычайной судьбы. Восстанавливаю ее по памяти.

Девятнадцатилетним мальчишкой Палей попал на войну с финнами. Там был — кажется, за поимку «языка» — награжден орденом Красного Знамени. Потом поступил в Ленинградский институт киноинженеров. Ни окончить его, ни воевать с немцами не пришлось. Павла посадили по доносу приятеля за антисоветский анекдот.

Началась Отечественная война, и население тюрем, не исключая подследственных, вывезли из Ленинграда.

Однажды Палея по приказу следователя привязали голым к дереву рядом с болотом. Над ним вились тучи комаров, которых он не мог отогнать. Комары пили из него кровь. Издевательства изувера-следователя привели к тому, что Павел откусил ему нос.

Приговорили Палея по статье 58-10 Уголовного кодекса, карающей антисоветскую агитацию и пропаганду, к высшей мере наказания, но заменили расстрел заключением в лагерях.

Все 17 лет неволи он провел в местах, о которых сложена песня: «Колыма, Колыма, прекрасная планета, двенадцать месяцев — зима, остальное — лето». Там научился водить машину и стал шофером полуторки. Гонял ее по тундре, по ее едва различимым в глубоком снегу и покрытым льдом колеям. Возил, что прикажут, в том числе лагерное начальство.

После освобождения его долго не пускали в Ленинград. Жил он то ли в Новосибирске, то ли в Красноярске. Там и нашел себе жену Аллу — коренную сибирячку.

Еще в лагере Палей подружился с молодым парнем, угодившим в заключение прямо из казармы. Если память мне не изменяет, осудили парня за то, что ударил офицера, который домогался его любимой девушки. Потом был неудачный побег из тюрьмы и — новый срок.

Тогда-то они и сошлись — Палей и Туманов. Тот самый, что в послеперестроечную эру стал известной всей стране личностью. Прославился он новаторскими методами организации добычи золота и тем, что стал благодаря этому новаторству сказочно богат.

После освобождения Туманов организовал первую в советской истории старательскую артель, до нее добычей золота занимались только государственные предприятия. Производительность труда и заработка членов артели достигли небывалой высоты.

Туманов, по долгу дружбы и из благодарности за заботу и помощь в период заключения, взял Палея в артель и назначил коммерческим директором. Получал Павел — вместе с премиями и прогрессивкой — две тысячи сто рублей в месяц. На приисках бывал наездами.

Постоянно находился в Москве и Ленинграде задолго до того, как получил вид на жительство в режимных городах. Артель круглый год оплачивала содержание номера для него в гостинице «Россия».

Занимался Палей хождениями по министерствам и ведомствам — добывал трейлеры, бульдозеры, спирт, дефицитные продукты, одежду, лес, вагоны для доставки всего этого добра в Сибирь. Вozил он к старателям и Высоцкого, и тот написал после поездки песню, правда не вошедшую в его золотой фонд.

Снова посадили Павла, кажется, в 77-м, когда он уже подал заявление в ОВИР. Тогда, признает он, посадили за дело. На запасных путях станции Вятка обнаружился неизвестно чей вагон с лесом. Стали разбираться и выяснили, что угнан он за взятку, полученную от Палея, и в Вятку попал по чьему-то недосмотру.

На этот раз Павел пробыл в тюрьме недолго. Его отпустили с миром и формулировкой «за недостатком улик», и он с женой и детьми улетел в Америку.

Свои сбережения он вложил в крупный самородок малахита. Доставить камень к новому местожительству Павла должен был его друг. Но то ли таможня ограбила друга, то ли он надул Павла, но в Нью-Йорке Паша приземлился гол как сокол.

Прослушав быль о приговоре к расстрелу за анекдот, я вспомнил свое юридическое прошлое и несмело заметил:

— Но ведь по статье 58-10 нет расстрела, ее максимальная мера — десять лет лишения свободы...

— Да кто тогда считался с законами?! — услышал я в ответ именно то, что хотел. Больше всего я боялся, чтобы какая-то неточность в рассказах Палея не заронила во мне сомнение в его прошлом героя и мученика.

Возникали у меня и еще вопросы, но я их отгонял; не заподозрил бы Паша, что я проверяю его правдивость. Я повторял себе его объяснение: в нашей стране любая сказка может оказаться былью. Оно, это объяснение, развеивало все сомнения, которые могла породить его «Повесть о настоящем человеке».

Видно, мысль о возможности таких сомнений посещала и его. Он часто и настойчиво подносил к моим гла-

зам потертую от долгого ношения в кармане справку, заверенную расплывшейся лиловой печатью. Справка удостоверяла, что ее предъявитель — кавалер ордена Красного Знамени.

Нет, я ни в чем не сомневался. Я торжествовал: такой богатырь духа, не сломленный самыми жестокими испытаниями судьбы, подал мне руку помощи. Значит — выстоим.

Фотоаппарат, служивший Палею источником маленького, но дохода, он забросил. Жена-портниха и дочка-клерк взяли заботы о домашних финансах на себя. Он же целиком погрузился в заботы о финансах газеты. Меня он полностью избавил от этого хлопотливого и ненавистного мне занятия.

Первым делом он порвал с компанией, развозившей по Нью-Йорку тысячи газет и журналов на разных языках. Ее заменили два молодых человека, взявших развозку на себя. Не знаю, как удавалось им на своих машинах доставлять газету в сотню киосков к шести утра. Меня это не касалось: идея Павла не может быть ложной.

Компания раз в месяц присылала нам чеки за проданные газеты. Пашины курьеры привозили ему раз в неделю наличные. Втроем они усаживались вокруг стола, заваленного помятыми зелеными бумажками и горами мелочи, и пересчитывали выручку. Об итогах партнер меня не информировал, да меня это и не заботило.

Иногда он меня радовал сообщением: «Продались неплохо». Но чаще огорчал: «Опять продажа упала». И находил новые источники продления жизни «Новой газеты».

Как-то, когда мы, по словам Палея, совсем поиздержались, на помощь пришел его племянник, живший далеко от Нью-Йорка. Дядя напомнил ему о том, что когда-то оплатил все его расходы, связанные с эмиграцией, и тот прислал денег.

Прибегал мой партнер и к займам на неопределенный срок у людей, которых знал издавна. Кто-то отбывал вместе с ним наказание и был спасен моим другом от голодной смерти, у кого-то соседом Павла по нарам в лагерном бараке был брат, и Палей делился с ним своей пайкой.

«Энифототайп» мы покинули. Его заменил найденный Палеем человек по фамилии Берест. В войну бежал с Украины, со временем купил типографское оборудование, но заказов было мало. Чтобы машины и наборщица не простаивали, взялся за сравнительно скромную плату обеспечить техническое обслуживание «Новой газеты».

Но и эта плата стала для нас высока. И снова выход нашелся. Я отвозил по вечерам заметки в «Новое русское слово». Там втайне от владельца, но с согласия его помощника, который брал с нас за это копейки, их набирали работницы ночной смены.

Все остальное мы делали дома. Другой Пашин племянник, мастер на все руки Генка, соорудил деревянный станок. Мы его поместили в коридоре своей квартиры и наклеивали на прикрепленные к нему листы гранки будущих полос. Корректор Роза Бронская, которая полюбила нашу газету и согласилась помогать ей бесплатно, и я работали за обеденным столом.

Вряд ли была со времен Иоганна Гутенберга типография, включая и нелегальные, которая выпускала свою продукцию в таких условиях. Дневной свет не проникал в коридор. Его заменяли обыкновенные электрические лампочки под высоким потолком, они горели почти круглосуточно. Дважды мы получали повестки с угрозами отключить за неуплату электричество. Добросовестные авторы являлись читать гранки и делали это, лежа на ковре в гостиной. Наклеивал гранки на макетные листы наш 11-летний ребенок. Иногда он перепутывал абзацы, а Роза не успевала заметить его оплошность. Зато читатели замечали сразу и откликались возмущенными письмами. Весь пол квартиры устлали бумажные обрезки. С одного бока они были покрыты клеем, с другого — строчками набора, от прикосновения к которым чернели руки. Обрезки прилипали к мебели, обуви, одежде, посуде, попадали в наши постели.

Еще в ту пору, когда нас приютила черновицкая тройка, владелец и редактор «Нового русского слова» Андрей Седых (это — псевдоним покойного Якова Моисеевича Цвибака) пригласил меня стать его правой рукой — ответственным секретарем редакции.

Подозреваю, что он хотел убить сразу двух зайцев. Его газета разрасталась, а делали ее по-прежнему в основном случайные люди. С другой стороны, пусть оба появившихся у «Нового русского слова» конкурента были ему не опасны, все же лучше на всякий случай избавиться хотя бы от одного. Седых вполне логично рассуждал: приняв приглашение, я должен буду покончить с «Новой газетой».

О том, что Якова Моисеевича раздражают два еженедельника, я знал. Он отказался поместить объявление о подписке на «Новую газету». Я возразил, что он поступает вопреки закону, и я могу обратиться в суд. Седых добродушно возразил:

— Вы правы, ваш иск суд удовлетворит. Но вы закроетесь задолго до этого. Всех ваших денег не хватит на оплату адвокатов. А у меня еще немного останется.

Какие бы надежды ни связывал Седых со своим предложением, я после совещания с Палеем решил его принять. Я верил, что сумею выкроить на еженедельник время. Кроме того, при встрече с помощником Седых Валерием Вайнбергом я обсудил с ним возможность сделать мою газету воскресным приложением к «Новому русскому слову». Ему эта идея показалась интересной.

Проработал я у Седых 11 месяцев. Сначала мне платили 400 долларов в неделю, вскоре добавили еще 25. Сто из них я отдавал Палею на семейные расходы.

Родные и друзья моих родителей, знавшие меня с пеленок, утверждали, что я самый ленивый человек на свете. У меня и прозвище было Илюша, с намеком на Илью Ильича Обломова. Я не спорил, в душе признаваясь себе, что моя репутация заслуженна.

Как же, спрашиваю я себя сейчас, немолодой уже человек, для которого труд всегда был тяжелой обузой и любое состояние, кроме безделья, наказанием, мог вести такую жизнь?

В течение года я ежедневно являлся к девяти утра на службу. В обеденный перерыв бежал в «Новую газету». Потом до шести вечера опять становился наемником Седых. Потом возвращался в свою редакцию. Домой приезжал поздно вечером и садился делать передачи для «Свободы».

В субботу я заменял Якова Моисеевича, а свой выходной, среду, проводил у себя в редакции и на радио.

А мне ведь уже было изрядно за пятьдесят.

Генераторами энергии, которую, наверное, можно было бы измерять лошадиными силами, — энергии, мне прежде не свойственной, служили переполнявшие меня энтузиазм, жажда реванша за обиды на бывших партнеров и стремление к самоутверждению. Ни одно из этих чувств было мне неизвестно в первые полстолетия жизни.

И вот на старости лет пробудились.

Работа в «Новом русском слове» меня тяготила. Я чувствовал себя человеком, занятым расчисткой авгиевых конюшен — делом, с которым не справился и полубог Геракл. Еженедельные обзоры самого Седых, бывшего репортера парижской газеты Милюкова, были лучом света в этом царстве графомании. Он почти всю свою взрослую жизнь провел вне России, но устно и письменно изъяснялся на хорошем русском языке. От прочих материалов, которые заполняли газету, исходил запах нафталина. Их присылали ровесники Якова Моисеевича, которые писали от скуки, писали о России, хотя не имели о сегодняшней ни малейшего понятия и пользовались вышедшими из употребления оборотами речи.

По воскресеньям страницу целиком занимала статья, подписанная: «Академик Николаев». Героями его опусов были занимавшие в течение трехсот лет российский трон члены династии Романовых. Состояли статьи из перечня деяний коронованных особ, который излагался малограмотным языком. Не верилось, что автор — академик.

Все прояснилось, когда Яков Моисеевич привел в мой кабинет Николаева, пожилого человека, который и говорил-то по-русски не без труда и с ошибками. Он оказался болгарин, никогда не жившим в России. На родине, по его словам, еще до войны стал академиком. Оттуда и бежал в Америку.

Материалы Николаева и других небрежно и неумело редактировали сотрудники и приносили мне, они лежали на моем письменном столе высокими стопками. Я глядел на них с тоской, и на ум приходило не помню откуда почерпнутое: «Таскать вам не перетаскать!»

Иногда мое терпение лопалось, я открывал дверь в кабинет Седых, смежный с моим, и показывал ему испещренный вопросительными знаками, исчерканный правками материал. Я горячо и шумно доказывал, что статья безнадежно плоха и что печатать ее — значит не уважать свою газету. Он ждал, когда я умолкну, и наставительным тоном, как урок, который мне надлежит вызубрить, повторял одно и то же:

— Женя, если мы решим печатать только хорошие статьи, нам нечем будет заполнять номера. С нас хватит и двух приличных материалов в неделю. Мы — небольшая этническая газета со скромными средствами и маленьким выбором авторов.

С годами «Новое русское слово» разбогатело и разрослось, особенно после смерти Якова Моисеевича. Но нетребовательность к качеству материалов, отношение к себе как к провинциальному, второсортному изданию, унаследованные от него, сохранились.

После очередного наставления Седых меня подмывало заявить ему об уходе. Сдерживало сознание, что это лишит нас существенного подспорья в виде зарплаты и что придется проститься с надеждой спрятать «Новую газету» от окончательного оскудения под крыло «Нового русского слова». И я скрепя сердце корпел над творениями бесчисленных графоманов.

Вообще атмосфера, царившая в редакции, была угнетающей. Служащие сидели за своими столами притихшие, боясь обменяться репликами, пошутить. Их лица освещались улыбками лишь при виде лилипутского роста толстенького облысевшего человечка с глазами навыкате — их хозяина Андрея Седых. Если, проходя через общую комнату к себе в кабинет, он одаривал ответной улыбкой кого-нибудь лично, на фаворите скрешивались способные его испепелить взгляды исподлобья.

Он, которому было изрядно за семьдесят, никогда не отказывал себе в удовольствии ущипнуть или потрепать по щечке даму из тех, что помоложе, а осчастливленная вниманием босса в ответ кокетливо хихикала. Дам мало-мальски привлекательных он по очереди приглашал отобедать с ним в хорошем ресторане и, разумеется, получал восторженное согласие.

Это жалкое поведение служащих типично для здешних предприятий, принадлежащих эмигрантам из СССР. Американское учреждение «Радио Свобода» — полная им противоположность. За законностью действий администрации в нем следит профсоюз, у которого есть и средства, и превосходные юристы, чтобы не дать трудящегося в обиду. Начальство знает: произвольное увольнение работника обойдется себе дороже.

Корпорации, созданные для культурного обслуживания эмигрантов из Союза, даже с миллионным бюджетом, принадлежат к разряду так называемого «малого бизнеса». Какой уж там профсоюз! Отстаивать свои права служащему в споре с хозяином приходится за собственный счет. А это — дорого.

Но если бухгалтер, автомеханик, сапожник, программист в случае увольнения безработным не останется, то бывшему школьному учителю, плановику, библиотекарю, делопроизводителю, изгнанному из такой кормушки, как «Новое русское слово» или русское телевидение, даже профессионалу-журналисту другой не найти. Потому и действует в этих учреждениях принцип: хозяин — барин, хочет — казнит, хочет — милует. Потому и ест рядовой труженик глазами начальство.

Я, до прихода к Седых не работавший в Америке по найму, столкнулся с такими нравами впервые. Тяжелое впечатление от этой обстановки, вероятно, усугубилось явным недружелюбием, с которым было встречено мое появление. На вакантный пост ответственного секретаря прочили ветерана Бориса Бочштейна (кстати, профессионала, а прошлом фельетониста «Московской правды»). Его окружение рассчитывало, что он поможет кому-то сесть на свое место, кому-то просто укрепить позиции. И вдруг им в начальники дают чужака, который неизвестно, кого приблизит к себе, а кого невзлюбит. Народ тайно роптал, а я ловил на себе косые взгляды сослуживцев.

Но дать себе волю и бросить службу не мог. Даже после того как Вайнберг сообщил, что Яков Моисеевич, который вообще не любит экспериментов, категорически против воскресного приложения и на этой идее следует положить крест. Дело в том, что у Палея родился

очередной проект спасения, и мое пребывание в «Новом русском слове» должно было способствовать его осуществлению.

Павел посещал меня на работе почти ежедневно. И заглядывал мимоходом к Вайнбергу — поздороваться, задать дежурный вопрос: «Как жизнь?» Его обаяние, его умение выказать симпатию тем, кому он хотел понравиться, не могли не вызвать ответного расположения. Он быстро сблизился с Вайнбергом и его верным адъютантом Мишей Бительманом, которого Валерий представил мне так: «Знакомься, мой великий визирь».

Все чаще Палей шел прямо к ним, минуя мой кабинет.

Когда теплота их отношений достигла нужного, с точки зрения Паши, градуса и два его новых приятеля увидели в нем личность, достойную доверия, он изложил им свой план. Согласно этому плану «Новое русское слово» должно по примеру «Новой газеты» расторгнуть контракт с развозочной компанией, передав доставку номеров в киоски Паше и двум его ассистентам. Нас, мотивировал свое предложение Палей, эта реформа спасла от финансовой гибели, вас — обогатит.

Его визиты в редакцию становились все более продолжительными. Он приносил Вайнбергу бумаги с расчетами и выкладками. Об их переговорах я знал только одно: они, выражаясь на языке дипломатов, проходили в теплой, дружественной обстановке. Судя по отзывам Вайнберга о моем партнере, Палей его убедил. Стороны уже почти ударили по рукам. Седых не мог быть препятствием: хозяйственные заботы он перепоручил своему менеджеру и в его деятельность не вникал.

Для меня так и останется на всю жизнь загадкой, чем был вызван крутой поворот в развитии этой истории. Что за подвох они, хитрящий Бительман и простодушный Вайнберг, отыскиали в палеевском проекте? Почему сочли себя обманутыми?

В один прекрасный день Вайнберг явился в мой кабинет:

— Твой Паша — ворюга. Зря ты ему доверяешь. — Он сказал это так беззлобно, что я подумал: «Небось неуступчивостью Павла недоволен».

Однако замечание Валерия оказалось далеко не так безобидно, как я думал. Я уяснил это, когда меня вызвал Седых.

— Ваш Палей — жулик. Передайте ему, чтобы его ноги больше не было у нас в редакции.

Вспылив по своему обыкновению, я прокричал в ответ:

— Это те, кто на него клеветает, жулики. А он — кристально честный и порядочный человек!

Чуть остыв, я вернулся в кабинет шефа и уже спокойно попросил:

— Что вам стоит принять и выслушать Палея? Тогда вы сами легко убедитесь в моей правоте.

Нет, не убедил Паша старика. Хотя и был им принят. Приказ о том, что вход в редакцию Палею воспрещен, остался в силе.

А я в знак протеста освободил «Новое русское слово» от своего присутствия. И сделал это с тем более легким сердцем, что получил «добро» от Палея, который сказал:

— Уходи оттуда. Больше тебе там делать нечего.

«Новая газета» продолжала второй год выходить без перебоев, но, как говорится, не жила, а мучилась. Палей, по его словам, все больше запутывался в долгах. Во мне крепла уверенность в том, что мечта о ежедневной газете несбыточна.

К этой теме Павел был внешне безучастен. Но однажды вдруг спросил, много ли денег потребуется, чтобы приступить к выпуску такой газеты. Я взял несколько дней на размышления, которые привели меня к неутешительному выводу: около полутора миллионов долларов.

Ежедневное издание нельзя делать такой горсткой людей, как еженедельник. Нужны наборщики, метранпажи, переводчики, правшики, корректоры. Нужны собственные или взятые в аренду наборные машины. Нужно достаточно большое помещение. Нужен контракт с информационным агентством типа Рейтер или Ассошиэтед Пресс на поставку свежей информации и фотографий. Нужно, чтобы заявить о себе, первый десяток номеров раздавать бесплатно, как листовки, в тех местах, где селятся эмигранты из Союза.

Но все это — полдела. Нам, внушал я Палею, предстоит долгая борьба за покупателя и подписчика. Чело-

век привыкает к газете, которую разворачивает много лет, как к своему месту за обеденным столом и старым шлепанцам. В незнакомой ему непривычны шрифт, расположение материалов, тематика, число страниц. Чтобы его к себе приучить, требуется время.

Еще важнее вселить в потенциальном рекламодателе уверенность: это не однодневка, с ней можно иметь дело, у нее достаточно читателей для того, чтобы его объявления нашли отклик. И тут у нас нет иных союзников, кроме времени.

Но, как говорил Великий комбинатор, время, которое мы имеем, — это деньги, которых у нас нет. В нашем случае это означает готовность к долгим расходам при мизерных поступлениях от продажи. На подписку и рекламу надежды нет — для этого надо утвердиться. Я считал, что прибыль газета начнет приносить года через полтора. До тех пор держать нас на плаву должен надежный денежный запас.

Как ни странно, сумма, которую я назвал, не потрясла Павла своей грандиозностью. И весь мой спич он воспринял без аффектации. Он только спросил:

— А о том, как назвать ежедневную газету, ты думал?

— Это самое простое, — усмехнулся я. — Была бы газета, за названием дело не станет. Ну хотя бы — «Новости».

— «Новости»? По-моему, годится.

На том наш, как я полагал, пустой разговор и закончился. Однако примерно через месяц Палей к нему вернулся. Он сказал, что приступил к поискам вкладчиков и что кое-кто уже выказал интерес к его предложению. Пока таких немного и раскошелиться они могут общими силами тысяч на тридцать—сорок. Но лиха беда начало.

В первых числах сентября 82-го, вконец измученный работой, я решил устроить себе недельный тайм-аут. Сделал впрок одну газету, положенные радиопередачи, снял комнату под Нью-Йорком на берегу океана и увез туда жену и сына.

Открыв по возвращении свежий номер еженедельника, я едва не лишился сознания. На видном месте красовался анонс: «С 23 сентября наша газета становится

ежедневной и будет продаваться во всех магазинах и киосках, где вся пресса на русском языке».

Я кинулся к Павлу за разъяснениями. Он ответил, что иначе поступить не мог. Он уже не только собрал кое-какие деньги для «Новостей», но и начал их тратить.

— Если в ближайшее время я не покажу им «Новости», они меня растерзают, — продолжал он. — Ты не паникуй. Тысяч сто семьдесят у нас уже есть. Постепенно будут все. Я на Колыме спас от смерти одного парня. Его двоюродный брат — самый влиятельный человек на Брайтоне. Он говорит, что обязан мне по гроб жизни. Здесь его слово — закон. Он и некоторых вкладчиков нашел, я гарантировал, что вся брайтонская реклама будет нашей. А это — те же деньги. Небось слышал имя — Евсей Агрон? Так это он.

Такого имени я не слышал. Но это не играло роли. Выбора у меня не было: газета анонсирована и до 23 сентября две недели. Надо срочно набирать команду и готовить запас материалов, или, на газетном жаргоне, «загон».

Агрон устроил нам и нашим женам роскошный обед в русском ресторане «Парадайз». Он и сам был с молодой женой — певицей Майей Розовой. До эмиграции она работала в популярном эстрадном оркестре Олега Лундстрема. В Нью-Йорке, пока не вышла замуж, пела в каком-то ресторане.

В разгар трапезы над Агроном, восседавшим во главе стола, склонился хозяин ресторана. Застыв в позе вопросительного знака, он долго и подобострастно расспрашивал, доволен ли высокий гость угощениями и нет ли у него особых пожеланий — лучший повар города Кишинева мигом приготовит все, что угодно Евсею.

Эта сцена показала мне, насколько важная птица наш опекун. Я шепнул Павлу:

— А он не попытается диктовать нам содержание газеты?

— Если и захочет, не сумеет. У нас договоренность: наша с тобой доля в корпорации пятьдесят один процент. Решаем мы, а нас не расколешь.

Корпорация требует банковского счета. Палей отправился туда с переводчиком — своим зятем Витей. Вернулся и доложил:

— У них должны быть образцы подписей президента корпорации и казначея. Пришлось дать им свою и Витину.

Жену Вити и свою дочку Лену он назначил бухгалтером с зарплатой 250 долларов в неделю. Себе Павел установил жалованье 400 долларов, Жанне как заведующей рекламой — 220. Я от оплаты труда отказался. Сказал, что подожду до лучших для газеты времен.

Комната, которую снял Палей под редакцию, размерами напоминала школьный спортзал. От нее отделили небольшую часть и разгородили стенкой на две половины — кабинеты для меня и Павла. По вторникам он принимал в своем Алика и Борю. Втроем они напряженно трудились над подсчетом бумажных купюр, серебра и центов.

С первого дня мы выпускали семь номеров в неделю. Я решил, что отсутствие выходных даст нам некоторое преимущество перед «Новым русским словом». Седых, который уверял своих сотрудников, что «Новости» ему не конкурент, на самом деле, видно, побаивался нас. Я сужу об этом по одной его акции: впервые за три четверти века «Новое русское слово» стало выходить без выходных.

Словом, все шло по плану. За единственным исключением. Еврейское похоронное бюро, два врача, одно меховое ателье и один страховой агент — вот и все объявления, которые удалось раздобыть Жанне. Попытки Паши требовать рекламу именем Агрона не увенчались успехом. Рестораторы и магазинщики ссылались на временные трудности и кормили нас обещаниями на будущее. А пока аккуратно снабжали рекламой «Новое русское слово». Но, рассуждал я, это не моя забота.

Я бы и вовсе не думал о хозяйственных и денежных проблемах, если бы не жена. Перед завтраком и на сон грядущий она выкладывала передо мной один и тот же набор вопросов:

— Почему ты не спрашиваешь, сколько денег привозят ребята?

— Почему тебе неизвестно, сколько кладет в банк Лена и что творится с нашим счетом?

— Почему ты, хозяин газеты, понятия не имеешь о том, как расходуются деньги?

— Почему ты не контролируешь Палея?

Я отмахивался от нее, как от жужжащего над ухом комара. Но она не унималась. Тогда, чтобы снять с повестки дня тему, я выговаривал ей раздраженным тоном:

— Если ты хочешь поссорить меня с Павлом, то зря стараешься. Он пользуется моим полным доверием. Чем приставать ко мне со своими подозрениями, лучше вспомни, сколько он сделал для нас.

Она унималась, однако ненадолго, потом все началось сначала. И так — три месяца. До того дня, в который меня выгнали с работы. И тогда я услышал от своей жены то, что слышу периодически:

— Вот видишь, я же тебе говорила...

31 декабря мы сделали полосы пораньше, заперли свой спортивный зал, сказали друг другу: «С наступающим!» и разъехались готовиться к встрече Нового года. Зазвонил телефон.

— Женя, это Хейфиц. Желаю вам и вашей семье счастья в новом году, — произнес голос в трубке.

Я был знаком с Аликом Хейфицем, интеллигентным человеком с мягкой улыбкой и протезом вместо одной ноги. Палей знал его еще по Ленинграду. Там он имел ученую степень кандидата технических наук, был специалистом по компьютерам. В Нью-Йорке предпочел заняться скупкой и продажей антикварных изделий. В «Новости» он наведывался как офицер по связи Агрона.

— Я звоню по поручению Евсея, — продолжал Хейфиц. — Нас крайне беспокоят финансовые дела газеты. Она не приносит ничего, кроме убытков. Вкладчики нервничают.

— Но я ведь предупреждал, — раздраженно перебил я собеседника, — что убытки придется терпеть еще долго, полтора года.

— Да, предупреждали. Но мы посоветовались с Пал Давыдычем. Он видит причину малых денежных поступлений в другом. Он считает, что вы делаете не такую газету, какая интересует наших эмигрантов. Не знаю, прав

ли он, но мы решили попробовать делать «Новости» в ином составе. После Нового года вы можете не выходить на работу...

Так, второй уже раз, будучи совладельцем предприятий и в обоих имея солидную долю, я остался ни при чем.

Через несколько дней после новогодних поздравлений Хейфица «Новости» превратились в еженедельник, а в марте тихо скончались.

В мае следующего года «Новости» напомнили о себе с того света грозным письмом из налогового управления. Оно требовало уплаты налога за доходы газеты. В Америке с этим учреждением лучше не конфликтовать. Тебя заносят в его компьютер, и пока ты числишься в должниках, прощайся с покоем. В письме указывалась сумма долга — пять с половиной тысяч долларов. С тем же успехом мы могли уплатить миллион.

На приеме у инспектора Жанна предъявила захваченный со свойственной ей предусмотрительностью чек на зарплату. Его подписал президент корпорации Палей. Чиновник попытался в нашем присутствии найти его координаты в телефонной книге. Но тот, тоже человек, умеющий смотреть далеко вперед, изъясил из книги свое имя — здесь это может сделать каждый за скромную плату.

— Простить налог мы не можем, — так поставил вопрос чиновник. — Наведете нас на след Палея — вы свободны. Не сумеете — платить вам.

Узнать Пашин адрес было делом техники. Мы отправились к его дому, на котором красовался номер, зашли в подъезд со списком жильцов и указанием номеров квартир.

Больше нас налоговые власти Нью-Йорка не беспокоили.

И дальновидные люди не застрахованы от ошибок. Должно быть, Паша пожалел о том, что когда-то назвался груздем — провозгласил президентом себя, а не, как мы условились, меня. Да и мог ли он предвидеть, что этот шаг обойдется ему в приличную сумму?

Время врачует раны. И делает это быстро, если местом лечения выбран покрытый мелким белым песочком и омываемый в феврале теплым морем пляж курортного городка Пуэрто-Плата. Туда, в Доминиканскую Респуб-

лику, повезла меня Жанна оправляться от шока. По утрам я играл в теннис с ребенком (так мы называем своего сына и теперь, хотя он уже сам отец). Днем купались и загорали. После ужина беседовали, сидя у голубого бассейна при отеле и прихлебывая коктейли, которые разносили официанты в смокингах.

Досуг располагает к неспешным размышлениям. Правомерно ли, беседовал я сам с собой, видеть врага в каждом, кто заставил тебя страдать и кого ты обвиняешь в предательстве и неблагодарности? Что было бы в данный момент со мной, если бы не выкинули меня из газет, которые рождены при моем участии?

Наверняка не валялся бы сейчас на пляже, а торчал в редакции, истощая серое вещество мозга и растрачивая нервные клетки, выкуривал за день две пачки сигарет и в конце концов дождался очередной язвы на своей многострадальной двенадцатиперстной кишке. К газетной тачке я был бы прикован на годы. И не расстался с этой добровольной каторгой и тогда, когда бы (лучше, пожалуй, сказать «если бы») газета встала на ноги.

А ты, неблагодарный, считаешь недругами тех, кому обязан наступившей вдруг жизнью без тревог и душевных потрясений.

Подобные вечера вопросов и ответов я устраивал себе, нежась под летним солнцем Канкуна, Акапулько, Рио-де-Жанейро, Санто-Доминго, острова Сент-Мартин. Или стоя с удочкой на берегу океана, плещущегося у двери нашей дачи. Или путешествуя с друзьями на машине по городам и весям Европы.

Я без раздражения вспоминал измену Палея, убившую газету, которую я породил и вынянчил. Но нимб, долго осенявший его чело мученика режима, поблек и не мешал трезво оценивать его слова и поступки. Ослепленный этим ореолом, я списывал на режим многое из того, что должно было вызвать у меня, бывшего юриста, подозрения.

Даже при Сталине никого не осуждали на казнь за анекдот. Если хотели уничтожить, наклеивали ярлык изменника родины, террориста или заговорщика, собиравшегося свергнуть советскую власть. Нет в статье, по которой наказали моего бывшего друга, такого срока —

17 лет. Максимальный — 10. Куда типичней такой приговор для уголовника.

В 54-м, когда я работал адвокатом в Северодвинске, окруженном исправительными лагерями, оттуда уходили переполненные эшелоны амнистированных. Неужели забыли про ни за что ни про что попавшего в заключение по пустяковому поводу мальчишку и его орден?

На Колыме он, шофер, пользовался относительной свободой передвижения. Но политических не расконвоировали. В заключении он кого-то спас от голодной смерти, чью-то участь облегчил. Но люди, сидевшие за преступления против государства, не пользовались в неволе такими возможностями. Об этом мы знаем по книгам, которые написали Солженицын и Шаламов.

Впрочем, и ссылку Палея на то, что все могло быть в нашей стране чудес, не сбросишь со счетов. Но однажды тот самый его племянник Генка, который сбивал станок для выклейки газеты, поссорился с дядей и явился к нам домой излить душу. Из этого, тоже не вполне достоверного, источника мы узнали, что сидел Павел по уголовному делу и что уже после его освобождения, когда трудился он в старательской артели Туманова, угодила на восемь лет за решетку его подруга жизни Алла. Ей устроили обыск в поезде из Сибири в Москву и обнаружили золото с прииска.

Этот набор сведений, когда предстают они перед тобой не поодиночке, а скопом, рисует портрет, далекий от того, что сложился в моем воображении. И тут еще арест в связи с вагоном леса, обнаруженным в Вятке. И освобождение без суда и следствия человека, который вот-вот покинет страну. И эта фантастическая месячная зарплата в две тысячи сто рублей...

В той эмигрантской волне, к которой принадлежали мы с Палеем, Америку наводнили доктора наук и изобретатели, директора заводов и заведующие институтскими кафедрами, борцы с советским режимом и ведущие конструкторы. Один знакомый показал мне, спортивно-му журналисту, обладателя кубка СССР по современному пятиборью. Они сообщали о своих званиях, не опасаясь разоблачений. Холодная война исключала возможность проверить, так ли уж велики их заслуги перед челове-

ством и был ли кто-нибудь из них узником совести. Нынешние эмигранты в этом отношении осторожнее и держатся скромнее. Наши современники по эмиграции придумывали себе биографии. Кто мог предвидеть, что наступит время, когда ложь будет легко обнаружить.

Наверняка никто не занимался проверкой правдивости сведений, которые я почерпнул о прошлом Палея от него самого. Он ведь не претендовал в Америке на должности, требовавшие такой проверки.

Есть в юридической науке раздел — теория доказательств. Косвенные улики могут служить достаточным доказательством только в том случае, если, собранные вместе, складываются в неразрывную цепь. Уже после нашего разлада вплелись в эту цепь новые звенья.

Павел за подделку чека просидел восемь месяцев в американской тюрьме. Его друг и эмиссар Агрона Хейфиц тоже попал в тюрьму, швейцарскую. И совсем плохо кончил сам найденный Палеем главный опекун «Новой газеты». Сначала в Агрона стрелял некто, видимо нанятый претендентом на его положение «крестного отца» Брайтона, и ранил в шею. А когда тот выздоровел, последовал другой, более точный выстрел. Так погиб Евсей Агрон.

Верно, все это — аресты самого Палея и его друга, убийство его покровителя — произошло после кончины «Новой газеты» и не имеет отношения к ее эпохее. Но какой-то свет на личность Палея, который искал себе соратников в определенной среде, эти события проливают.

Хотя, возможно, получившаяся цепь и не имеет всех звеньев.

Точно так же у меня есть основания лишь подозревать, что он был не чист на руку, когда мы вместе трудились. Нас с Жанной поражала та широта, с которой Павел устраивал многочисленные семейные празднества. Едва ли не всякий раз к этим торжествам в его квартире появлялись обновки — дорогие лампы, посуда, вазы.

Павел, не зарабатывавший тогда ни копейки, обычно сообщал: купил на выигрыш по лотерейному билету. Другого столь удачливого игрока, как он, мне довелось встретить лишь раз в жизни — старший брат Жанны же-

нат на его дочери. Он заведовал большой автобазой в Ташкенте. Трем своим детям купил дома. И все — на выигрыши в спортлото.

Однажды гостиную квартиры Палеев украсила так называемая «стенка» — сооружение из дерева с многочисленными отделениями и застекленной секцией для хрустала. Паша, не дожидаясь вопросов, сказал:

— Глупая Ленка решила старику-отцу подарок сделать. На что мне этот сундук? Только место занимает.

Вскоре мы были приглашены на новоселье к только что вышедшей замуж Лене. В гостиной стоял близнец Пашиной «стенки». Лена гордо объяснила:

— Папа купил сразу две — нам и себе. Мне нравится.

И снова я держу в руках не цепь, а разрозненные звенья. Правда, уж очень их много набралось, этих звеньев.

Марш обреченных

Сегодня о «Новом американце» вспоминают часто, о «Новой газете» — почти никогда. Вспоминают потому, что «Новый американец» был первым и что стал фактом биографии Сергея Довлатова. Или, возможно, правильной будет сначала назвать Довлатова, а потом первородство «Нового американца».

А ведь пока мы существовали параллельно, моя газета расходилась не хуже, чем довлатовская. И продержаться сумела дольше. И не моим конкурентам, а мне удалось осуществить мечту, которую мы лелеяли сначала вместе, потом порознь, мечту о ежедневной газете, пусть ее жизнь оказалась короткой.

Между тем мы были куда бедней их. Меттер, некогда добывший заем для создания «Нового американца», отыскал займодавца еще раз, теперь — государство. Есть в Америке закон, который разрешает одалживать новым эмигрантам деньги на учебу. Меттеру удалось найти какие-то пружины, приведшие этот закон в действие. Сам он, брат Гениса Игорь, Сергей и Лена Довлатовы получили по пять тысяч долларов и все передали на счет газеты. Лена рассказала, что долг преследовал мужа до конца дней и уплатил его не Сергей, а Меттер.

Не думаю, что моя газета была хуже «Нового американца». От моей его отличал задушевный — я бы даже сказал, интимный — тон, заданный в «Колонках редактора». Читателю едва ли не в каждой строчке твердили: мы тебя любим, ты нам как член семьи, — и, словно малое дитя, гладили по головке. А если подшучивали над ним, то сразу давали понять: мы сами такие же, мы и над собой смеемся.

По мне, эта манера уместней для капустника.

Я такую газету делать не хотел. Да если и хотел бы, вряд ли сумел. В моем распоряжении не было тройки Вайль — Довлатов — Генис, с легкостью стилия коренника и умением показать свою эрудированность пристяжных. У меня был единственный пишущий помощник — перебежчик из «Нового американца» Александр Батчан. Но и он скоро получил приглашение от «Голоса Америки» и стал московским корреспондентом этой радиостанции. Теперь Алик заведует ее нью-йоркским бюро.

Не только мне был не по вкусу облик, который приобрел «Новый американец». Потому переметнулся ко мне Батчан. Потому оказались авторами не той, а моей газеты литераторы, чьим сотрудничеством могло бы гордиться издание покрупней моего.

Я имею в виду прежде всего Юза Алешковского. До эмиграции он был известен своими книжками для детей. Узкий круг посвященных знал, что он сочинил песню, которую шепотом пела вся страна:

*Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознанье знаете вы толк.
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк.*

После переезда Алешковского в Америку были изданы написанные и в России, и в эмиграции произведения, прославившие его как крупного прозаика. Его вещи, все до единой, написаны в форме монологов. Я не специалист, но думаю, что Юз — основоположник в России жанра, который я бы назвал «роман-монолог», и уж точно, он единственный, кто достиг в этой форме подлинных высот.

Когда Алешковский подружился с «Новой газетой», уже вышли «Николай Николаевич», «Кенгуру», «Рука»,

«Синенький скромный платочек». Но многое из написанного им еще ждало своего издателя. Юз готов был отдать все это нам. Взял я только цикл очерков, объединенных общей рубрикой: «Последнее слово подсудимого». От остального пришлось отказаться: все произведения Юза, кроме этих «Последних слов», произносимых обвиняемыми в суде, насыщены матом. Его нельзя убрать или заменить нецензурные слова начальными буквами. Тогда бы остались, как поется в старой песне, «в каждой строчке только точки». Мат — не довесок, не украшение в вещах Алешковского, а органическая часть его стилистики.

Но пустить мат в газету было равносильно ее убийству. Ее бы просто перестали покупать. Невероятно, но факт: речь подавляющего большинства живущих в Америке выходцев из России густо приправлена матерщиной, и присутствие детишек мало кого от нее удерживает, а матерное слово, набранное типографским шрифтом, публику шокирует.

К нам, а не в «Новый американец» принес свои работы Аркадий Львов, по моему дилетантскому мнению, прямой и единственный наследник писательской традиции своих земляков-одесситов Бабеля, Катаева, Ильфа и Петрова, Славина. Уверен, что его роман «Двор», его «Одесские рассказы» еще ждут оценки, признания, известности, которых достойны.

Аркадий показывал мне вышедший в Париже на французском языке «Двор» и восторженные газетные отзывы на роман. Но сомневаюсь, что греют душу Львова и это издание, и эти похвалы людей, которым чужды одесский двор и изуродованные довоенной жизнью судьбы его обитателей. А на родине автора «Двора» и сегодня знают мало.

Львов не только беллетрист. Он занимался историей хазаров, литературными исследованиями. К их числу относится серия статей «Очерки еврейской ментальности». Статьи эти — о русских советских писателях, в чьих жилах есть еврейская кровь, от Пастернака и Бабеля, Мандельштама и Багрицкого, Гроссмана и Горбатова, Инбер и Алигер до Чаковского и Долматовского. Аркадий пишет о том, как еврейство повлияло на жизненную

позицию и как отразилось на их творчестве. Со многим из того, что утверждает Львов, хочется спорить. Но по моему, это — не слабость, а достоинство. Во всяком случае, читал я его статьи — и перед отправкой в набор, и потом заново в газете — с интересом.

Другой одессит, Марк Гиршин, пришел к нам с рукописью позже вышедшего романа «Брайтон-Бич». Со своими героями, живущими в «Маленькой Одессе» — так прозван в Америке Брайтон-Бич, — Гиршин близко знаком по жизни в большой, настоящей Одессе — с их психологией, замашками, лексиконом, жаргоном. «Брайтон-Бич» не назовешь сатирой. Но ее привкус ощущаешь. Вероятно, потому и вызвал он так много резких отзывов обитателей «Маленькой Одессы». Все мы улыбаемся при виде шаржей на себя. Зато карикатура если и вызовет у изображенного на ней улыбку, то кислую и кривую.

По лености и легкомыслию я не вел подшивку «Новой газеты». Растерял и отдельные номера. И сколько ни старался, так и не припомнил фамилию киевского пенсионера, который позвонил мне и попросил прочитать его рукопись. Я скрепя сердце согласился.

Со времен работы в «Советском спорте» я побаиваюсь пишущих пенсионеров. Заранее знаешь: у тебя в руках творение, пригодное только для редакционной корзины. А отказать — значит быть готовым к долгой тяжбе, жалобам, письмам в ЦК. В Америке, слава Богу, ЦК нет. Здесь никакой пенсионер не заставит тебя поместить свой опус. Но месяцами отнимать у тебя время и трепать нервы ему по силам.

Рукопись оказалась толстой — страниц двести. Я взялся за нее дома, положив рядом пачку сигарет, которые должны были облегчить мне неравную борьбу со сном. Прочитал страницу, другую и — увлекся, хотя рука сразу потянулась за карандашом. Едва ли не каждая строка нуждалась в правке. Но труд пенсионера из Киева заслуживал того, чтобы увидеть свет.

Он сумел собрать огромный документальный материал о власовском движении, о том, как и из кого формировалась армия во главе с бывшим советским генералом, который попал в плен к немцам, о нем самом и его

окружении, о боях с участием его войска, о его взаимоотношениях с оккупантами.

На этом фундаменте построены выводы автора. Суть их в том, что не идейные побуждения бросили власовцев в объятия Гитлера, а уверенность в поражении Советского Союза и забота о будущем благополучии в государстве, которое возникнет на месте СССР.

Я предпослал этому обширному очерку короткое вступление. Напоминал в нем, что мнение автора и мнение редакции — не одно и то же, и обещал дать место в газете всем, кто имеет иную точку зрения на власовское движение.

Желающих вступить с киевским пенсионером в дискуссию не оказалось. Правда, устный отзыв мне привелось выслушать. На «Радио Свобода» часто заходил бывший власовский офицер Рюрик Дудин, известный двумя своими страстями — хлебосольством и антисемитизмом. Мы столкнулись в коридоре редакции, и, вместо обычного приветствия, он отчеканил:

— Женя, после того, как вы позволили себе напечатать клевету на наше патриотическое движение, я не вижу для себя возможности подавать вам руку.

По правилам офицерского этикета мне, наверное, полагалось бросить ему перчатку. Но я, пусть и офицер, однако — запаса. Да и был я в тот день не при перчатках. А потому просто сказал:

— Рюрик, я вам искренне благодарен. Вы освободили меня от неприятной обязанности здороваться с вами.

Имела успех и «Повесть о Высоцком». Я предлагал Палею выпустить ее отдельной книгой и долго не мог понять, почему он противится. Просветил меня прилетевший из Москвы в гости, кажется, к сыну общий друг Павла и Высоцкого администратор Театра на Таганке Валерий Янкович.

— Хорошая вещь, — оценил он «Повесть». — Но и наврал Паша много. И что в последние годы не пил Володи. И наркотиками будто никогда не баловался. И что его гибель — дело рук КГБ.

Мне бы следовало и без подсказок усомниться и в том, и в другом, и в третьем. Но я, ставший уже привыкать к обычаям американской прессы, упустил из виду,

что Палей как читатель воспитан в стране, где умерший герой должен был предстать перед народом личностью образцово-показательной, без малейшего пятнышка на своем героическом мундире.

Самой тяжелой и обременительной частью в журналистике всегда было для меня репортерство. Нюх на где-то рядом спрятавшуюся сенсацию и искусство раскопать ее даны не всякому. Репортеры и в больших газетах — на вес золота. Потому что настоящая газета не может существовать без сенсаций. А как быть маленькой, которая тоже хочет выглядеть настоящей? Если бы и нашелся нужный мне репортер в русскоязычной Америке, платить ему все равно было бы нечем.

Пришлось мне самому влезать в репортерскую шкуру. Из того, что я совершил на этом поприще, с удовольствием вспоминаю о двух находках.

В приюте для престарелых одного из районов Нью-Йорка — Стэйтон-Айленд — я обнаружил и проинтервьюировал отца Сергея Королева — основоположника советской космонавтики. Фамилия его — Король. В момент нашего знакомства ему было 93 года. Он встретил Вторую мировую войну научным сотрудником селекционной станции в Ставрополе. Занимался своим делом и во время войны. Когда немцы покидали оккупированные южные области России, ушел вместе с ними.

Установить, что писал при заполнении анкет в графе «родители» самый засекреченный человек Советского Союза, я, разумеется, не мог. Не уверен, что это и сегодня, когда в России воцарилась гласность, известно кому-нибудь, не считая лиц, допущенных к особо важным архивам. Я, во всяком случае, никогда и нигде, кроме «Новой газеты», не прочитал об отце академика Королева ни строчки.

О другой своей находке я читал. О ней как о сенсации через пятнадцать лет после моей статьи рассказала «Комсомольская правда».

Этот человек — Евген Стахов, создатель подпольной организации, имя которой дал своему роману Александр Фадеев. В «Молодой гвардии» Фадеев превратил Стахова в Евгения Стаховича, сделал из украинского патриота и националиста предателя, а из выполнявших его мелкие

поручения краснодонских парней и девушек школьного возраста — героев. После выхода романа им и в самом деле посмертно присвоили звания Героев Советского Союза, а Фадеева, который оклеветал Евгена Стахова, наградили Сталинской премией первой степени.

О таких, как Стахов, народ слагает легенды. Он ненавидел советскую власть, но фашизм — еще больше. Он мечтал о свободной Украине без большевиков. Однако ближайшей его целью было изгнание оккупантов. И для этого он, разъезжая по Украине в форме немецкого офицера и ежеминутно рискуя жизнью, повсюду создавал группы, подобные краснодонской, действовавшие у немцев в тылу. Во время их отступления Евгений очутился по делам в Венгрии. Он не хотел возвращаться в страну социализма и перебрался в США.

Стахов провел у нас дома весь вечер. Он говорил перемежая русскую речь с украинской. Крепкий и ширококостный, он выглядел много моложе своих семидесяти лет. В то время он работал преподавателем в каком-то нью-йоркском колледже. Сравнительно недавно общий знакомый передал мне привет от Евгена. Что делает он теперь, не знаю. Верю, что жив-здоров.

Алешковский и Львов, Король и Стахов, «Повесть о Высоцком» и «Брайтон-Бич» — не так уж мало, если разложить это на два с чем-то года жизни еженедельной газеты. Ее постоянным читателям есть что вспомнить. Или, может быть, просто мне хочется так думать, а на самом деле то, что мы делали, давно и прочно забыто. Пробежало ведь с той поры почти двадцать лет. А газета, говорят, живет один день.

Однако уверен я, что не забыт один факт истории «Новой газеты». И не только втянутыми в то событие эмигрантами, но и группой знаменитых на весь Союз гостей из Москвы.

Дело было в самом начале 80-х годов, в разгар холодной войны. Теоретически эмиграция не закрылась, но практически выезд беженцев из страны был прекращен. Подавшим заявления в ОВИР не говорили ни «да», ни «нет». Ушедшие с работы не могли вернуться, сдавшие квартиры — получить их обратно. Люди попали в положение, в каком за два-три года до них находились отказ-

ники. Но тех были десятки, возможно, сотни, этих — тысячи, а скорее, десятки тысяч.

В такое вот время «Новое русское слово» как ни в чем не бывало объявляет: к нам едут советские артисты!

Организовал гастроли некий Виктор Шульман. Это был не первый устроенный молодым тогда импресарио концерт для русскоязычного зрителя. В Нью-Йорке уже выступали опальный бард Владимир Высоцкий, переехавшая в Израиль актриса Московского еврейского театра Анна Гузик, такие же беженцы, как мы, Савелий Крамаров и Аида Ведищева.

В условиях, когда полностью замер культурный обмен между СССР и США на государственном уровне, Шульман сумел раздобыть своим клиентам частные визы. Вместо обездоленных беженцев в Америку ехали обласканные властью и награжденные почетными званиями гастролеры — Нани Брегвадзе, Лариса Голубкина, Андрей Миронов, Иосиф Кобзон. Послушать их и проводить аплодисментами приглашали людей, чьих близких заперли в советской клетке.

Я написал статью об аморальности и устроителей гастролей, и разрекламировавшей их газеты, которая называла себя рупором антикоммунизма. Мы призвали эмигрантов бойкотировать концерт и пикетировать здание Квинс-колледжа, где он был назначен.

У входа в колледж собралась огромная толпа. Над ней развевались самодельные плакаты со словом «Позор» на каждом. За те два часа, что демонстранты простояли у входа, к кассе не подошел никто. Из купивших билеты заранее пройти в зал решились единицы. Зал, когда в нем полтора года назад пел Высоцкий, переполненный, теперь был почти пуст.

Выходит, не зря в школе, институте, бесчисленных кружках политпросвещения мне вдалбливали ленинский девиз: «Газета — это не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор». Оснащенный опытом демонстрации у Квинс-колледжа, я сам мог бы читать лекции на эту тему.

Вайнберг, тогда администратор, а сейчас владелец и главный редактор «Нового русского слова», несколько лет не разговаривал со мной, но со временем наши доб-

рые отношения возобновились. Шульман не простил мне того бойкота, ударившего его по карману, и поныне.

Провести демонстрацию мы сумели. Сохранить газету — нет. Ни мы, ни наши конкуренты. Теперь я понимаю почему: мы совершили попытку с негодными средствами. Я имею в виду не деньги.

И не ишу виновников. И не вижу за собой права сваливать все на бывших соратников, а себя обелять, еще римское право выработало вечный принцип поиска истины в споре: *Auditor et altera pars* — («Да будет выслушана другая сторона»). Вы же знакомы с версией одной стороны.

Есть, мне кажется, причины нашего падения, которые не зависят от личных недостатков и частных ошибок тех, кто впрягся в газетный воз и не сумел вытянуть его на гору успеха.

Мы приехали из страны, где почитаются вечными истины, сформулированные Горьким: «Если враг не сдастся, его уничтожают» и «Кто не с нами, тот против нас». Зубоскалившие над лозунгами, которыми нас с детства пичкало государство, мы тем не менее многие из них впитали в плоть и кровь. Всякое инакомыслие, любое мнение, которое расходится с нашим, отвергалось. Никакой компромисс с его носителем не считался возможным.

Эту непримиримость, это неумение сотрудничать, прислушиваться друг к другу, это стремление искать поводы для конфронтации, а не для примирения — черты, которые вошли в генетический код советского человека, — мы захватили с собой в эмиграцию.

Говоря «мы», я не исключаю и себя. Поставь я и остальные создатели «Нового американца» то, что нас соединило, выше собственных амбиций, газета, возможно, выстояла бы до притока следующей эмигрантской волны и жила бы сегодня.

Почти одновременно с «Новым американцем» родился в Нью-Йорке маленький и, в общем-то, никудышный журнальчик «Калейдоскоп». Он жив-здоров, я его вижу в газетных киосках. Когда с еженедельником порвал Довлатов, туда пригласили издателя «Калейдоскопа» Альфреда Тульчинского. Пригласили в надежде, что он знает какой-то секрет, который позволит спасти «Нового аме-

риканца». Тульчинский подал в отставку через считанные дни. Мне он однажды объяснил мотив ухода:

— Если у газеты или журнала такого масштаба один владелец, издание может выплыть. Если двое — они перегрызут друг другу горло.

По-моему, очень верная и глубокая оценка советской ментальности.

Я не политик. И живу далеко от России. Но я внимательно читаю все, что пишут о ней здешние газеты и журналы. И всегда ставлю будильник, чтобы не пропустить выдержки из передачи «Время», которые показывают ранним утром здешнее русскоязычное телевидение.

Репортажи из Думы — парад амбиций, эгоизма и нетерпимости к инакомыслию. Каждый партийный вождь, будь то коммунист Зюганов, либерал Явлинский, националист Жириновский, клянется в любви к своей стране и ее народу. Она, эта любовь, — надежнейшая платформа для поисков общего языка и взаимных уступок, то, ради чего стоит проявить терпимость, даже если ты считаешь правым только себя. Однако все остервенело, переполненные ненавистью друг к другу и презрев свои клятвы, тянут одеяло на себя. Все предпочитают разорвать его в клочья, но не уступить.

Ладно, было бы это на самом деле одеяло, а не многогосударственный народ России.

Вы скажете: мелкая философия на глубоких местах. Может, так оно и есть. А может, тому, кому довелось пожить внутри двух разных миров и получить возможность сравнивать, виднее?

Соединенные Штаты — страна, рожденная компромиссом. Это — аксиома, это общеизвестно и общепризнано. Ее Конституция и все поправки к ней, три ветви ее власти — плод взаимных уступок отцов американского государства. Компромисс между политическими партиями, сословиями, полами, этническими меньшинствами, совладельцами предприятий — основа благополучия страны.

Выходцу из Страны Советов надо долго вариться в ее котле, чтобы пропитаться этим сознанием. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что сегодня мы, надышавшись воз-

духа Америки, при всех разногласиях, нашли бы общий язык.

Нью-йоркский дом, в котором мы живем, уже после нашего приезда купили у прежнего владельца двое. То, что пересеклись их дороги, кажется невероятным. Одно-го квартиросъемщики зовут запанибратски Френки, другого почтительно — м-р Сиив. Один — католик, эмигрант из Южной Америки, он и на испанском говорит в основном междометиями. Другой — правоверный еврей, уезжающий на религиозные праздники в Израиль. Один, по-моему, даже спит в заляпанной краской брезентовой робе, другой носит пиджачный костюм, а изредка и галстук. Служит ли где-нибудь м-р Сиив — не знаю. Френки работает слесарем и водопроводчиком в таком же доме, как наш, что дает ему бесплатную квартиру.

Невозможно допустить, что они симпатичны друг другу, бывают друг у друга в гостях, просто беседуют на отвлеченные темы. Тем не менее их союз нерасторжим. Потому что для них высшая цель — успех дела. Эта цель — цемент, которым скреплено их содружество. Об его прочности говорит то, что недавно они обзавелись вторым домом. Не удивлюсь, если скоро станут владельцами третьего.

Готовность при любых обстоятельствах ставить интересы дела выше личных и, если это на пользу дела, прятать в карман гонор и чувство собственного превосходства над соратником — типичные свойства американского характера. Как прониклись духом этой страны наши домохозяева, не коренные американцы, объяснять не берусь. По всей вероятности, облегчило им задачу то, что они — выходцы из стран, не строящих социализм.

Эти двое для начала купили жилой дом. А если бы считали более прибыльным, открыли бы автомойку, или промтоварный магазин, или фабрику мягких игрушек.

Мы трое или с примкнувшим к тройке Довлатовым — четверо хотели одного — заниматься тем, чем занимались в России. Нас объединяло многое и помимо этого. Больше всего — пропитое. Мы вышли из одной среды и принадлежали к одному поколению, мы говорили на одном языке не только в буквальном смысле. Достаточно было вымолвить одно слово, просто упомянуть дату, го-

род, событие, имя: «41-й», «Колыма», «Пражская весна», «Чапаев», «бровастый», «чукча», — это рождало в нас поток ассоциаций, у всех одинаковых. Мы почти в ногу прошагали маршрут от России до Америки. Наши жены, едва познакомившись, перешли на «ты».

Но когда мы взялись за общее дело, нам, только что считавшим себя друзьями, хватило нескольких недель, чтобы проникнуться взаимной неприязнью, перессориться и разбежаться.

Ничего подобного не случилось бы, если бы мы повторили свой опыт теперь, достаточно долго прожив в Америке.

Губительной была и еще одна привычка, вывезенная в своем эмигрантском багаже каждым, навсегда покинувшим Советский Союз.

Не счастье родившихся в государстве трудящихся народных мудростей типа: «Труд создал из обезьяны человека и превратил его в осла», «Работа не волк, в лес не убежит», «Дураков работа любит».

Снова обращаюсь к Горькому. Один персонаж его пьесы «На дне», Сатин, говорит другому, Барону: «Зачем работать? Чтобы быть сытым? Человек выше. Человек выше сытости. Барон! Выпьем, Барон, за человека!»

Возможно, великий пролетарский писатель просто хотел сформулировать кредо босяка? Не знаю. Знаю только, что Сатин — из тех героев советской литературы, чьими устами обязана глаголить истина.

Я прожил в СССР 50 лет. Половину из них работал. Профессия сводила меня с людьми всех сословий. Господствующий принцип отношения к труду был для всех одинаков: сделать за свою зарплату как можно меньше.

Служащий знал, что не усердие, а умение ладить с начальством и правильно выступать на собраниях обещает ему повышение в должности и зарплате. Работяге обеспечивала премию за выполнение плана бутылка водки, вручаемая бригадиру в день закрытия нарядов. Крестьянин — хоть работай на колхозной земле от зари до зари, хоть покуривай на завалинке — все равно ничего не получал на свои трудовни.

Только шабашники да кустари-одиночки чувствовали: больше работаешь — лучше живешь. И то не все. Пи-

сатель — тоже кустарь-одиночка. Но Всеволоду Кочетову было безразлично, купит ли кто-нибудь его роман «Секретарь обкома». Гонорар по высшей ставке и Сталинскую премию — а глядишь, и Ленинскую — ему обязательно дадут. Не мог же он не понимать, что уже одно это название — «Секретарь обкома» — способно отпугнуть читателя. Зато, не сомневался Кочетов, оно понравится агитпропу ЦК. Человек более требовательный к своему творчеству, чем он, Фадеев дал своему последнему, так и не оконченному произведению имя, годное разве что для учебника, — «Черная металлургия».

Едва ли не со дня рождения «Новый американец» зажил веселой и беспечной жизнью. Поближе к концу дня в редакции становилось тесно от гостей. Кто-то бежал за выпивкой и закуской. На письменных столах расстилали бумажные полотенца. Из шкафа доставали посуду. Расходились затемно, довольные собой и друг другом.

У меня этот образ жизни нашего предприятия вызывал приступы тихого бешенства. В «Советском спорте» я сам был непрременным участником, а иногда и инициатором дружеских попоек. Здесь частнособственнический инстинкт пробудился во мне раньше, чем в моих сотоварищах. Мои ворчанье и злобные взгляды на первых порах как-то сдерживали размах пирушек. За то и прослыл я невыносимо строгим и придиричивым. Но я ушел. И началась сплошная фиеста.

Если помните, уйти меня заставило увольнение Дембо, который зарабатывал у нас 130 долларов в неделю, и прием на его место Вайля и Гениса, которым стали платить по двести пятьдесят. Они были и одаренней Дембо, и в компании куда интересней. Но такой расход газета тогда не могла себе позволить. Их приглашение было первым шагом к разорению.

Тут же последовали другие шаги. Набрали еще сотрудинок. Некоторым дали жалованье, прочим баловали приличными гонорарами. Довольно скоро решили и сами получать зарплату. Меттер ездил по редакционным делам на такси. И никто не перетруждался на работе. Кончились средства — заняли у государства. Разбазарили их — уступили газету постороннему. Тому надоело — он ее закрыл.

Статистика свидетельствует, что самые живучие из небольших предприятий в Америке — семейные. Наступает трудный момент, и члены семьи работают без зарплаты. Работают не глядя на часы и без отрыва от производства жуют свои сэндвичи. Такой момент может растянуться на месяцы и годы. Пока дети, братья, племянники выручают. Когда встанет глава семьи на ноги, разочтется.

Рождение моей газеты ускорило кончину «Нового американца». Но его болезнь была неизлечима. Просто без конкурента дольше тянулась бы агония. Трудиться с туго затянутыми ремнями, как умеют американцы, мало кому из нас дано. А жаль.

Объективно у первого еженедельника эмиграции были прекрасные перспективы. Эмиграция пошла в рост. Через год-другой стали прибывать новые беженцы. Старые больше не считали копейки, а наиболее удачливые и предприимчивые открыли бизнесы и нуждались в рекламе. Возникли предпосылки для второй ежедневной газеты. Выяснилось, что людей для работы в ней хватает.

К середине 80-х русскую редакцию «Радио Свобода» возглавил Юрий Гендлер — тот самый, который предсказал, что я буду заниматься в Америке журналистикой и прогноз которого сбылся. Он принялся за поиски умелых профессионалов. Пробовал всех, кто просился сам и кого ему рекомендовали. Одних привечал, другим вежливо указывал на дверь. И собрал под свои знамена настоящую гвардию.

Присоединились к ветеранам — Довлатову, мне и Евгению Муслину, выпустившему на родине десяток научно-популярных книг, — Вайль и Генис, с которыми в свое время без сожалений рассталось «Новое русское слово». Вернулся прежде недооцененный Борис Парамонов — философ по образованию и по призванию и, на мой вкус, публицист высшей пробы. Наиболее уважаемые российские издания гоняются теперь за его статьями, эссе, комментариями, рецензиями.

Кроме Довлатова стал выходить в эфир с писательскими заметками Алешковский. Вести еженедельную передачу «Американские политологи об ОХР» поручили Львову. С современной американской музыкой регулярно знакомил приехавший из Москвы популярный компо-

зитор Александр Журбин. Пришла сидевшая дома и помогавшая мужу, книжному издателю, Марина Ефимова и показала себя первостатейной журналисткой. Настоящей находкой оказалась бывшая жена Пети Вайля Рая. В ней, годами подменявшей ушедших в отпуск машинисток, проснулся неутомимый и неудержимый репортер.

Все, кого я назвал, кроме штатного сотрудника «Свободы» Муслина, нигде не работали, тосковали от вынужденного безделья и кинулись бы наперегонки, помани их пальцем ежедневная газета.

Фоторепортеров не надо было ни разыскивать, ни звать. Мой старый друг, достигший в этом ремесле известности на родине Юрий Шаламов, только прослышав от меня о планах создания еженедельника, пообещал снабжать его снимками — и свежими, и из архива — и делал это, не получая ни копейки, исключительно из любви к своему ремеслу. Так же бескорыстно работал он и на «Новую газету». (Правда, любитель широких жестов Палей обещал платить Шаламову, но остался после закрытия «Новостей» должен 800 долларов.)

О моей жене, тоже опытном профессионале, и говорить нечего. Но такая, вобравшая в себя классных журналистов всех жанров, газета так и не родилась. И эмиграции осталось довольствоваться чтением случайных перепечаток неизвестно откуда, которыми их пичкают ветхое, но непотопляемое «Новое русское слово» и стая расплодившихся уже в 90-е годы еженедельников.

Но может, так и должно быть? Может, гениальный афоризм Черчилля: «Каждый народ заслуживает свое правительство», — годится и в том случае, если вместо «народ» сказать «общество», а вместо «правительство» — «пресса»?

Какой ни есть, а все — родня

— Ах, я сегодня была так апсет! — слышу я за своей спиной пронзительный женский голос, но не успеваю выяснить, что огорчило его обладательницу. Мое внимание отвлек вздрогнувший и потянувший за собой леску поплавок.

Лето мы проводим на даче у океана. Раньше мы свою снимали, с некоторых пор она — наша собственность. Всего в поселке двести домиков. Четверть теперь принадлежит бывшим советским гражданам, три четверти — по-прежнему американцам. Домики непригодны к жизни зимой и продаются без земли, на которой стоят, а потому дешевые. Питомцы двух миров уживаются. Но большой взаимной любви нет.

Состоятельный американец такую дачу не купит. Это, по местным представлениям, обиталище для людей малообеспеченных. Из аборигенов домиками владеют семьи пожарных, отставных полицейских, мелких служащих, управдомов, продавцов. Те из наших, что не успели стать миллионерами, не обзавелись еще и сословным гонором. Компьютерщики, врачи, хозяева автомастерских вспоминают, как завидовали богачам, имевшим дачи на Черноморском побережье, и покупают коттеджи в нашем поселке, не думая, престижно ли это.

А купив, принимаются за благоустройство. Пристраивают террасы, сажают кипарисы, обзаводятся модной мебелью. Главы семейств приезжают на выходные в «мерседесах», «лексусах» и «вольво». Новенькие, только что из магазина, их автомобили выглядят особенно роскошно рядом с машинами американцев, кашляющими, чихающими на ходу и грозящими вот-вот развалиться от дряхлости.

Виллами своих земляков-миллионщиков наш сосед любуется издали, когда попадает по делу в район богачей, в его представлении — небожителей. А за тем, как обставляют свой быт эмигранты, он наблюдает каждый день. И у него впечатление, что эта пришлая публика, осев в его стране, бесцеремонно оттирает его на задний план. Отсюда и пусть не проявляющийся внешне, но явно ощущаемый антагонизм.

От поселка к океану ведет лестница. Американец, спустившись с нее, сворачивает налево, эмигрант — направо. В уик-энды жизнь бурлит на обеих половинах. Наша хотя и не такая многолюдная, зато куда более шумная. Гул голосов не умолкает ни на минуту, все стараются перекричать друг друга и сопровождают свои монологи выразительной жестикуляцией.

Признаваясь в том, что она сегодня «апсет» дама, хотела раскрыть душу стоявшему рядом со мной удильщику. Начала она свою громогласную исповедь, еще спускаясь по лестнице.

Я со своим ведерком, удочкой и коробкой, где держу снасти, естественно, сворачиваю на правую половину. Стою в ожидании клева и ловлю обрывки разговоров.

— Вылезай сейчас же из воды, а то оставлю без динера! — кричит бабушка внуку.

— Мы вчера были в ресторане и так инжоили!

— Знакомые купили трехбедрумный дом в тридцати майлах от города. Ливингрум — пятьсот скверфит. С пулом. Правда, аутсайд, на бежарде, — доносится до меня чей-то голос, в котором слышишь восторг и зависть.

— Уговаривали меня взять стоки «Джонсон энд Джонсон», когда они попши даун. Послушался бы, имел бы хороший профит, — сокрушается за моей спиной баритон.

Я спросил одну из постоянных обитательниц пляжа, почему слово «волонтер» в ее устах звучит как «волонтир», а «профессионал» — как «профешенал». Она ответила с кокетливой улыбкой:

— Не могу вспомнить, как это по-русски называется.

С некоторыми дачниками я познакомился через год-полтора после их приезда в Америку. Пятилетний сынишка одного ворвался к нам с ревом: его ударила девочка-школьница. Та шла следом.

— Я же нечаянно, — оправдывалась она.

— Вот видишь, Эллочка сделала это не нарочно, — пыталась успокоить сына мамаша, сидевшая у нас.

— Какое это имеет значение? — сквозь слезы прокричал мальчик. — Все равно больно!

«Какие обороты! Какой запас слов у этого крошки!» — подумал я. На следующее лето повзрослевший крошка с трудом подбирал русские слова и говорил с акцентом. Еще через год понимал, о чем его спрашивают по-русски, но отвечал на вопросы по-английски. Отец искренне горевал: забывает ребенок родной язык. Я поинтересовался, почему его это тревожит. И услышал в ответ:

— Я мечтал передать сыну сокровища русской культуры.

Я хотел его успокоить, сказав, что человек, который говорит «кэш» вместо «наличные» и «апойнтмент» вместо «прием», вряд ли сумеет стать посредником в передаче культурного наследства. Подрастающее в Америке поколение нашей эмиграции теряет русский язык. Тому есть простое объяснение: в школе, делая уроки, сидя у телевизора, играя со сверстниками, они пользуются только английским. Дома у них есть свои комнаты. И русский отмирает за ненадобностью, как рудимент.

Однако вот что трудно объяснить, если согласиться с этим тезисом. Район Нью-Йорка (или, на языке моих дачных соседей, «эрия», а также «коммюнити»), где мы живем, напоминает этническим составом Древний Вавилон — ирландцы и евреи, пуэрториканцы и колумбийцы, корейцы и китайцы, индусы и пакистанцы, поляки и русские. Мимо нашего дома возвращаются из школы ребята — ученики разных классов. Все держатся поближе к своим. И все говорят между собой на языке, который унаследовали от родителей. Исключение — дети выходцев из России и бывших советских республик. Только для них родной язык — английский.

Между тем наших ребят, как и прочих, тянет к своим. У нас на даче они с американскими сверстниками не дерутся, но и не играют. И 99 процентов молодых выходцев из России, окончивших в Америке школу, получивших высшее образование, работающих в американских учреждениях, выбирают себе в мужья и жены соотечественников. А говорить по-русски не хотят.

Есть у меня такая гипотеза на этот счет. У детей чуткий слух. Он улавливает уродливость волашока, которым пользуются взрослые, он вызывает бессознательное, инстинктивное отрицание.

Вот и думаю я, что видоизмененный афоризм Черчилля следует распространить на отношения прессы и в данном случае эмиграции. Мало кто из потребителей русскоязычных газет в Америке «Белинского и Гоголя с базара принесет».

Проходя в уик-энды вдоль правой от лестницы стороны пляжа, я гляжу на переплеты книг, которые захватили с собой почитать, укрывшись под зонтиками, отдыхающие. Не приходилось мне видеть на их обложках фа-

милий Аксенова, Довлатова, Битова, Толстой. Куда ни глянь — Севела, Тополь, Незнанский.

К чему им Парамонов с Алешковским и Вайль с Генисом?

Сказано это не в укор эмигрантам. В мире распространено мнение, что Россия — самая читающая страна на свете. Иностранца, которому привелось воспользоваться московским метро, впечатляет картина: все пассажиры углубились в книги. Что это за книги — иностранцу невдомек. Я когда-то ездил общественным транспортом ежедневно. Теперь спускаюсь в метро, когда бываю в Москве. Раньше в руках пассажиров пестрели томики «Библиотеки военных приключений», теперь — те же Незнанский и Тополь.

Возможно, утверждение, что отношением к духовным ценностям эмиграция — копия страны, откуда она вышла, выглядит уязвимым. В нашей, скажем, начисто отсутствуют крестьяне. В ней служащих больше, чем рабочих, евреев — чем русских, южан — чем северян, приехавших из крошечной Бухары — чем из таких городов с миллионным населением, как Владивосток, Иркутск, Челябинск, вместе взятых. Словом, все пропорции нарушены. Правомерны ли параллели?

Любимый конек моей жены, которого она оседлала давно и с которого не слезает: семидесятилетняя партийная диктатура породила новую нацию — советскую. Советских людей — евреев и антисемитов, министров и свиначок — роднят одинаковый подход к жизни и одинаковая психология.

До какого-то времени мне казалось это утверждение надуманным. Я и сегодня не считаю его правильным на 100 процентов. Но по мере того как пополняется эмиграция новыми тысячами детей разных народов — приезжими из России, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Украины, — нахожу в словах Жанны все больше здравого смысла.

Я уже писал о роднящих нас отношении к труду, нетерпимости и подозрительности. Все мы похожи друг на друга, как братья и сестры, еще многим. Тем, например, что видим в любом государстве, не только родном, выбросившем нас за свои пределы, но и американском,

которое нас приголубило и пригрело, врага. Что едины в своем расизме: евреи, страдавшие на родине от антисемитизма, относятся к неграм как к людям третьего сорта. Что для нас все казенное — ничье, на нем не грех погреть руки.

Одни из свойственных советскому человеку черт достаточно ярко проявлялись и там, на родине. Другие — для меня, во всяком случае, — высветились в эмиграции. К ним я отношу высочайшее искусство приспособляться к среде обитания.

Лишь в первые дни новой жизни находились такие, кто требовал от организаций, принимающих эмигрантов, устраивать их на работу, обеспечивать путевками в дома отдыха, их детей — бесплатным обучением в вузах. Но и эти немногие быстро смекнули, что к чему. Они очутились в стране, являвшей собой антитезу той, в которой родились и выросли, — стране, где благосостояние обеспечивают преданные на родине анафеме частная собственность, частное предпринимательство и личная инициатива. И обжились в ней куда легче и безболезненнее, чем выходцы из стран с родственным американскому укладом жизни.

Когда я поделился этим наблюдением с одним удачливым бизнесменом — бывшим киевским инженером, он дал мне столь же простое, сколь и убедительное объяснение:

— Ну уж коли я там не пропал, то здесь-то...

Я бываю на Брайтоне не чаще чем раз в год. Эти поездки — целевые: я привожу туда на экскурсии московских гостей. С одной стороны, чтобы дать им отдых от переполнявших туриста нью-йоркских впечатлений. С другой — чтобы собственными глазами увидели, в каком благополучии и преуспейании протекает жизнь их соотечественников.

В любое время года я первым делом веду приезжих на набережную, которая соединяет Брайтон-Бич-авеню с пляжем. В центре набережной — беседка, где коротают дни, сражаясь в карты, в шахматы, в «козла», передавая друг другу местные сплетни, пенсионеры.

Здесь же, у пляжа, на котором, как и на набережной, летом кипит жизнь, ресторан «Гамбринус» — за столи-

ком, выставленным в теплые дни на воздух, мы запиваем свежим бочковым пивом в пузатых кружках воблу и присоленные креветки.

От моря до авеню — рукой подать. Дорогу по тротуарам этой улицы длиной не более километра и в выходные, и в будни приходится прокладывать локтями. Первые этажи домов — магазины, прачечные, химчистки, страховые и адвокатские конторы, аптеки, меховые ателье. Некоторые вывески начертаны на двух языках — английском и русском. Другие — только на русском. Мой приятель метко пошутил:

— Когда на Брайтоне слышишь английскую речь, первая мысль: иностранцы приехали.

Такие вот «иностранцы» здесь — хозяева всех овощных лавок корейцы. Но и они заговорили по-русски: жизнь заставила.

Мы заглядываем в окна кафе и закусовых. Свободных столиков нет. Впрочем, утолить аппетит можно прямо на улице. Лоточники торгуют пирогами с капустой, расстегаями, чебуреками, беляшами, бутылочным квасом.

Одна из достопримечательностей Брайтона — продуктовый магазин «Интернейшнл фуд». На первом этаже я покупаю закуски для угощения московских гостей: рыбец, балык, осетрину, копчушки, твердокаменную сырокопченую колбасу, нежно-зеленые малосольные огурчики и алые, истекающие соленым соком помидоры — то и другое продавец вылавливает из бочки. На втором этаже кондитерские изделия: торты «Киевский» и «Сказка», конфеты «Мишка», «Ну-ка отними», «Раковая шейка», грузинский чай, халва.

Владеет магазином легендарная личность — Марик из Одессы. Этому маленькому крепышу принадлежат еще коптильня и двухэтажный ресторан «Националь», расположенный рядом с магазином. Чтобы попасть сюда вечером в уик-энд, надо резервировать места за месяц.

Марик — друг и покровитель звезд российской эстрады. Самые знаменитые поют перед жующей, чокающей-ся, произносящей тосты публикой «Националя», особенно охотно в периоды, когда дома происходит очередное крушение рубля.

В «Национале» и других многочисленных ресторанах Брайтона и его окрестностей принято отмечать семейные торжества: свадьбы простые и серебряные, помолвки и круглые даты, бармицвы (13-летие еврейского мальчика) и батмицвы (12-летие еврейской девочки). Есть люди, у которых расписаны все субботние вечера на год вперед.

Считается дурным тоном являться на два банкета в одном и том же наряде. Платья дам и костюмы мужчин должны быть от «Версачи» или «Армани». «Кевин Клайн» и «Энн Тейлор» — уже не очень прилично. Вещи американского производства вообще котируются как барахло. Шеи, груди, запястья и пальцы рук дам унижены драгоценностями. Те же части тела кавалеров украшают толстые золотые цепи с крестами или шестиконечными звездами, браслеты, перстни. Из марок часов предпочтителен «Ролекс».

Вот вам еще признак, который роднит оставшихся дома и уехавших на чужбину людей одной нации — советской. Чем в данном случае отличаются новые русские от брайтонской аристократии, состоящей преимущественно из евреев? Тем лишь, что на Брайтоне российские тусовки устраиваются в дни семейных праздников.

«Все крупные состояния нажиты нечестным путем», — я цитирую текст телеграммы, которую послал Остап Бендер Александру Ивановичу Корейко. Если бы меня спросили, как нажиты крупные эмигрантские состояния, я бы не взял на себя смелость Великого комбинатора и воздержался бы как минимум от обобщающего слова «все».

Вы помните, что мой партнер по «Новой газете» и распорядитель ее финансов Палей отказался от услуг развозочной компании и передал ее функции Боре и Алику — «двум отчаянным джентльменам», как величал двух героев цикла своих рассказов Генри.

Позже дачные соседи, поднаторевшие в бизнесе, раскрыли мне глаза на смысл той рокировки. Компания посылает за проданные газеты чеки, «отчаянные джентльмены» сдают наличные. Чек надо класть в банк, наличные можно — в карман. В конце года банк сообщает налоговому управлению о доходах корпорации. От их размеров зависит сумма налога. Наличные, сами понимаете, не учтешь.

Палей не был первооткрывателем метода снижения налогового бремени. Пионеров теперь так же невозможно найти, как создателей народных частушек. То и другое — плод коллективного творчества. Бывшие советские граждане, вступившие на стезю предпринимательства, стараются по мере возможности избавляться от вмешательства банков в свои дела. Им пришлось по душе американское правило, по которому каждый налогоплательщик сам представляет отчет о своих доходах.

И опять не могу отказать себе в удовольствии вспомнить Ильфа и Петрова. Персонаж «Золотого тельника» — житель коммунальной квартиры — говорит: «Ну, раз государство жильцам волю дает, теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем». Наутро, это уже сообщают авторы, «Воронья слободка» запылала, подожженная с четырех сторон.

Пассаж из «Золотого тельника» — тоже свидетельство родства душ людей, выросших рядом, но волею судеб разъединенных Атлантикой.

Я не располагаю статистикой, касающейся американских судов и мест заключения. Но, основываясь на газетных сообщениях и судьбах некоторых знакомых, догадываюсь, что лиц, отбывающих срок за уголовные деяния, а также находящихся в бегах и разыскиваемых, наша эмиграция выдвинула не меньше, чем другие. Относительно, конечно. Она ведь уступает другим стажем и численностью.

«Все мое ношу с собой», — гласит изречение, доставшееся нам от древних латинян. Мы тоже привезли с собой в Америку все свое — жизнеспособность и подозрительность, практичность и предубеждения, неприятие инакомыслия и неумение относиться к себе критически.

Я гляжу на словесный портрет эмиграции, который изобразил на этих страницах, и думаю: положительная получилась личность или отрицательная? Привлекательная или отталкивающая?

В определенные дни недели Жанна аккуратно заполняет карточку нью-йоркской лотереи. Если угадаешь шесть номеров из пятидесяти одного, выиграешь не менее трех миллионов долларов. Бывают выигрыши и по десять мил-

лионов, и по тридцать. Специалисты в области теории вероятности пришли к выводу, что шансы назвать те шесть номеров, что выпадут из лототрона, так же велики, как угодить под удар молнии на улице Нью-Йорка.

Тем не менее моя жена верит в успех. И даже размышляет вслух о том, как мы распорядимся своими миллионами. Среди ее планов — покупка в самом дорогом районе Манхэттена квартиры, занимающей верхний этаж, — такие здесь называют «пентхауз». Подарить дом живущему под Москвой брату. Подарить дачу в окрестностях Нью-Йорка нашему ребенку, у которого родился сын Мишка. Совершить кругосветное путешествие на океанском лайнере.

Я терпеливо слушаю и киваю головой. А про себя отмечаю, что нет в этом перечне самой, на первый взгляд, естественной покупки. Ни слова о даче на океанском побережье, там, где селится нью-йоркская элита, вместо нашего утлого летнего домика в поселке для ниже среднего обеспеченных американцев.

Я не задаю вопросов. Все понятно и так.

Помните, что отвечает в песне Высоцкого муж Ваня жене Зине, когда та пытается бросить тень на шурина?

*Послушай, Зин, не трогай шурина —
Какой ни есть, а все — родня...*

Нет, свой домишко мы не променяем ни на какие хоромы. Потому что стоит он в поселке, где мы окружены своими. Плохими ли, хорошими ли, но нашими.

СОДЕРЖАНИЕ

Гамлетовский вопрос	5
Глава 1. МАЛЬЧИК ИЗ ПРИЛИЧНОЙ СЕМЬИ	8
Детская болезнь на всю жизнь	8
Почти заграничная поездка	14
Кому война, кому мать родна	15
Дом правительства	25
Глава 2. ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ	46
Попытка с негодными средствами	46
Мы все учились понемногу... ..	49
Лишние люди	55
Зал Вышинского	59
Глава 3. СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ	68
Блюстители закона	68
Подручные партии	85
Глава 4. ЭТО БЫЛО В СПОРТИВНОЙ РЕДАКЦИИ	118
По этажам газетной лестницы	118
Братская могила	127
От сержанта до генерала	138
Глава 5. ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА	152
Час зачатья и полвека спустя	152
Тарасов	163
Чернышев	183
Эпштейн	188
Богинь	194
Тихонов	206
Глава 6. СУДЬБА ПРОКАЗНИЦА, ШАЛУНЬЯ	217
Ветер дальних странствий	217
Один день и вся жизнь	257
Глава 7. ТЕАТР АБСУРДА	280
На сцене и за кулисами	280
О хлебе насущном	287

Глава 8. ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ	297
Трифонов	297
Евтушенко	301
За себя и за того парня	304
Майоров	306
Иванов	314
Яшин	325
Глава 9. ПАН ИЛИ ПРОПАЛ	342
Сон в руку	342
Всюду родимую Русь узнаю	345
Слепаки	357
Как я был артистом	363
Заявление об уходе	367
Не имей сто рублей	370
Казенные хлопоты	379
Вена без вальса и Рим без каникул	385
Глава 10. НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ	400
Привыкнуть и/или примириться	400
Люди и звери	406
Мелочи жизни	411
Всякое ли начало трудно?	416
«Новый американец»	426
Довлатов	435
«Новая газета»	459
Марш обреченных	485
Какой ни есть, а все — родня	499

Евгений Рубин
ПАН ИЛИ ПРОПАЛ!

Редактор
И.В.Захаров

Художник
А.В.Кокорекин

Верстка
К.А.Лачугин

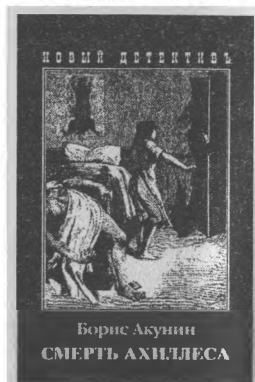
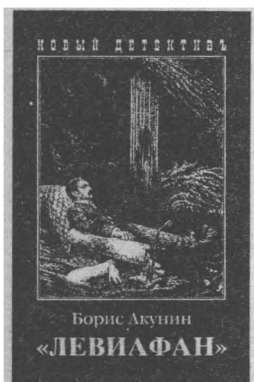
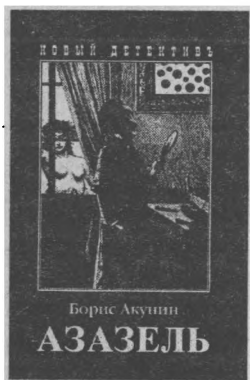
Издатель Захаров
Лицензия ЛР №065779 от 1 апреля 1998 года.
Адрес: 103104, Москва, Сыгинский тупик, 6—2.
(Рядом с пл.Пушкина)
Телефон: 203-0382.
Директор И.Е.Богат.

Подписано в печать 10.11.99. Формат 84×108/32. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Объем 32 п. л. Тираж 5000 экз. Изд. № 43. Заказ № 3734.
Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Типография «Новости»
107005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46

ISBN 5-8159-0043-5



9 785815 900431



Библиофилы и эрастоманы!
Первые издания четырех романов Б. Акунина
можно приобрести в конторе Захарова
Телефон (095) 2030382

*Я родился в _____ окончил школу,
в 1951-м _____ институт.*



D01366300J

*По распределению меня направили
в адвокатуру города Северодвинска.
Возвратившись в 1955-м в Москву,
занялся журналистикой.*

*В 1958-м сбылась детская мечта:
меня приняли в газету «Советский спорт».*

Там я работал до 1977-го, до эмиграции.

*В Нью-Йорке меня вскоре после приезда
пригласили в качестве спортивного
комментатора на радио «Свобода».*

*Там же, в Нью-Йорке, я пытался издавать
собственную газету.*

*Служба в «Советском спорте» свела меня
с такими гигантами, как Фетисов и Ларионов,
Иванов и Яшин, Харламов и братья Майоровы...*

Всех не перечислишь...

А еще Довлатов...

*А что скажет людям мое имя,
описание моей жизни, и не только в спорте?..*

Евгений Рубин